

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ  
МИХАИЛОВ

6



1963

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 6

Июнь, 1963 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Из новых стихов. С белорусского. Авторизованный перевод Якова Хелемского	3
НИКОЛАЙ ДУБОВ — Мальчик у моря, повесть	6
МУСТАЙ ҚАРИМ — Три стихотворения. С башкирского. Перевела Ирина Снегова	50
И. ОРЛОВ — Жарким летом, из путевых тетрадей	53
ЮЛИАН ТУВИМ — Цветы Польши, из поэмы. С польского. Перевел Николай Чуковский	87
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — Третье свидание	93
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ — Прощание с Молдавией, стихотворение	117
МАРК ЩЕГЛОВ — Студенческие тетради. Из литературных заметок	118

### ПУБЛИЦИСТИКА

В КАНУН РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ. Автобиографические высказывания В. И. Ленина (1893—1900). Обзор составлен Б. Яковлевым	153
---	-----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЕОНИД ГУРУНЦ — Карабах, край родной	192
--------------------------------------	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. ЭПШТЕЙН — Трагедия обманутого народа	213
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. ТУРАЕВ — Всесильно, потому что верно	224
И. САЦ — О взглядах А. В. Луначарского на изобразительное искусство	230
З. ПАПЕРНЫЙ — Романтика человечности (К 60-летию со дня рождения М. А. Светлова)	243

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	250
<b>И. Соловьева.</b> Федосеев и Иван Федосеевич.— <b>Л. Лазарев.</b> Глазами солдата.— <b>И. Виноградов.</b> Право на доверие.— <b>Арсений Тарковский.</b> Печать современности.— <b>И. Левидова.</b> Атттикус Финч и его дети.	
<i>Политика и наука</i>	268
<b>Павел Подляшук.</b> Нами зажжено! — <b>Е. Примаков,</b> кандидат экономических наук. Помощь друга.— <b>Лев Разгон.</b> Популярные — значит народные...— <b>Л. Зак,</b> кандидат исторических наук. Единство и многообразие.	
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

## ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

*С белорусского*

### *Труби, мой бор*

Мой бор, воспетый многократно,  
Мой бор, старейшина лесной,  
Ах, если б знал ты, как отрадно  
С тобою встретиться весной,  
Когда в доме твоём высоком  
Лучей апрельских торжество,  
Когда подснежник синим оком  
Коснется сердца моего,  
Когда бельчонок в хвойной гуще  
Начнет, как искорка, летать,  
Весной, когда, живой, зовущий,  
Ты гулом наполнишь опять!

Ты голосисто,  
Под стать горнисту  
Скликаешь всех на свой порог.  
Труби, мой бор,  
Смолистый, чистый,  
Труби, труби в лосиный рог!

Мой бор, люблю тебя и летом.  
Здоровяки-боровики,  
Сквозь пышный мох пробившись к свету,  
Стоят в шеломах, как полки.  
Стоят — от мала до велика —  
Шеренги воинов лесных.  
Глазами росными черника  
Глядит восторженно на них.  
А на заре в зеленых залах,  
Когда проснется птичий стан,  
Звучат и скрипки, и цимбалы,  
И дятла четкий барабан,

Ты голосисто,  
Под стать горнисту  
Скликаешь всех на свой порог.

Труби, мой бор,  
Смолистый, чистый,  
Труби, труби в лосиный рог!

Люблю беседовать под осень  
С тобой в тот вечер ветровой,  
Когда густые космы сосен  
Качаются над головой.  
Трепещут редкие березы,  
А клены в пламени кипят.  
И желтые большие слезы  
Роняет наземь листопад.  
Барсук спешит в нору барсучью,  
Отцвел дурманящий чабёр.  
Но ты в щетине колких сучьев  
Стоишь ветрам наперекор.

Ты голосисто,  
Под стать горнисту  
Скликаешь всех на свой порог.  
Труби, мой бор,  
Смолистый, чистый,  
Труби, труби в лосиный рог!

Люблю тебя в глухую пору,  
Когда кругом снега и тишь,  
Блестая белизной убора,  
Ты дремлешь, думаешь, молчишь.  
И нависает над тобою  
Безмолвный мгlistый небосвод...  
Я не обманут немотою,  
Я знаю — все в тебе живет!  
Лишь солнце вешними лучами  
Вершины хвойные обдаст,  
Ты гордо поведешь плечами —  
И звон пойдет, и рухнет наст.

Ты голосисто,  
Под стать горнисту  
Скликаешь всех на свой порог.  
Труби, мой бор,  
Смолистый, чистый,  
Труби, труби в лосиный рог!

\* \* \*

Да, мы живем в такое время  
И к цели движемся такой,  
Что на земле сердцами всеми  
Овладевает непокой.

С утра — безветрие. Но в полдень  
Ломает молнию зенит.  
Улегся шторм, притихли волны,  
Но глубина еще звенит.

Гудят живые струны улиц,  
Волнуется людской разлив.  
В полях колосья всколыхнулись.  
Бушуют грозы. Век бурлив.

Сердца стремятся к правде века  
На межпланетных скоростях.  
Все выше чистый, полный света  
Багряный голубь — алый стяг,

\* \* \*

Казался веком день весенний.  
Я ждал свидания с тобой.  
С трудом дождался. От волненья  
Молчал сначала, как немой.

Все это просто в сказках, в песнях.  
Мне смелости не занимать,  
Но легче гору сдвинуть с места,  
Чем о любви своей сказать.

Тот вешний день давно промчался,  
Зима. Но где же твой ответ?  
Уже сигнал вернулся с Марса,  
А от тебя — ни слова нет.

\* \* \*

Лопочут клены у дорог,  
Все кроны в шелесте и звоне.  
В прожилках вырезной листок,  
Он схож с рабочей ладонью.

А я руками с детских лет  
Свой хлеб насущный добываю.  
Так листья добывают свет,  
Лучи в ладонях собирая.

Стою, в раздумья погружен,  
Под ярким вихрем листопада.  
Хлопочет многорукий клен —  
Ведь сколько солнца листьям надо!

*Авторизованный перевод Якова Хелемского.*



НИКОЛАЙ ДУБОВ

★

## МАЛЬЧИК У МОРЯ

*Повесть*

БЕЗДНА

**Щ**елый день Сашук ревет. Мать кричит на него, даже шлепает, отец обещает «напрочь оторвать уши». Сашук ненадолго затихает, потом снова принимается хныкать и канючить. Дядя Семен пригоняет к правлению старую полуторку, в которой уже стоят ящик с продуктами и бочка с бензином. Рыбаки кидают в кузов свои сундучки, мешки, и тогда Сашук начинает реветь так горько и безутешно, что даже сам бригадир, Иван Данилович, удивленно оглядывается, подходит и опускается перед Сашуком на корточки.

— Ты чего нюни распустил?

— К-ктька,— захлебываясь, говорит Сашук.

Бригадир не понимает.

— Настя, чего он у тебя?

— Да ну, баловство! Собачонка своего везти хочет, кутенка. А куда его? И так мороки хватает...

Бригадир Иван Данилович нависает над Сашуком, как гора. Сашук затихает, беззвучно всхлипывая, смотрит на него снизу вверх, но, услышав слова матери, заводит снова:

— Ы-ы...

— Постой! — морщится Иван Данилович. — Гудишь, как бакен в тумане... Это он и есть?

Между ног Сашука стоит ивовая плетушка. В плетушке спит пегий щенок. Голова его перевешивается через край, щенок негромко, но внятно храпит.

— Ишь ты,— усмехается Иван Данилович,— притомился... Ладно, бери свою животину. Слышь, Настя, пускай берет, чего ты ребятенку душу надрываешь. Кутенок не волк, я чай, артель не объест...

Сашук вскакивает.

— Дяденька Иван Данилыч...

— Нет, ты погоди. Ты сперва беги умойся. Какой из тебя рыбак, ежели ты весь в слезах да в соплях?

Сашук мигом подбегает к колодцу, плещет из бадейки на лицо, выдернутым из штанов подолом рубахи утирается и, подхватив плетушку, бежит к машине.

— Готов, ревушка-коровушка? — говорит Иван Данилович. — Иди с мамкой. Ты, Настя, садись в кабину, а то за Измаилом дорога — и из мужиков душу выбивает.

— То ж ваше место, Иван Данилыч...

— А ты после болезни.

Иван Данилович подхватывает Сашука под мышки, и вместе с плетушкой Сашук оказывается в кабине.

— За ручку не хватайся, выпадешь — костей не соберешь.

Мать сидит рядом с дядей Семеном, Сашук становится у окна и высовывает голову наружу. Вокруг стоят ребята со всей улицы. Кто пришел отцов провожать, а кто так — посмотреть. Они еще загодя начинают махать руками. Сашук им тоже машет. Немножко. Пускай знают. Они остаются, а он уезжает.

— Все сели? — говорит Иван Данилович. — Поняй, Семен, счастливо...

Дядя Семен что-то поворачивает, полторка начинает трястись и трогает. Ребята, крича, бегут рядом, но сразу остаются позади. Мелькают избы, на повороте сверкает оловянное зеркало Яллуха, и вот нет ни Яллуха, ни изб, дорогу сплошными стенами обступает кукуруза, размахивая желтыми метелками, заглядывает в кабину.

— С нашими темпами, — говорит дядя Семен, — только на похороны. Цельный день собирались. Теперь вот ночью ехай. А по такой дороге и в день не сахар.

— Дорога ничего, — говорит Сашукова мамка. — Как-то там будет?

— А что, нормально будет.

— Ну да! А зачем этого уголовника взяли? Нужен он...

— А что? Парень как парень.

— Да ведь в тюрьме сидел.

— Кто в тюрьме сидел? — спрашивает Сашук.

— Да Жорка этот, рыжий который да горластый... Ты от него подалее, слышишь, сынок?

Дядя Семен косится на нее, но ничего не говорит.

Кукуруза расступается, за ней появляются домики, дома, потом домищи.

— Это что? — спрашивает Сашук.

— Город. Измаил.

Дома становятся все больше, все длиннее и все выше. Сашук высовывает голову из кабины, выворачивает ее, чтобы сосчитать окна, но все время сбивается. Город большой. Как десять Некрасовок. Нет, наверно, как сто... И улицы здесь совсем другие. Обсажены деревьями. И на дороге нет ни колеи, ни ям, она гладкая, будто выструганная. И ни луж, ни пыли...

Дядя Семен притормаживает у перекрестка, и Сашук видит на большом камне лошадь, а на ней сухонького человека, который держит в поднятой руке чудацкую шапку.

— Это кто?

— Суворов, — говорит дядя Семен. — Генерал такой был. Завзятый вояка.

— Он, как Чапай, бил фашистов?

— Фашистов тогда, кажись, не было. Он давно жил. Хотя кто его знает, может, какие свои были...

— А ты, дядя Семен, фашистов бил?

— Нет, я баранку крутил.

— Ну все одно, на войне?

— На войне.

Город кончается. И вместе с ним кончается хорошая дорога. Полторку начинает трясти, подбрасывать и заносить. Под колесами взрывается пыль, желтым облаком взвивается к небу и скрывает заходящее солнце.

По крыше кабины стучат.

— Семен, совесть надо иметь! — кричит Иван Данилович.

Дядя Семен дергает какую-то штуку, машина идет медленнее, но ее так же треплет, толкает, бросает из стороны в сторону. Сашук то и дело стучается головой о раму окна. Мать подхватывает его, сажает на пружинное сиденье. Плетушка с кутенком подпрыгивает на полу кабины, кутенок мечется. Сашук сползает, поднимает плетушку, ставит себе на колени. Кутенок сворачивается в клубок и снова засыпает.

Изредка впереди появляется косой столбик пыли. Он стремительно мчится им навстречу, вырастает до неба. Дребезжа, проносится встречный грузовик, и тогда не только сзади, но и спереди все заволакивается пылью. Сашук и даже кутька во сне вертят головами и чихают, мать обтирает лицо кончиком косынки, а дядя Семен сердито, но тихонько чертыхается.

Солнце садится, и сразу же начинается темнеть. Дядя Семен включает фару — у него горит только одна левая. Жидкий желтоватый снопик света упирается в изрытую колдобинами дорогу. Иногда он выхватывает из темноты раскоряченное чудище, но машина подъезжает ближе, чудище оказывается старой ветлой или обшмыганным кустом. Глаза у Сашука режет, будто туда насыпали песку, но он, придвинувшись к самому ветровому стеклу, все смотрит и смотрит.

— Будет тарашиться-то, — говорит мать, — ничего там нет и смотреть не на что. Спи давай. — Она прижимает его голову к своему теплому боку.

— Да ну, мамк, не хочу я спать, — говорит Сашук и отодвигается. — А море скоро?

— До моря ты еще десятый сон увидишь, ночью приедем, — отвечает дядя Семен.

— Оно какое? Как Ялпух?

— Сравнил! — говорит дядя Семен. — Ялпух — лужа, а море — это, брат, бездна...

Сашук недоверчиво смотрит на него. Смеется, что ли? Какая же Ялпух лужа, когда другой берег еле-еле видно, да и то если взобраться в плавнях на вербу. А где он начинается и кончается — и вовсе не видно, куда ни взбирайся.

— А бездна это что?

— Ну... бездна и бездна... Без дна, значит.

— Как это, без дна?

— Вот так — без дна, и все...

Сашук пробует представить себе бездну, но у него ничего не получается. У всего есть дно. В колодеце дно совсем недалеко. Когда соседка Христина упустила в колодец ведро, туда забросили кошку на веревке, пошарили-пошарили — и достали. Ведро лежало на дне. Ялпух, конечно, куда глубже. Сашук и другие ребята сколько ныряли, а достать дно не могли. Только и там дно есть. Сашук сам видел, как в дно забивали колья для неводов и как с лодки бросали якорь. А якорь, он за что держится? За дно. Не за воду же! Значит, дядя Семен просто так говорит, чтобы посмеяться.

Сашук оглядывается на дядю Семена, но тот вовсе не смеется, а напряженно всматривается в еле освещенную фарой дорогу. И Сашук тоже смотрит на нее. В желтоватом снопике света все впереди начинает путаться и гаснет...

Его будит кутькин скулеж. Сашук поднимается, спускает ноги с топчана. Кутька бросается к ногам и скулит.

— Цыц! — строго говорит Сашук. — Чего нюни распустил?

В распахнутую дверь комнатки-клетушки врывается слепящий свет.  
— Ух ты! — говорит Сашук и вслед за кутькой выбегает во двор.

Под навесом возле плиты раскрасневшаяся от жары мать мешает варево в здоровенном котле. Над большим двором, пустым и вытоптаным, как поскотина, полыхает зной. Только под стеной бригадного барака да у столбов жердевой изгороди торчат пучки пропыленной травы. Даже издали видно, что она жесткая и колючая.

— Мамк, а где все? — кричит Сашук.

— Где ж им быть? В море ушли, еще затемно.

Сашук смотрит в ту сторону, куда она показала. За оградой пустырь постепенно переходит в невысокий бугор, за ним ничего не видно.

— Поди поешь, — говорит мать.

Этого Сашук уже не слышит. Он припускает через двор, ныряет под жердину.

— Не лазь купаться! — кричит мать. — А то лучше не приходи, все вихры оборву.

Бугор порос жесткой колючей травой, но Сашук не обращает внимания на колючки. Он бежит во весь дух, сзади, поскуливая, ковыляет кутька.

Сашук взбегаёт на бугор, останавливается и отступает. Дальше нет ничего. Отвесной стеной бугор обрывается вниз.

— Ух ты! — шепотом говорит Сашук. Он даже пятится немножко, но потом снова заглядывает под обрыв.

Далеко внизу змеится узкая полоска песку, у самого края ее облизывают маленькие волны, а дальше, впереди, вправо и влево нет ничего. Голубая, сверкающая, слепящая пустота. Как небо.

Сашук взглядывает вверх, над собой. Нет, небо другое. Оно знакомое, привычное — голубое и неподвижное. Лишь кое-где тихонько плывут белые-пребелые облака. Он переводит взгляд. Ниже небо становится все светлее, потом начинает струиться, переливаться, нестерпимым блеском разливается во все стороны, подступает к самому берегу, где плещутся мелкие волны.

Сашуку даже трудно становится дышать. Значит, вот это и есть море? Значит, правду сказал дядя Семен, что оно без дна, раз оно такое большое — ни конца, ни краю...

Он смотрит вдоль берега. Вдалеке справа стоит высокая решетчатая башня, а на ней маленькая, как скворечница, будочка. Слева от берега уходит в море причал на сваях. Он не похож на тот, что Сашук видел в Некрасовке. Там низенький и пустой, как мосток. А здесь сваи выступают из воды высоко, а от настила к высокому берегу поднимается на столбах какая-то тоже решетчатая штука. Она упирается в большой длинный сарай и исчезает в нем. Над причалом кружит несколько чаек. Одна из них летит в сторону Сашука, и он видит, что и чайки здесь совсем не такие, как на Яллухе. Там маленькие, белые, а здесь здоровенные, как гусаки, и белые только снизу, а спина рябая, как у дикого гуся...

— Что ты тут сидишь? — раздаётся за спиной голос матери. — Зову-зову, как оглох... Небось купался, говори по правде?

— Не, я не купался, — оборачивается Сашук. — А где рыбаки? Может, они уже утонули?

Про себя он уже давно это думает, но решается сказать вслух только теперь, когда подходит мать. А что? Раз море такая бездна, как сказал дядя Семен, и совсем без дна, тут утонуть в два счета...

— Типун тебе на язык! — сердится мать. — Вон они, вертаются уже.

— Где, где? — Сашук вскакивает, но ничего не видит. Только когда мать поворачивает его голову и показывает рукой, он различает среди слепящей ряби еле заметные букашки — лодки.

— Я, мамк, здесь подожду.

— Нечего тут сидеть. Им еще часа два ходу. Поешь, потом вместе встречать пойдем.

### КРУТОЙ ЗАСОЛ

К причалу ведут дощатые сходни с поперечинами из брусков. Между сходнями громоздится непонятная штука: от большого барака, который стоит на высоком берегу, прямо на причал опускается длинная резиновая лента. Она лежит на железных валках и похожа на желоб, такой широкий, что Сашук может лечь в него, как в люльку. Лента скрывается в большом ящике на причале, там изгибается и уже под валками снова уходит вверх, в барак.

— Это чего?

— Машина, чтобы рыбу гнать в цех, на засолку.

Сашук удивляется и не верит: как это рыбу можно гнать? Что она, дура, чтобы самой на засолку идти?

— Не подходи к краю, упадешь,— говорит мать, но Сашук все-таки заглядывает вниз, под помост.

Там переливается, плещет зыбкая зеленоватая глубина. Раза три «с ручками». А то и четыре. Может, даже самому бригадиру, Ивану Даниловичу, будет «с ручками», а он дяденька ого-го, выше всех в Некрасовке... Но все-таки за этой глубиной видно дно — ровное, песчаное дно, по которому бегут легкие тени и солнечные зайчики от волн на поверхности... А где же бездна? Может, там, где лодки?

Лодки уже подходят. Два ряда весел на каждой враз поднимаются, дружно посылают Сашуку зайчиков и снова опускаются. Над лодками, горляня что есть мочи, мечутся чайки. Они обгоняют лодки, взмывают вверх, как планеры, разворачиваются, показывая толстые белые животы, пикируют вниз и кричат, кричат не переставая. Таких горластых чаек на Ялпухе нет...

Налитые серебристой рыбой лодки подваливают к причалу. Рыбаки взбираются на помост, подтаскивают к краю плоские ящики. В каждой лодке остается по два рыбака. Большими сачками они начинают перегружать рыбу в ящики. Сашук пробует пройти на конец причала к отцу, но оскальзывается на мокрых досках и падает.

— Ты зачем здесь? — кричит отец. — А ну, уходи на берег!

— Ничего, крепче будет! — говорит рыжий Жорка. — Пускай привыкает.

Сашук прижимается к стойке, на которую опираются валки резиновой ленты. Жорка, присев на корточки, разгребает руками рыбу в ящике. Длинных с красивыми темными разводами на спине он бросает в особый ящик, маленьких черноспинных — швыряет обратно в море.

— А зачем? — спрашивает Сашук.

— Что, выкидаю? Так это дрянь — голыши, их даже чайки не жрут. Давай подсобляй, приучайся. Вот это, видишь, с узором на спинке — скумбрия. Рыба первый сорт, ее сюда. А это ерш, пускай здесь остается.

— Ерш не такой.

— Ну, по-настоящему это ставрида, а мы ершом зовем.

Сашук берет в руки рыбку и тотчас выпускает — в ладошки впиваются острые шипы.

В ящик шлепается бугристая толстая лепешка.

— Во,— говорит Жорка,— обед нам пришел. Видел такую рыбу? Камбала называется.

— А почему, у нее глаза на спине?

— Не на спине, а на одном боку. Другим она на дне лежит. На, тащи мамке. Удержишь?

— А то нет! — говорит Сашук, хватаят рыбину обеими руками.

Камбала такая тяжелая и скользкая, что ему приходится прижимать ее к животу. И все-таки он не удерживает. Рыбина шлепается на помост прямо Сашуку под ноги, он падает на нее, животом на колючки. Рыбаки смеются. Сашук обижается и отходит в сторонку. Оцарапанный живот щемит и саднит, ему хочется посмотреть, как он исцарапался, и даже заплакать, но он боится, что смеяться будут еще больше, и притворяется, что смотрит на чаек. Чайки расплываются и сдвигаются. Сашук быстро-быстро моргает, чтобы прогнать слезы.

Наполненные ящики ставят один на другой поближе к резиновой ленте. Из сачков, ящиков падают ставридки на помост, рыбаки ступают резиновыми сапогами прямо по ним. Сашук нагибается и начинает подбирать.

— Хозяйственный хлопчик, — говорит Игнат Приходько, их сосед по Некрасовке, — еще, гляди, боцманом станет...

— Просолится как следует, будет боцман что надо, — говорит Жорка.

— А как вы рыбу будете гнать? — спрашивает Сашук. — Она же снулая.

— Сейчас увидишь. Можно давать, Иван Данилыч?

Бригадир кивает. Жорка закладывает пальцы в рот, оглушительно свистит, и тотчас что-то начинает рокотать, помост трясется, а резиновая лента ползет вверх. Рыбаки подхватывают ящик с рыбой, опрокидывают в большой ящик над резиновым желобом, рыба сейчас же появляется в желобе и серебристой полосой плывет в нем к барaku.

— Ты на транспортере катался? — перекрывая шум, кричит Сашуку Жорка. — Нет? Тогда поехали?

Он хватая Сашука, поднимает в воздух. Сашук взбрыкивает, но не успевает вырваться и оказывается в ползущем резиновом желобе.

— Держись крепче! — кричит Жорка.

Желоб ползет к берегу, поднимается все выше, снизу что-то подталкивает Сашука, и он судорожно вцепляется в края резиновой ленты.

— Эй! — орет Жорка. — Принимай ерша в засол! Соли покруче!

Мать кричит, бежит вдоль ленты, но достать Сашука уже не может. Лента ползет все дальше и дальше. Сашук уже выше, чем сам Иван Данилович. Он хочет сползти вниз, но лента несет его выше и дальше от причала, а вокруг так пусто и страшно, а до земли так далеко, что Сашук пригибается и зажмуривается. Чьи-то руки поднимают его, снимают с ленты и ставят в лужу на цементном полу. Только тогда Сашук и открывает глаза.

— Ты что это кататься вздумал? Вот я тебе покатаюсь! — сердито говорит чужой усатый дядька и шлепает Сашука по тому самому месту. Шлепает он несильно, но Сашук обижается — он же не сам залез на эту резиновую штуку...

Сашук выбегает в широкие, как ворота, двери. Снизу, с причала, Жорка что-то кричит ему, машет рукой, Сашук отворачивается и идет домой. Каждую весну ноги у Сашука в цыпках, цыпки еще и сейчас не сошли, но уже подживали, и Сашук о них даже не помнил. А теперь их начинает щипать и жечь. Лужа на цементном полу была соленая. Сашук бежит к рукомойнику во дворе, задирая по очереди ноги, обмывает раскрасневшуюся кожу. Щиплет меньше, но цыпки вспухают и краснеют.

— Я говорила: подальше от этого бандюги. — Мать приносит полную кошелку рыбы, вываливает ее на стол и принимается чистить. — Он тебя обучит, доведет...

Насупившийся Сашук молчит.

Рыбаки возвращаются с причала, фыркая и крякая от удовольствия, умываются, садятся за стол.

— Эй, Боцман, пошли рубать! — кричит Сашуку Жорка, но Сашук притворяется, будто не слышит, и нарочно садится подальше от Жорки, рядом с отцом.

Обедают долго, не торопясь — отдыхают. Потом начинают разбредаваться, закуривать. Сашук так наелся кулеша и камбалы, что ему лень вставать. Кутька тоже осовел — свалился, высунув язык и выпятив вздувшийся живот.

— Привез все-таки, — говорит Игнат, — бить тебя некому.

— А за что бить? — спрашивает Жорка.

— Чтоб собаку за собой не таскал. Баловство. Собака на цепи должна сидеть. Чтобы злой была.

— А ты сам на цепи сидеть пробовал?

— Мне незачем. Сажают кого следует...

Лицо Жорки краснеет, потом начинает бледнеть, а на открытой шее вздуваются жилы. Но он сдерживает себя и, только помолчав, говорит:

— Ладно, считай, что я пока не понял... Только ты не зарекайся — еще сядешь. За жадность. Жадности в тебе на всю бригаду хватит.

— Ты меня не воспитывай, за собой лучше гляди...

Игнат поднимается и уходит в хату.

— Кугут чертов! — сквозь зубы говорит Жорка. — Собачонок ему помешал... Как его зовут?

— Кутька, — нехотя отвечает Сашук. Он решил про себя ни за что больше не водиться с этим Жоркой, но как же не ответить, если Жорка вступился за кутенка?

— Ну — кутька! Все щенята кутьки. Надо, чтобы свое имя было, на особицу... Ишь наел пузо, выгнулось, как бимс...

— А что это — бимс?

— Балки, на которых палуба лежит... Эй ты! — Жорка щелкает пальцами. — Бимс, иди сюда!

Кутька поднимается и, волоча по пыли живот, подходит к нему.

— Гляди-ка, сразу понял! — радуется Жорка и начинает теребить щенка.

Тот опрокидывается на спину, задирает лапы и подставляет свой вздувшийся живот, на котором сквозь редкую белую шерсть просвечивает розовая кожа.

— Да ну, — говорит Сашук и поднимает щенка на руки, — нечего над ним командовать.

Он снова идет к морю, садится над обрывом, кутька укладывается рядом. Ветер ерошит сверкающую гладь, волны у берега становятся больше. Чайки бесшумно скользят на распростертых крыльях, потом поворачивают и летят обратно, как патруль. Время от времени то та, то другая камнем падает на воду и снова взмывает вверх, держа в клюве рыбину. Чайка на лету заглатывает ее и опять неторопливо летит туда, потом обратно. А один раз большая чайка нападает на маленькую и отнимает у нее добычу. Маленькая чайка кричит, и тогда громко, пронзительно начинают кричать и другие чайки. Должно быть, они тоже возмущаются и сердятся на здоровенную ворюгу...

— Ты чего тут сидишь? Пойдем купаться?

Рыжий Жорка тихонько подходит и останавливается сзади. Сашук оглядывается на него и отворачивается.

— Никуда я с тобой не пойду.

— Что так? — Жорка садится рядом. — За транспортер обиделся? А ты не сердись, на сердитых, говорят, воду берут... Пошли.

— Не хочу. И мамка не велит с тобой,

— Почему?

— Она говорит, ты бандит.

Жорка вспыхивает и тут же бледнеет. И снова на шее у него вздуваются жилы, а на щеках играют желваки, будто он катает за щеками орехи.

— Дура она,— помолчав, говорит он.

— Моя мамка не дура! — кричит Сашук.

— Ну, верно — про мамку так нельзя... Только зря она так говорит.

— И не зря! Она говорит, ты в тюрьме сидел.

— Ну, сидел...

— Вот! Значит, правда... А как это в тюрьме сидят?

— Да очень просто: запрут тебя под замок в камере — ну, в комнате такой, каменной — и сидишь. И год, и два, и три... какой срок дадут.

— И все время в камере? А на улицу?

— Какая уж там улица... — усмехается Жорка, — Только если на работы пошлют.

— А за что в тюрьму сажают?

— Кого как — за воровство, за убийство, по-разному...

— А тебя за что?

— За дурость. Начальничка одного побил. Еще при культе, при Сталине. Ну, мне припаяли вроде политику, вроде как я против власти. Понимаешь?

Сашук не понимает, но кивает.

— Разве начальников можно бить?

— Некоторых следует, только не кулаками. От кулаков все равно толку не будет, тебе же хуже...

— А за что ты его?

— Гад он был. Форменный самодур, людей, можно сказать, мордовал... Хочет — дает работу, хочет — поставит на такую, что припухать будешь, а кто слово скажет — вовсе выгонит. И меня стал прижимать, а потом — за ворота. Я к нему: «В чем дело, говорю, товарищ директор? У нас советская власть или нет?» — «Советской власти такие, как ты, не нужны». — «Ах ты, говорю, мешок кишок, за всю советскую власть расписываешься? Думаешь, ты советская власть и есть?» Сгреб чернильницу — у него здоровая такая, каменная была — и в морду... Я когда остервенюсь, ничего не помню. Ну, судили меня, срок дали. Пять лет отсидел, похлебал соленого. Потом по амнистии выпустили.

— А где он теперь, этот... самордуй?

— Самодур... Не знаю... Может, и сейчас в начальниках ходит. Да черт с ним!.. Пошли искупаемся, жарко.

— Не... Дядя Семен сказал, там дна нет.

— Как это нет? Дно везде есть. Или ты плавать не умеешь?

— Умею. Только я боюсь, если без дна.

— Есть дно, есть. Пошли, вместе достанем.

Неподалеку от причала обрыв переходит в пологий откос. Разъезжаясь ногами в раскаленном песке, они сбегают по откосу к воде. Кутька кубарем скатывается следом, потом долго трясет головой и чихает.

#### НОЧНОЙ ДОЗОР

— Вон оно, дно, видишь? — говорит Жорка, раздеваясь.

— А там? — показывает вдаль Сашук.

— И там есть, только глубоко. И туда тебе плыть нельзя — утонешь.

— А чего это у тебя нарисовано? Разве на человеках рисуют?

На груди у Жорки синими точками наколоты бубновый туз, бутылка и женская нога. И сверху написано: «Что нас губит».

— Дурость! — отмахивается Жорка. — На дураках и рисуют.

— Ты разве дурак?

— Был. Может, и сейчас малость осталось.

Он разбегается, ныряет и так долго плывет под водой, что Сашук начинает думать, что он уже захлебнулся и утонул.

— Давай, Боецман! — кричит, отфыркиваясь, Жорка. — Ныряй!

Сашук набирает в себя побольше воздуха — у него даже щеки надуваются пузырями, — складывает ладошки возле самого носа, ныряет и — едет животом по песку на мелководье. Жорка хохочет.

— Чудик! Что ж ты землю пузом пашешь?

— А если тут мелко? — обиженно говорит Сашук.

— На тебя не угодишь — то глубоко, то мелко. — Жорка подплывает ближе, становится на ноги и пригибается. — Влезай на плечи.

Сашук вскарабкивается, вцепляется в его рыжие волосы. Жорка распрямляется, и Сашуку даже жутко становится, так высоко он поднимается над водой — Жорка только чуть-чуть поменьше Ивана Даниловича.

— Готов? Але-оп!

Жорка встряхивает плечами, Сашук, не успев сложить ладошки, в раскорячку, как лягушонок, плашмя плюхается в воду.

— Ну как?

— Здорово! — кричит Сашук. — Бимс, сюда!

Кутенок стоит у самого уреза, пятится от набегающих волн и тявкает. Сашук ловит его, подняв на руки, несет в воду. Кутенок скулит и вырывается. Сашук заходит по грудки, пускает щенка. Тот захлебывается, фыркает и отчаянно мологи лапами — плывет. Сашук идет следом и хохочет. Выбравшись на песок, Бимс трясет головой, висячие уши его шлепают по морде, как мокрые тряпки.

— Тут лучше купаться, чем у нас в Ялпухе, — говорит Сашук, совсем уже запыхавшись и улегшись на песок.

— Вода соленая, сама держит.

— А почему никто не купается, рыбаки наши?

— Они уже старые, им не хочется.

— Так ты ведь тоже старей.

— Еще не очень — только тридцать годов... Пошли, а то мамка тебя хватится, шухер поднимет.

Они поднимаются по откосу.

— Там чего? — показывает Сашук на решетчатую башню.

— Пограничная вышка. Пограничники границу сторожат.

— От шпионов?

— Ну да.

— А там чего?

— Дот был. Немецкий.

Развалины дота недалеко от обрыва. Из уцелевших оснований бетонных стен торчат скрюченные железные прутья, покореженные балки. Щебень, присыпанный землей, зарос бурьяном. Сашук пробует обхватить остаток стены, но пальцы его не дотягиваются до краев. От дота, немного не доходя до обрыва, змеятся осыпавшиеся, заросшие окопы.

— Может, — с надеждой в голосе говорит Сашук, — может, тут пули остались, а? Давай поищем?

— Как же, двадцать лет лежат, тебя дожидаются... Вон мамка бежит, сейчас она отольет тебе пулю.

Мать быстро-быстро идет им навстречу. Она даже не смотрит на

Жорку, будто его совсем и нет, шлепает Сашука, хватая его за руку и тащит к дому. Только когда Жорка остается далеко позади, она сердито шипит:

— Сколько раз говорила, чтоб ты к этому бандюге не липнул?

— Так он совсем не бандюга, мам, он рассказал... Ой, ну чего ты дерешься?.. Будешь драться — и тебя в тюрьму посадят.

— Вот я тебе покажу!

Сашук, извернувшись, вырывается и убегает.

— Беги, беги, домой все равно придешь!

Сашука угроза не пугает — мать долго сердиться не умеет.

Рыбаки, отдохнув, обедают, а перед вечером снова уходят в море. Сашук вместе с Бимсом провожают их до причала, потом сидят на причале и смотрят им вслед, пока лодки не становятся совсем крохотными. Тогда Сашук свистит Бимсу и идет к бывшему доту. В конце концов откуда Жорка знает? Вдруг что-нибудь там осталось и никто не нашел, а он, Сашук, найдет? Некрасовские ребята прямо треснут от зависти...

Как он ни старается, ничего не находит. Всюду верблюжья колючка, репейник, бетонный щебень и раскаленная солнцем пыль. Сашук только зря искалывает руки и весь исцарапывается. Тогда он начинает играть в войну. Залегает в осыпавшийся окоп и строчит из пулемета по фашистам: та-та-та-та-та... Одному играть скучно и мешает Бимс. Он бежит без всякого толку и не понимает никаких команд. А когда Сашук попластунски ползет в разведку, Бимс начинает лаять и хватать Сашука за пятки. Какая уж тут разведка...

Сашук бежит к пограничной вышке, но скоро переходит на шаг, потом останавливается. Возле лестницы, поднимающейся к вышке, привязана лошадь. Она переступает с ноги на ногу и обмахивается хвостом. Может, там кого уже поймали?.. Ему очень хочется подойти поближе и рассмотреть все как следует, но он заранее знает, что его прогонят. Если бы еще солнце не так ярко светило, тогда бы можно подобратись незаметно, но солнце, хотя и стоит низко, светит всюду, а степь голая, как цыганский бубен, никуда не скроешься, его издали заметят и обязательно шуганут. Большие ведь всегда думают, что только им все интересно, а маленькие пускай как хотят...

Сашук бредет домой. Он хочет дожидаться возвращения рыбаков, но мать заставляет его есть, потом он кормит Бимса, а потом глаза у него начинают слипаться, и просыпается он уже ночью, на топчане.

За перегородкой наперебой храпят рыбаки. Отец и мать тоже спят. Спит и Бимс на полу возле двери. В окно над самым подоконником заглядывает луна. Сашук тихонько сползает с топчана, идет к двери. Бимс пытается свернуться калачиком, но вздувшийся живот мешает, и он опять расплывается на боку, раскинув лапы.

Чтобы далеко не ходить, Сашук пристраивается тут же у крылечка. Луна совсем не некрасовская, а какая-то непохожая — огромная, наливающаяся красным, висит над самым горизонтом. И во дворе, и в степи все-все видно, только совсем иначе, чем днем. Пограничная вышка черным пятнышком торчит среди редких звезд.

А что, если сейчас пойти и посмотреть, как они ловят шпионов? Сашук дома тоже ловил. В плавнях. Там здорово трудно ловить — когда ребята спрячутся в камышах. Так ведь то понарошку...

Сашук осторожно шагает и прислушивается. Из хаты доносится храп. Бригадир Иван Данилович всегда храпит ровно и густо, как трактор на холостом ходу... Сашук шагает дальше. Ноги утопают в теплой пыли, и шаги совсем не слышны. Он ныряет под изгородь, бежит к вышке. Вот уже и бугры разрушенного дота, осыпавшихся, заросших окопов. Сашук переходит на шаг, оглядывается по сторонам. Нет, он нисколько не

боится, но все-таки ему становится жутко: там же мертвяки, убитые фашисты... Днем они ничего не могут, а ночью?..

Где-то поблизости пронзительно свирит цикада. Сашук останавливается. Снова тихо. Бугры немы и неподвижны. И вдруг он видит, что из земли торчат скрюченные руки. Сашук обмирает, холодеет и только собирается заорать и дать деру, как вспоминает, что днем уже видел их, и это совсем не руки, а погнутые железные балки. Сашук переводит дух. Ну чего в самом деле? Фашистов тут убивали, но хоронили где-нибудь в другом месте... Значит, никаких мертвяков тут нет!

Озираясь по сторонам, Сашук тихо и осторожно, как по стеклу, проходит мимо бугров. Спина у него становится деревянная, дыхание все время перехватывает. Бугры остаются позади, Сашук идет быстрее, потом бежит. Вышка уже недалеко. Из-за бугра выглядывает только краешек багровой луны. Он тает, исчезает — и сразу становится совсем темно... Сашук бежит вперед что есть духу, натывается на лестницу вышки и вцепляется в нее.

Вокруг стоит тишина. В черном небе редкие звезды. Рядом топырится кустик верблюжьей колючки. И больше не видно ничего — ни бригадной хаты, ни развалин дота. Далеко вверху торчит вышка, и кто-нибудь там, наверно, сидит. А если нет? Сашук прислушивается, но ничего не слышит.

Только тогда Сашук понимает, что он наделал. Один, совсем как есть один в пустой черной степи. Нигде нет ни души, а между ним и бригадной хатой, где спят отец и мать, — разрушенный дот и окопы со всеми своими мертвяками. Вцепившись в лестницу, Сашук тихонечко, как кутька, скулит от страха.

Лестница скрипит под тяжелыми шагами, кто-то трогает его за плечо.

— Малчик? Зачем здесь? Почему плачешь?

— Я не плачу, — всхлипывает Сашук.

— Зачем сюда пришел?

— В чем дело, Хаким? — кричит кто-то сверху.

— Баранчук. Малчик маленький. Плачет, плачет, — отвечает Хаким.

— Какой мальчик?

— Сам не понимаю — малчик, и все.

— Тащи сюда, разберемся.

Хаким берет Сашука на руки и несет вверх по лестнице. В лицо Сашука упирается ослепительный лучик света.

— Ты чей? Откуда?

Ослепленный светом, Сашук жмурится.

— Там, — машет он рукой, — там мамка. И рыбаки. Папка тоже там.

— А сюда зачем?

— Посмотреть.

— Нечего тут смотреть, беги к мамке!

— Не пойду, — говорит Сашук и пятится, пока не упирается в стенку будки. — Там темно. Я боюсь.

— Сюда идти не боялся? Дойдешь и обратно.

— Да, как же! — говорит Сашук. — Тогда луна светила...

— Все равно, тут посторонним не положено. Понятно?

Солдат с поперечными нашивками на погонах говорит очень сердито. Вместо ответа Сашук начинает опять всхлипать.

— А вот плакать совсем не положено, — еще сердитее говорит солдат с нашивками. — Пришел к пограничникам — и ревешь. Какой тогда из тебя солдат?

— Я же маленький, — всхлипывает Сашук.

— Привыкнешь маленький — и взрослый расквасишься. Отставить плакать! — командует солдат.

— Я б-больше не буду...

— И отвечать надо как положено: есть, отставить плакать!

— Есть, отставить! — повторяет Сашук. — Только вы меня не прогоняйте. Я ничего не буду трогать и баловаться не буду!

— Пускай сидит, а? — говорит Хаким.

— Не положено. И там мать-отец хватятся, подумают, пропал...

— Так я же не пропал, — говорит приободрившийся Сашук, — я с вами!

— Ладно, сиди пока. Вот придешь домой, отец тебе заднее место ремнем отполирует!

— Не, — вздыхает Сашук, — он уши драть будет...

— Ухи — тоже доходчиво.

Будка совсем маленькая и пустая. Дверь, три оконных проема и скамейка. Ничего интересного. Солдаты стоят возле оконных проемов и смотрят. Сашук приподнимается на цыпочки, тоже заглядывает в проем, но ничего не видит: вокруг темным-темно. Вдруг справа темнота взрывается. Дрожащий голубой столб света ударяет вверх, наклоняется — и внезапно появляются четкие, резкие, будто они совсем-совсем рядом, голубой обрыв над морем, пучки травы на нем, потом выпрыгивает из темноты далекий причал с транспортом, поглубевшая бригадная хата сверкает бельмами оконных стекол.

— Чего это? — тихонько спрашивает Сашук.

— Прожектор.

— Он смотрит, да?

— Он светит. А смотрим мы.

Столб света, обшарив берег, бежит вправо, в нем начинает сверкать волновая рябь моря. Световой столб отворачивает все дальше и дальше вправо, исчезает, и вместо него перед глазами Сашука долго дрожит над морем черная полоса. Солдаты опускают бинокли.

— Вам тут хорошо шпионов ловить, — говорит Сашук. — С прожектором. Все видно. И плавней нет. А у нас в Некрасовке такие плавни на Ялпухе, как кто спрячется — ни за что не найдешь..

— Найдут и в плавнях.

— Разве с собакой, — сомневается Сашук. — У нас в Некрасовке тоже вышка есть. Только там не пограничники, дедушка Тарасыч сидит. И ружье у него большое. Куды больше ваших... Он, когда кто в виноградник залезет, ка-ак бабахнет! Солью.

— А что, лазят за виноградом?

— Лазят.

— И ты?

— И я, — помолчав, говорит Сашук.

— Так ведь воровать нехорошо!

— Конечно, нехорошо, — вздыхает Сашук. — А винограда-то хочется... Ребята идут, и я с ними...

— Разве так не дают?

— Ну — так! Так не интересно... А скоро они полезут?

— Кто?

— Шпионы.

Солдаты смеются.

— Они заранее не объявляют.

— А когда полезут, вы будете стрелять?

— Там видно будет.

— А можно я ружье стрельну?.. Ну хоть подержу немножко, а?

— Автомат не игрушка. И вот что: на посту разговаривать не пола-

гается. Раз попал в солдаты, делай как положено. Садись сюда на скамейку и веди наблюдение. Что надо ответить?

— Есть, вести наблюдение.

— Порядок! Давай действуй.

Сашук уставляется в оконный проем, но, как ни старается, кроме звезд сверху и слабых отблесков их в море, ничего не видит. Смотреть в темноту скучно, и Сашук раза два клюет носом в дощатую стенку. Тогда он прислоняется к ней поудобнее, вплотную.

— Вот и порядок,— говорит над ним солдат с нашивками,— солдат спит, а служба идет...

— Я совсем и не сплю,— говорит Сашук.

Конечно, он не спит. Просто на дворе совсем-совсем темнеет. Даже звезды гаснут. И солдат не видно. Но он же слышит, как они разговаривают — значит, не спит... Просто ему наяву начинает казаться, что он видит сон. Солдат с нашивками и Хаким ходят от окошка к окошку и выглядывают. И Сашук тоже ходит и выглядывает. Потом солдат с нашивками вдруг останавливается и говорит:

— Какой же ты солдат без оружия? На, держи!

Он снимает с себя автомат и надевает Сашуку.

— Насовсем? — замирает от восторга Сашук.

— Конечно, насовсем.

Сашук сжимает автомат что есть мочи. Теперь пусть только шпионы полезут! Он как даст очередь: та-та-та-та-та...

— Что такое? — говорит Хаким.— У рыбаков свет зажгли, с фонарями бегают...

— Случилось что-то... Рядовой Усманов, пойди выяснить... Слышь, Хаким, прихвати и его, нечего ему тут кунять.

И Сашуку уже кажется, что он плывет вроде как в лодке — он не двигается, а его покачивает. И потом вдруг раздается крик, его хватают на руки и так крепко, что ему становится больно...

Он на руках у матери, а над ним склоняются Иван Данилович, Игнат и Жорка. В руках у них «летучие мыши».

— Федор! — кричит в сторону Жорка.— Не ищи. Нашелся!

— Ты что ж, поганец? — говорит Иван Данилович.— Люди после работы, а тут за тобой по ночам бегай?

— Баловство все! — бурчит Игнат.— Незачем и брать было...

Толоча сапогами, из темноты выбегает отец.

— Вот я тебе покажу! — еще издали кричит он.

— Потом, потом, Федор! — говорит Иван Данилович.— Ночь, людям спать надо... Спасибо, солдат! — говорит он Хакиму.

— Почему паника? — спрашивает тот.

— Поганца этого искали... Думали, утоп. Где он был?

— К вышке пришел, в пограничники хочет,— смеется Хаким.

— Отец ему пропишет пограничников.

Мать уносит Сашуку домой, кладет на топчан. Сашук утыкается в подушку и горько всхлипывает. Не потому, что он боится завтрашней выволочки. Выволочка сама собой. Ему обидно, что никакого автомата у него нет, а значит, и не было, и все ему только приснилось.

### ЗВЕЗДОЧЕТ

Уши у Сашука горят. Не оттого, что отец оттрепал утром за уши. За ночь он пересердился, оттрепал не сильно, для порядка. Над Сашуком смеются рыбаки. Сегодня воскресенье, и утром они в море не пошли — отдыхают. После завтрака долго сидят за столом, разговаривают

про разные разности, потом мало-помалу разбредаются. Мать и отец уходят в село Николаевку, в магазин. Идти туда далеко, и Сашука они с собой не берут. Сашук бегаёт с Бимсом по двору, пока оба не высовывают языки от жары и усталости. Потом они тоже идут к лавке рыбокоопла, где уже давно собралась вся бригада. Лавка стоит у дороги, недалеко от бригадного барака. Дальше за ней редкой цепочкой тянутся первые хаты Балабановки. Туда Сашук не ходит. Мать не велит — раз, а потом Сашук издали видел, что там бегают большие мальчишки и собаки, и он опасается, как бы они не обидели Бимса. И его тоже...

Рыбкооповская лавка — обыкновенная хата, только что под железной крышей да перед входной дверью большое, широкое крыльцо. На нем стоят четыре стола на козлах и скамейки. Здесь нет солнца, а с моря задувает прохладный ветерок. Рыбаки сидят за столами и «дудлят», как говорит мамка, «червонэ». Это темно-красное вино в узких бутылках. На бумажных наклейках нарисована большая рюмка. Рыбаки пьют не из рюмок, а из мутных граненых стаканов. На столах много пустых бутылок — значит, они уже здорово «надудлились» своего червоного, — лица стали краснее, а голоса еще громче, чем всегда. Громче всех говорит, конечно, Жорка. Недаром его зовут горластым. Он даже не говорит, а просто кричит. Рубаха у него расстегнута сверху донизу. Он опять спорит о чем-то с Игнатом.

Игнат не пьет. Перед ним нет ни стакана, ни бутылки, но он все-таки закусывает: сосет принесенную с собой вяленую ставридку.

— Боров! Ты ж чистый боров, — кричит Жорка, — только то и видишь, что перед рылом, что бы сожрать можно...

— Я — хозяин, — говорит Игнат. Губы у него трясутся. — Человек самостоятельный, а не пустодом, как ты. Мне про семью думать надо.

Он аккуратно завертывает в обрывок газеты недоеденную ставридку, поднимается и уходит.

— Чего ты к нему пристаешь, Егор? — спрашивает Иван Данилович. — Зачем дразнишь?

— Не люблю жмотов. Он из-под себя все съесть готов.

— Ну и пускай. Лишь бы тебя не заставлял. И орать незачем.

— Я виноват, что у меня голос такой?

— В тебе не голос — червоное в тебе кричит... Ты мне что обещал? Вон носишь у себя на грудях наглядную агитацию — посматривай на нее почаще.

Жорка трогает ворот рубахи, и тогда всем становится видна наколотая синими точками бутылка и надпись сверху: «Что нас губит». Все грохочут. Жорка багровеет, но сдерживается и машет рукой.

— Ладно, Данилыч, точка! Счас спать пойду... А, Боцман! — Он явно рад поговорить о другом. — Ну как, уши на месте или батька совсем оторвал? Ничего, целы, теперь шибче расти будут... Да ты не надувайся, ты лучше расскажи, как там у пограничников.

Сашук рассказывает, но рыбаки так начинают хохотать, что он умолкает и сползает со скамейки.

— А ну вас, — обиженно говорит он, — а еще большие... Пошли, Бимс, Через несколько шагов его догоняет Жорка.

— Ты это, — заплетаящимся языком произносит он, — ты давай не сердись. Беда большая — посмеялись чуток. От этого не облиняешь... Пошли, я утром тебе подарок припас. Только ты спал.

Сашук молчит. Сгоряча он даже собирается сказать, что нечего подлизываться, не нужны ему подарки, раз над ним смеются, но ему хочется узнать, что припас Жорка, и он молчит. Сказать можно и потом, если подарок окажется неинтересным.

В бригадном бараке Игнат горбится над раскрытым сундучком.

— Милльоны пересчитываешь? — кричит ему Жорка.

Игнат, не отвечая, поворачивается так, чтобы спиной закрыть сундучок.

Жорка заглядывает под свою койку, озадаченно чешет за ухом.

— Ага! Я же во дворе спрятал...

В углу двора из-под вороха старых, рваных сетей он достает оплетенный мелкой сеткой стеклянный шар. Шар огромный — с Сашукову голову, может даже больше. Сашук немеет от восхищения, осторожно берет шар в руки. Он шершавый — облеплен высохшими ракушками, заскорузлая сетка прикипела к стеклу. От шара пронзительно пахнет морем и солью.

— Ну как, годится?

— Спрашиваешь!.. А это что?

— Кухтыль... Поплавок, на котором сети держатся, чтобы не утонули.

— А где?..

— Море выкинуло. А я подобрал. Еще б одну штучку найти, веревкой связать — и на таких пузырях куда хочешь плыви.

— И на глыбь?

— Говорю: куда хочешь.

Жорка уходит «храпануть», а Сашук бережно несет кухтыль под навес, укладывает на обеденный стол и рассматривает со всех сторон. Стекло толстое, зеленоватое. Оно такое сделано или стало зеленым оттого, что плавало в море?.. Может, и в середине что-нибудь есть? Но серединку рассмотреть трудно — сетка мелка и густо облеплена ракушками. Они так плотно приросли, что никак не отколупываются: ноготь сломался, а ни одна не стронулась...

В дверях хаты появляется Игнат Приходько. Он подходит, берет кухтыль, вертит его в руках.

— Бесплезная вещь. Хотя... если разрезать пополам — полумиски будут.

— Отдай,— говорит Сашук,— не надо мне полумисков, мне кухтыль нужен, я на нем плавать буду.

— Баловство,— говорит Игнат и вздыхает.— Растешь ты, как репей, некому тебя к рукам прибрать...

— Дядя Гнат,— спрашивает вдруг Сашук,— а кто это кугут?

— Ну... вроде как кулак, скупой и жадный.

— А ты вправду скупой и жадный?

— Тебя кто подучил?

— Никто не подучивал, просто Жорка говорит: ты кугут.

— Ты его поменьше слушай, дурошлепа. От него добра не наберешься. Ты к самостоятельным, хозяйственным людям приглядайся, до них примеривайся.

— Как ты?

— Как я. И другие прочие. Кто тихо живет и про завтрашний день думает. Ты еще малой, а все равно должен соображать. Вот этого горлопана возьми. Что от него? Шалтай-болтай, живет в растопырку. Ни кола, ни двора, штанов лишних и то нет...

Это Сашук знает. Все Жоркино имущество помещается в обтерханном чемоданишке, у которого даже замки не запираются, клямки так и торчат кверху, и он перевязывает крышку бечевкой. Да зачем его и запирают, если он полупустой, кроме застиранных рубах да пары трусов, ничего в нем и нет? А у Игната сундучок аккуратный, прочный. Что в нем, Сашук не видел, так как сундучок всегда заперт висячим замком, а если Игнат его открывает, то обязательно поворачивается так, чтобы никто заглянуть не мог.

— Горлопан этот,— продолжает Игнат,— человек как есть бесполезный. Что заработал, почитай все и пропил. Неизвестно, для чего и живет.

— А для чего человек должен жить?

— Для пользы! Всякая вещь и человек должны быть для пользы.

— И я?

— Ну, пока пользы от тебя как от козла молока, только зря хлеб жуешь. Ты еще несмышлениш, вроде кутенка своего. Вот и должен с малолетства привыкать, себе на пользу стараться...

Последнюю фразу обиженный Сашук уже не слушает.

— Ну и ладно,— говорит он,— ну и пускай мы бесполезные...

Он уносит кухтыль домой, закатывает под топчан и еще прикрывает сверху ветошкой, чтобы никто не увидел. А что делать дальше? Отец и мать придут не скоро, да и что от них? Мать примется стряпать обед, отец уйдет в лавку, к рыбакам. Пойти и ему в лавку? Снова поднимут на смех. Хорошо бы с Жоркой пойти купаться — нырять, взобравшись ему на закорки. Жутковато, но весело. Однако Жорка за перегородкой храпит так, что барак трясется. Не будить же...

Сашук идет к причалу. Цех заперт, транспортер неподвижен, ящики для рыбы пусты. Лодки, привязанные к причалу, раскачиваются, стучаются бортами о сваи. Хорошо бы спрыгнуть в лодку и покачаться на волнах, но Сашук боится, что до лодки ему не допрыгнуть. На узкой песчаной полосе вдоль обрыва нет ни души. Даже чайки куда-то подевались. Внезапно Сашука осеняет: вдруг море выкинуло еще один кухтыль?.. Если Жорка нашел, может, и он найдет?

Ноги вязнут в сыпучем песке, от раскаленного солнцем глинистого обрыва пышет жаром. Сашук сворачивает к урезу. Мокрый песок плотен, ноги то и дело окатывает теплая волна. Сашук старательно рассматривает все, что море вынесло на берег. Кроме бурых водорослей и всякой мелкой дряни, ничего здесь нет. Было бы совсем скучно, но время от времени волна подгоняет к берегу мелких, с блюдечко, медуз, и Сашук их зафутболивает. Жорка научил его не бояться медуз и различать, какие обжигают, а какие нет.

Поравнявшись с пограничной вышкой, Сашук задирает голову и долго присматривается. Пограничников не видно. Прячутся или, может, днем их там вовсе нет?

Здесь берег изгибается, и за выступом обрыва скрывается ставший совсем маленьким причал. Сашук устает, но упрямо идет дальше — он не теряет надежды найти если не кухтыль, то хоть что-нибудь.

И он находит. На сухом песке, раскинув лапы и клешни, подставив солнцу белесый живот, лежит большой краб. Сашук видел только живых, когда они воровато, боком пытались выбраться из вороха рыбы и удрать, а рыбаки хватили их и швыряли за борт. Этот лежит неподвижно и даже не шевелится, когда Сашук бросает в него пучок сухих водорослей. Сашук трогает его щепкой, переворачивает спиной кверху. От краба врассыпную кидаются какие-то букашки. Сашук осторожно берет его за панцирь, окунает в воду. Но краб не оживает, не шевелит ни одной лапкой. Он здоровущий — один панцирь больше Сашуковой ладони. А клешни такие -- хватит, не обрадуешься... Сашук собирает его закинуть, потом передумывает. Если его как следует засушить, положить в коробочку да привезти в Некрасовку... Он осторожно кладет краба за пазуху и поворачивает обратно.

За поворотом на полпути к причалу стоит человек. Какой-то чудик. В трусах и разрисованной рубашке. На голове белый малахай с бахромой, а на носу очки с толстыми стеклами. Лицо молодое, безусое, но по щекам и под подбородком торчит короткая борода. Чудик держит в руках удилище и так внимательно смотрит на поплавок, что даже не заме-

чает, как Сашук подходит ближе, останавливается, потом садится за его спиной. Поплавок удочки болтается на волнах, вдруг ныряет. Чудик держит удилице, с лески срывается и шлепается в воду маленький краб.

— Воруги, грабители, подводные гангстеры,— беззлобно произносит чудик, рассматривая пустой крючок,— вас даже нельзя обругать подонками, поскольку это ваше естественное состояние...

Он оборачивается к консервной банке, стоящей сзади, и замечает Сашука.

— Я и не знал, что у меня появилась аудитория... Откуда ты, прелестное дитя с облупленным носом?

— Он от солнца,— объясняет Сашук и трогает пальцами шелушащийся нос.

— Несомненно, несомненно...— бормочет чудик, ковыряя пальцами в консервной банке.— Молодой человек!

— То вы меня?

— Кого же еще? Из нас двоих ты, несомненно, самый молодой. И столь же несомненно — туземец. Подводные воруги сожрали весь мой запас. Не знаешь ли, где можно накопать червей?

— Их и копать не надо. Они везде есть.

— Как это везде?

— А вот...

Сашук приседает на корточки и горстями отбрасывает мокрый песок с уреза. В песчаной кучке извивается несколько красных червячков с ярким золотистым отливом.

— Ого! Ты, я вижу, отлично осведомлен.

— И вот, и вот,— говорит Сашук, разгребая песок в другом месте,— их тут прямо тыщи.

— По всем вероятностям, даже несколько больше... Спасибо за науку. Теперь мне не надо будет рыться в навозе и вообще...

— А вы чего-нибудь уже поймали?

— Хвастать особенно нечем. Одну диковину поймал, но такой ядовитой раскраски, что не уверен, будет ли ее есть даже хозяйская кошка.

Он вытаскивает кулан и показывает.

— Зеленушка,— говорит Сашук.— Кошка будет.

— Стало быть, труды не пропали напрасно... Тогда продолжим,— говорит чудик и забрасывает удочку.— Так кто же ты и откуда взялся?

— Я не взялся, я тут живу.

— Прелестно, прелестно...— говорит чудик, снова дергает удочку, и она снова оказывается пустой.— Ну и как тут... вообще?

— Хорошо.

— Что хорошо?

— Все хорошо,— не понимая, чего он добивается, говорит Сашук.

— Что ж, посмотрим, посмотрим...— бормочет чудик, занятый удочкой.

Сашук долго не решается, потом все-таки спрашивает:

— А зачем у вас борода?

— Разве так плохо?

— Не потому что. Которые с бородой, те без штанов не ходят.

— В самом деле? — говорит чудик, бросая взгляд на свои короткие трусы.— Это я как-то не учел... А борода мне обязательно нужна. Просто необходима. Все звездочеты носили бородки, бороды, даже бородищи. Вот и я отрастил. Для солидности, а также красоты.

— Разве вы звездочет? — недоверчиво спрашивает Сашук.

— Не совсем, но вроде... Есть такая наука астрофизика. Слыхал? Впрочем, тебе рановато... А про космос слышал?

— Космос я знаю,— говорит Сашук.— Это где Гагарин летал.

— Ну вот, Гагарин летал, так сказать, поблизости. А я изучаю предметы более отдаленные...

— Тут?

— Нет, не тут. Сюда я привез свое семейство, полоскать в море. Вон оно поджаривается там на солнце.

В отдалении под навесом из простыни кто-то лежит, но Сашук только мельком взглядывает в ту сторону. Семейство его не интересует, он подсаживается к чудуку поближе. Не каждый день встречаются живые звездочеты.

### АНУСЯ

— А как вы их считаете, звезды? — спрашивает Сашук.

— Я не считаю, а изучаю. Все звезды пересчитаны и переписаны, как допризывники.

— Все до единой?

— До единой. В пределах наших возможностей, конечно.

Сашук недоверчиво смотрит на него снизу, стараясь поймать взгляд, но толстые стекла очков без оправы заслоняют глаза чудика, и нельзя понять, всерьез он или понарошку. Сашук долго раздумывает, потом все-таки задает вопрос, который давно его занимает:

— А правда, у каждого человека своя звезда? Как он рождается, так и звезда загорится. А как помрет, так и звезда падает...

— Ну, это чепуха! Звезды не падают. Падает, так сказать, звездный сор, всякого рода космический мусор. Потом звезд значительно больше, чем людей на земле, и до людей им никакого дела нет... Хотя вообще, иносказательно... В известном смысле у каждого человека есть своя звезда. Или во всяком случае должна быть. По идее.

— И у меня?

— И у тебя. Чем ты хуже других?

— А где? Вы мне покажете?

— Вот уж нет! Каждый сам должен найти свою звезду.

— А как?

— Как бы тебе сказать?.. Главное — не лениться. Для начала полезно, например, привыкнуть рано вставать.

— До света.

— Уж чего лучше.

— Так ведь спать хочется!

— Вот-вот. Лень, спать хочется... Другой не только свою звезду, всю жизнь готов проспять. А она, в общем-то, коротковата. К сожалению.

— А если рано встану, так сразу и увижу?

— Может, не сразу, но рано или поздно увидишь.

— А потом?

— Что потом?

— Чего будет, когда найду?

— Ну... будешь знать, куда идти, что делать... Так, сейчас моя дорогая дочь распугает последнюю рыбу...

По кромке воды, взметая брызги, к ним бежит девочка в голубом платье и белой панаме.

— Папа, папа, много поймал? — кричит она издали, потом замечает Сашука, умолкает, переходит с бега на шаг, вышагивает чинно, даже чопорно и делает вид, что Сашука даже не приметил.

— Не корчи кисейную барышню, — говорит ей отец. — Видишь, даже на этом пустынном берегу для тебя нашелся Дон Жуан, — показывает он на Сашука.

— Никакой я не Дон, — отзывается тот. — Я Сашук.

— Прелестно! — отвечает бородач.— Знакомьтесь в таком разе.

Девочка дергает пальцем резинку от панамы и с любопытством рассматривает Сашука. Резинка звонко щелкает ее по подбородку. Потом она протягивает сложенную дощечкой ладошку и говорит:

— Ануся.

Сашук сидит неподвижно, искоса смотрит на ладошку, потом снова на нее. Девочка делает гримаску, пожимает плечами и опять начинает дергать резинку.

— Нельзя сказать, чтобы ты был очень галантным с барышнями,— говорит бородач.

Девочка смеется, короткий носик ее морщится. Сашук не понимает, но краснеет. Сначала он хочет сказать, что с девчонками не водится, но слова эти почему-то с языка не идут. Может, потому, что она совсем не похожа на разбитных, горластых некрасовских девчонок. Почему она такая белая? Наверно, ее без конца мылом шуруют...

Сашук не знает, что делать, и наливается краской еще больше. Потом вдруг вспоминает, лезет за пазуху и достает свою находку.

— На. Хочешь?

Ануся отступает на шаг, серо-голубые глаза ее округляются.

— Это кто? — спрашивает она.

— Краб. Бери, не бойся — он дохлый, не укусит.

— Не хочу,— говорит Ануся и прячет руки за спину.— Он плохо пахнет.

— Так что? Повоняет и перестанет.

— И крабы совсем не такие,— качает головой Ануся.— Они в банках.

— Стыдись, Анна! — говорит отец. Он не смотрит в их сторону, но, оказывается, все видит и слышит.— В банках вареные. А этот прямо из моря. Ты как хочешь, я бы взял, ценная вещь, по-моему.

Ануся оглядывается на отца и осторожно, двумя пальчиками берет краба.

— Идите, граждане, побегайте, что ли,— говорит Анусин отец,— и вы сразу убьете двух зайцев: познакомитесь поближе и снимете с моей души камень педагогических забот..

— Про какой он камень? — спрашивает Сашук, когда они отходят.

— Не обращай внимания,— говорит Ануся.— Папа всегда немножко странно выражается.

Краб ей нравится все больше. Запах уже не отпугивает, она вертит колючее чудище в руках, рассматривает со всех сторон. Потом так же обстоятельно начинает рассматривать Сашука.

— Ты так всегда ходишь? — показывает она на выгоревший чубчик Сашука.— И ничего?

— А чего? — не понимает Сашук.

— А вот мне на солнце вредно — я хрупкая,— вздыхает Ануся.

— Ты ж не кисель, не растаешь.

Ануся немножко колеблется, потом решительно сдергивает панаму назад, и она повисает у нее за спиной на резинке. Ветер немедленно подхватывает и треплет ее белокурые волосы.

— Пойдем, я маме покажу,— говорит Ануся.

Они бегут по мокрому песку. Сашук старается попать ногой в гребешок волны, когда он только-только заламывается, и изо всех сил разбивает его. Анусе это нравится. Она забегает вперед, чтобы опередить Сашука, и, торжествуя, кричит, когда брызги у нее разлетаются сильнее. Сашук тоже старается. Он ловчее, брызги у него летят выше и дальше. Так они бегут наперегонки, взметая брызги и вопя от восторга, пока их не останавливает окрик:

— Что это такое?!

Из-под простыни, распяленной на палках, выглядывает женщина. Сначала женщина кажется Сашуку совершенно голой, но потом он видит, что она не совсем голая — поперек тела у нее две полоски пестрой материи, а на голове накручено полотенце. Женщина очень красивая, это Сашук видит, несмотря на то, что большие темные очки закрывают ее глаза, на носу нашлепка из бумаги, лицо намазано чем-то белым, а губы такие красные, будто с них живьем содрали кожу. Но Сашук знает, что кожа не содрана, просто губы накрашены, — в Некрасовке некоторые взрослые девки ходят с крашеными губами.

— Мама, мамочка! — кричит Ануся. — Посмотри, что у меня!

— Где ты взяла эту вонючую гадость? — с отвращением говорит Анусина мама, выхватывает у нее из рук краба и отшвыривает в сторону.

Краб шлепается о глинистую стенку и уже без клешней и ног падает на песок. Ануся в ужасе всплескивает руками, но мать не дает ей сказать ни слова.

— Почему ты сняла панаму? И на кого ты похожа? Как не стыдно: большая девочка, а забрызгалась хуже маленькой... Иди сейчас же сюда!.. — Она понижает голос, но Сашук отчетливо слышит: — Зачем ты привела этого грязного мальчишку? Вон у него болячки какие-то на носу...

— Он совсем не грязный, — оправдывается Ануся. — И он был с папой...

Дальше Сашук не слушает. Он поворачивается, засовывает сжатые кулаки в карманы и уходит. Уши у него снова горят. От обиды. Теперь уже без всякой радости, а со злостью он разбивает вдребезги гребешки волн, те разлетаются фонтанами брызг, но набегают все новые и новые, сколько бы он ни бил, а главное — тетке этой от того ни тепло, ни холодно... Теперь она уже не кажется ему красивой. Вымазалась, как чучело. Вот взять влезть на обрыв, отвалить глыбу — и на нее... враз бы стала чище некуда. Или взять большую медузу да за пазуху... Ну, не за пазуху, раз у нее пазухи нету, так за эти тряпки, что на ней накручены...

День жаркий, ветер слабый, и медуз у берега видимо-невидимо. И маленьких, с блюдечко, и широких, как тарелка, и совсем здоровенных, с бахромою, похожих на ведро. Сашук забредает в воду, хватается и тащит к берегу такое осклизлое студенистое ведро, с трудом выбрасывает на песок. Медуза разбивается, белесоватый студень ее тела истекает, оплывает водой. Сашук достает и выбрасывает еще одну, потом еще и еще. Груда белесого студня растет, его уже вполне достаточно, чтобы обложить зловредную тетку с головы до пят, но Сашук вытаскивает на песок все новые и новые жертвы.

— Ты это зачем?

Рядом стоит Ануся, дергает резинку панамы.

— Тебе ж не велят со мной, ну и уходи, — вместо ответа говорит Сашук.

— А я хочу! — отвечает Ануся. — Ты на маму обиделся, да? Не обращай внимания — папа говорит: у нее масса мелкобуржуазных предубеждений. Это, конечно, ужасный недостаток. Но что поделаешь, у каждого есть свои недостатки. У тебя ведь тоже есть?

Об этом Сашук никогда не думал, сейчас, как ни раздумывает, никаких недостатков отыскать у себя не может и, не отвечая, продолжает таскать на берег медуз.

— А что ты с ними будешь делать?

— Уху варить, кисельных барышень кормить, — со всей язвительностью, на какую только способен, говорит Сашук, но Ануся не обраща-

ет внимания на колкость, идет в воду, хватает маленькую медузу и тотчас с отвращением выпускает ее из рук.

— Какая противная!

— Ага, испугалась? — торжествует Сашук. — Иди к своей мамке, нечего тут...

— Она заснула, — говорит Ануся и тянется к большой розовой с сиреновой бахромой медузе.

— Не трожь, она стрекучая! — кричит Сашук.

Уже поздно. Ануся отдергивает обожженную руку, на лице ее испуг и страдание.

— Я ж тебе говорил! Она хуже, чем крапива, жжется. Больно?

— Печет, — шепотом отвечает Ануся.

Короткий носик ее морщится, но теперь не от смеха, а от назревающих слез. Она зажимает обожженную руку между коленками и быстро-быстро хлопает веками, прогоняя слезы.

— Ничего, — утешает ее Сашук, — я первый раз когда, еще хуже обстрекался. Все пузо!

От этого сообщения Анусе не становится легче. Носик ее все больше морщится, по щекам ползут слезинки.

— Больно ты нежная, — говорит Сашук, — ревушка-коровушка... Ну их, этих медуз, пошли к причалу.

Боль постепенно слабеет, а возле причала Ануся забывает о ней совсем. Они ложатся животами на причал и наблюдают, как в пронизанной солнечным светом воде стоят стайки мальков, потом, испугавшись чего-то, серебряными брызгами разлетаются в разные стороны, как ворох вато, боком, от сваи к свае пробирается маленький краб, как прозрачные тени волн бегут и бегут по песчаному дну. Сашук рассказывает, как рыжий Жорка катал его на транспортере, Ануся восхищается и хочет тоже попробовать. Они взбираются в желоб транспортера, но он неподвижен, а идти вверх по резиновой ленте скользко и страшно. Оси валков смазывают нечасто и негусто, но Ануся ухитряется подцепить ногой шлепок черного тавота, пробует снять его рукой, но только еще хуже размазывает по всей ноге и безнадежно пачкает руки. Сначала ей просто смешно, потом она вспоминает про маму... Сашук ведет ее к ручной-нику возле барака, Ануся долго, старательно мылит руки, но обмылок стирочного мыла никак на тавот не действует, и Ануся снова расстраивается. Сашуку очень хочется ее утешить.

— Идем, — говорит он, — у меня чего есть!

У распахнутой двери Ануся останавливается: из барака несется хриплый рев.

— Кто там стонет?

— Жорка. Только он совсем не стонет, а спит.

— Страшно как! Будто его режут...

— Ха! Такого зарежешь... Он, знаешь, — округляет глаза Сашук, — он уголовник, в тюрьме сидел!

Он готов соврать про Жорку невесть что, но видит, что и так уже перестарался. Ануся испуганно озирается, готова стремглав броситься прочь, и Сашук поспешно добавляет:

— Ты не бойся, он ничего. Он мне вон чего подарил...

Сашук ныряет под топчан и достает куктыль.

— Ой! — восхищается Ануся. — Эту вещь ты мне тоже подарить?

— Ишь какая хитрая! Он мне самому нужен. Вот найду еще один, свяжу и буду плавать... И тебе дам поплавать... немножко, — добавляет он после некоторого колебания.

Из-под топчана вылезает разбуженный Бимс, и Ануся забывает о кухтыле.

— Какой чудненький!

Она приседает перед щенком на корточки и начинает гладить. Бимс готовно опрокидывается на спину и подставляет свой розовый живот, но вспоминает о неотложном, ковыляет к миске с водой, долго лакает, потом чуть отходит в сторонку, и из-под него растекается лужица.

— Фу, бесстыдник,— сконфуженно смеется Ануся, оглядывается по сторонам. С самолетным гудением о стекла бьются мухи, из барака по-прежнему несется жуткий хрип.— Пойдем уже на улицу, а?

— Ага, пошли в войну играть... Ты дот видела?

— Не хочу,— говорит Ануся.— Какая это игра!

— А что? Самая лучшая! — убежденно говорит Сашук.— Ну да, ты ж девчонка,— вспоминает он.

— И совсем не потому что! Не люблю, когда убивают... Мамин папа был полковником. И его на войне убили.

— Мы ж будем понарошку!

— Все равно не хочу!

— Ладно,— говорит Сашук,— пойдем так посмотрим.

Он убежден, что, стоит Анусе увидеть окопы, развалины дота, она забудет обо всем и захочет играть в войну.

Однако как только они выходят за ограду, Сашук сам забывает о доте и напрямик, не разбирая дороги, бежит к откосу, по которому спускаются на пляж. Там стоит бог...

### ОРАНЖЕВЫЙ БОГ

В бога Сашук не верит. Бабка умерла полгода назад — поэтому отец и мать и взяли его с собой в Балабановку. Когда бабка была жива, она рассказывала Сашуку о боге и учила молиться. Потихоньку от отца она даже сводила его в церковь и показала бога на картинке. Бог был ужасно заросший, сидел на кучах ваты и держал руки вверх, будто сдавался в плен. Он оказался вредным и злопамятным: за всеми втихоря, исподтишка шпионил, а потом наказывал. Бабка то и дело грозилась, что бог накажет, а если случалось плохое, говорила, что вот «бог и наказал»... Сашуку попадало на каждом шагу от отца, матери, от самой бабки, и ему совсем был ни к чему еще какой-то зловерный старик, который наказывает за всякую ерунду. Сашук пытался поймать бога на горячем, когда он шпионит: прикрыв за собой дверь, внезапно распахивал ее снова, но за дверью никого не оказывалось. Он лазил и в подполье, и на чердак — в подполье было сыро и лежала одна картошка, а на чердаке, кроме пыли, кукурузной шелухи и пауков, ничего не оказалось. Он рассказал бабке, что искал и не нашел бога, она обозвала его дурачком и сказала, что бог не гриб, на месте не сидит, а всюду витает.

— Как это витает?

— Летает, стало быть.

— На реактивном или на спутнике?

Бабка почему-то рассердилась и хлестнула его лестовкой, но потом сказала, чтобы он про всякую дурость не думал — бог везде, только его никто не видит. Сашук подумал, что это какая-то липа, но промолчал, чтобы бабка снова не огрела лестовкой. Как же бога тогда нарисовали, если его никто не видел? Другое дело дядя Семен. Про него говорят, что он водит машину, как бог... Это понятно, его все знают и видят. Хотя дядя Семен на бога никак не похож: бредется почти каждое воскре-

сенье, никого не наказывает и даже мальчишек не очень шугает, когда они липнут к его полуторке.

Бабка еще говорила, что бог всемогущий и творит разные чудеса. Только все чудеса он сделал почему-то раньше, когда-то, а потом разучился, что ли, или перешел на пенсию и ничего такого больше не делает. Так какой от него толк! Еще больше Сашук разуверился, когда спросил, чего бог ест, а бабка снова рассердилась, дала ему подзатыльник и сказала, что бог — дух, есть ему не надо. Тогда Сашуку окончательно стало ясно, что все это чепуха. Дух — значит воздух. А воздуха нечего бояться. Вон когда у дяди Семена скат спустит — воздух пошипит, и все... Нет, бабкин бог был просто сказкой, только в отличие от настоящих сказок, которые интересные, бабкина сказка была неинтересной. Поэтому, когда бабка заставляла его молиться, он рассеянно мотал рукой между животом и подбородком, а все бабкины рассказы пускал мимо ушей. Вот если бы она рассказывала про машины...

Машин Сашук знает много: полуторки, трехтонки, МАЗы... У председателя колхоза в Некрасовке есть «победа». Правда, она такая облезлая, такая мятая-перемятая, чиненая-перечиненная, так тарыхтит и дребезжит на ходу, что сам председатель называет ее «утиль-автомобиль». По глубокому убеждению Сашука, она все-таки очень красивая. Однако то, что он видит сейчас, даже не автомобиль, а чудо...

Сашук о том не подозревает, но он язычник. Втайне он уверен, что мертвого ничего нет, все вокруг живое. Не только люди, звери, птицы. И дерево, и камень, и палка, и любая машина. Они только хитрят, притворяются неживыми, а на самом деле все видят, чувствуют и, когда хотят, делают все по собственной воле, а не по желанию человека. Они даже разговаривают между собой, только так, что люди их не слышат или не понимают. И в душе Сашука все время живет ожидание чуда: вот-вот случится сейчас такое, чего еще никогда не было, никто не видел и не слышал...

И вот чудо произошло. Оно стоит перед Сашуком — оранжевое, неопишимо прекрасное чудо на четырех колесах, окованное стеклом, никелем и хромом. Кузов его пылает, огромные глазищи-фары не сводят с Сашука стеклянного взгляда, маленькие глазки-подфарники следят каждое его движение, а сверкающая пасть радиатора и бампера скалит огромные торчащие клыки. Это вовсе даже не машина, это сам машинный бог, только не из скучной бабкиной сказки, а настоящий, из стекла, резины и стали, которого можно не только видеть, но и потрогать рукой...

Медленно-медленно, как замороженный, Сашук обходит машину вокруг и снова останавливается перед радиатором. От нее нельзя оторвать глаз. Даже сквозь пыль видно, какая она гладенькая — рука скользит по кузову, как по маслу... А в бамперы и колпаки на колесах можно смотреться, как в зеркало. Правда, вместо лица там видна смешная сплюснутая рожица, но все равно они сверкают куда ярче, чем зеркало дома, не говоря уж о растрескавшемся мутном обломке, перед которым бредутся рыбаки...

— Что ты все смотришь и смотришь? — говорит Ануся. — Пошли уже.

— А, подожди! — отмахивается Сашук. — Как ты не понимаешь? Это же «волга»!

«Волги» он никогда не видел, но ребята говорили, что она всем машинам машина.

— А вот и не «волга», — отвечает Ануся. — Это наш «москвич».

— Врешь!

— Зачем мне врать? И вообще я никогда не вру, — с опозданием обижается Ануся.

— Совсем ваш? Собственный?

— Ну да, мы на нем приехали. Папа с мамой уже третий год ездят. Только раньше меня не брали, я с бабушкой оставалась, а теперь взяли.

— И прямо из дому сюда?

— А что особенного? Мама хотела на курорт, а папа сказал, что курорты ему опротивели, лучше ехать дикарями на лоно природы. Вот мы и приехали. Только маме здесь не нравится. Нет удобств и вообще...

Сашука это уже не интересуется. Он заново присматривается к Анусе. Она осталась такой же, но что-то в ней как бы и переменялось после того, как Сашук узнал, что она приехала на этой самой машине. И машина словно бы чуточку стала иной — и та же, и вроде бы чуточку другая. Такая же великолепная, но уже не такая недосягаемая, как за минуту перед этим. Сашук снова обходит ее кругом, заглядывает в зеркальные стекла, трогает все ручки, задние фонарики, фары, узорчатый радиатор.

— Пойдем же, — говорит Ануся, которой все это давно наскучило.

— Обожди... Знаешь, сначала что? Давай, пока никто не видит, залезем в середку и посидим. Немножко.

— А как мы залезем, если она закрыта?

Сашук сокрушенно вздыхает. Но все равно оторваться от машины он не может и ходит вокруг нее, как на прочнейшей, хотя и невидимой корде.

— Тогда знаешь что? Давай ее почистим!

Тонкий слой желтоватой пыли приглушает оранжевое пламя эмали, гасит сверкание хрома, а Сашуку хочется увидеть четырехколесное чудо во всем великолепии. Стирать пыль нечем — вокруг не только тряпки или бумаги, нет даже пучка мягкой травы, одна жесткая верблюжья колючка. Не долго думая, Сашук выдергивает подол рубашки из штанов, становится на колени перед колесом и принимается очищать колпак. Рубашка коротка, ему приходится все время ерзать на коленях, зато колпак вспыскивает режущим глаза блеском. Анусе становится завидно, она опускается на коленки у другого колеса и тоже принимается протирать колпак. Оба стараются вовсю, чтобы перещеголять друг друга, больше ничего не видят и не слышат.

— А вот за это по шее! — раздается над ними сердитый возглас.

Рядом с Сашуком стоят худые волосатые ноги. Над ними короткие трусы, разрисованная рубашка, борода и сверкающие льдом толстые стекла очков.

— Она же ж грязная, — мямлит Сашук. — Мы хотели...

— Ах, вы хотели? — говорит Звездочет, и висящая на кукане одинокая зеленушка делает все более широкие размахи. — Вы предполагали, намеревались и собирались? А кто наследил по машине своей пятерней?

Только теперь Сашук видит, что всюду, где он прикасался к машине, остались отчетливые пятна, полосы и веера растопыренных ладошек. Ответить Сашуку нечего, и он только сокрушенно и пристыженно шмыгает носом.

— Заруби на своем и без того покалеченном носу, — говорит Звездочет, и уже опять нельзя понять, говорит он серьезно или смеется, — машина не кошка — гладить ее незачем, пыль не стирают, а только смывают... А ты, Анна, — поворачивается он к дочери, — смотри: вон идет мать, и сейчас будет грандиозный бенз. Она в панике из-за твоего бегства, а когда увидит, как ты разукрасилась...

Еще недавно голубое платье Ануси стало бурым от пыли, и чего только на нем нет — и рыбья чешуя, налипшая еще на причале, и мыльные потеки, которые стали просто грязными потеками, и даже черные

пятна тавота. Ануся отряхивает подол, платье от этого не становится чище. А мама Ануси быстро, размахисто шагает к машине. Она уже одета, в красно-коричневом платье, которое все блестит и переливается, будто лакированное, полотенце уже не обмотано вокруг головы, а висит на руке, и теперь видно, что у нее такие же вьющиеся белокурые волосы, как у Ануси. На носу нет бумажной нащепки, с лица стерта белая намазка, и лицо это еще красивее, чем прежде, но такое гневное, что Сашук независимо, однако и без промедления уходит за машину, туда, где Звездочет открывает ключом переднюю дверцу. Тот достает парусиновые штаны и натягивает, потом распахивает все четыре дверцы, чтобы проветрить: машина раскалилась на солнце, из нее пышет, как из только что истопленной печи. И в это время раздражается предсказанный «бенц».

— Ануся, почему ты убежала? — еще издали говорит мать. — Я ведь тебе запретила уходить!.. Боже мой, на кого ты похожа?! — кричит она. — Ты нарочно, назло? Или опять собирала всякую дрянь с тем грязным мальчишкой?!

— Мапочка, при чем тут он? Он же меня не пачкал, я сама...

Звездочет издает странный звук — не то фыркает, не то хрюкает, — и Сашуку кажется, что он ему подмигивает, но не уверен в этом, толстые стекла очков мешают.

— Ты еще его оправдываешь? Не смей к нему подходить! Слышишь?.. Пусть он только попадется мне на глаза!..

В этот момент она обходит багажник, и Сашук попадает ей на глаза.

— Ах, ты здесь? А ну, убирайся отсюда. Немедленно! И чтоб я тебя больше не видела!..

— Люда! — вполголоса говорит Звездочет. — Нельзя же так. Как тебе не стыдно!

— Нисколько не стыдно! Если ты не хочешь думать о своем ребенке...

— Но ведь он тоже ребенок.

— Какое мне дело до чужих сопливых детенышей! У меня и так голова кругом идет...

Сашук поворачивается и, вбрав голову в плечи, уходит. Уши у него горят, глаза щиплет, и в горячую бархатную пыль под ногами даже падает несколько капель. Ух, до чего злющая тетка. И как он ее ненавидит... Чего она к нему придирается? Ануся сама к нему прибежала. Разве он ее звал? Пусть теперь только попробует подойти, он так шуганет... И сам ни за что не подойдет. Нужны они ему...

Несмотря на всю горечь незаслуженной обиды, уйти совсем, окончательно он не может. Хоть издали, хоть краешком глаза он должен посмотреть, как тронется с места, поедет оранжевое чудо. Что она ему, запретит? Степь не ее, кто хочет, тот и ходит... Отойдя в сторонку, Сашук садится на землю и делает вид, что расковыривает ход в подземное жилище мурашей, а на самом деле искоса наблюдает происходящее у машины. Злющая тетка снимает с Ануси платье, вытряхивает и надевает снова. И все время что-то говорит. Что говорит — понятно и так: ругается и наговаривает на него, на Сашука. А Звездочет долго стоит, опустив голову и поглаживая бороду, потом решительно поворачивается и... идет к Сашуку. Сашук вскакивает. На всякий случай. Чтобы сразу дать деру, если что...

— Рассердился? — спрашивает Звездочет, подойдя.

— А чего она придирается?

— Обидно, я понимаю, — раздумчиво говорит Звездочет, дергая свою бороду. — Что ж, хотя это абсолютно непедагогично, могу только повторить совет Чапая. — Сашук, не понимая, смотрит на него снизу

вверх.— Насколько я помню, он рекомендовал цаплевать и забыть... Теперь пошли со мной.

— Зачем?

— Звездочеты не только знают звезды, они умеют предсказывать и угадывать чужие желания. Твое я уже угадал.

— А вот и нет!

— Вот и да! Смотри на меня! — строго говорит он и, указывая на Сашука пальцем, торжественно произносит: — Ты хочешь проехаться на машине!

Глаза и рот Сашука так распахиваются, что Звездочет снова издает странный звук — не то хрюкает, не то фыркает, — поворачивается и идет к машине. Не веря, сомневаясь и пламенно надеясь, Сашук вподбежку спешит следом.

Жена Звездочета встречает их колючим взглядом.

— Зачем ты его привел? Что ты собираешься делать?

— Восстановить справедливость. В таком возрасте нельзя терять в нее веру.

Жена закусывает нижнюю губу, сажает Анусю на заднее сиденье, садится сама и со страшным стуком захлопывает дверцу.

— Вот так, — говорит Звездочет, — а спереди будет сидеть избранное мужское общество. Прошу!

Он распахивает перед Сашуком правую дверцу, ждет, пока тот взберется на сиденье, и захлопывает. Внутри так чисто и красиво, так блестят разные штучки и ручки, такая диковинная собачка болтается на резинке перед ветровым стеклом, а сзади так зловеще молчит Анусина мама и Сашук так всей спиной и затылком чувствует ее колючий взгляд, — что он не только ничего не трогает, но боится пошевелиться и с трудом, прерывисто переводит дыхание.

— Ну как, нравится? — спрашивает Звездочет, садясь за баранку.

От полноты чувств Сашук не может выговорить ни слова и только быстро-быстро кивает.

— Что же надо делать, чтобы поехать?

— Погудеть! — шепотом подсказывает Сашук.

— Погудеть? Да, в самом деле, какая же езда без гудения?.. Давай гуди.

Сашук тянется к большой черной кнопке на торце рулевой колонки, нажимает, но гудка нет.

— Дудки, — говорит Звездочет. — Гудок у меня заколдованный, настоящий звездочетский...

Глаза Сашука загораются восторгом.

— Сейчас мы его расколдуем. Эн, де, труа, бешамель де валуа... Теперь нажми эту дужку.

Сашук осторожно трогает хромированный пруток под баранкой, и над степью разносится гудок. Он зычен и звонок и так же не похож на хрипкое кряканье полуторки дяди Семена, как сама выдавшая виды облезлая полуторка на оранжевого шеголя.

— Папа, пап! Я тоже хочу! — кричит Ануся, вскакивает ногами на сиденье, перебаливается через плечо отца и тянется к дуге сигнала. Звонкий голос «москвича» раскатывается над обрывом, падает вниз, чайки шарахаются от него в море.

— Хватит, граждане, — говорит Звездочет. — Надо совесть иметь, а то сейчас обратно заколдую, и машина никуда не пойдет.

Сашук отдергивает руку, Анусю мать сердито стаскивает и сажает на место. Звездочет поворачивает ключик, внизу что-то рычит и сейчас же смолкает.

— Поломалась? — встревоженно спрашивает Сашук, но тут же сам видит, что ничего не поломалось, и они уже не стоят, а едут и даже не едут, а плывут — так плавно и мягко трогает машина с места.

— Газанем? — спрашивает Звездочет.

— Ага! — радостно кивает Сашук.

— Ну, держись, увезу тебя сейчас на край света...

— Ага! — ликуя, кивает Сашук.

Он согласен на все, лишь бы ехать и ехать в этой волшебной машине: Она мягко раскачивается на ухабах, волочит за собой длиннющий хвост пыли и мчится так, что воздух ревет, врываясь в окна.

Счастье никогда не бывает долгим. Обогнув по задам четыре усадьбы, «москвич» въезжает в улицу, поворачивает и останавливается возле ворот пятой хаты. Пыль, которая раньше никак не могла догнать машину, теперь набрасывается на нее и окутывает густым желтым облаком. Серdito отплевываясь, жена Звездочета выскакивает из машины и утаскивает за собой Анусю. Сашук вопросительно смотрит на Звездочета.

— Слезай, приехали, — говорит тот. — Путешествие окончено.

Сашука пронзает горькое разочарование. Он вылезает из машины, отходит в сторонку, но, как только Звездочет разворачивает автомобиль и въезжает во двор, Сашук припадает к редкому штaketнику, опоясывающему двор. Звездочет открывает капот, долго там копается, потом закрывает капот, все дверцы и наконец замечает прижатое к штaketнику лицо Сашука.

— Ты собираешься стоять здесь всю ночь?

Сашук молчит.

— Лети домой, а то тебе тоже бенц устроят.

Сашук отрывается от штaketника, но тотчас опять припадает к нему.

— Ладно, я к вам еще приду? — с надеждой спрашивает он.

— Валий, — соглашается Звездочет, и теперь даже сквозь толстые стекла очков Сашук отчетливо видит, что левый глаз его подмигивает.

Блаженная улыбка снова растягивает лицо Сашука, и он припускает дсмой, к бригадному барaku.

## ПИЩА НАША

Соскучившийся Бимс бросается ему навстречу, но Сашуку не до него. Первым делом он бежит в барак к зеркалу. Оно всегда стоит на подоконнике: возле окна рыбаки бреются. Зеркало треснутое, мутное и изрядно засиженное мухами. Сашук плюет на него, протирает рукавом. Оно ничуть не светлеет, но все равно видно, что с носом плохо. Кожа красная и лоснящаяся, как нарыв, а вокруг — остатки старой, облупыши. Сашук сковыривает их ногтем, но под ними такая же воспаленная, багровая кожа.

— Ты чего нос себе обдираешь? — спрашивает Иван Данилович.

Рыбаки почти все в бараке: кто отсыпается после червоного, кто просто так лежит отдыхает перед обедом и вечерним выходом в море. Жорка уже выспался и лежит, заложив руки под голову, а ноги задрал на спинку койки. Он тоже наблюдает за Сашуком и тут же встречается.

— Так он же, — кричит Жорка на весь барак, — он же кралю себе нашел! Я видал, как они до машины побежали. Там такая фуфыря — антик-марэ с мармеладом! И где только выискал? Вот теперь форс и наводит...

Рыбаки смеются, а Сашук вспыхивает и, сжав кулаки, оборачивается. А он-то еще собирался рассказать Жорке про машину, про все...

— Как не стыдно! — кричит Сашук. — Как не бессовестно!

— Да ты не сердчай, не отобью. Только гляди, на свадьбу позови! — хохочет Жорка.

Рыбаки смотрят на яростно взъерошенного, пылающего Сашука и тоже грохочут.

— Жеребцы стоялые,— говорит Иван Данилович,— нашли над кем...

Ненавидя их всех, Сашук выбегает из барака. Бимс кидается ему под ноги, Сашук пинает его, тот жалобно скулит, и Сашуку становится стыдно и жалко. Он нагибается и гладит его.

— Ладно,— говорит он,— не сердись, я нечаянно, со злости.

Щенок зла не помнит. Он тут же начинает ластиться, лизать Сашукову руку. Сашук тормошит его и мало-помалу отходит.

Мать уже вернулась и возится у плиты под навесом, готовит обед. Сашук бежит к ней.

— Мам, дай мне другую рубашку.

— Чего ради?

— Эта уже грязная.

— Поменьше в грязи гваздайся. Вчера только надел. И с чего ты чистюля такой стал?

— Да ну, мамк...— начинает канючить Сашук.

Но мать отмахивается:

— Не приставай, без тебя тошно.

Похоже, что ей на самом деле тошно: ходит с трудом, полусогнувшись, лицо бледное, под глазами темные круги, а на висках выступили капельки пота. Сашук направляется к раковине и долго, старательно моет руки, даже трет их песком. Руки светлеют, но самую малость, а пальцы так и остаются с обгрызанными ногтями и заусеницами.

За обедом Сашук смотрит в свою миску и ни с кем не разговаривает. Принципиально. Раз они такие.

Рыбаки идут на причал, мать, тяжело вздыхая, то и дело приостанавливаясь, моет посуду; потом уходит в барак и ложится. Сашук идет на берег, втайне надеясь, что Звездочет снова привезет свое семейство купаться. Больших медуз в воде уже нет, они снова ушли на глубину, в свою бездну, из которой приплыли к берегу погреться на солнце, у берега болтаются лишь маленькие, как блюдечки, да и те постепенно исчезают. Солнце скрывается за излучиной обрыва, Звездочет не приезжает и уже, должно быть, не придет. Сашук бредет домой.

Мать лежит в боковушке и тихонько стонет. От этого Сашуку становится скучно и не по себе, он идет во двор, усаживается за длинный на козлах обеденный стол под навесом и смотрит, как постепенно догорает, гаснет закатное зарево. Сизая дымка густеет, наливается синевой, потом сразу становится непроглядно черной. На не видной отсюда окраине Балабановки взлаивает пес, ему отвечают другие, некоторое время они перебрехиваются, будто ведут переключку перед ночным дежурством, и замолкают. С моря не доносится ни единого всплеска, легкий бриз, который весь день дул с моря, затих, а береговой еще не поднялся, и Сашука обступает глухая, плотная тишина. Сидеть в темной тишине жутко, но Сашук оглядывается назад — распахнутая дверь барака, где лежит мать, в трех шагах, а босая нога ощущает короткую теплую шерсть Бимса, свернувшегося под скамейкой. «И вообще чего бояться? — уговаривает себя Сашук.— Если бояться, так никогда и не найдешь...» Правда, Звездочет не сказал, как ее искать, но уж он как-нибудь найдет. Если она его, она ему сама даст знак: подмигнет или еще как... Звезды одна за другой уже проклевываются в черном небе, но такие дрожащие и слабенькие, что ни одна из них не может быть его звездой. Сашук облакачивается на стол, опирается скулой о кулак...

— Ты чего здесь куняешь?

Шершавая, как наждак, ладонь Ивана Даниловича запрокидывает лоб Сашука. В бараке горит свет, слышны голоса вернувшихся рыбаков. Сашук сначала не хочет отвечать, но вспоминает, что Иван Данилович никогда над ним не смеется, сильнее всех и больше всех знает. Может, он и про это знает?

— Я звезду ишу. Дяденька... ну, который на машине, на красной, сказал, что у каждого должна быть звезда.

— Вот оно что!.. Ладно, пойдем, я тебе покажу.

Они выходят из-под навеса, заслоняющего звезды.

— Большую Медведицу знаешь? Тогда смотри за моим пальцем — вон семь звезд. Получается вроде ковша или кастрюли с ручкой. А теперь через эти две звезды смотри вверх — там тоже кастрюля, только поменьше и ручкой в другую сторону. На конце той ручки — звезда. Видишь? Полярная называется. Для нашего брата — наиглавнейшая звезда. Она всегда север показывает. Как моряки или рыбаки без компаса заблудятся, ни берега, ничего не видать, найдут эту звезду и — по ней прямехонько домой...

— Не! — подумав, отвечает Сашук. — Это всякая. А он сказал: у каждого своя.

— Тогда ищи сам. Только другим разом, а теперь спать бегни, тебе уже третий сон видеть пора...

Мать не спит, блестящие глаза ее смотрят куда-то в угол, под потолок. Отец растерянно мыкается по боковушке и приговаривает:

— Взвара бы. Или киселя холодненького. Может, и обошлось бы, полегчало... А завтра что ж будет?

— Как-нибудь отлежусь, — тихонько отвечает мать. — Ты спи, устал ведь...

Сашук ложится на свой жесткий топчан и думает, что взвара бы хорошо — и ему бы перепало. Когда он хворал, бабка варила взвар только для него. Но тогда — он хорошо это помнит — ему даже не хотелось. А когда он поправился и ему захотелось, никакого взвара уже не варили и не давали. Почему это вкусные вещи дают только больным, когда им вовсе ни к чему, а здоровым очень даже к чему, но им не дают?.. Додумать эту важную мысль Сашук не успевает — веки склеиваются, а мысли разбегаются в разные стороны, как рассыпанный горох.

Когда Сашук просыпается, в бараке тихо. Значит, рыбаки ушли, а он снова проспал, но тут же видит, что мать лежит, стало быть, не так уж поздно. Тихонько, чтобы не разбудить мать, он выскальзывает во двор. Солнце еще только-только поднялось над морем, и, если прищуриться, на него даже можно смотреть. Сашук шурит по очереди то один глаз, то другой и смотрит на солнце до тех пор, пока глаза не начинают резать, а голова кружиться, потом вспоминает все вчерашнее, бежит со двора, но спохватывается и возвращается к рукомойнику. Он плещет с ладошек на лицо, даже зачем-то смачивает белобрысый свой чубчик. Идти за полотенцем некогда, и утирается Сашук уже на бегу рукавом.

Оранжевый «москвич» стоит за штaketником на прежнем месте. Окна в хате распахнуты настежь, но никого не видно и не слышно. Спят. Улица, на которой хаты стоят только в один ряд, пуста, нет даже ни мальчишек, ни собак. А эти ж еще хуже — городские, наверно, спать будут долго. Все-таки Сашук не уходит. Он бродит по канаве, тянувшейся вдоль дороги, только там ничего интересного нет — окаменелая грязь, бурьян да совсем бросовый хлам. Солнце припекает, в животе Сашук явственно ощущает пустоту, а там все спят и спят. Он бросает прощальный взгляд на «москвича» и уходит. К его удивлению, мать еще не встала.

— Мамк, я есть хочу, — говорит Сашук, подходя к койке.

Оказывается, она совсем не спит. Блестящие глаза ее смотрят в тот

же угол под потолком, круги под глазами еще больше, а лицо синевато-бледное. Она шевелит запекшимися губами, но отзывается не сразу.

— Ключ возьми... под подушкой. В кладовке хлеба отрежь... Не по-режься, смотри...

— Что я, маленький?

— Только, сынок, там сало лежит — не трогай... Оно артельское, нельзя. Если хочешь, капустки возьми, в кадушке...

Сашук шарит у нее под подушкой, достает ключ. Кладовка во дворе, наполовину врытая в землю, там сумрачно и прохладно. Прижав к животу хлебный кирпич, Сашук срезает себе горбушку, подумав, отрезает еще ломоть — про запас и для Бимса. На ящике, прикрытое холщовой тряпкой, лежит сало. Его много — три толстых белых пласта, рассеченных на четыре части, поблескивают крупной солью. Сало Сашук любит, но ест его нечасто. Он оглядывается на открытую дверь кладовки и раздумывает. Никто же не увидит... Потом глотает слюну и решительно прикрывает сало тряпкой. Капуста старая, воняет бочкой — прямо с души воротит. Сашук посыпает свою горбушку крупной солью, запирает кладовку и бежит обратно к матери. Бимс юлит, виляет бубликом-хвостом, получив ломоть хлеба, укладывается и тоже принимается жадно есть. Мать переводит взгляд на громко тикающие ходики.

— Господи, скоро шесть... — И пробует приподняться, но обессиленно опускает голову на подушку. — Сынок, а сынок, — немного передохнув, говорит она. — Рыбаки скоро с моря придут...

Сашук перестает болтать ногами, но продолжает уплетать горбушку.

— А я вот слегла... Есть-то им будет нечего...

Сашук перестает жевать и, зажав ладошки между колен, ждет, что она скажет дальше.

— Может, ты расстарайся?

— Так а я чего? Я не умею.

— Хоть как-нибудь.

— Да ну, мамк, не хочу я! И некогда мне, пускай сами...

— Ты погоди, ты подумай... Ушли они до света, а придут часов в восемь... Они ж не катаются, а работают. Тяжко работают, сынок... Ты весла ихние видел?

Сашук кивает. Весла здоровущие. Он как-то попробовал приподнять — и пошевелить не смог. Как бревно. Не зря на одном весле по два человека сидят.

— Ты подумай-ка сам: пять часов таким веслом помахать!

— Я бы взял и бросил.

— Глупый ты еще... И они, чай, не от радости — на жизнь зарабатывать надо... Ты вон только побегаешь, и то есть хочешь. А им какво? Небось все руки-ноги ломит...

Сашук пытается представить, как это ломит руки-ноги, и не может. Но он знает, что рыбаки всегда приходят голодные-преголодные. Едят быстро и молча. А потом сразу ложатся отдыхать. Очень устали потому что. А тут они придут, а есть нечего, надо варить и ждать. Они будут сердиться и ругаться, и даже сам Иван Данилыч.

— Ладно, — говорит Сашук, — только ты говори чего...

— Вот и хорошо, вот и ладненько... — говорит мать, и губы у нее почему-то дрожат. — Хоть кондер сварим. Я тебе все по порядку... Ты перво-наперво плиту почисти кочережкой...

Через полминуты под навесом начинается извержение вулкана — зола и пепел столбом поднимаются над плитой, усыпают все подступы к ней. Сашук чихает, кашляет, но орудует кочережкой, пока колосники и поддувало не станут чистыми.

— Дальше чего? — прибегает он к матери.

— Господи, измазаясь-то, как чертушка! — скосив на него глаза, говорит мать. — Ладно уж... Натаскай воды в котел, ладошки две не до краев... Потом чайник. И разожги...

Хорошо хоть железная цистерна с водой близко. Сашук таскает воду котелком и старательно прикладывает к краю ладошки. На растрескавшейся эмали котла остаются сажевые следы, зато мера точная, тютелька в тютельку — две ладошки. Разжечь плиту — дело плевое, Сашук не раз с ребятами жег костры и в плавнях, и на огородах. Пламя в плите начинает реветь. Потом Сашук приносит из подвала два котелка пшена, отрезает четвертушку сала. Он режет сало на мелкие кусочки, а Бимс, уловив волнующий запах, вьется под ногами и скулит.

— Не подлизывайся! — строго говорит Сашук. — Сказано тебе: нельзя! Артельское...

Все-таки он не выдерживает: отрезает маленький кусок шкурки, дает щенку. И себе отрезает такой же, кладет за щеку и сосет. Шкурка вкусная, ее можно сосать долго, но Бимс, не жуя, заглатывает свой кусок и так царапает Сашуковы ноги острыми когтями, так умильно заглядывает ему в лицо, что Сашук вынимает шкурку изо рта и отдает щенку. Кондер закипает, и оказывается, что самое трудное — мешать. Большая деревянная ложка почти целиком уходит в котел, а кондер густеет, и его все труднее размешивать. Сашук доликает воды, но он снова густеет, надувается пузырями, пахнет паром и целыми шлепками кипящей крупы. Уже немало таких шлепков попало на плиту, они горят и воняют. А потом такой шлепок попадает Сашуку на запястье, он бросает ложку и с ревом бежит к матери.

— Опарился? Ничего, ничего... Ты послунь и солью посыпь. Оно и отойдет, не так печь будет...

Сашук посыпает, соль грубой коркой присыхает на ожоге, и через некоторое время в самом деле становится легче.

Тем временем к причалу подходят лодки. Сашук бежит туда и, забыв об ожоге, обо всех неприятностях, горделиво кричит:

— Папк, дяденка Иван Данилыч! А я кондер сварил! Сам, один!

— А мать чего ж?

— Так она хвора, — радостно сообщает Сашук. — Вот я и варил...

Иван Данилович и отец переглядываются, отец вспрыгивает на причал и быстро идет к бараку, а Сашук обижается — никто не радуется и не удивляется тому, что он сам, один сварил кондер.

Рыбы мало, ее быстро разгружают, транспортер уносит ее в цех, рыбаки идут домой. Надутый, обиженный Сашук бежит следом за бригадиром. Тот прежде всего идет в боковушку к матери. Та с трудом поворачивает к нему голову.

— Вы уж не сердчайте, Иван Данилыч, не смогла я, совсем ослабла...

— Ничего, с голоду не помрем. Поправляйся давай, — говорит Иван Данилович, кивает отцу Сашука, и они выходят во двор. — Табак дело, Федор, надо Настю к доктору.

— Где ж его взять?

— В Николаевке нету. Там даже фельдшера нет. Только в Тузлах. Туда и везти.

— А на чем?

— Да не будь ты тютей! — сердится Иван Данилович. — Где, на чем да как... Иди в Николаевку — в сельсовет, в колхоз, — добывай транспорт. Там ведь люди, помогут, нельзя, чтоб не помогли. Добывайся, требуй!

Отец, ни слова не говоря, поворачивается и быстро шагает со двора.

— Ну, кухарь, показывай, чего наварил.

Сашук стаскивает тяжелую деревянную крышку с котла, Иван Данилович заглядывает.

— И все сам?

Сашук быстро и часто кивает головой.

— Знатный кондер!.. Кажись, малость пригорел, ну не беда — смачней будет... Молодец парень!

Сашук расплывается. Если уж сам Иван Данилыч говорит...

Рыбаки садятся за стол, начинают есть, и Сашук ждет, что сейчас все, как Иван Данилович, будут говорить, какой замечательный кондер он сварил, и хвалить его, Сашука, но вместо этого слышит, как Игнат бурчит:

— Какой же то кондер, то ж каша, ее хочь колуном рубай.

— Заглаташь и такую,— отзывается Жорка.— Щи да каша — пища наша! Верно, Боцман?

— Это тебе все одно — что дерево, что бревно... Дай табуретку — и ту жуешь... А человеку после работы еда нужна.

— Не нравится? — спрашивает Иван Данилович, и голос его не сулит ничего хорошего.— Скажи малому спасибо и за такую еду, а то сидели бы на одном хлебе.

Каша в самом деле очень крутая, с трудом проходит в глотку, горчит, но из всех каш, какие он ел, кажется Сашуку самой вкусной, а Иван Данилович... Иван Данилович, конечно же, самый справедливый и самый авторитетный из всех людей, каких он знает.

### САМОРДУИ

Сашук наедается своей кашей до отвала и соловееет от сытости и усталости. Оказывается, даже если только сварить один кондер, и то устанешь, и он уже предвкушает, как вместе со всеми рыбаками пойдет в барак и ляжет отдыхать. С устатку... Ну Иван Данилович говорит вдруг:

— Егор, прибери давай, что ли.

Жорка недовольно морщится.

— Надо ж кому-то. А ты моложе всех...

— Ладно,— говорит Жорка.— Если только шеф-повар подсобит. Как, Боцман, подмогнешь? Мы с тобой враз все подчистую...

Сашук согласен. Он согласен сейчас на все. Даже сварить новый кондер. Или что угодно. Лишь бы опять говорили, какой он молодец и как здорово у него все получается.

— Как нам это дело оборудовать? — спрашивает Жорка и на минутку задумывается, потом берет детскую оцинкованную ванночку, в которой Сашукова мать делает постирушки, и они сваливают туда все миски и ложки.

— Я буду мыть, а ты таскай, на столе раскладывай.

— И вытирать?

— Ну, еще вытирать! Сами на солнце высохнут.

И в самом деле, солнце так накаляет алюминиевые ложки и миски, что они обжигают руки.

— Вон ты его как уделал! — говорит Жорка, наклоняясь над котлом.— Теперь хоть бульдозером выгребай... Тащи песку!

— А где? Тут же нету.

— На море тебе песку мало? Эх ты, а еще Боцман...

Сашук бежит к морю и уже только на берегу спохватывается — прибежал он без посуды. Не раздумывая долго, он насыпает полную пазуху

и, придерживая вздувшуюся пузырем рубаху, бежит обратно. Струйки песка щекотно бегут по телу, но все-таки почти половину он доносит до места. Жорка шурует вмазанный котел, Сашук, облокотившись о плиту, наблюдает.

— А боцман это кто? — спрашивает он.

— Боцман — это, брат, фигура. На корабле первый человек.

— Начальник?

— Ну, начальник! Чего доброго, а их и над ним хватает. А боцман — он и старший, и вроде свой. А главное — по всей корабельной части мастак. И по жизни тоже. Каждую заклепку знает и кто чем дышит... Кончик! Теперь можно пойти храпануть... Пстой, а где же твоя краля? Или уже разошлись, как в море корабли?

— Ну чего привязался? — краснеет Сашук.

— Ладно-ладно, уже и пошутить нельзя, — примирительно говорит Жорка и уходит спать.

Сашук бежит к матери — может, она передумала и все-таки даст новую рубашку? Мать еще бледнее, дышит тяжело и стонет. Какая уж там рубашка! Сашук поворачивает обратно, но мать замечает его.

— Посиди со мной, сынок, — слабым голосом говорит она.

Сашук садится на свой топчан.

— Иван Данилыч сказал: я молодец.

— Молодец, молодец... — подтверждает мать.

— А еще мы с Жоркой посуду помыли!

Мать молчит, но Сашук и так знает: ей не по душе, что он опять был с Жоркой. Он лезет под топчан, достает кухтыль, заново рассматривает свое сокровище, потом прячет обратно. Мухи звенят, бьются о пыльные оконные стекла. Сашук складывает ладонь лодочкой и начинает их ловить. Мухи надсадно жужжат и щекотно бьются в ладошке. Однако мухи скоро надоедают. Мать все так же смотрит в угол под потолком и тихонько стонет. От этого Сашуку становится совсем тоскливо.

— Я пойду с Бимсом поиграю, — говорит он.

— Ладно уж, беги, — вздыхает мать.

Сашук бежит, но вовсе не играть с Бимсом, а напрямик к пятой хате. Он подбегает и столбенеет — машины нет. Совсем нет. Ни во дворе, ни в сарае, ворота которого распахнуты настезь, ни за сараем. Уехали. Вот даже видны свежие отпечатки покрышек в толстом слое пыли на дороге. Значит, недавно. Может, только что. Обманул Звездочет. А еще звал приходиться. Ну, не звал, а сказал: валяй — значит приходи, а сам... Эх!

Сашуку становится так горько, так обидно, хоть плачь. Но он не плачет, а, сунув руки в карманы, насупившись, смотрит вдоль улицы, в Балабановку. Может, они не насовсем, а так — на базар или куда и еще приедут? Хорошо бы пойти во двор и спросить, куда уехали квартиранты, однако на это Сашук не решается — прогонят и еще обругают. Лучше здесь подождать. Все равно дома ничего интересного — мамка стонет, а рыбаки спят.

Сашук перебирается через канаву, садится на корточки возле старого толстого тополя и ждет. Сколько он сидит — полчаса, час или два — неизвестно. Солнце стоит на месте, да и все равно по солнцу определять время он не умеет, а часы — откуда у него часы, если их и у отца нет? Улица пуста. Только раз тетка из одной хаты пошла в другую, потом вернулась. Да еще пробежала собака.

Время идет, надежды гаснут. Сашук перелезает канаву и тут вдруг видит идущего из Балабановки отца. Он весь запыхался, лицо тоже в пыли, по нему текут грязные струйки пота.

— Ты зачем здесь? — строго спрашивает отец, но ответа не ждет. — Как там мамка?

— Лежит.

— Вот беда. И Балабановку, и всю Николаевку избегал — ничего. Лошадей нет — какие теперь у мужиков лошади? А в колхозе все машины в разгоне. Уборка. Пришел в сельсовет, а там говорят: у нас один велосипед...

Говорит он, в сущности, не для Сашука, а сам с собой, потому что ему не с кем поделиться, некому пожаловаться и потому что он не знает, как быть.

— В насмешку, что ли? Разве на велосипеде довезешь? До Тузлов, шутка сказать, двадцать пять километров, по дороге кровью изойдет...

— А зачем? — спрашивает Сашук.

— В больницу надо мамку везти. А то так и помрет. Что мы тогда делать будем?

— Ну да, — говорит Сашук. — Она же не старая!

— Дурачок! Разве только старые помирают?.. И черт нас дернул в село ходить, все одно без толку... А может, дорога ей повредила, рас-трясло...

Говоря сам с собой, отец торопливо шагает задами крайних хат — так ближе, — а Сашук старается не отстать и напряженно думает. С какой стати мамка должна помирать? Ну, похворает, и все. Она уже хворала. Две недели лежала в больнице, в Измаиле. Сашуку было даже лучше. Ну, случилось, сидели всухомятку — беда большая. Зато бегай сколько хочешь и где хочешь, никто домой не загоняет. А тут вдруг помирать! Сашук только раз видел покойницу — бабуку. Лицо у нее стало маленькое, желтое и какое-то чужое. А самое страшное — она стала неживой, не говорила, не смотрела, лежала на столе, сложив руки, а потом ее увезли и закопали в землю...

Сашука охватывает все большая тревога и смятение, он уже просто бежит бегом и вдруг замечает, что отец тоже бежит, обгоняет его и — прямым на бригадный двор.

Посреди двора стоит газик. Обе дверцы его распахнуты, во все сиденье растянулся на животе вихрастый молодой парень. Он лежит и курит.

— Слушай, — запыхавшись, говорит отец, — слушай, друг! Выручи, сделай одолжение — подкинь человека до Тузлов... А?

Парень поднимает взгляд на отца.

— Какого человека?

— Да жинка у меня захворала, срочно в больницу надо. А тут хоть убейся — никакого транспорта. Ни лошади, ничего, хоть на себе неси...

— Нет, — говорит вихрастый, — не имею права. Я козлу не хозяин. Проси начальника. Мне что? Скажет — отвезу!

— А где твой начальник?

— С бригадиром куда-то подались. Может, в лавку — подзаправиться...

Иван Данилович сидит на крыльце за столом, на столе две пустые бутылки из-под красного и одна начатая. Напротив сидит незнакомый человек в вышитой рубашке. Рубашка лежит на нем без единой морщинки.

— Доброго здоровья, — говорит отец, подходя к крыльцу и стаскивая кепку.

— Привет, привет, — отвечает приезжий и вопросительно смотрит на Ивана Даниловича.

— Рыбак наш, — роняет тот.

— Я до вас, — говорит отец. — Просьба у меня... Насквозь всю Балабановку и Николаевку избегал. Ни лошади, ничего... А в колхозе все

машины в разгоне. И председатель говорит: не имею права с уборки снять, голову оторвут...

— Правильно, оторвут,— солидно подтверждает приезжий.— А в чем дело?

— Жинка у него захворала,— объясняет Иван Данилович.— Недавно из больницы выписалась, сюда приехала и слегла.

— Зачем же рано выписали?

— Разве спрашивают? Выписали, и все,— говорит отец. Пот еще обильнее выступает у него на лице, на шее, он начинает торопливо вытирать его скомканной кепкой.— Сделайте одолжение...

— Так а я при чем? Я не доктор.

— Дозвольте на вашей машине до Тузлов отвезти. Всего двадцать пять километров...

Отец заискивающе, просительно смотрит на приезжего. Тот молчит и думает. Лицо его остается неподвижным, только словно твердеет.

— Ну,— говорит он,— я эти двадцать пять километров знаю. Часа полтора будет тащиться, да там пока то да се... Это я сколько часов потеряю? Нет, не могу. Не имею права. Мое время мне не принадлежит, я на работе. В соседнем колхозе уборку заваливают, надо туда гнать, накачку делать... Изыскивайте местные ресурсы.

Он допивает свой стакан, тыльной стороной ладони вытирает губы и тянется за шляпой. Шляпа светло-желтая и вся в дырочках, как решето,— чтобы продувало. Сашук переводит взгляд на Ивана Даниловича. Он ждет, что Иван Данилович сейчас скажет, и этот человек его послушается, как слушаются все, но Иван Данилович молчит, смотрит в стол и размазывает пальцем по столешнице лужицу красного.

Приезжий, а за ним Иван Данилович сходят с крыльца, направляют в бригадный двор. Отец и Сашук идут позади. Отец так и не надевает кепки, должно быть, хочет улучшить момент, когда тот обернется или остановится, и снова попросить, а может, надеется, что он и сам передумает. Сашук тоже надеется. Шофер, еще издали завидев начальство, садится за баранку и заводит мотор.

— Привет! — говорит приезжий, повернувшись к Ивану Даниловичу, потом открывает правую дверцу.

И тогда Сашук понимает, что он не передумает, что мамка так и останется лежать в душной, звенящей мухами боковушке, будет страшно стонать и, может, даже помрет... Сам себя не помня, Сашук сжимает кулаки и что есть силы, со всей злостью, на какую способен, кричит в обтянутую рубашкой спину:

— Самордуй!

За шумом мотора человек в рубашке не слышит или не обращает внимания, он даже не оборачивается. Но отец слышит и дает Сашуку такую затрещину, что тот летит кубарем.

Давно уже улеглась пыль, поднятая кургузым «козлом», а Сашук все еще сидит под навесом, размазывая по щекам злые слезы. Домой он идти не хочет: там отец, а отца он сейчас не любит и презирает. И Ивана Даниловича тоже. Оба забоялись. Вот был бы Жорка, он бы врезал этому самордую... Да и сам Сашук тоже бы не забоялся, если бы камень или еще что. Как запулил бы... Он долго перебирает, чем бы можно запулить или прищучить другим способом, и слезы незаметно высыхают.

Вдоль задов ближних хат клубится пыль. Сашук смотрит на нее без всякого интереса — что интересного в поднятой ветром пыли? Но на повороте в пыльном облаке мелькает оранжевый кузов. Сашук вскакивает, чтобы лучше видеть. Ветер оттягивает пыль в сторону, и уже ясно видно, что оранжевый автомобиль направляется к откосу, ведущему на пляж.

Сашук вскакивает, бежит через двор навстречу машине, потом вдруг спохватывается и стремглав бросается в барак.

— Папа! Пап! — кричит он.

— Тихо ты! — замахивается на него отец кепкой, которую так и не выпускает из рук. — Не видишь?

Мать лежит с закрытыми глазами, лицо у нее уже не просто бледное, а иссиня-землистое.

— Так папа же! — шепотом кричит Сашук. — Там Звездочет приехал!

— Чего мелешь?

— Ну, дяденька этот... на машине. Пойдем его попросим...

Отец вскакивает, они вдвоем бегут к оранжевому автомобилю. Ануся уже вприпрыжку скачет к откосу, мама ее с туго набитой сумкой идет следом, а Звездочет захлопывает дверцы и взваливает на плечо колья для тента, обмотанные простыней.

— Гражданин! — отчаянным голосом говорит, подбегая, отец. — Я очень извиняюсь, гражданин... Выручите за ради бога!

Он нещадно комкает кепку, Сашук впервые видит, какое у него измученное лицо, как дрожат побелевшие губы, и у него самого губы тоже начинают дрожать.

— Что такое? — оборачивается Звездочет и ставит колья на землю.

Мама Ануси делает к ним несколько шагов, но останавливается поодаль.

— Жинка у меня захворала, в больницу надо, в Тузлы... Весь избегался — не на чем везти! Ни лошади, ни машины — хоть убейся!.. Всего двадцать пять километров. А если тут по берегу, может, и ближе...

— Евгений, на минутку! — окликает Звездочета жена.

— Подождите, — говорит Звездочет отцу и отходит.

Они стоят шагах в десяти, разговаривают негромко, но Сашук все слышит.

— Не вздумай ехать! — говорит жена.

— То есть как?

— Вот так! Ты знаешь, чем она больна?

— Я знаю, что она б о л ь н а, и это единственно важно.

— А мы? А я? Это не важно? Ты о последствиях думаешь?

— Ну, знаешь, — сухим и жестким тоном говорит Звездочет. — Это уже переходит всякие границы. Человек болен, и ему нужно помочь. Я еще не потерял совести и, конечно, поеду.

— Ах так? Пожалуйста! — еле сдерживая бешенство, говорит жена. Ноздри ее побелели и раздуваются, как на бегу. — Корчи из себя скорую помощь для первых встречных... Но имей в виду: я здесь больше не останусь. Ни одного дня! Хватит с меня грязи, благотворительности, паршивых мальчишек... Хватит! Завтра же уеду. Я приехала отдыхать и хочу жить по-человечески...

— Как угодно, — сухо отвечает Звездочет, идет к машине. — Садись, — говорит он отцу Сашука и распахивает дверцу.

Тот неловко, бочком, стараясь ничего не запачкать, притыкается на сиденье. Сашук забегает вперед, чтобы его заметили и тоже посадили в машину, но его не замечают, и ему ничего не остается, как бежать следом в густой туче пыли, поднятой «москвичом». Когда он вбегает во двор, Иван Данилович и отец уже укладывают мать на заднее сиденье. Отец садится рядом со Звездочетом, машина сразу же трогает, но поворачивает не в Николаевку, а по берегу к пограничной вышке, мимо которой тянется малоезженный проселок. Когда пыль рассеивается, Сашук видит, что Анусина мама идет домой, и даже шаги ее кажутся злыми. Сзади понуро и неохотно плетется Ануся.

## КУХТЫЛЬ

День тянется и тянется, а Звездочета и отца все нет и нет. Сашук слоняется по двору, идет на берег, но там никого, а одному скучно, к тому же он боится прозевать Звездочета и возвращается домой. Рыбаки сидят под навесом, «травят баланду»: рассказывают всякие байки и хочут. Сашук хочет к ним подсесть, но его прогоняют.

— Иди гуляй, мал еще, нечего тут...

Сашук обижается, хотя это не впервой, мог бы привыкнуть: как только взрослые говорят друг другу про смешное, так обязательно его гонят.

Наконец у пограничной вышки появляется пыльное облачко, стелясь по дороге. несется к бараку. Сашук бежит ему навстречу. «Москвич» останавливается у изгороди. Он уже не оранжевый, а желто-рыжий от пыли. Дверца распахивается, отец вылезает.

— Спасибо вам,— говорит он Звездочету.— Выручили прямо не знаю как... Вот! — Он протягивает смятую пятирублевку.

Звездочет смотрит на пятерку, потом на отца, брови его сдвигаются.

— Вы с ума сошли! Уберите сейчас же!

— Так как же?..

— Вот так. Спрячьте деньги.

— Может, тогда рыбки вам принесть? Свеженькой... А?

— Ничего мне не нужно. Я на чужих несчастьях не зарабатываю.— Тут он замечает Сашука и рад перевести разговор на другое.— А,— говорит он,— неустрашимый охотник на дохлых крабов? Как жизнь? Нашел свою звезду?

— Не,— мотает головой Сашук.

— Еще найдешь, времени у тебя вагон... Слушай-ка, ты мое семейство не видел? Они на пляже?

— Домой ушли. Как вы уехали, они туточка и ушли...

— Туточка? Плохо дело...

Сашук думает, что сейчас Звездочет снова посадит его в машину, даст погудеть в заколдованный гудок, потом газанет, и они помчатся «на край света» — к пятой хате Балабановки. Он даже делает шаг к открытой дверце. Но Звездочет захлопывает ее перед самым носом Сашука, «москвич», как пришпоренный, срывается с места и исчезает в поднятой им пыли.

— Как там Настя? — спрашивает Иван Данилович.— Сдал?

— Сдал,— вздыхает отец.— Еще меня ругали: почему поздно. Еще б чуток и... А чем я виноват?.. Сразу на переливание забрали. Говорят, поправится.

— Конечно, поправится,— говорит Жорка,— теперь в два счета. Наука у нас...

— Наука наукой...— неопределенно отзывается Иван Данилович.— Ну ладно, мужики. С Настей — сами знаете... Чего делать будем? Сегодня обойдемся — в лавку колбасу привезли... Только каждый день так не пойдет: и накладно, и при нашей работе всухомятку не потянешь.

— Факт. Без приварка не годится.

— Может, есть до этого дела охотники, добровольцы?

Рыбаки переглядываются, пересмеиваются, но никто не вызывается в охотники.

— Жорку к этому делу приставить. Пускай старается...

— Я настрадаюсь — не обрадуешься!

— А что? Вон малый и то сварил.

— То малый!

— Ша! — обрывает Иван Данилович.— На базаре, что ли? Дело говорите, а не лишь бы горло драть.

Все молчат.

— Я б взялся, — осторожно говорит Игнат, — только расчету нет.

— А какой тебе нужен расчет?

— В артели я свой процент имею. А тут что?

— Видали жмота? — кричит Жорка.

Даже Иван Данилович покачивает головой.

— Н-да.. Ты ж еще и не рыбак — в первую путину пошел, а туда же...

— Я не чужое беру, со всеми наравне работаю.

— Ну, ровней-то ты еще когда станешь... Ладно. Будет тебе твой процент. Тут и всего-то, пока Семен приедет. Передам в Некрасовку, пришлют кого ни то... Нет возражений?

Все молчат, Иван Данилович лезет в карман и протягивает Игнату ключ, который всегда лежал под подушкой у матери Сашука.

— На, тут все хозяйство. С завтрашнего утра начинай куховарить. Теперь пошли заправимся, а то скоро выходить...

Все идут в лавку, покупают колбасу и ситро. Жорка берет себе бутылку червоного, но Иван Данилович так зыкает на него, что тот сейчас же относит ее продавцу обратно. Перед выходом в море пить нельзя.

Колбаса очень соленая, твердая, но все равно вкусная-превкусная. Сашук съедает свою порцию всю без остатка; вместе с кожурой. Ситро он пьет впервые в жизни. Липучее, приторно-сладкое, оно склеивает ему пальцы и губы, но он готов выпить целую бутылку, даже две. Целую бочку. Почему Иван Данилович говорит, что так не пойдет? Лично он согласен. Хоть каждый день...

Потом Сашук и Бимс, которому от рыбаков перепали колбасные шкурки, без конца бегают пить воду.

— А с ним как же? — спрашивает отец у Ивана Даниловича. — Может, с собой?

— Выдумывай. Хорошие игрушки — малоگو в море таскать. А если погода навалится?

Сашук хочет сказать, что никакой погоды он не боится, пускай его лучше возьмут с собой в море, он все время хочет, а тут одному оставаться не то чтобы страшно, а так... Сказать он не успевает. Иван Данилович поворачивается к нему.

— Вот какое дело, Александра: ответственное поручение тебе. Останешься один на хозяйстве. Будешь сторожить и вообще поглядывать, чтобы ничего такого. Понятно?

Сашук кивает. Если такое поручение — другое дело.

— Не забоишься один?

— А раньше? Боялись такие!

— Ну и ладно. Может, мы засветло вернемся, сегодня кут ближний. Смотри, я на тебя надеюсь.

— Лучше б запереть хату, — говорит Игнат. — На всякий случай. Мало ли что...

— А ему куда деваться? И никакого случая не будет. Воров тут нет.

Рыбаки уходят, а Сашук, как настоящий сторож, важно обходит свое хозяйство и смотрит, все ли в порядке. Смотреть, в сущности, не на что. Рыбоприемный цех закрыт. В бараке койки с мятыми постелями да мухи, кладовка заперта, а двор, как всегда, пустой, пыльный, выжженный солнцем. До захода еще можно успеть сбежать и хоть издали посмотреть на «москвича», но отлучаться нельзя: как же уйти, если Иван Данилович сказал, что надеется на него?

Солнце наполовину уходит за пригорок возле пограничной вышки. Лучше всего пойти в барак, чтобы не было страшно, и запереть дверь.

Но в бараке хуже: по углам уже затаилась темнота, а на улице все еще залито розовым светом.

Краешек красного солнца превращается в полоску, потом в точку и исчезает. Но света пока много и хорошо видно, что возле пограничной вышки опять стоит лошадь и машет хвостом. Значит, приехали пограничники. Сашуку не то чтобы становится менее боязно — он нисколько не боится! — а как-то так, спокойнее. В случае чего он даст им сигнал, и все, будет полный порядок... А чем сигналить? Костер зажечь? Пока-то его разожгешь... Лучше бы всего стрельнуть, так нечем. Сашук приносит из барака спички и «летучую мышь», долго не может ее открыть, но все-таки изловчается, зажигает фонарь. И вовремя. Вокруг уже совсем темно, только на западе небо чуть-чуть светлеет, но скоро гаснет и там. Сашук захлопывает дверь барака, долго мучается с ключом, который всегда торчит в замке, наконец ключ со скрежетом поворачивается, Сашук вынимает его и кладет за пазуху. На всякий случай. Мало ли что...

Если смотреть на горящий фитиль и ни о чем таком не думать, кажется, что светло везде вокруг, а не только на маленьком пятнышке возле фонаря, и тогда совсем не страшно. И Сашук старается не смотреть по сторонам, а только на огонь. К фонарю слетается мошкара. И вовсе маленькая, сушая мелюзга, и побольше, и даже совсем большие бабочки с толстыми мохнатыми животами. Мошкара не такая, как бывает днем, а какая-то блеклая, белесая. Она вьется вокруг колпака «летучей мыши», тычется в стекло и, опаленная, падает на столешницу. Сашук пробует ее отгонять, но мошкара упрямо лезет к огню и обжигается. Чтобы удобнее было наблюдать, Сашук укладывает кулак на кулак, опирается на них подбородком. Мошкара летит и летит, вьется и вьется...

— Я ж говорю: вылитый боцман! — гремит над ним голос Жорки. — Даже барак запер.

— Молодец, — говорит Иван Данилович. — Не подкачал. Давай ключ.

Сашук молча достает ключ из пазухи. Разговаривать он не хочет, чтобы не спугнуть сон, прерванный рыбаками. Он даже к топчану идет с полузакрытыми глазами, чтобы сон не ускользнул, ложится не раздеваясь, и сейчас же зажимивается, чтобы увидеть продолжение. Только продолжение почему-то не приходит. А сон такой, что прямо...

Будто бы Звездочет сам подъезжает на «москвиче» к бригадному двору и, конечно, спрашивает, как жизнь. «Все в порядке», — отвечает Сашук. «А мамка?» — «Мамка в больнице». — «Так надо ее проведать! Зови отца». — «Зачем?» — авторитетно говорит Иван Данилович. — Пускай сам едет, я на него надеюсь...» Сашук садится рядом со Звездочетом, они с ходу разворачиваются и напрямиком — в Тузлы. Едут долго-долго. И час, и два, и три... И все время Сашук держится за баранку, а когда нужно, гудит — так громко и пронзительно, что все шарахаются и разбегаются с дороги. На крыльце больницы стоят мамка и доктор. Мамка уже не бледная и скучная, а розовая, веселая и совсем здоровая. Доктор похож на Жорку, только с бородой и в очках. «Поправились?» — спрашивает Звездочет. «А как же, — говорит доктор Жоркиным голосом, — у нас в два счета. Наука!» — «Тогда садитесь, — говорит Звездочет, — и я отвезу вас на край света. Или прямо в космос...» И тут доктор превращается в Жорку и кричит над самым ухом Сашука: «Вылитый боцман! Даже барак запер...»

Сон заново так и не приходит. Он просто спит как убитый, без всяких сновидений, а проснувшись, вспоминает все и первым делом хочет обругать Жорку. Только ругать уже некого — в бараке ни души, а во дворе один Игнат, разжигающий плиту. Сашук бежит к хате, в которой живет Звездочет. «Москвич» разинул пасть багажника у самого крыльца. Стоя

спиной к улице, в багажнике копается Звездочет. Может... может, он куда поедет и возьмет с собой Сашука? Может, сон произойдет и наяву? А что, бабка сколько раз говорила, что сны сбываются...

В дверях появляется Анусяна мама, ставит на крыльцо две сумки. Сашук на всякий случай прячется за дерево. Мать уходит, появляется Ануся, и тогда Сашук тихонечко свистит. Звездочет не слышит или не обращает внимания, но Ануся поворачивает голову, Сашук манит ее рукой. Ануся выходит на улицу. Лицо у нее печальное или, может, просто заспанное. Сегодня она еще наряднее: в белом платье с красной каемкой, красных туфельках и в новой панаме, тоже с красной каемкой.

— Чего это ты вырядилась, фуфюра какая? — спрашивает Сашук.

— А мы уезжаем,— печально говорит Ануся.— Совсем.

Сашук молчит и смотрит то на нее, то на Звездочета, укладывающего сумки в багажник. Ануся опять дергает резинку панамы, та щелкает ее по подбородку.

— Из-за меня?

— Из-за всего. Это мама все... «Я не хочу, я ни за что...» — передразнивает она.— А мне здесь нравится. И папе тоже.

— Так чего?..

— Разве ее переспоришь? — вздыхает Ануся.— Тут, говорит, ни людей, ни водопровода, ни вообще.

— Как это «ни людей»? Вон сколько народу!

Ануся пожимает плечиками. Они оба молчат. Долго и огорченно.

— А я думала, ты мне еще краба поймашь. Или я сама. Я бы спрята- тала.

— Обожди! — вскидывается Сашук.— Я счас!

Он стремглав летит домой, бросается под топчан, достает кухтыль и поспешно, но осторожно, обняв обеими руками кухтыль, бежит обратно. Ануся стоит у калитки и ждет.

— На! — запыхавшись, говорит Сашук.

Глаза Ануся вспыхивают, носик морщится в радостной улыбке.

— Насовсем? На память?

— Ага!

— Ой! Папа, папочка! Положи и это... Смотри, какую мне вещь Сашук подарил!

Ануся вбегает во двор и сталкивается с матерью. Мать смотрит на кухтыль, ноздри у нее белеют и начинают раздуваться.

— Опять какая-то грязная гадость?

Она выхватывает у Ануся кухтыль, яростно отбрасывает его в сторону. Кухтыль попадает на железный скребок для грязи возле крыльца и с глухим брязгом разбивается. Ануся в ужасе всплескивает руками, поднимает опавший мешок из сетки, там звякают стеклянные обломки.

— Зачем? Как не стыдно? — кричит Ануся и, заливаясь слезами, бросается к отцу.— Папа, папа, ну скажи же ей!..

Звездочет придерживает ее трясущиеся плечи и молча смотрит на жену. Та отворачивается, идет к передней двери и садится в машину.

Вместе с кухтылем разбивается еще что-то такое, чего Сашук не умеет назвать словами, но от чего ему становится невыносимо горько. Он лихорадочно озирается, отламывает внизу у штакетника ком сухой грязи, замахивается и — опускает руку. Его трясет от злости, он так бы и запустил грязевой ком в злое красивое лицо, но понимает, что делать этого нельзя. Он перелезает через канаву и садится на корточки возле старого пыльного тополя.

Звездочет усаживает плачущую Ануся на заднее сиденье, прощается с хозяйкой, заводит мотор. «Москвич», покачиваясь, выезжает на дорогу. И Звездочет, и его жена смотрят прямо перед собой, не произнося ни

слова, будто между ними стоит невидимая, но непроницаемая стена; Ануся, припав к лежащему на сиденье свертку, безутешно плачет. Сашука никто не замечает.

Машина поворачивает к Николаевке. Когда-то глубокая грязь на дороге давно высохла, размолола колесами в тончайшую бурую пыль. Густым облаком она взвивается за багажником и заволакивает удаляющееся оранжевое чудо.

### БИМС

Как всегда, Бимс радостно бросается Сашуку навстречу, юлит под ногами, будто пытается поймать свой торчащий бубликом хвост. Сашуку не до него, он поглощен горькой обидой. Бимс не обижается. Он ошалело мечется из стороны в сторону, на поворотах толстый живот его заносит, щенок катится кубарем, но тотчас вскакивает, опять мчится к Сашуку. И мало-помалу Сашук оттаивает. Он даже чувствует угрызения совести: привез щенка и забросил. То одно, то другое, а про него забыл. Совсем стал беспризорным.

— Теперь все! — говорит Сашук. — Теперь мы всегда будем вместе. Есть хочешь?

Они взапуски бегут к Игнату.

— Дядя Гнат, — говорит Сашук, — дай мне ключ от кладовки, я хлеба возьму.

— Еще чего, по кладовкам шарить!

— А что? Мамка мне всегда давала.

Игнат как-то странно, искоса смотрит на него и молчит, потом отворачивается и произносит:

— То мамка... Обождешь. Пойду в кладовку, вынесу.

Через некоторое время он опускается в кладовку, прикрывает за собой дверь и выносит оттуда ломоть хлеба. Не горбушку, а так, из середины.

— Нам на двоих мало, — надувает губы Сашук.

— Хватит баловства, еще собаку хлебом кормить! Будут объедки — пускай жрет... Собака, она и есть собака.

«Вот жадина!» — изумляется про себя Сашук и отходит. Хлеб ноздрястый, сыроватый, с закалом. Сашук обламывает себе верхнюю корочку, остальное скармливает Бимсу.

Конечно, с Бимсом не так интересно, как с Анусей, — что ему ни говори, он только смотрит в глаза и виляет хвостом. Но уж зато не бросит и никуда не уедет. А бегать готов все время, пока не упадет.

И они бегают взапуски вдоль кромки берега, где песок влажный и ноги не вязнут. Чайки тоже ждут рыбаков, надеясь поживиться на дармовщину, и утюжат воздух — туда и обратно, туда и обратно. Они такие нахальные или понимают, что Сашук и Бимс маленькие, нисколько не боятся и летают над самой головой. Когда крылатая тень пронесется над ними, Бимс испуганно припадает на песок, бросается в сторону, потом обиженно твякает вслед наглой птице, а Сашук смеется.

— Эх ты, трус, — говорит он. — Вот подожди, скоро вырастешь, никого не будешь бояться, а тебя все будут...

Сашук очень отчетливо видит это недалекое будущее. Бимс вырос, стал огромным злым псом. Все его боятся, обходят стороной и пробуют задобрить. А он ни на кого не обращает внимания и слушается только своего хозяина, Сашука. Они везде ходят вместе. Бимс важно вышагивает рядом, время от времени скалит клыки, а если нужно, дает чесу. И никто уже не смеет обижать или задирать Сашука...

Чайки начинают истошно орать — лодки подваливают к причалу. Рыбы много, рыбаки довольны, весело перешучиваются.

— Эй, Боцман! — кричит Жорка. — Давай на подмогу, а то не справимся.

Игнат приходит на причал с кошелкой — взять рыбу для артельного котла.

— Привет, стряпуха! — кричат ему. — Где твой фартук?.. Ты б юбку надел для порядка...

Игнат не умеет отвечать шуткой на шутку, угрюмо молчит и все больше насупливается.

Сашук пристраивается на корточках рядом с Жоркой разбирать рыбу. Бимсу шумная суета на причале очень нравится, он путается у всех под ногами и всюду тычет свою нюхалку с высунутым языком. Его отгоняют, но это кажется ему тоже частью веселой игры, он мечется еще азартнее и подкатывается под ноги Игнату. Тот зло пинает его сапогом, Бимс коротко, будто подавившись, вякает, взлетает в воздух и падает в море.

Сашук бросается к краю причала. Бимс не барахтается, не плывет, а медленно переворачиваясь, опускается на дно.

— Захлебнулся?

— Не может того быть...

Рыбак с лодки сачком на длинной рукоятке подхватывает щенка, поднимает из воды и вываливает на причал. Сашук трогает его рукой, но щенок лежит неподвижно, из полуоткрытого рта выливается немножко воды и вываливается кончик розового языка. Рыбаки стоят, молча смотрят на щенка, Сашука и Игната, и только чайки над ними мечутся из стороны в сторону и пронзительно орут.

— Убился? — спрашивает кто-то за спиной Сашука.

— Убил, а не убился. Много ему надо!

— Нашел на ком зло срывать...

Только тогда до Сашука доходит смысл происшедшего. Он хватается щенка на руки, прижимает, трясет. Хвост и лапы безжизненно мотаются, повисшая голова показывает мелкие зубы и просунутый между ними кусочек языка. Сашук слепнет от слез, отчаяния и ненависти.

— Ты... ты — фашист! — кричит он Игнату.

Склоненный над ящиком Жорка медленно и страшно распрямляется, перешагивает через ящик, сгребает Игната «за грудки» и заносит над ним кулак.

— Егор!

Окрик Ивана Даниловича — как удар бичом. Несколько секунд Жорка сумасшедшими глазами смотрит на Ивана Даниловича, жилы у него на шее так вздуваются, что кажется, сейчас лопнут. Он опускает кулак и отталкивает Игната так, что тот стукается спиной о стойку транспортера.

— Иди, гад... чтоб я тебя не видел!

Игнат подхватывает выпавшую из рук кошелку и, втянув голову в плечи, торопливо уходит с причала. Рыбаки молча смотрят ему вслед.

— Слышь, Боцман, — все еще тяжело дыша, говорит Жорка Сашуку и кладет ему руку на плечо. — Ты его на солнышко. Может, отойдет...

— Давай-давай, ребята, — командует Иван Данилович. — Хватит!

Солнце не помогает. Шерсть на щенке обсыхает, но сам он коченеет, лапы становятся твердыми, негнушимися, как палки. Сашук сидит рядом с ним, уткнувшись в колени, и безутешно плачет. Он не поднимает голову, даже когда подходит Жорка и садится рядом.

— Хана, — говорит Жорка, потрогав труп щенка. — Ладно, чего уж теперь реветь...

— Ж-алко! — захлебываясь, выдавливает Сашук.

— Понятно, жалко, только все одно жалостью не поможешь... Надо его зарыть.— Сашук отчаянно мотает головой.— А как же иначе? Оставить — чайки расклюют, крабы растащут. Эта тварь на падаль падкая...

Поодаль от причала, возле глинистого обрыва Жорка руками вырыывает яму в песке, кладет туда труп и засыпает. Потом берет Сашука за руку, ведет домой. Это очень кстати, потому что Сашук то и дело спотыкается. Слезы застилают ему глаза, он размазывает, стирает их кулаками, но они набегают снова и снова. Жорка его уговаривает, даже стыдит, но Сашук безутешен. Его терзает шемящая жалость, он с опозданием корит себя не только за то, что в эти дни не обращал на щенка внимания, совсем забросил, а даже за то, что привез его сюда, в Балабановку. Он не хотел оставлять кутьку в Некрасовке, боясь, что тот без него пропадет, а он вот пропал здесь. Останься Бимс в Некрасовке — может, жил и жил бы, а теперь...

И хлеб и кондер кажутся Сашуку горькими, не идут в горло. Он старается сдерживать всхлипывания, но от этого они только становятся глубже, судорожнее. Рыбаки едят молча, мрачно, без обычных шуточек и пересмешек. Не то чтобы все расстроились из-за гибели щенка — никто к нему не был особенно привязан, — но настроение у всех испорчено. За все время только кто-то бурчит:

— У Насти оно вроде послаще, смачнее получалось...

Говорящего никто не поддерживает, Игнат делает вид, что не слышит. Рыбаки идут отдыхать. Чтобы не оставаться с Игнатом, Сашук уходит со двора.

Полуденный зной струится над буграми и ямами старых окопов, бетонными глыбами взорванного дота. Теперь Сашук смотрит на них без всякого интереса — играть в войну не с кем. Нет даже Бимса, хотя он тоже не умел играть в войну. Может, потом и научился бы...

Сашук садится над обрывом и смотрит в море. Там ни лодки, ни дыма, ни паруса. Только бесконечная россыпь блестков, солнечных зайчиков да воспаленная мгла, затянувшая горизонт. Даже чаек нет, они куда-то попрятались, должно быть, тоже улетели отдыхать. Никого нет и на земле. Бригадный двор пуст, безлюдна придавленная зноем Балабановка, а в степи и подавно никого нет. И Сашук сам себе кажется таким маленьким, таким затерянным в огромном безлюдье, что ему становится нестерпимо жалко себя. Беда за бедой. Мать увезли в больницу, Звездочет уехал и увез Анусю, а теперь пропал Бимс, и Сашук остался совсем один. С рыбаками разве поговоришь. Они только смеются. А играть и вовсе... Все они хорошо относятся к Сашуку, но что толку, если они большие и все время или работают, или спят, отдыхают. Разве только Жорка...

Жорка первый отсыпается и выходит из барака. Они идут вместе купаться, потом лежат на песке и разговаривают про разное.

— Ты не горюй,— говорит Жорка,— вернемся в Некрасовку. такого щенка найдем — закачаешься! Настоящую ищейку. Какие у пограничников, знаешь?

— Ага.— Иметь ищейку Сашуку очень хочется, однако, подумав, он говорит: — То ж будет уже другая собака, не Бимс.

— Бимса не воротишь, чего уж тут... Кабы не Иван Данилыч, я б тому гаду...

— Хоть бы разик врезал! — с сожалением вздыхает Сашук.

— Нельзя, брат, я Ивану Данилычу слово дал. Я когда остервенюсь, таких дров наломать могу...

Оставшись один, Сашук засветло уходит в барак, зажигает «летучую мышь». Фонарь горит ровно, только иногда желтоватое пламя беззвуч-

но стреляет вверх тоненькой струйкой вонючей копоти. Сашук смотрит на огонь и думает.

Думы у него невеселые. Плохо быть маленьким. Трудно.. Скорей бы большим стать, что ли, с тоской думает Сашук. А лучше всего найти звезду, про которую говорил Звездочет. Вот тогда бы да, тогда бы он знал, где плохие люди, а где хорошие, кому верить, кому нет, где правда, а где обман и что надо делать...

Его будят голоса и топот сапог. Сашук думает, что рыбаки только вернулись; оказывается, возвращение их он проспал и теперь они снова уходят в море к ставникам. Сашук ждет, пока все уйдут, потом вскакивает, прикрывает дверь и бежит следом, чтобы его не заметили. Никому не приходит в голову оглядываться, и его не замечают. Лодки отваливают, Сашук пробирается на причал. Беда большая, если разок не доспит. Зато увидит ту звезду...

Перед рассветом темнота сгущается. Лодки сразу исчезают в ней, только долго слышны всплески весел и голоса рыбаков. А звезд совсем мало, они тусклые и маленькие.

«Ничего,— думает Сашук,— свою-то я увижу, найду!» Он терпеливо смотрит и ждет.

На востоке появляется звезда. Незаметная сначала, она разгорается все ярче и ярче, небо под нею начинает сереть. В нарастающем свете звезда пригасает, становится слабее, пока не исчезает совсем. Из моря выглядывает красная краюшка, быстро растет, поднимается, превращается в раскаленный шар. От него к причалу змеится, бежит огненная дорожка, разбивается о сваи, расплывается на песке. Ничего этого Сашук не видит. Он спит.



---

МУСТАЙ ҚАРИМ

★

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

*С башкирского*

### *Невеселый рассказ о друге*

*Назару Наджи.*

Живет мой друг со мной в Уфе родной,  
Живет в душе моей всегда со мной.

Нет, не беда свела нас в тяжкий час,  
Не общая слеза, что в день роднит,  
Не легкий хмель, не праздник сблизил нас,  
Когда застолье рюмками звенит.

Мы на одну и ту же землю вместе  
Впервые встали — милые места!  
Мы в город торопились с общей песней,  
Как два птенца из одного гнезда.

Студенчество! Когда еда случалась,  
Тарелкой обходились мы одной,  
В три дня у нас стипендия кончалась,  
Но грусть нас обходила стороной.

Потом война. Мы в дым рванулись едкой,  
В шинелях обогнули полземли,  
Смерть не взяла нас, лишь ее отметки  
На нас обоих поровну легли.

А жизнь текла, как речка. Сединою  
Меня уже задела и его.  
Мы были рядом. Слажены судьбою,  
Как два ствола из корня одного.

Случалась радость — к небесам взлетали,  
В четыре кулака дрались с бедой,  
И коль заснуть мне раны не давали,  
Он до утра не спал, сидел со мной.

Он первым делом, лишь к нам в дом являлся,  
Детей моих хватал и тормошил.

А мать моя входила — он бросался  
За стулом ей и усадить спешил.

Всегда он провожал меня в дорогу,  
И он же шел встречать меня потом,  
Заслышав, как тарелки бьют тревогу  
У нас, бежал скорей спастись наш дом!

Узнав об этом, верно, каждый скажет:  
«Такая дружба тверже, чем металл!..»  
Увы! Мы все видали не однажды,  
Как ржа металлы валит наповал...

Случилось, на беду я был назначен  
В начальство другу — перст судьбы суров!  
Но все, как прежде, шло — и не иначе,  
О, что ей, нашей дружбе, до чинов!

По-прежнему, войдя к нам (все, как было!),  
В охапку он хватал моих детей,  
А если мать к нам в комнату входила,  
Он раньше всех бежал за стулом ей.

Он так же провожал меня в дорогу,  
И им же замыкался каждый круг.  
Заслышав в нашей комнате тревогу,  
Он выручать бежал нас, верный друг.

Но сплетня зашипела в подворотне,  
И злоба повторила сотни раз:  
«Мы бдительность утратили сегодня,  
Угодничество в ход пошло средь нас...»

И полетела, как по листьям пламя,  
Подхваченная дружно клевета,  
Рожденная за тридцатью зубами  
Единственного пакового рта.

В те дни мы с другом, словно примадонны,  
С уст не сходили бешеной молвы.  
И мне хотелось крикнуть возмущенно:  
«Но в чем же, люди, нас вините вы?!»

...Затихла злоба. Шепот смолк с годами.  
Вы скажете: жаль дружбы столько лет!..  
Нет, мы не ивы с мертвыми корнями.  
От ветерка не валимся мы, нет!

Мы прежние. Но я смотрю на друга,  
Нет-нет — и тень в глазах его мелькнет,  
Как будто кто-то камень бросил грубо  
В прозрачность добрых и открытых вод.

Живет мой друг со мной в Уфе родной,  
Живет в душе моей — всегда со мной.

\* \* \*

Я вчера под хмельком похвалил молодого поэта,  
Только зря похвалил. Он нисколько не стоил похвал.  
А проснувшись наутро, я с ужасом вспомнил про это  
И себе оправдания даже в вине не сыскал.

Ох, как было б все просто, легко, справедливо и ясно,  
Я доподлинно знал бы, как должен сейчас поступить,  
Коль вчера б за столом я его разобидел напрасно..  
Как бежал бы теперь я к нему, чтоб прощенья просить!

\* \* \*

В дальний путь седлают непременно  
Рысака, что всех других резвей,  
С важным порученьем непременно  
Едет муж, что старше и знатней.

Гостя дорогого поджидая,  
Лучшие из блюд на стол несем,  
В праздник в нашем доме зажигаем  
Лампу ту, что веселит весь дом.

Не спеши, однако, в ослепленье  
Не верши свой скороспелый суд:  
Сколько их, коней, не в белой пене,  
А в поту натужном воз везут!

Если скажешь ты: лишь те герои,  
Кто идет на громкие дела,  
Кто же будет сеять, плавить, строить,  
Чтоб земля вокруг тебя жила?

В праздничное, блещущее пламя  
Никогда подолгу не смотри,  
А не то потом казаться станет  
Мир темней и суше свет зари.

Воспевайте скакунов бесстрашных,  
Славьте славу в золотых лучах,  
Но стократ прославьте тех, кто нашу  
Держит Землю на своих плечах.

*Перевела Ирина Снегова.*



---

И. ОРЛОВ

★

## ЖАРКИМ ЛЕТОМ

*Из путевых тетрадей*

**З**а полдень. Жарко. Термометр в нашей палатке показывает тридцать градусов. Тени от двух сосен, под которыми я лежу, медленно движутся; прячусь в тень, но это мало помогает: душно. Кажется, все время собирается гроза. Но она не приходит; только прогремит, прокатится где-то на той стороне, за Окой, ленивый, незлой гром, брызнут изредка теплые липкие капли — и вновь повисает над обожженными полями тяжелая, неподвижная жара.

Небо белесое, точно затканное паутиной.

Не верится, что где-то идет настоящий дождь, есть пасмурное небо. Мы уже забыли ощущение мокрой одежды. Как будто за этими большими и темными лесами, в тех местах, которые мы прошли, осталась вся сырость и влага, а здесь у реки — вечное солнце.

Мы с Виктором живем на Оке на песчаных дюнах, поросших соснами; на лысине, свободной от деревьев, стоит наша палатка. В километре от нас вверх по течению — Прилуки, большое красивое село. Светлая пристань его с тонким шпилем на узорчатой башенке.

За рекой, в старом негустом саду, виден белый каменный дом. Маленькие постройки, такие же белые, точно горсть брошенных камешков, рассыпались вокруг.

Чей это дом, я не знаю. Но когда отсюда долго всматриваюсь в него, в его легкие и одновременно крепкие, прочные формы, кажется мне, что давно, когда места эти были дикими и глухими, жил в белом господском доме помещик.

По Оке плыли длинные караваны, груженные лесом, а по берегам мелькали цветные платочки баб. Густо пахло грибами, ягодой, горячей сосной, и тихие, тягучие песни долетали вечерами к подножью Пьяного Бугра...

Это имя — память о тех временах, когда бесшабашные бурлацкие артели тянули вверх по реке низкие тупоносые барки-расшивы.

Здесь делался привал, хозяин выставлял водку и расплачивался. Несколько ночей кряду польхали на вершине бугра костры, шла дикая гульба.

Наконец, пропившись дочиستا, измученная попойкой, артель двигалась дальше.

Многое видели эти сосны. Но они молчат, и мы ни о чем не узнаем от них.

Виктор — человек прямой, ясный и потому такой непонятный для меня. Простое, видимо, всегда непонятно. «Жизнь сложна» — эту формулу мы хорошо усвоили, привыкли к ней, ею удобно все объяснять, а мы

не склонны менять удобных привычек. Прямое же вызывает недоумение своей ясностью, поэтому за ним всегда предполагается подвох.

Виктор — фигура определенная, я — никто, хотя оба мы инженеры.

Здесь мы живем дикой, свободной жизнью первобытного человека. Мы спим под открытым небом, едим у огня, разложенного своими руками, а тела наши не испытывают тяжести и неудобства современной одежды.

Едва ли многие могут похвастаться тем же!

Как-то, купаясь, я заметил наверху у палатки необычное сборище: пестрая толпа шумела, суетилась. Оказалось, приехала экскурсия отдыхающих из Соколовой Пустыни. «Культурник» в синих пижамных штанах и красной «камилавке» бойко фотографировал «на фоне красивых пейзажей». Все лазили на деревья, фотографировались у костра, посадив нас перед собой. Мы сидели, поджав ноги, и старались делать глупые лица, изображая «диких». Когда мы ели, сидя на земле, поставив чашки между ног и далеко нося ложки, они из-за деревьев наблюдали за нами. Они не поверили бы, скажи я им, что этот голый, лохматый человек, евший рядом со мной, — кандидат наук.

Удивительно удобная и покойная вещь — звание!

— Кто он?

— Инженер.

— Ясно. А этот?

— Кандидат наук.

— О! Большой человек!

И человек уже поставлен на положенное ему место и получил право утверждать себя среди остальных. А попробуйте-ка начать объяснять:

— Я такой-то и такой-то, думающий так-то и так-то, я хочу...

— Короче. Кто вы?

А вы — никто...

Сегодня на бугре я один; Виктора нет, он уехал в Ступино. Вчера у него разболелся зуб, и этот сильный человек враз превратился в ребенка — охал, ругался, поминутно лазил пальцем в рот. Потом он ушел в пионерский лагерь и вернулся с пачкой порошков, которые пил через каждые полчаса. К вечеру лицо у него перекосило. Ночью он бродил среди сосен, ложился, прикладывал щеку к холодному песку и стонал. Я чувствовал себя скверно: мне было неловко, что я здоров. Утром Виктор уехал в больницу.

Я не дождался его, обедал один, потом лег в тени.

...Тяжело, как утюг, прошел вниз по течению грузовой колесник «Водораздел» с белыми надстройками. На нем, точно на большом судне, «отбили склянки».

Время от времени, услышав на реке гудок, я встаю и всматриваюсь в тропинку, выющуюся от пристани по берегу. Пассажиров сходит мало. Две-три фигуры, усталые, разморенные духотой, медленно пробредут, колыхаясь, как призраки, в жарком мареве, и скроются за деревьями. Тонкая струйка сероватой пыли, поднятой ими, долго висит над тропинкой, не в силах расплыться в облако: ветра нет.

Все погружено в сладкую дрему. В деревне тихо. На реке не слышно голосов. Светлая вода неподвижна, лениво поигрывает блесками.

Солнце тоже устало. Прделав за день огромную работу, раскалив землю, утопив ее в зное, оно истратило силы и теперь готовится к покою. Подобрал лучи, оно висит теплым оранжевым шаром и ласково смотрит на землю, щурясь, как сытый кот.

Я смотрю в длинные строчки из маленьких черных значков, густо насыпанных на бумаге. Сонная дрема клонит голову, теплый клей сте-

кает откуда-то с вышины, склеивает мозг. Черные строчки вдруг ломаются, образуя угловатые фигуры, значки оживают, расползаются из них, падают с листа на песок и бегут в разные стороны. В ужасе я начинаю хватать убегающих черных насекомых — шарю руками по песку, вскидываю голову... и просыпаюсь.

Солнечным утром на маленькой подмосковной станции остановилась электричка. Из вагона вышли два человека. Одеты они были в спортивные шаровары и непромокаемые куртки. В пристанционном буфете люди спросили себе бутербродов и пива. Покончив с едой, они вскинули на плечи тяжелые рюкзаки и, бесшумно ступая, скрылись в березовой роще. На платформе в это время никого не было. Единственный человек — буфетчица не обратила на них внимания. Поглощенная заботами, она даже не разглядела их лиц.

...Утро еще не кончилось, солнце нежаркое. Только что прошел крупный теплый дождь. Какая-то особенная прозрачность в лесу, точно между деревьями нет воздуха, но каждый вдох, как глоток.

Кто в городе знает вкус воздуха? А он имеет вкус мокрых деревьев, дыма костра, воды, лошадей, сухой пыли, прибитой дождем, и солнца. Все настояно на солнце.

Мы выходим на поляну, снимаем рюкзаки, стаскиваем куртки и ложимся навзничь в траву. Кроме птиц, ничто не нарушает тишины. Плынут вверх облака. Они идут на север, туда, где живет большой город, оставленный нами несколько часов назад.

Виктор достает карманный приемник, включает, вертит ручку... И вот среди тишины рождаются новые звуки: в сопровождении крохотного оркестра играет крохотная скрипка, играет знакомую красивую мелодию. Потом она обрывается, что-то потрескивает, и голос крохотного диктора дребезжит: «Мы передавали концерт по заявкам радиослушателей». Щелчок переключателя — читают какую-то статью...

Лежит во влажной траве лесной поляны крошечная Москва, живет, говорит... Виктор убирает ее в рюкзак, и нет больше ничего, только птицы, трава, солнце. Мы поднимаемся и уходим дальше.

Мы идем берегом тихой речки с черной прозрачной водой и удивительным именем — Лопасня.

Следуя ее извилам, переходим с одного берега на другой там, где места кажутся нам наиболее красивыми.

Узенькие тропки прохожены на обрывистых склонах лесистых угорий высоко над водой. Прозрачные родниковые ручьи то и дело перебегают их. Они рождаются где-то наверху, в глубине леса, и миниатюрными водопадами обрушиваются вниз. Вода в них холодная, от нее ломит зубы. У нее запах прелого листа. На минуту останавливаемся, опускаем на колено и пьем с горсти, шумно втягивая.

В деревне пьем молоко. Хозяйка сочувственно глядит на наши рюкзаки, добродушно покачивает головой, сложив руки под грудью, пока мы, присев на лавку возле дома, опоражниваем крынку. Молоко душистое, густое, долго не отекает со стенок пустых стаканов.

— Хорошее молоко у вас.

— Так свое же ж. Пейте, пейте, в Москве такого и не попробуете небось.

— Спасибо.

— На здоровьишко. Легкий путь вам.

Солнце подвигается к зениту. Деревня пуста, точно все бросили ее. Не брешут даже собаки, когда мы проходим вдоль влицы в тени оград, заросших акацией. В гуще ее щелкают и, шурша, падают вниз пересох-

шие стручки, и от этого кажется, что за заборами идет непрерывная возня. Вдали одинокая фигура у колодца позвякивает цепью.

Неожиданно из калитки выходит девушка в сарафане и косынке, глубоко повязанной на лоб. Плечи ее обожжены солнцем. Щеки и нос — розовые, облупившиеся. Не глядя под ноги, читая на ходу книжку, она медленно идет впереди нас.

Мы окликаем ее, спрашиваем, как называется деревня.

Она останавливается, закрывает книжку, заложив палец между листами — я вижу: «Физика», — и удивленно смотрит на нас из-под густой тени косынки.

За деревяней речка разливается. В теплой сверкающей воде барахтается и дерется черное «обезьянье племя».

Виктор берется за фотоаппарат. Мальчишки носятся по песку, строят нам рожи, потом прыгают в воду и начинают кувыркаться. Мы грозим им, а они вылезают на берег, хохочут и кричат:

— Пришли фотку! Эй, пришли фотку!

В лесу прохладно и пахнет ягодой. Ее тьма на опушке в сочной траве. Мы выбираем ее, не сходя с места, лениво поворачиваясь.

На пасеке, жарко нагретой солнцем, запах цветущей гречихи. Коричневый дед, крепкий, как корень, неторопливо набивает короткую трубку, тщательно уминая табак пальцем, похожим на сучок. Глядя на нас светлыми строгими глазами, переспрашивает:

— До Тимкова-то? А как пойдешь. Тебе как надо-то?

— Да мы не торопимся.

— Вижу. Потому и спрашиваю. Да и не в Тимково идете. Туристы, что ли?

Крепчайший дым самосада синим облаком окутывает его. Задохнувшись, он кашляет, выцветшие глаза его краснеют и наливаются слезами, но, отдышавшись, он довольно щурится. Долго прямо, не мигая, смотрит на солнце. Оно ослепительно, но глаза старика словно не чувствуют его режущего блеска.

— Ополдень дойдете. Отсюда через поле дорогой. У гороха свернете направо, межой пойдете, там у баб спросите. В Семеновское, что ли, идете? Туда всё туристы ходят.

— Нет, дальше, на Оку.

Только на какой-то миг в глазах его появляется интерес, но тут же они вновь принимают равнодушное и строгое выражение.

— Ну, так... — И еще раз взглянув на солнце, он поворачивается и идет прочь.

Отойдя несколько шагов, мы слышим за собой:

— Эй, что ли, как вас? Берегом не пройдете, топь там! Идите, как сказано, до гороха.

Мы благодарим, но все же сворачиваем к берегу, чтобы не уходить от реки, и... попадаем в топь. Она в мелком осиннике, сплошь заросшем гигантскими стеблями папоротника и крапивы. Крапива выше нас ростом. Провалившись по шиколотку в теплую коричневую воду, прыгаем с кочки на кочку, проваливаемся все глубже, хватаем руками толстые стебли и ругаемся от жгучих их укусов. Измученные, выбираемся на дорогу, и тут я не могу удержаться от смеха: Виктор чешет уши, они у него красные и покрыты волдырями. Мои новые кеды, которые я так тщательно оберегал, все в бурой грязи. При каждом шаге она чавкает в них и прыскает грязными фонтанчиками. Но идти в жару с мокрыми ногами даже приятно. Впереди отдых, покой и еще что-то легкое, хорошее, что наполняет душу добротой, любовью и непередаваемым чувством свободы — полной, неограниченной, чувством, необходимым человеческой душе, но которого ей порою так не хватает.

...Скоро вечер. Солнце висит над краем поля. Оно приятно греет взмокшую спину. Мы устали. Сидим, курим и молчим.

За поворотом реки из-за прибрежной зелени выглядывает песчаный обрыв, на нем кусок красной стены какого-то монастыря. Тихо. Вот где-то впереди по реке слышен звон. Может быть, это звонят в монастыре? Звон плывет над землей — низкий, тягучий... Кажется, что бьют в кусок рельса. Нет, это дальше. Наверно, там деревня.

Странно в этом просторе рождаются и разносятся звуки! Вдруг услышишь отчетливый стрекот трактора. Думаешь, вот он, рядом, за этим леском, а идешь-идешь, уже и лес остался позади, и поле почти прошел, а он все не громче и не тише, такой же ровный и ясный. Так можешь и уйти, и долго еще будешь слышать его, пока не замрет он, внезапно оборвавшись. А то увидишь на краю поля маленькую ползающую точку. И человека-то на ней не разберешь, а мотор работает четко и звучно.

На закате увидели мы на холме белую церквушку. Справа и слева от нее спускались по склону дома. Звон шел оттуда...

Виктор каким-то чутьем определяет места. На поляне, под сосной, на подстилке из веток аккуратно сложены колья и рогатки для костра: туристы честный народ — они заботятся о тех, кто придет на их место!

Вечер теплый. Вода в реке тоже теплая. У нее особенный запах. В детстве я жил в деревне, но, конечно, уже забыл, как пахнут вечерами деревенские реки. Раздвинув ряску, я зачерпнул желтоватой воды, напился, набрал полное ведерко.

После ужина лежали у костра. Одна за другой зажигались звезды. В деревне за рекой кричали и дрались мальчишки. Потом там запели. Слова слышались отчетливо, будто пели рядом. Наконец все замолкло, и в наступившей тишине лениво забрехала собака. Ей отвстила другая из дальней деревни.

Наутро все болело: спина, руки, даже шея. Ноги дрожали и подламывались в коленях. Рюкзак стал тяжел, точно гиря; лямки, врезавшись в плечи, причиняли нестерпимую боль.

Я шел с злым ожесточением, и только самолюбие удерживало меня от того, чтобы не отказаться продолжать путь.

Стояла жара, но я страдал даже не столько от нее, сколько от тяжелой духоты, неподвижно установившейся в воздухе. Над рекой с писком носились ласточки. За нами неотступно следовала туча, все увеличивавшаяся в своих размерах. Она наливалась зловещей тьмой, приближалась, нависала...

Виктор шел ровным легким шагом, делая привалы точно через каждые пятьдесят минут, и к полудню я ненавидел его. Ровный шаг, спокойный голос, уверенные слова и движения раздражали меня.

Особенно противен он был мне, когда, присев на привале, неторопливо доставал портсигар и, смакуя каждое движение, закуривал, делая глубокие, жадные затяжки. Я лежал в траве, разглядывая его из-под прищуренных век, и думал: сейчас я могу его ударить.

А он вдруг как-то очень мягко спросил:

— Послушай, ты пройдешь еще немного?

— Пройду сколько нужно.

— Ну, хорошо. Мы дойдем вон до тех берез и определимся. Здесь должно быть большое село. А потом, я думаю, на сегодня хватит: душно и, пожалуй, будет гроза.

Так просто сказал это! И, честное слово, я едва не расплакался, как ребенок.

С чем сравнить эти мгновения, когда, отшагав положенное число минут, наконец останавливаешься и снимаешь рюкзак! Тут же тебя тол-

кает вперед, не удержавшись, можешь и упасть. Но какая легкость во всем теле, внезапно лишенном веса! Все мышцы сладко ноют, по горячей и мокрой спине проходит ветерок. Ей-богу, ради этих блаженных минут согласишься таскать проклятый мешок!

...И вот вечер. Красными полосами гаснет над дальними лесистыми холмами небо. Розовый отсвет его в тихой воде. Река в двадцати шагах. Противоположный берег зарос кустами, осокой и крапивой. На этом берегу, под березами, наша палатка. Сзади, на холме — темные сосны. На солнце они горели огнем, теперь засыпают. В лесу пионерский лагерь. Оттуда слышен шум и музыка — на всю тишину гремит радиола.

У нашего костра греются рыбаки. Двое рыжих, до смешного конопатых мальчишек нанизывают на леску крупную рыбу, чтобы гордо пройти с ней домой. Мелочь они оставляют нам. «Мелочь» величиной с палец, «крупная» — с ладонь.

Быстрыми движениями сортируя рыбу, они негромко спорят:

— Выбрось, это малявка! Давай вон ту, красноглазенькую. Вот так, плотичка-сестричка, лезь-ка сюда!

— Андрюша, того карасика вон я поймал.

— Того я выхватил под кустами. Твой — эна, уснул уже.

Андрей быстр в движениях, уверен, насмешлив. Он ловко продевает леску под жабры, балагурит и дразнит.

Второго зовут Миша. Он возмущен:

— Ох ты, уснул! Ты же ему голову-то оторвал всю!

Не обращая внимания на его слова, Андрей продолжает работу, приговаривая:

— Карасик-марасик... Эва, одних козявок-малявок наловил! Кошке на зуб. Куда они?

— Давай пустим, пускай растут еще.

— Оставим им.

Огонь костра жарок, но ребята сильно застыли, трясутся, постукивают зубами. Голые ноги посинели и покрыты «гусиной кожей».

Нам нравятся эти мальчишки — веселые и беспечные, обветренные, обожженные солнцем.

Живут они в деревне за пионерским лагерем. Сюда приходят каждый день, это «их место». Они братья-погодки, Андрею десять, Мише одиннадцать лет, и похожи друг на друга поразительно: оба рыжие, оба конопатые так, словно кто-то нарочно обрызгал золотистой краской их физиономии. Но стоит понаблюдать за ними, и тогда видишь, что они разные.

У Андрея рот вон какой — почти до ушей — и ни на минуту не заворачивается. Он веселый, озорной. Рыбачит легко, с шутками и все время поддразнивает брата.

Тот — застенчивый. У него чуть уже лицо и мягче взгляд. Он молча, неподвижно стоит в воде, боясь спугнуть рыбу. На насмешки брата отвечает доброй улыбкой. Несмотря на все предосторожности, у него почти не клюет, тогда как Андрей то и дело вытаскивает маленьких, отчаянно бьющихся рыбешек и, не переставая болтать и зубоскалить, с силой шлепает ими о берег, где я подбираю и складываю их в ведерко с водой.

Живет в этих мальчишках та снокойная уверенность в себе, которая рождается знанием дела, любовью к нему и добрым, открытым взглядом на мир.

— Готово. Пошли скорей, а то я застыл весь.

— Пошли. До свидания.

— Невелик улов, ребята.

Андрей пренебрежительно встряхивает снизу и закидывает ее за спину.

— Малявки! Крупная вся под берег ушла.

— Это к дождю,— объясняет Миша.

— А тут есть и крупные? Шуки, например...

Андрей быстро взглядывает на нас — лицо озорное, глаза хитрые.

— Ха, есть и шуки.

— И ты ловил?

— Почему ж не ловить-то?

Миша — правдолюб:

— Да он болтает, не ловил ничего!

Андрей хохочет, раскручивая над головой снизу.

— Ха-ха! Болтает! Попробуйте, за палец схватит, раз — и нету!

— Вот болтун!

Мы оставляем их пить чай, но они важно отказываются и уходят. Небо потухло, и река стоит темная, спокойная. Где-то под кустами всплескивает рыба. В лагере выключили радиолу.

К ночи вдруг раскричались вороны, словно кто напугал их: поднялись тучей над деревьями, загалдели, потом враз успокоились.

Виктор собирается купаться. Отчаянный!

А мне не хочется отходить от костра. Потрескивают поленья, каплет в жар смола — огненные трескучие шарики; пламя охватывает черные от копоти, замшевые стенки ведерка. Жарко лицу, коленям и стынет спина.

Весь день идет дождь.

Есть в мелком, холодном, монотонном дожде какая-то безысходность: кажется, все прошло и уже не вернется. Покорны мокнувшие деревья, отсыревшая, полегшая трава, покорна и безжизненна река — все замкнулось, ушло в себя.

Дождь начался еще ночью и к утру разошелся.

Виктор не дал мне спать. Беспокойный человек! Он проснулся в пятом часу, ворочался, выглядывал из палатки, что-то записывал в свой походный блокнот. Сон прошел. Мы лежали, курили и строили прогнозы: кончится дождь или нет. Идти дальше по такой погоде не имело смысла.

Под утро задремали и вдруг разом вскочили, разбуженные какими-то непонятными звуками: над самым ухом кто-то тяжело и шумно дышал. Потом что-то острое уперлось в брезент, вдавило его, грозя вот-вот прорвать, трещало, хрустело...

Виктор отпер палатку и весело сообщил, что пришли коровы. Мы были окружены стадом. Дождь загнал их под деревья, и они, наткнувшись на палатку, теперь облизывали брезент и вытаскивали из-под пола ветки подстилки. Они бродили вокруг, чавкая по раскисшей земле, а мы каждую минуту ждали, что какая-нибудь из них зацепит за веревки... Откроешь полог — в трех метрах пегая мокрая коровья голова задумчиво и печально смотрит тебе в глаза. И все стучит и стучит дождь...

Часов около восьми в дверь всунулась голова в мокром капюшоне. Она покрутилась туда-сюда:

— Доброго утречка. Отдыхаете?

Мы сообразили, что это пастух. Вначале он, видимо, прятался от дождя наверху под соснами, теперь спустился вниз. Сказали ему о своих опасениях.

— Хе-хе, это они могут,— согласился он,— но-но, че-ерт!

Пастух исчез и стал бить кнутом корову.

— Скотина — глупая животная,— объяснил он, возвратившись.— Закурить не найдется?

Мы угостили его папироссой.

— Как думаешь, папаша, дождь скоро пройдет?

— А кто ж его знает? Может, разведриет, хотя навряд: кругом обложило. Сейчас вроде поубавился, может, и пройдет к обеду.

Дождь как будто переставал: сеялся мелкий, какая-то водяная пыль висела в воздухе.

— До Семеновского далеко?

— А вот оно, рядом. На дорогу подымешься, и оно.

— Как там, хлеба купить можно?

— Почему нельзя? На деньги все купить можно. Только давай их поболе, хе-хе! Хошь хлеба, хошь поллитровку, хошь что хошь. Сахар есть, конфеты...

На свету мы разглядели его. Ему было лет сорок пять. Небольшого роста, полный; на лице, дряблом, как у скопца, кустилась по подбородку и скулам плешивая щетинка. Маленькие глазки — водянистые, но цепкие, быстро помаргивали, все время сбегая в стороны.

Гремящий, как железная крыша, плащ волочился по земле. Левый рукав — пустой, покачиваясь, шуршал и скрипел.

— С рукой-то что? — поинтересовались мы.

— Бык повредил.

— Как же?

— Выпимши был, хотел пугнуть, а он, стерва, поддал. По ребрам полосанул — всю кожу снял. А руку крепко, доселе болит. Пальцы вона не расходятся никак. Бык тута у них здоровый, стерва, пудов на сто, выведенный...

Он длинно выругался.

— Сам-то нездешний, что ли?

— Мы из-под Рязани.

— Переехали сюда?

— Зачем, пасу тута с пацаном — вона на горе. Кажную вёсну приезжаем. Туточки и пасем.

— Значит, на заработках? Что ж в колхозе не работаешь, дома? И пацана портишь?

— Что дома? Дом сам по себе, там баба.

— Ну, тем более.

Он молчал, разглядывая свои сапоги, кнут, позыркивая по сторонам. Я решил, что сейчас он будет врать и придумывает, с чего начать. Он высморкался, отерся ладонью.

— Вы, извини меня, кто по образованию?

— Какое это имеет значение?

— А такое значение имеет.

Перемена, происшедшая с ним мгновенно, поразила меня. Вяльги, сипатый до того голосок его вдруг окреп, зазвучал жестко и зло.

— С каждой коровки по тридцать рубликов в месяц на старые — дай сюда! А их тридцать семь. Считай — тысяча сто да десять целковиков. Да еще там что-либо сотенных четыре — тысячка пятьсот? Чистыми. Пацан подпаском рубликов шестьсот нагоняет. А дома что? Только жрать да обувку трепать — вот она и пара с лишком. А ты сколько принесешь?

— Значит, только простая арифметика?

— А то как!

— Коровы-то колхозные?

— Зачем? Индивидуальные. А и колхозные пасем. Там — по полста.

— Что же, здесь пастуха своего нет?

— Работа сезонная, а то ли не хотят: теперь все с образованием.

Так же быстро, как раскрылся, он вновь замкнулся. Голос завял, глазки потухли, поблекли, заморгали.

— А я до осени погоняю — зиму и сыт. Да грибков насушу на зиму-то.

— Одним словом, защибаешь деньгу, — сказал Виктор.

— Это как поглядеть. Ну, бывайте здоровечки. Еще папиросочку не одолжите?

Мы отдали ему пачку. Он запрятал ее под рубаху и пошел отгонять коров, хлопая кнутом, выкрикивая ругательства.

Виктор ушел за хлебом, а я залез в палатку и незаметно уснул.

Дождь кончился. Коров уже не было: видимо, пастух угнал их. Они оставили нам развороченный костер и мокрые «блины» вокруг.

Виктор принес две буханки хлеба, банку килек, конфеты в кулечке и четвертинку водки. Выпили, поели, но веселее не стало.

Пришли «рыбаки». Я попросил у них наживки — маленьких сороко-ножек, «ручейника», в склеенных из песчинок домиках-трубочках, достал леску, сделал удочку и тоже полез в воду. Рыба не клевала. Опять пошел дождь.

«Рыбаки» ушли. Дождь расходился. Звонкие шарики прыгали по воде, медленно плыли вниз пузыри, около кустов они сбивались в пену. А я все стоял в воде и ждал, пока не промок насквозь.

После обеда спали. Читал Достоевского. Шел дождь. День был потерян.

Солнце! Только открыл глаза, как сразу его почувствовал: стенка палатки, обращенная на восход, была яркой и прозрачной, а на ней дрожали, исчезая и появляясь вновь, легкие тени — это утренний ветер качал ветки берез.

Вскочил, быстро расстегнул дверь и вышел наружу.

— Виктор, смотри — солнце! Дождя-то нет!

Он вылез, посмотрел кругом, сказал: «Можно идти». И больше ничего! Ни радости, ни удивления. А мне стало легко.

Отойдя с километр и поднявшись по осклизлой тропинке на дорогу, мы остановились. От высыхающей земли шел пар. Наша роща, теперь уже далекая, была освещена теплым светом.

Вчера еще мы были там, а сегодня уйдем далеко-далеко. За десятки километров от этих берез поставим палатку. Все будет новое — другой лес, река, другие люди.

А сюда после обеда придут наши знакомые — «рыбаки» — и увидят на том месте, где стояла палатка, только примятые ветки да кучу золы от костра. Может быть, им станет грустно, а может быть, будет все равно.

Сегодня мы вновь идем! Проходим Семеновское. В сельмаге кладем в свои рюкзаки еще по три килограмма. Я забегая на почту. Зачем? Не знаю. Просто так. И мне весело, когда седая, в очках, очень вежливая женщина сочувственно говорит: «Еще не дошло». Мне хочется сказать ей: «А я ничего не жду. Ни от кого! Сюда никогда не придет письмо, потому что ни одна живая душа в мире не знает, где я. Меня нет. Я потерялся».

...Мы идем лесной дорогой. Отсюда лес, как в разрезе, меняется на глазах, и молодые плотные дубки с этой стороны, играя своей силой, перешептываются, пересмеиваются, кивая на ту сторону, на тонкие березки и осинки, точно жилочки, переплетенные между собой. Все перемены замечаешь, помнишь, и постепенно возникает картина леса, его объемное звучание.

Лес затягивает, засасывает в себя. Он залил, затопил все по обоим берегам.

Речка, нырнув, пропала в сочной зелени и только изредка неожиданно сверкала на поворотах — там, где редкие змейки нешироких дорог выползали к ней из лесных дебрей. В глубине их, спрятанный от посто-

ронних взоров, стоял дворец — подарок Екатерины графу Орлову. Нам говорили, что, если смотреть сверху, он напоминает орла, распластавшего крылья.

Деревни не подходят близко к реке. Они прячутся где-то наверху, за сплошной зеленью, образующей как бы глубокое ущелье. Но безлюдными эти места кажутся только по первому впечатлению. Вдруг слышится впереди шум и плеск, а через сотню-другую шагов откроется низкий луг, разольется река и ударит в уши веселый гам пионерской купальни.

Разморенные солнцем воспитательницы и физруки лениво приподымаются со скамеек на деревянных помостах и недоверчиво оглядывают нас.

— Сюда нельзя, это территория.

Воспитательницы неумолимы. Отказав нам, они сердито начинают кричать:

— Васильев, слезь с Иванова, ты его утопишь! Петров, выходи из воды!

— Почему-у?

— Выходи, я тебе сказала! — И опять в изнеможении валятся навзничь.

С физруками проще — предупреждают они так, для формы. Они рады нам: им скучно. Они смеются и покрикивают.

В тех местах, которые особенно привлекают нас, сбрасываем рюкзаки, садимся в траву и сидим молча, наблюдая за игрой ворон на толстой ветке ели, несколько не встревоженных нашим присутствием: люди нечасто проходят здесь и этим птицам еще не представилось случая узнать их коварство. Сквозь золотистую гущу молодых берез на светлом луговом малахите глядим в дымку холмов среди раздавшегося в стороны леса. Там, на гребне, залегла игрушечная деревня, и черные заводные жуки-тракторы ползают кругами по солнечному склону.

— И так бы вечно! Идти, смотреть, видеть и радоваться. Понравилось — стоп. Сиди, лежи, стой, смейся, живи. День, два... Потом — дальше.

— Давай поставим палатку, — говорит Виктор.

— Нет, нет. Мы и так потеряли день.

— Этих ворон уже больше не будет.

К сожалению, мы никогда не можем полностью отдаться своему чувству.

Иногда берег начинает горбиться, дорога то встает на дыбы, то падает вниз, вновь вползая на следующий бугор. В таком вот месте, среди высоких сосен, насквозь просвеченных и прогретых солнцем, встретили мы далеко растянувшуюся вереницу медленно бредущей разномастной публики — какой-нибудь дом отдыха был ведом от скуки на прогулку.

Впереди процессии «упитанный» аккордеонист привычно «пилил» «Подмосковные вечера», сплевывая через аккордеон. Это был уже третий «срок», и первые два притупили в нем всякие чувства. Рядом две девушки в просвечивающих платьях, прижавшись друг к другу, громко, упрямо пели. Парень в майке бросал в них шишками. Девушки не оглядывались. Последними, дыша, как паровозы, поднимались взмокшие солидные пары.

Вид наших рюкзаков привлек их. Они оживились. Мы прошли сквозь строй их прямых, как палки, взглядов и услышали за собой смех. Они смеялись над нами.

Мы идем легко. Рюкзак не режет плеч, лямки расправлены и положены как надо, а тяжесть его даже приятна, она создает устойчивость.

Мы хорошо отдохнули, и я не чувствую усталости. Виктор — тот может идти без отдыха, без остановки, все таким же легким пружинистым шагом, вероятно, сколько угодно.

Я иду сзади и в метре перед собой вижу его ноги. Невольно я люблюсь ими. Они точно свиты из корней дерева — сухие, узловатые, и сила в них необыкновенная. Кажется, положи на плечи ему нечеловеческую тяжесть, — они не дрогнут и скорее войдут по щиколотку в землю, чем погнутся в коленях.

Из всех механизмов передвижения, придуманных человеком, самым надежным остались все-таки его собственные ноги: не откажут, не подведут вдруг. Незаметно, шагами отмеряют они тропинку, а оглянувшись, посмотрел — ого, сколько прошагал! Вон тот лес едва синее, а вроде бы только проходил там. И уходят назад расстояния — метры и километры, и десятки их ложатся за плечами упрямо и верно вот по таким, по маленьким, по крохотным отрезкам шагов. А ты все идешь и идешь: топ-топ, топ-топ...

Уже совсем стемнело, когда увидели мы впереди опять поля и деревню на пригорке. В лесу, над крутым спуском к реке, наткнулись на шалаш и решили ночевать в нем, чтобы не возиться с палаткой. Внутри настлали сухих, шуршащих листьев.

Сзади меня трещат сучья — Виктор готовит дрова для костра.

Я завидую ему. Он спокоен, и все здесь для него обычно. Ни минуты не проводит он в праздном созерцании, все время чем-нибудь занят. Чем? Это трудно сказать, разными мелочами, но он находит именно то, что необходимо, и не делает ничего лишнего. Он знает что-то, чего не могу понять я.

— Извините, но для чая нужна вода. Она в реке.

Это нарушает ход моих мыслей. Я оглядываюсь кругом. Темнеет. Ложится туман. Виктор разжег костер; вот он уже потянул дымом.

Я беру ведерко и спускаюсь к реке. Внизу холодно и сыро. Вода черная, уснувшая. Где-то сочится по камням родник. Осока и камыши мешают подойти к воде. Виктор что-то говорит мне сверху, но я не могу разобрать что и злуюсь. В кедах хлюпает. Наконец, плюнув, я лезу прямо через осоку.

— Ты мог бы взять из родника, — пожимает Виктор плечами, — зачем же мочить ноги?

Гаснет костер. От него остались одни угли. Я шевелю их палкой, сгребаю в жар несгоревшие сучки: вспыхивает пламя, выхватывает из темноты треугольник шалаша, ветку дуба над головой. Потом оно олаждает, и опять только мерцающий отсвет углей играет на лице Виктора, на его руках, близко протянутых к огню. Мы кончили ужин и теперь сидим, смотрим на угли и молчим.

Виктор зевает.

— Ну вот, завтра к вечеру будем на Оке. Устал?

— Да.

— Сегодня мы прошли километров тридцать. Пожалуй, это был самый красивый кусок нашего пути.

Я впервые слышу от него такие слова и поэтому говорю:

— А мне казалось, что тебя это не волнует.

Он молча смотрит на меня. В его глазах я читаю выражение, похожее на сочувствие. Он о чем-то думает.

— Я не понимаю тебя, — говорю я, — тебе, например, безразлично, дождь ли, солнце ли. А для меня дождь — это тоска! Тоска сидеть в сырой палатке в отсыревшей одежде и знать, что надо еще выходить, разжигать костер, идти за водой... А промозглая влага будет течь за воротник, набираться в рукава... Мне лучше, когда солнце.

— Ты рационалист,— говорит он.— Ты все разделяешь на приятное и неприятное. А для меня этих понятий здесь не существует.

Костер почти погас, и мне трудно понять выражение лица Виктора. Он осторожно шевелит серую пепельную пленку, под ней обнажается горячее тело углей.

— Я люблю пламя... Ты говоришь, дождь? — неожиданно спрашивает он.— Я могу поставить костер под проливным дождем.

— Ну и что? — не понимаю я.

Темнота начинает белеть: снизу, от реки, ползет туман. Волны его, переливаясь через край, постепенно затопляют лес. Становится сыро.

— Давай спать,— говорит Виктор,— посуду помоем завтра.

...Внутри шалаша от высыхающих листьев стоит душный аромат. Туман укутал лес и, словно куском ваты, заткнул отверстие шалаша. Вата — сырая и холодная — колышется в нескольких сантиметрах от меня, но мне приятно: она освежает горящее лицо. Спина Виктора влажная и горячая...

Зачем нам нужно было узнать это?

Деревня лежала в стороне от нашего пути, за холмом. Сквозь густую зелень, разросшуюся по огородам, с ажурными шапками рябин и тяжелыми гривами старых тополей, едва проглядывали ее серенькие крыши. Тропинка, проложенная вдоль берега, спокойно увела бы нас прочь, мы же, ревниво придерживавшиеся ее извилистого пути, и не подумали бы свернуть в сторону. Что привело нас туда? Случай?

Тогда я объяснил это именно так.

Накануне я стер ногу и, пройдя несколько километров, почувствовал, что дальше идти не могу. Но беда не приходит одна: на стоянке под Семеновским, где мы сушили вещи, я забыл нашу походную аптечку.

— Начинаются самые драматические страницы,— вздохнул Виктор.— Теперь я потащу тебя на себе. Потом брошу. В лесу тебя сожрет волк или ты с голоду съешь его. Вставай, зайдем в туземное селение.

Этот дом был первый, попавшийся нам.

Дом был новый, крашен темной зеленой краской, с тремя окнами в белых резных наличниках. Со стороны улицы — крепкий, целый забор из свежеструганых досок: между кустами акации, посаженной вдоль забора, еще валялась щепка. Внимательный взгляд тотчас мог отметить, что и сам дом, и крепкий забор, и чистый двор за ним производили впечатление нежилое. Ничто не валялось во дворе, никто не бродил по нему, не слышно было голосов, раздающихся обычно из надворных построек, да и ни одного строения, кроме самого дома, не было во дворе, а участок земли за домом, отведенный под огород, зарос лопухами, крапивой, краснел мертвенно-красными ягодами бузины.

На наш стук никто не отозвался. Мы постучали сильнее. Дверь легко подалась и широко распахнулась. Послышался перезвон падающей стеклянной посуды, и под ноги нам выкатились две порожние бутылки. В сенях, в густой темноте, стоял жаркий дух высыхающего смолистого дерева. Отворив вторую дверь, мы вошли внутрь, шагнули в горницу и остановились...

Яркий солнечный свет лился в окна, чисто вымытые, с ситцевыми в цветочках занавесочками-задергушками. Помещение было почти пусто и от этого казалось огромным. Здесь стоял тот же смолистый запах. У стены — широкая деревянная кровать с цветным лоскутным одеялом и двумя большими синими подушками, сундук, обитый железным плетением, покрытый вязаным ковриком. На нем небрежно брошено женское пальто, рядом пара простых туфель. И пальто и туфли казались чужими, наспех брошенными.

Мы заметили, что на кровати кто-то лежит, голова в черном платочке приподнялась от подушек. На нас смотрело худое, почти без морщин лицо пожилой женщины. Глаза темные, глубокие; взгляд строгий, покойный. Казалось, она не удивилась нашему приходу.

— Вы к Феде? — Голос густой, звучный, с твердыми, властными интонациями. — Присядьте на лавку, он сейчас придет.

Странен был этот взгляд — внимательный, он был устремлен на вас и в то же время сквозь вас, на что-то, что было сзади, за вашей спиной. Он напоминал взгляд слепого. Но женщина видела, она реагировала на каждое наше движение.

— Он приходил нынче утром, оставил постирать кое-что из белья. Я выстирала, вот на лавке лежит. (Лавка была пуста.) Он обещался забрать днем, у него свои дела. Теперь уж, надо быть, скоро и придет.

Она говорила неторопливо и внятно, но лицо при этом оставалось совершенно неподвижным.

Обессиленная, она затихла и лежала, закрыв глаза, тяжело дыша. Потом открыла глаза и по-прежнему внятно, спокойно сказала:

— Постучите мне в окошко, когда кончится война. Мне надо знать. От меня все утаивают.

— Выйдем на улицу, чтобы не беспокоить бабуся, — сказал Виктор.

За калиткой, оживленно переговариваясь, стояли женщины. Увидев нас, они замолкли.

Мы прошли через огород и задами вышли к противоположному концу деревни.

В сельмаге, маленьком и пустом, бинтов не продавали. Молоденькая продавщица, увлеченная в своем уединении каким-то растрепанным романом, взглянула на нас отсутствующим взглядом. Потом, словно стряхнув грезы, спросила:

— А что с вами?

Я объяснил.

— Подождите тут, — сказала она, убрав книжку, — может, я найду.

И убежала, оставив нас внутри, не подумав о том, что мы можем стащить банку малинового конфитюра, или одну из «золотых» цепей, разложенных под стеклом, или на худой конец топор.

Здесь было прохладно, пахло пряниками, кожей и крашеными ведрами. С потолка свисали «липучки», завернувшиеся спиралями. На них не было мух, и только на одной гудела и билась с короткими передышками прилипнувшая к ней оса.

Девушка вернулась.

— Вот, пожалуйста. Я у фельдшера взяла. Давайте перевяжу!

Она запыхалась, наверно бегала далеко, но была довольна. Она не была красивой: круглое в веснушках лицо, выгоревшие брови, светлые волосы заплетены в жидкие косички, завязанные тряпочками. Но милая, симпатичная!

Пока я перевязывал ногу, она рассказала нам историю «тети Натальи», которая потеряла рассудок, когда узнала, что ее единственный сын, Федор, погиб на фронте, — все ждет его.

— Может, еще и выздоровеет, — вздохнула продавщица. — Ведь вот рассуждает-то она нормально. Только когда о сыне.

Она вышла с нами на крыльцо.

— Вот до колодца дойдете, там налево и прямо спуститесь к речке.

Мы уходили своей тропинкой, и дома медленно опускались за пригорок. Только тополя продолжали виднеться над ним, и никто отсюда не смог бы даже предположить, что там, под их зеленью, лежит деревня.

Так и останется она, затерянная в бесконечных лугах и лесах, жить своей жизнью с радостями, с печальями...

На Оку мы в этот день не вышли. Мы шли медленно, почти не разговаривая, также молча курили на привалах.

Около полудня мы подошли к большому селу, раскинувшемуся на противоположном берегу. По карте это должно быть Турово, последнее на нашем пути; отсюда до Оки оставалось километров десять.

Пройдя лесом и выйдя к реке, мы вновь увидели на той стороне дома. Они тянулись по берегу насколько хватал глаз.

У края картофельного поля, под прибрежными деревьями, сидели женщины; прервав работу, они полдничали.

— Здорово, бабоньки! — приветствовал их Виктор. — Хлеб да соль!

— Здорово, дяденьки!

— Что это за деревню мы прошли?

— Ту-урово, — ответила нараспев пожилая, по виду бригадир. Остальные, пересмеиваясь, разглядывали нас.

— А что ж там, впереди?

— А Турово ж...

Мы еще раз сверили карту.

Девчонка с круглым комичным лицом, но дерзкими глазами, спрятавшись за спины остальных, хихикнула:

— А вы откуда, дяденьки? Не иностранцы ль?

— Американцы, — ответил Виктор.

Женщины засмеялись.

— А тот, в очках, профессор, что ли, какой?

На нее замахали руками, заговорили приглушенно, оглядываясь на нас: «Будет тебе. Вот, дьявол, языкая», но засмеялись пуще, ожидая шуток. Она, все так же прячась, но ободренная вниманием и собственной смелостью, крикнула громко:

— Иди сюда, побалуемся! Люблю интеллигентных профессоров!

Все так и зашлись смехом. Молодые смеялись открыто, задорно и вызывающе смотря мне в лицо, постарше — в смущении отвернувшись, прикрываясь рукой:

— Ихи-хи-хи-хи! Ой те господи!

Девка пыталась сказать еще, но только раскрывала рот, всхлипывала и, махая рукой, валилась набок. Виктор вдруг тоже захохотал.

— Пойдем, профессор, они тебя тут доконают. Пока, рыжая! На обратном пути зайдем поиграться.

— Приходи, пойдем в салашик!

Небо постепенно заволакивалось тучами, и наконец они совсем скрыли солнце. Только изредка, прорвавшись внезапно быстрым колющим лучом, оно тут же торопливо укутывалось вьющейся клокастой массой.

Мы едва успели добежать до опушки. Ливень хлынул такой силы, что широкие, плотные лапы большой сосны не защитили нас. Дождь шел и шел, пока тучи не выжали себя до конца. Небо просветлело, но осталось серым и мокрым. Дорога, не просохшая еще с прошлого дождя, вновь превратилась в глиняную кашу. Мы разожгли костер и остались ночевать в соснах.

На ночь вокруг палатки выложили кольцо из ломких, хрустящих сучьев — «хрустящий барьер», — чтобы в темноте лоси не наскочили на палатку.

...Хруст, треск, топот... Мгновенная догадка... Страх! Ожидание удара... Единственная мысль — наружу! Расстегиваю палатку и выскакиваю во тьму.

Тьма сплошная. Сырая, душистая тьма. Она подходит к самым глазам. Свет фонарика, как безмолвный взрыв. Это первые секунды. Но вот

проходит их десять, двадцать, тьма разрывается, там сгущается, там бледнеет, становится мутной, начинают проступать силуэты деревьев и сырое пространство между ними, появляется глубина. Зеленой прозрачной мутью вспыхивают на земле пятна света от прорвавшейся сквозь крону луны, и ярким желтым огнем разгорается опушка за угольно-черным частоколом тонких стволов. Картина проявляется, как на фотографической пластинке.

За опушкой, между лесом и рекой, в резком, обнажающем свете луны — луг. По нему уходит животное. Среди всеобщей неподвижности его присутствие и движение так странны...

Еще одна тень мелькает под последними деревьями. Вот она вырезалась четким силуэтом и враз поблекла, выйдя на свет. Видимо, это второе животное и нарушило наш сон, наткнувшись в темноте на «хрустящий барьер».

Страх прошел. Улеглось возбуждение, вызванное внезапно прерванным сном, предчувствием несчастья. Виктор уже укладывается и торопит меня. Сейчас я иду, еще немного... Наконец-то я увидел их.

Увидеть лося стало в последнее время моей навязчивой мыслью. Где бы мы ни шли, я постоянно вглядывался в чащу, искал следы, характерный лосиный помет — россыпь маленьких черных пирамидок с округлыми краями. Виктор то и дело устраивал из этого себе забавы.

Однажды, уже засыпая, я услышал снаружи его приглушенный голос:

— Слушай, хочешь увидеть живого лося?

Я моментально вскочил.

— Что? Где? — спрашивал я, нетерпеливо озираясь в темноте.

— Я говорю, увидеть хочешь?

— Ну?

— А чего ты вылез?

— Ну где он?

— Так вот, я не договорил: как только вернемся, обязательно сходим в зоопарк.

— У, балбес!

...Они идут друг за другом, след в след. У переднего голова напряженно вскинута вверх, он нюхает воздух. Длинные уши — торчком, нервно ловят малейший шорох.

Подошли к деревьям на берегу. Спускаются к воде. Это то место, где я вчера брал воду для ужина. Исчезли.

И снова никого. Снова все неподвижно, мертво. За рекой — деревня. Крайний дом метрах в ста от воды — черные стены и белая крыша. На ней блестит антенна телевизора.

Я слушал эту вечернюю песню, лежа над обрывом под соснами. Родилась она где-то на дальних пляжах, что разливаются из-под прибрежных кустов чуть ли не до середины Оки.

Заходило солнце. Прибрежный песок, кусты над ним, луг, и лес за лугом с огненными стволами сосен, и белая, как птица, усадьба среди густо-темной зелени — все как бы раскрылось в этих последних закатных лучах. И все затихло. Даже моторка перестала стучать, остановившись посередине реки. Это были минуты полной тишины. Только ласточки с пискотом носились над обрывом на уровне моих глаз.

И тогда я услышал песню. Играла гитара. Четок был каждый перебор, звон каждой струны.

Недолго играла гитара. Ее дребезжащий, печальный звон оборвался так же внезапно, как и возник.

Несколько секунд после этого тишина еще продолжала ждать. Но вот, стукнув, сердито затарахтела моторка. Волны от нее сломали гладь воды. Лес потемнел и замкнулся в своем зеленом панцире, став сразу мурым и неприветливым. Мертвым склепом стала белая усадьба.

Но долго еще продолжал стоять в ушах моих этот звук. Так отчетливо и ясно проплыл он в тишине над водой, так гармонично закончил эти последние минуты дня, что показалось мне, будто не человеческая рука, а сама Природа извлекла из себя и бросила вниз по реке свой последний аккорд.

День наш начинается рано, в шесть часов, когда еще прохладно и тихо вокруг. Солнце прячется где-то за темными лесами, и только по алому цвету облаков, быстро бегущих по небу, можно догадаться, что оно уже встало и вот-вот пожалует к нам в гости.

С реки сходит туман, цепляясь за прибрежные кусты. Луг на той стороне как в сизом дыму. Все пропитано влагой ночи. Песок сырой и холодный, на нем четко отпечатываются следы. Влажные, набухшие иглы не колят босых ног. Ни души вокруг. Легко и беззвучно проходит по теплой сонной воде первый речной трамвай. Он пуст. Кажется, и на нем все еще спят.

Мы спускаемся к пионерской купальне. Все так тихо, что и мы не шумим, разговариваем приглушенными голосами. Виктор выплывает на середину реки, и его сносит течением далеко вниз. На бугор он взбирается мокрый, ежась, фыркая, и торопливо растирается полотенцем докрасна. Потом пьем чай.

Рацион наш строг и скуп: кружка сладкого чая, два-три куска хлеба с повидлом, кусок сыра. Он должен полностью исключать появление «сытости».

Пока завтракаем, солнце поднимается из-за леса. Эти его первые лучи приятны, и так не хочется уходить из-под них!

Но режим есть режим. Быстро моем кружки остатком чая, прячем в палатку и расходимся. Виктор уходит в лес, а я беру бумагу, карандаш и иду на противоположный конец, под сосны. Там, в тени, ложусь на песок и принимаюсь за свои записи.

Сосредоточиться трудно. Вчера, например, только начал входить в нужное состояние, как кто-то больно укусил за живот. Минут десять лазил я по песку в поисках злодея. Полозили какие-то маленькие мухи и жуки, а как определить, кто это сделал?

Со злости я засыпал их всех песком, но они тут же снова вылезли. Горел и чесался вздувшийся волдырь. Я мазал его слюнями, прикладывал листья — ничего не помогало.

Потом внизу раздалось мычание и бляение: стадо пришло пить. Пастух — лысый, хромой, с очень белым телом — разделся и полез в купальню. Стадо разбрелось, разлеглось по берегу и в воде. Овцы, забравшись на бугор, начали обгрызать кусты. Две коровы взошли на хрупкие мостки и улеглись на них.

Пастух вылез, надел зеленую майку, схватил кнут и с криком: «Ну! Ну-у!» — стал прогонять их. Прогнав, натянул штаны и погнал стадо дальше.

А к десяти часам уже нет спасения от солнца. К этому же времени на берег выходит пионерский лагерь.

Вдруг увидишь, что из-за кустов глядят на тебя две глазастые рожи. «Ну что, дети?» — в отчаянии спросишь их. Но они только хлопают глазами. Сделавшь движение, они кубарем скатываются вниз, а через минуту опять слышишь за собой осторожный шорох.

Я бросаю свои записи и вылезая на солнце. На, ешь! И, надо сознаться, делаю это с удовольствием.

Но как же хорошо неподвижно лежать под солнцем, чувствуя, как насквозь прогревается тело, наполняясь, точно сосуд, горячей энергией! И как приятно, щекоотно ползут между лопаток большие теплые капли! Напечет живот, перевернись кверху спиной, и через некоторое время капли поползут по груди, а песок под тобой станет влажным. Выходит лишняя влага, тело становится суше, крепче.

Воздух жаркий, сухой, точно лежишь против раскаленной печи. Изредка чуть потянет ветерок и съест жар. Но стоит ему улететь, как зной вновь охватывает все и стоит неподвижный, обжигающий. В нем, как в горячей воде, лучше не двигаться; чуть пошевелился — враз запечет, засаднит все тело. Вода в реке теплая, она не освежает; только вылез, тотчас сухой, будто и не купался.

Наверно, в такую вот сушь и начинаются лесные пожары.

Счастливы люди, способные просто ничего не делать.

Такой отдых необходим. Он снимает всю тяжесть, накопившуюся в организме, проветривает и освежает голову. Человек прополаскивает себя в чистейшем аромате природы, и весь тот сор, который загрязнял его, мешал ему, вымывается и уносится прочь. Мысли, отмытые от шелухи, становятся чистыми и острыми, как грани кристалла. После этого организм снова молод, свеж, гибок, подвижен и силен.

Обед между часом и тремя. Обязанности распределены: готовит Виктор, я мою посуду. Это тяжело. Не хочется спускаться к реке, оттирать песком и травой закопченные дочерна ведерки, хочется подремать. Но это «необходимые трудности», и я заставляю себя преодолевать их.

Обед — ведро густого варева, макаронного либо вермишелевого, со свиной тушенкой. Тут тоже раз и навсегда установленный закон — никаких излишеств: обычный туристский рацион, здоровый, питательный и, признаться, удивительно вкусный. Мы съедаем все с невероятным аппетитом. даже в такую жару, и я радостно отмечаю, что худею с каждым днем. Это прекрасно! Потом чай — сколько хочешь.

Ужин после шести. Мы засиживаемся за ним допоздна, пока станет совсем темно. Курим, «рассуждаем», а то просто молчим, глядя на реку, и слушаем, как приходит ночь.

Темнеет. Облака незаметно разошлись, и на юге, прямо против нас, зажглась знакомая наша звезда. Перед сном мы всегда смотрим на нее. Она больше и ярче остальных, зажигается первой, и цвет у нее красноватый.

Неслышно носятся между деревьями летучие мыши. Вечер теплый. Если бы не комары, так можно просидеть всю ночь.

Река начинает белеть. Из-под черных, безмолвных берегов ее медленно вытягиваются дымные сырые руки туманов, тянутся над водой, свиваясь, закручиваясь и набухая, заливая всю ее белым холодным разливом.

Где-то на дальней косе, у поворота реки, блеснул огонек. Блеснул и погас. Так просто его и не разглядишь. Но если пристально смотреть, то все ярче начинает разгораться светлая точка, и вот уже кажется, что видишь лижущие язычки пламени. Отвернулся, посмотрел вновь — ничего нет. И снова надо вглядываться, чтобы он опять начал разгораться. Он все время мерцает: колеблющиеся волны тумана закрывают его.

На моторке проехал бакенщик. Около белого, уже слабо различимого в темноте треугольника бакена он остановился, заглушил мотор и долго оставался недвижим. Прошло минут двадцать, а бакен все так же был темен и так же неподвижна около него лодка.

Но вот мигнули и сразу пропали два желтых пятна — одно выше, другое ниже лодки. Через минуту они зажглись вновь и вновь потухли. Огни мигали все чаще и чаще, пока наконец не застыли прочно.

Потом тот, что был ниже, начал колебаться, раздробился, пошел кругами и золотыми искрами засверкал у подножья камышей.

Длинная тень, которою стала теперь лодка, начала медленно отходить от огней. И по мере того, как уходила она все дальше вниз по течению, выходя на светлую воду, успокаивался и собирался желтый огонек. Скоро он, как и его товарищ, стал недвижим.

Так и остались гореть в темноте ночи два неярких желтых огня — маленький фонарик бакена и его отражение в черной воде...

В половине двенадцатого Виктор достает свой приемник, и мы напряженно вслушиваемся в хрип и шорох, происходящий внутри него. Виктор говорит, что это «последние известия». Так проходят наши дни.

— Не приехал Жадный Рыбак!

Жадный — его второе прозвище. Сначала он ходил у нас под кличкой Наш Рыбак, потом стал Жадный, а потом... но все по порядку.

Я просыпаюсь, вылезая из палатки: утро — лучше не придумаешь. Еще никто нигде не вставал, еще медленно уходит с реки туман, и ты один здесь, над рекой, над туманом, над всей землей. Но это не так. Уходящий туман открывает одинокую и будто навечно застывшую посредине реки лодку с неподвижной фигурой на корме. И лодка и человек в ней настолько неподвижны, что кажутся одним целым, словно кто-то вырезал их из куска коры и бросил в воду. С борта, как усы, торчат два тонких удилища.

Этот рыбак — неотъемлемая часть окружающего нас пейзажа. С рассвета и до темноты сидит он в своей лодке, и кажется, что и ночью он продолжает оставаться тут, посредине реки, такой же неподвижный и безмолвный. Только изредка движение удочек говорит о том, что человек в лодке живой.

Мы никогда не видели, как он подъезжает или отъезжает, мы привыкли к тому, что он всегда тут.

Сначала это нас занимало, потом мы перестали удивляться и обращать на него внимание. Он получил кличку Наш Рыбак.

Как-то раз в такое вот утро я от полноты охвативших меня чувств запел. У меня нет слуха, но я забыл об этом. Рыбак посмотрел в мою сторону и сделал движение рукой, приветствуя. Я помахал ему в ответ.

С тех пор мы каждое утро так безмолвно здоровались. Между нами установилась связь, словно мы знали что-то, чего не знал никто, кроме нас, и, приветствуя друг друга в эти ранние, безлюдные часы, напоминали один другому: «Я помню», «Я — тоже». И за это я испытывал к нему теплое чувство.

Я представлял его себе добрым, спокойным и умным стариком, почему-то в очках и с трубкой. Отсюда я не мог разглядеть его лица, но образ уже сложился определенный.

Однажды я лежал на краю бугра и бездумно глядел вдаль.

Солнце еще не было горячим, утренняя прохлада еще не покинула бугор, и легкий ветерок временами пролетал под нагревающимися соснами.

Пионеров еще не приводили в купальню. Было тихо. Шел десятый час утра.

Внизу по лугу проходило стадо. Коровы шли быстро, хорошо, но пастух — мальчишка лет двенадцати — громко хлопал кнутом и то и дело кричал на них: «Но-о...», прибавляя цветистое словечко.

Кричал он так, «для порядку», потому что не мог молчать, потому что шел утром по солнцу в высокой траве, а в лицо ему дул прохладный ветер с реки. В такое утро надо петь, а парень петь не умел.

И, гордый великой ответственностью, возложенной на него, он, шурясь на солнце, притворно-грубо покрикивал, как настоящий «взрослый» пастух.

Я задремал, а очнулся от криков, долетавших с другого берега.

На противоположном берегу, махая руками, стояли две девушки и двое ребят. Одеты они были по-туристски, у ног их лежали большие рюкзаки.

— Эй, дядя, перевези-и!

— Эге-гей! Ого-о!

Они обращались к нашему рыбаку. Он не мог их не слышать, но оставался безучастен и на призывы не обращал никакого внимания. Только удочки часто вскидывались вверх.

— Ну, пожалуйста! — нерешительно просили девушки. — Ну что вам, жалко? Нам нужно в Ступино.

Рыбак даже не повернул головы.

Ступино лежит внизу по течению на этой стороне Оки. Кругом по всей реке не было ни одной лодки, а вылезшее уже в самый зенит солнце начинало печь.

Крики продолжались. Рыбак точно оглох.

— Ну и скряга! — сказал Виктор. — Друг-то твой, смотри, какая жадюга. Боится, всю рыбу не переловит.

Мы подошли к обрыву. Нам жалко было ребят, но помочь им мы ничем не могли.

Поведение рыбака меня тоже смутило.

Ребята, видимо, отчаялись договориться по-хорошему.

— Эй ты, жила! Ну на деньги. Мы тебе заплатим. А то лодку перевернем!

Ребята стали раздеваться и поплыли. Девушки присели на рюкзаки. Плыли ребята долго, течение все время сносило их вниз.

Они подплыли к лодке. До нас доносились их голоса, но слов мы разобрать не могли, наверно, они продолжали торговаться. Вдруг рыбак встал и замахнулся удочкой. Ребята повернули обратно.

— Дрянь! — выругался Виктор. — Сейчас я к чертовой матери переломлю все его удочки!

Я удержал его.

Ребята доплыли до берега, вылезли, о чем-то поговорили между собой и стали собираться. Девушкам помогли надеть рюкзаки, от этого они сделались совсем маленькими, сгорбились.

— Эй, ребята! — закричал Виктор. — Идите вверх, на пристань!

— Что-о?

— Вверх, на пристань!

Мы стали кричать вместе: «На при-стань!» — и махать руками.

— А далеко-о?

— Да порядочно!

— Спасибо-а!

Растянувшись гуськом, согнувшись под своими ношами, они побрели вдоль берега и скрылись в кустах.

Отношение наше к рыбаку круто изменилось. Мы дали ему кличку Жадный Рыбак.

Мне он теперь уже не казался «добрым стариком». Я представил себе этого мордастого «хапугу» с маленькими жадными глазками. Возможно, он продает рыбу дачникам.

На следующий день я не ответил на его приветствие.

Вечером, как обычно, мы сидели в костра. Солнце давно село, но в воздухе был розовый свет. Он — в небе и в реке. Тишина. Только стре-

котал, как швейная машина, сверчок на сосне да с того берега ясно, будто вот тут, под бугром, слышались голоса, смех и всплески купающихся. Можно было даже разобрать слова.

Протрубил горн, и в пионерском лагере оборвался шум. Потянулся снизу туман по реке, и в небе зажглась оранжевая звезда.

Туман густел, и противоположный берег с лугом, лесом и белыми домами усадьбы казался отсюда миражем. Туман закрывал берег, мираж начинал колебаться, расплываться, таять. Сейчас он пропадет, и останется впереди только одно бескрайнее белое море.

Вдруг на бугор вылез маленький, черный, плешивый человек с длинным носом, круглыми навывкате глазами и оттопыренной нижней губой. Одет он был в стеганую фуфайку и болотные сапоги.

Он тяжело дышал и разводил руками, делая глубокие вдохи.

— Уф! И вы каждый день лазаете по этому песку? Уф! Вы спортсмены?

Быстрым движением огладив лысину, он подошел к нам вплотную, склонил голову набок и своими рачьими глазами очень серьезно и внимательно рассмотрел каждого из нас.

— Вы заметили, я не здороваюсь? А что вы думаете, я не понимаю ваше состояние? На вашем месте я бы тоже самое взял за шиворот этого негодяя, подвел его к краю и дал ногой вот сюда, под зад. И с приветом!

— Зачем? — спросил Виктор.

— Ой-ей-ей, вы умеете притворяться! У меня сын вроде вас, немного помоложе, он тоже умеет хорошо притворяться. Он артист. Вы у меня спросите, зачем я прогнал этих ребят? А я вам отвечу: вы когда-нибудь ловили рыбу?

— Так вы рыбак?!

— Нет, я вам скажу по секрету: я Ив Монтан. Вы мне поверите?

Это было так неожиданно, что мы даже забыли рассердиться. А он в те секунды, пока мы соображали, успел обежать поляну, заглянуть в палатку, покопаться в наших дровах, все время крутя головой, цокая языком, оборачиваясь и пристально, цепко схватывая нас своими вытаращенными глазами. Он ни разу не улыбнулся, и на лице его держалось выражение чуть ли не ужаса.

Он подбежал к костру, сунул нос в ведро, вдохнул, обжегся паром, отпрянул.

— Вы тут живете? Зачем? Давно? Имейте в виду, вы можете мне не отвечать. Это чай?

— Да...

— Пьете? Этот чай? С сахаром, с вареньем? С сахаром. Ну, если вы мне сейчас скажете: «Не хотите ли кружку чая?» — то я скажу: «Спасибо». Посуду мыть не надо. Я не боюсь заразиться.

Я вылил в кружку оставшийся чай, и он тут же, обжигаясь, дуя и мотая головой, начал громко тянуть его, причмокивая.

— Я не наношу ущерб вашему рациону? Не наношу. Тогда я возьму три куса сахара... А мне, думаете, не жалко тех ребят? И думаете, у меня сердце не обливалось кровью, когда они пошли с этими мешками? А вы заметили, какие у них девушки? Достались таким соплякам! Они мне сказали: «Мы перевернем вашу лодку». А вы думаете, они могли перевернуть лодку?

Он допил чай, заглянул в кружку, осмотрел ее с обратной стороны и поставил.

— Больше не надо. Я напился.

И вдруг он вскочил, взглянул на нас опять почти с ужасом и кинулся прочь. Он подбежал к обрыву и вернулся, таща большую, часто плетен-

ную сетку, битком набитую рыбой. Рыба была маленькая, не больше ладони.

— Я вам оставляю эту рыбу.

— Нам не нужно.

— А что я буду с ней делать? Вы думаете, у меня дома кто-нибудь ест эту рыбу? Может быть, моя жена станет ее чистить? Может быть, дочь станет? Они покупают себе рыбу в магазине, они любят большую рыбу. А я, наверно, виноват, что эта маленькая. Я вижу по вашим глазам, что вы никогда не ловили рыбу. Я угадал. Тогда как я вам буду объяснять, что такое клев? Эти бедные дети тоже не понимают. Я говорю «бедные», потому что, можете мне верить, я их жалею. Хорошее дело — «перевези!» Когда человек не успевает вытаскивать удочки! Почему они не пришли потом? Я бы покатал их десять раз туда и сюда. Я прожил жизнь, я видел женщин, и — ай-яй-яй! — я посидел бы с этой девушкой где-нибудь в парке, на скамеечке!

Отвечать нам он не давал. За все время мы не могли вставить ни единого слова. Да и вообще нас как бы не существовало. Он говорил, спрашивал и отвечал сам себе, все время дергая головой, трогая нас за плечи и тараша в ужасе глаза.

Выражение лица его передать нельзя, каждую секунду оно менялось. Такие лица, наверно, очень трудно рисовать. Почти невозможно было сказать, сколько ему лет, — может быть, сорок, может быть, шестьдесят, так же как невозможно определить, кто он — артист, заведующий складом, инженер или страховой агент. Он мог быть кем угодно.

Энергия била из него, как фонтан, в котором он сам захлебывался. Он сбил с толку, закружил, заморозил нас. Виктор и тот был растерян и хмурился, силясь собраться с мыслями.

Сделать это было трудно. Никак не мог увязаться в нашем сознании этот живой, как шарик ртути, говорливый и, по-видимому, совсем не злой и не скупой человек ни с молчаливой фигурой старика, ни с образом жадного хапуги, каким мы по очереди его представляли. И мы только растерянно смотрели на него, в то время как он, не переставая, говорил и говорил...

Виктор взглянул на часы. Рыбак тотчас перехватил его взгляд.

— Вы хотите спать? Не хотите. Вы будете не спать до утра? Вы любите природу. Я вам оставляю только половину рыбы.

Он быстро поднялся, высыпал рыбу на брезент, затянул сетку и пошел к обрыву.

— Спокойной вам ночи!

Мы тоже поднялись.

— Как-то странно, — сказал я, получив наконец возможность что-то сказать, — мы даже...

— Незнакомы. Ай, какое горе! Вы не знаете, кто я, я не знаю, кто вы. А это имеет значение? Я уже хорошо знаю вас. Зачем мне надо знать, где вы работаете? А вам это нужно? Идите сюда, я вам что-то скажу.

И наклонившись к самому моему уху, и вдруг в первый раз за все это время улыбнувшись, прошептал:

— Я вам скажу по секрету: я уже на пенсии.

Потом так же неожиданно, как появился, кинулся вниз и пропал в тумане. Стукнули весла, скрипнули пару раз, и все затихло. Мы стояли в полном недоумении, поглядывая друг на друга.

До чего же нам надоело солнце!

Когда утром вылез я из палатки, Виктор спросил: «Ну как?» — в голове его была надежда.

— Все в порядке, — ответил я, — небо ясное, голубое.

— Черт побери,— зарычал он,— опять это ясное, голубое небо!

А если так говорит Виктор, это уже кое-что значит.

Каждое утро природа начинает играть с нами нечестную игру. Солнце встает медленно, как бы нехотя. Лучи его приятно греют. «Доброе утро!» — ласково говорит оно нам. Небо влажное. Дует прохладный ветерок. Все как будто сговорились делать вид, что ничего особенного не должно произойти. И мы, как дети, простодушно верим и бездумно нежмся и плещемся в свежей и чистой купели утра.

И как жестоко бываем мы каждый раз наказаны за свою доверчивость!

Пройдет час-другой — и вот коварное светило включает все свои рубильники. Черты, хихикая, отодвигают заслонки, а заспанные, ленивые ангелы начинают медленно откачивать воздух. Жаром пахнет небо! Все раскалится, расплавится и потечет над землей плотными волнами нестерпимого зноя. А резвый ветерок, который, балуясь, пролетает сейчас над нами, умчится куда-нибудь за тридевять земель и там — жалкий и трусливый — забьется, затаится и замрет.

Песчаные дюны превращаются в ад!

Полуживые падаем мы на песок, лезем в реку, ищем хоть клочок спасительной тени. Но вода горячая, тень же скрывает только от прямых лучей. А где укрыться от зноя? Кто даст глоток свежего, прохладного воздуха?

И тогда, «плюнув на самолюбие», воздев руки и обратив гаснущий взор к пылающему небу, Виктор униженно просит:

— Ангелы, включите вентиляторы! Вы же тоже люди, ангелы!

Каждый вечер со страхом и надеждой прислушиваемся мы к шипенью нашего приемника. Но все напрасно. Далекий и радостный голос диктора неутомимо сообщает: «Завтра, по сведениям Центрального института прогнозов, в Москве и Московской области ожидается жаркая сухая погода без осадков. Температура утром девятнадцать — двадцать, днем двадцать девять — тридцать один градус тепла».

И ведь не ошибется, когда надо!

А мы бы дорого дали, чтобы услышать милые, нежные слова: «гроза», «дождь», или хотя бы такую ласковую фразу: «Ветер северный, слабый до умеренного».

Но природа упряма, как бык!

Единственную радость доставляют мне дети.

Каждое утро теперь сюда, на бугор, взбираются мои новые знакомые — мальчишки из соседнего пионерлагеря, рассаживаются по песку, и мы начинаем беседу.

Когда исчерпываются все темы, я выдаю им ласты, маску, трубку, свой перочинный ножик — одним словом, все, что у нас есть интересно, — а сам читаю или молча наблюдаю за ними.

Обычно они кричат мне еще снизу, от реки: «Мы идем! Можно-а?» Предупрежденный таким образом о готовящемся нашествии, я оставляю свои дела, быстро забрасываю книги и дневники в палатку и подхожу к обрыву.

— Ого, ребята, как денек?

— Доброе утро! — кричат они хором.

Я расстилаю брезент, сажусь, и вот над обрывом показываются их лохматые головы.

Иногда это происходит неожиданно.

Углубившись в записи, я лежу под соснами и не слышу шороха и шепота, раздающихся за мной, и только оглянувшись, обнаруживаю стоящую в напряженном молчании толпу.

Однажды я услышал, что они собрались, но нарочно не подал виду.

Ребята стояли, затаившись, боясь шевельнуться, и, когда кто-нибудь делал неосторожное движение, на него шикала вся орава. Поднималось такое шипение, точно за моей спиной собрались все змеи окрестных лесов.

Так могли они ждать минутами. Они уважают нашу «научную работу».

Нас с Виктором они считают учеными. Это была шутка или, вернее, способ самозащиты, но дети приняли ее настолько серьезно, поверили безоговорочно и с таким уважением отнеслись к нашей вымышленной работе, что у меня просто не хватило духу сказать им правду. Это было глубоко разочаровало их: они любят тайны.

Наше знакомство и последовавшее затем посвящение в сан ученых произошло при таких обстоятельствах.

На вторую ночь стоянки я проснулся от странных криков какой-то птицы. Они повторялись равномерно и монотонно через каждые пять-шесть секунд. Крик был назойливый и неприятный. Я не выдержал и начал вылезать из палатки.

Светила большая красноватая луна. Призрачный сумрак лежал на всей округе.

Я долго вглядывался в черные ветви над головой. Птица молчала. Тогда я взял одно из сложенных у костра поленьев и запустил им вверх. В ветвях бесшумно пролетела крупная тень и так же бесшумно уселась на другое дерево. Я бросил в нее второе полено. Оно ударилось о ствол ближайшей сосны, не пролетев и нескольких метров: птицу словно кто охранял.

Разная чепуха полезла в голову: ночь, луна, странная птица...

Подождав немного, я вернулся в палатку. Птица больше не кричала. Но мне не спалось, какое-то беспокойство охватило меня — чудилось, что тихая прежде ночь наполняется шорохами, потрескиванием, шарканьем легких, осторожных ног.

И вот я отчетливо услышал шаги и приглушенные голоса. Я тотчас вскочил.

У костра возились две темные фигуры.

— Зачем вы берете дрова?

Не обернувшись, они стремглав кинулись прочь.

Вылез Виктор, зевая и потягиваясь.

— Что, зафиксирован возмутительный случай умыкания частной собственности?

Мы закурили и сели на пороге, поживаясь от утреннего холода. Было уже совсем светло. На бледном небе висел остаток почти целиком растаявшей луны. Из палатки тянуло приятным теплом.

Через некоторое время к нам подошла группа смущающихся ребят во главе с вожатой.

— Извините, пожалуйста, и доброе утро, у вас есть хлеб?

Так в одну фразу они сумели вложить бездну содержания.

«Хорошо себе доброе утро!» — подумали мы, печально дымя папиросами.

— А что такое, вам нечего есть?

— Нет, мы вам отдадим обязательно, как только кладовую отопрут. А то мы ушли, а кладовую заперли, мы пришли, а там замок.

Зачем они «ушли», а потом «пришли» — навсегда осталось тайной: снизу на бугор с криком и свистом высыпало целое полчище.

Вожатая замахала на них руками:

— Тише, тише! Вы же видите, люди спят!

Очаровательная непосредственность!

— Мы хотим посмотреть туристов.

Но она увлекла их, объясняя:

— Ну чего на них смотреть? Это такие же люди.

Позади всех, поживаясь, брел парнишка лет двенадцати в пальто и босиком. Мы окликнули его.

— Что это, ребята, вас подняли в такую рань? У вас что, лунный поход, что ли?

— Не-е-е,— печально ответил он,— мы встречаем восход солнца.

И, махнув рукой: «Эх, организация!» — пошел за остальными.

Мы уже укладывались в надежде заснуть еще хоть на часок, когда дверная щель палатки вдруг раздвинулась, и в нее всунулась, вращая глазами, возбужденная физиономия.

— Дя, а дя! Ну, эта, дайте, сколько есть хлеба, немножко, кусочек телько. Нам, эта, рыб ловить надо.

Пришлось отдать ему хлеб. Стараясь заснуть, мы невольно прислушивались к хрусту веток снаружи: нам все еще казалось, что крадут дрова.

На следующее утро мы с Виктором разошлись, как обычно, в разные концы площадки и занялись каждый своим делом. Он возился с фотоаппаратом, прилаживая к нему телеобъектив, а я, забравшись в кусты, достал из папки бумагу, очинил карандаш и в раздумье уставился на белый лист, стараясь сосредоточиться.

Становилось жарко, бумага слепила глаза. Горячие лучи нагрели стволы сосен, и от них потек густой, возбуждающий аромат.

В отчаянии я оглянулся кругом. Из двери палатки торчали три пары босых ног. Воры? Крадучись, я подобрался ближе. Изнутри слышался сбивчивый, приглушенный говор. Желая поразить жуликов внезапным появлением, я быстро подскочил к входу и остановился в позе «карающего правосудия».

Но «грабители» были слишком увлечены. Тогда я заглянул внутрь. Трое мальчишек лет восьми-деяти с непрерывными восклицаниями «уй!» рассматривали наше имущество: приемник, топор, маску...

Увидев меня, они не испугались. Они любопытными глазами осмотрели меня с головы до ног и, закончив осмотр, спросили:

— А вы кто?

Этот наивный, чисто детский вопрос поставил меня в тупик. Невозможно в двух словах определить сущность человека. Кроме того, в большинстве своем люди сами не знают, кто они, и на этот вопрос скорее могут ответить посторонние. В состоянии ли был я объяснить всю сложность и противоречивость своей натуры, тем более детям?

Поэтому, растерявшись, я пробормотал:

— Так, никто... просто дядя.

И тогда обрушился шквал вопросов: «А почему вы здесь? А зачем это, это и это? А вы водолаз? А можно надеть маску? А почему нельзя? А что у вас еще есть?»

Услышав шум, подошел Виктор и выручил меня из безнадежного положения. Он сразу оценил обстановку и, строго взглянув на ребят, уже готовившихся вновь нырнуть в палатку, ледяным голосом спросил:

— Какое вы имеете право мешать нам работать? Вы знаете, что одно неосторожное ваше движение — и все взлетит на воздух?!

Мальчишки окаменели и раскрыли рты.

— Это профессор, доктор физико-астрономических наук,— представил он меня, и я, смущенный своей наготой, чопорно поклонился.

А Виктор не моргнув глазом продолжал:

— Профессор еще молодой, но уже очень знаменитый. Он ведет здесь большую научную работу: изучает строение земной коры и наблюдает за движением спутников (Какая ужасная чушь!) Тут, на этой площадке,

зарыты всевозможные приборы. Они соединены тонкими проводами, которые проложены под поверхностью песка. Стоит вам случайно задеть за один из проводов, как произойдет страшной силы взрыв. На воздух взлетит не только этот песчаный холм, но и ваш пионерский лагерь. Так как же вы могли появиться здесь без разрешения да еще залезть в палатку?

Я видел, что Виктора душит смех, но он сохранил зверское лицо. Ребята, окончательно подавленные, оглушенные, зачарованные, не моргая, смотрели ему в рот. Потом они перевели взгляд на меня, и — боже мой! — какое уважение и восхищение прочел я в их глазах!

— Вы нам сорвали важнейший опыт,— закончил Виктор свою речь.— Ступайте! Да осторожнее!

Вся тройка в полном молчании, на цыпочках обходя невидимые приборы, медленно пробралась через площадку и, только дойдя до края, разом кинулась вниз.

— Аха-ха! Уху-ху! Ого-го! — катался Виктор по песку.

— Зачем ты это сделал? Обманул, напугал ребят. Это нечестно.

— Нет, нет! Это великая мысль! — восклицал он, все еще не в силах отделаться от приступов душившего его смеха.— Больше они сюда не придут! Мы застрахованы от их нашествий. А мы доведем это дело до конца. Ученые так ученые! Поставим здесь треногу — я после обеда схожу в лес и притащу палки, — а на нитке подвесим шарик от штатива. Это будет похоже на какой-то прибор. Будем играть в ученых! И вот увидишь, эти папуасы не осмелятся переступить порог запретной зоны.

Я только качал головой. Обман, даже самый невинный, всегда неприятен.

К сожалению, мы плохо знали детей. Назавтра они пришли и привели с собой еще человек десять. Те трое вели себя героями. Собрав всю компанию вдали от палатки, они показывали на нас, объясняли устройство зарытых приборов, и я с ужасом прислушивался к страшным подробностям нашей работы. «Скоро нам крышка, — думал я. — Стоит им только рассказать об этом в лагере, как сюда нагрянут вожатые, обман раскроется, и мы будем навсегда опозорены в глазах детей. Еще хуже, если нас примут за жуликов».

Я негодовал на Виктора за его бэндеровские шутки.

Но дети, видимо, строго хранили раскрытую ими тайну. Никто не приходил нас арестовывать.

На третий день они явились опять и все с тем же любопытством разглядывали наш лагерь. Увидев меня, трое смельчаков неуверенно поздоровались. Я ответил им. С какой гордостью они взглянули на остальных!

Тогда в голове у меня мелькнула позорная мысль.

— Ребята, идите сюда, — позвал я.

Они в недоумении переглянулись, видимо, не веря своим ушам. Потом зашевелились, но, сделав движение, вновь замерли, со страхом глядя себе под ноги.

Взяв палку, я провел до палатки извилистую дорожку — «фарватер» и разрешил идти по нему.

Соблюдая величайшую осторожность, ни на шаг не заступая черты, они гуськом проследовали за мной.

— Здесь уже приборов нет, можете располагаться.

С этого дня и началась наша дружба.

Ребята требовали рассказать им все о нашей «работе», о спутниках, о ракетах, о всех планетах и звездах. Их вопросы часто ставили меня в тупик. В таких случаях я говорил им, что это секрет. Они таинственно-понимающе кивали головами, но спустя несколько минут уже хитрыми окольными путями старались выведать тайну.

Зная, как дети любят узнавать и хранить секреты, я рассказал о нескольких известных мне еще со школы физических явлениях, взяв предвзвешенно с каждого страшную клятву.

Они ходили гордые, важные и каждый день сообщали о том, что в лагере еще никто ничего не узнал: хотя все пристают к ним, они твердо молчат.

Через несколько дней я стер дорожку-фарватер, сказал, что приборы сняты и они могут ходить свободно. Теперь почти все время они проводят на нашей площадке, играя в свои самодельные игры, но главным образом в реактивные самолеты и ракеты. Нам они не мешают. Виктор махнул на все рукой, а мне, когда я свободен, доставляет большое удовольствие наблюдать за ними.

Один мой знакомый художник как-то сказал, что ребенок — это только карандашный набросок будущего характера, но опытный глаз всегда различит в нем свои, ему одному присущие линии и формы.

Пожалуй, это неточно. Ребенок — обнаженный характер. Мальчишки эти — типы, и типы такие яркие, резко различные, какие не сразу и не всегда разглядываются между взрослыми. Среди них нет одинаковых и похожих, в каждом свое. У них разное все: голоса, взгляды, движения, слова, поступки, различное отношение к окружающему и друг к другу. Душа каждого — в своем естественном, раскрытом всему миру состоянии, а мозг еще не испорчен потребностью прятать ее порывы.

Я наблюдаю за ними, и ничто никогда не доставляло мне большей радости. Они дарят меня самыми лучшими, самыми сокровенными качествами человеческой души, на которые так скупы взрослые.

Глядя на них, видишь, как умен, смел, интересен, как богат человек и как жесток он к себе и другим, когда из ложного стыда хоронит в себе эти чистейшие и нежнейшие качества.

Дети смелее и щедрее нас.

— Расскажите нам о чем-нибудь,— просит Женя, самый романтичный, самый впечатлительный из них.

Прозвище его — Чудак. Он нравится мне больше всех. У него хорошая, добрая улыбка, ровное и дружелюбное отношение ко всем. Воспринимает он все быстро, непосредственно и очень серьезно. Переживает остро и откровенно. Выражение его глаз, моментально и резко меняющееся — то испуганное, то открыто радостное, то полное горя, то задумчивое,— говорит о том, что он весь во власти рассказа.

— О чем же, ребята?

— А вот вы знаете про кости и скелеты? — Глаза Жени становятся испуганными. Фантазия его уже заработала.— Какие-нибудь страшные рассказы?

Но мне не хочется пугать их подобной чепухой.

— Нет, не знаю.

Ребята вздыхают.

— А вот кто читал «Африка грез и действительности» второй том? Там описывают, как поймали кафалота. Ух, здорово! Угадай, вот угадай, сколько он весит? Никогда не угадаешь. Пятьсот тонн!

Говорит это толстый, крупный, с большой головой и мясистыми губами. Он, видимо, много читал не только детской, но и взрослой литературы. Обо всем говорит уверенно, но как-то лениво. Он знает многое и поэтому, когда кто-либо возражает, даже не спорит.

— По-моему, не пятьсот, а триста,— поправляю я.

— Мовет быть,— снисходительно соглашается он и отходит.

Во все время нашего разговора он обычно со скучающим видом бродит вокруг, как будто пришел сюда не по охоте, а так, потому что при-

шли все, и неожиданно что-нибудь скажет, но всегда такое, чтобы удивить.

Его не любят, вернее, просто не замечают, и среди остальных он держится чужаком.

Он хитер, но хитрость эта сразу заметная, такая открытая хитрость. Играя в ножички и понимая, что проигрывает, что ему придется тащить кол, он вдруг делает вид, будто игра ему надоела. «Я лучше пойду вон на том дереве покачаюсь».

Я удивляюсь простодушию ребят. Они не удерживают его силой, а, поругавшись и тут же забыв, продолжают игру, и кол тащит кто-нибудь другой.

Они не помнят зла и в следующий раз вновь принимают его.

Разговор наш перебрасывается на тему о море, об акулах, о водолазах. Все, перебивая, стараются рассказать самое удивительное, что знают. Чувство меры развито у них замечательно — никто никогда не повторится, не расскажет дважды одно и то же. Если не знает — молчит.

Прямо против меня неподвижно стоит человек и, не мигая, смотрит мне в рот. Он маленький, тощий и какой-то синий. Выражения на лице у него нет. Оно неподвижно и тупо, о чем бы ни говорили. В глазах нет мысли. Заговорит кто-нибудь другой, он только поворачивает голову и так же смотрит ему в рот. Кличка его — Пушкин.

Но я заинтересовался им, и вот почему. Простояв без малейшего движения минут десять, он вдруг спросит: «А что больше — дом или пароход?» Что бы ни ответил, не переспросит, не удивится. Неизвестно, доволен или нет, понял или нет, все так же тупо смотрит в рот. Потом неожиданно: «А может кит проглотить акулу?»

Я все время приглядываюсь к нему и хоть до сих пор еще не нашел разгадки, но думается мне, что он не так туп, как кажется, и что происходит в мозгу его такая страшная, титаническая работа, что он сам поражен и подавлен ею. Фантазия так стремительно и буйно взмывает вверх, что необходима разрядка. От этого вопросы его гиперболические, неподготовленные, неосмысленные, и ответы не важны. Во всяком случае личность эта загадочная, а значит, не может быть примитивной.

Достаточно малейшего намека, чтобы тема разговора враз скользнула в сторону.

Но есть темы любимые. Одна из них — про спутников, космические полеты и марсиан.

Дети живут чуть-чуть впереди века, и, пожалуй, никто так моментально, остро и с такой готовностью не принимает все новое, как они. А приняв, до безграничных пределов развивают в своей фантазии. Будь наука в руках детей, мы уже давно бы летали по краю нашей галактики.

— А про спутников расскажите.

— Ага, ага, про спутников! — кричат все, зная, что уж тут-то мне не отвертеться, поскольку я «специалист».

Я припоминаю все, что мне известно, начинаю говорить и чувствую, как бедны мои знания, вял мой язык, как скудна, куца фантазия.

Они закидывают меня вопросами, которые поражают своей глубиной, точностью и конкретностью. Мозг их работает так живо, так стремительно, что мысль порою трудно сразу уложить в слова.

— А это, ну... как уж, может эта?.. — горя от нетерпения и гримасничая в отчаянии, что не может сказать, дергает Сашка меня за рукав.

Я вижу, что мысль уже где-то близко, но еще не оформилась, не вырезалась, она, как говорят, «на подходе»... и вдруг она ясно и четко отпечаталась в его голове, и он с полным знанием дела спрашивает:

— А может ракета, если к ней десять ступеней приделать, улететь от Земли и потом даже от Солнца? Если больше ступеней, то скорость ведь больше.

Обычно ответы мои их не удовлетворяют, и они открывают дискуссию между собой.

Но движение — основа их жизни. Поэтому никакая даже самая интересная беседа не затягивается надолго.

Движение необходимо, мышцы требуют его, а энергию может охладить только усталость физическая, а не умственная работа.

И вот я уже вижу, как Сашка выбрался из круга, ползает за спинами других, делая невинную рожу, когда я на него гляжу.

Сашка самый «буйный». Он старше всех, ему тринадцать лет, он маленького роста, однако жилист и силен. Натура у него деятельная, кипучая, противоречивая. Он недисциплинирован, часто несправедлив, всех задевает, зная свою силу, раздаёт подзатыльники, но вдруг притихает, ляжет и смотрит так глупо-простодушно, как самый маленький, самый тихонький, а по глазам видишь — хитер. Никогда не знаешь, что он сделает через две секунды: попросит прощения или даст кому-нибудь затрещину. По возрасту и по силе он должен бы верховодить среди них, но ребята его не уважают и, что очень странно, не боятся. Возможно, это следствие его характера — он не зол, а скорее расхлябан, просто у него чешутся руки, а тело ни секунды не может оставаться в покое.

— Это, дайте ножик, — просит Сашка и тут же кричит: — Кто в ножички? Чур, я первый!

Моментально все меня покидают, и начинаются крик, споры, кто-то уже канючит — Сашка стукнул. Я грожу отнять ножик, все затихают на две минуты.

В детях остро развито чувство справедливости, но они не любят жалобщиков. Защищайся сам, но ябедничать не смей! Таких они прогоняют, бьют.

Однако такие есть везде, есть и среди этих. Это порок, привитый, видимо, в семье неправильным воспитанием. Искоренить его трудно, так как сами жалобщики уверены, что поступают хорошо.

То и дело кто-нибудь из них подбегает ко мне: «А что он...», «А этот не даёт...», «А он взял...»

Я заставляю их разбираться самих и слышу, как Сашка шепотом обещает «дать потом». Это не мера воспитания, но я думаю: пусть «даст».

Жалоба вообще неприятна людям. Любая, даже справедливая. Есть в самом факте ее что-то бессильное, желание чужими руками совершить возмездие, трусливое и недоброе. Поэтому к таким людям всегда относятся настороженно и недоверчиво. Но только дети выражают это презрение открыто.

Они всё делают открыто — и хорошее и дурное. Они такие, как есть на самом деле, они честны во всем, и это их лучшая черта!

Часов около двенадцати снизу раздаётся голос вожатой: «А ну, Сергеев, Комаров, сейчас же ко мне!» Голос требовательный, раздраженный, усталый.

Вожатые — молодые загорелые девчата — лениво бродят по берегу, лежат на песке, смеются, заигрывают с физруком в купальне. Когда же приходит время собирать ребят, голоса их меняются, становятся искусственно звонкими, бесчувственными и раздраженными.

Ребята быстро прощаются и сбегают вниз. Они машут мне оттуда и кричат: «До завтра!» — на что вожатая почему-то злится и скорее гонит их прочь.

Они машут мне и потом, когда отряды, длинно растянувшись, проходят по дороге в лагерь.

И даже те, кого я отругал за что-нибудь полчаса назад, уже не помнят обиды, даже хитрые, даже жалобщики — все ласково, радостно и тепло прощаются со мной.

Они придут только завтра, потому что вечером их не водят купаться.

На Пьяном Бугре произошло событие, едва не разрушившее нашу мирную жизнь.

В субботу, возвращаясь из лесу уже довольно поздно к вечеру, я еще издали увидел между сосен в стороне от нашего другой костер. Желтые языки пламени высоко взметались кверху, и казалось чудом, что соседние деревья до сих пор не загорелись.

— Кто это распалил такой кострище? — спросил я Виктора, возившегося с ужином.

— Пришла какая-то дикая группа.

— Большая?

— На три палатки. Человек пятнадцать.

— Что за народ?

— Одни девчонки. Единственный парень. Загнали вон его, беднягу, в палатку и мнут там.

В той стороне, где яркий огонь плясал между темными стволами, слышалось непрерывное движение: визг, хохот, возня.

— Они нам устроят сегодня аутодафе.

Закипел чай. Виктор разгреб пылавшие головешки, чтобы чай не убежал, и мы принялись за еду.

Быстро темнело. Вечер был теплый. Туман не ложился на реку, и вода стояла неподвижно-спокойная, засыпающая...

На склоне, обращенном к лесу, слышались шаги и смех: кто-то взбирался наверх.

— Начинаются визиты, — пробурчал Виктор, откладывая в сторону ложку.

Между деревьями проступили две женские фигуры.

— Ну, я же тебе говорила. Это никакие не разбойники, а такие же любители экзотики, как и мы.

Они подошли к костру.

— Салют туристам! Откуда? Из Москвы?

— Да, — ответил Виктор, в упор разглядывая их, — а вы откуда же?

— С Малой Бронной. — Они переглянулись и рассмеялись. — Можно присесть?

— Попробуйте. — Виктор был явно недоволен их приходом и не старался скрывать этого.

— Садись, Катрэн. Это славные люди, они, конечно, нам помогут.

Они опустились на песок.

Та, что говорила, была красивая девушка в ярком платье и алой косынке, небрежно повязанной вокруг шеи. Вторая была одета по-туристски: ковбойка и шаровары, подвернутые до колен. Небольшого роста, худощавая, она выглядела угловатой и смущенной в своем костюме.

Первая смело оглядела нас.

— Мальчики, у нас к вам просьба. — Она замолчала, точно выжидая, какое впечатление произведут ее слова. Усмешка тронула губы. — Нам нужна какая-нибудь объемная посуда вроде ведра.

Глаза ее вызывающе смотрели на нас, говоря: «Вот и только. А вы ожидали не этого?»

Катрэн странно пискнула.

— Наши хотят есть кисель, а мы свое... сегодня утопи...и...ли.

Они, переглянувшись, опять захохотали.

— А вы торопитесь? — спросил я, пытаюсь принять развязный тон.

— Нет, напротив. Здесь так хорошо...

— Девочки будут ждать,— заикнулась было Катрэн.

— Подождут, Катюша, они еще не принесли воды. Вы давно тут живете?

— С неделю. Когда мы вышли из дому, не помнишь?

Виктор не ответил. Он встал и отошел в темноту. Девушка с любопытством посмотрела ему вслед.

— И неужели вы до сих пор не соскучились?

— По дому?

— Ну, если больше не по чему или... не по кому...

Она тряхнула головой, и густые волосы ее, рассыпавшись, почти закрыли лицо. Обняв руками колени, она склонилась низко к едва теплившемуся углям, искоса взглядывая на меня, поводя, будто от холода, плечами.

Черты ее лица находились в беспрестанном движении. Взгляд принимал почти моментально то одно, то другое выражение. Было в нем и лукавство, и откровенное кокетство, и дерзость, и смущение, и вызов. Я смотрел на нее со все возрастающей тревогой. «Предложить ей куртку? Накинуть на плечи?»

— Тут, наверно, очень хорошо... быть вдвоем. А?

Виктор вернулся к костру и бросил на землю охапку сухих сучьев.

— А вот и Виктор! Вы, Виктор, всегда приносите людям тепло?

Она взяла несколько веток и, сломав их, положила на угли. Я принялся раздувать огонь. Пламя охватило хворост. Огонь загудел, у костра сразу стало жарко.

— Виктор дал нам огонь! — смеясь, сказала она. — Вы щедрый, Виктор?

Стоя над ней и с какой-то непонятной мне враждебностью глядя ей в лицо, он ответил:

— Нет. Скупой.

Она захохотала, потом резко поднялась и, приблизившись почти вплотную к нему, сказала:

— Не верю. Такой сильный не может быть скупым. Так вот... не верю! Пошли, Катрэн! Ну, дадите ведро?

Я принес наше второе ведро. Они критически его осмотрели.

— По четыре ложки киселя достанется.

— По пять,— уточнила Катрэн.

Они переглянулись, но сдержались.

— Алё, мальчики, идемте к нам! Ужин ваш все равно остыл, а у нас хорошая каша и кисель. Девчонки будут рады.

— Благодарю,— сказал Виктор,— но я не ем у чужих костров.

— Да ну? А вы едите?

«Зачем он ломается?» — подумал я.

— Ем, но уже поздно...

— Тогда спите спокойно. Пока!

— Мы принесем ведро. Не зажимим! — крикнула Катрэн.

Из темноты донесся их смех.

Несколько времени мы молчали.

— Зачем эта грубость? Тебе не понравилось, что она тебя дразнит?

— Я терпеть не могу слякоти в душе.

— А как же чувство?

— Оно никогда не делает из меня барана!

— А вот ты злишься.

— Впрочем, можешь идти туда. Я устал. Пошел спать.

Он ушел в палатку.

Украдкой (о, это ужасное слово «украдкой»! Что красть? У кого? У себя?), украдкой я взглядывал в ту сторону, где горел огонь, двигались неясные фигуры, слышались голоса, смех, и спрашивал себя: действительно ли я хочу туда? Да, хочу. Это плохо? Наверно. Наверно — потому что первая же легкомысленная девчонка смогла так легко нарушить мой покой.

Утром я встретил ее на берегу. Она выходила из воды.

— Доброе утро, прекрасная русалка!

— Доброе утро...

— Как вода?

— Вода замечательная... Но чему вы так улыбаетесь?

Быстрым взглядом она окинула себя, пытаясь в своем костюме найти причину, возбудившую мой смех. Потом сдернула шапочку и легким движением головы рассыпала по плечам волосы. Это должно было сразить меня.

— Пойдемте в лес.

Ура, слава мне! Она не может найти ответа! Наконец она проговорила:

— Зачем?

— Ну, конечно же, за ягодой... за земляникой.

— Не-не знаю...

— А что думать? Одевайтесь и пошли. Смотрите, какой великолепный день!

— Нет. Наверное, нет... Скоро вернутся девчонки. Я должна приготовить обед.

Она уже овладела собой, и усмешка опять появилась на губах.

— Тогда приходите вечером к нам в гости.

— Одно предложение смелее другого!

— Будем сидеть, болтать, смотреть на звезды...

— Вы пишете стихи?

— Хотел бы. Будет варенье. Много. Я знаю места.

— О! Я очень люблю земляничное варенье.

— Вы сможете им сегодня объесться. Ну так как? Ждать вас?

— Вот это напор!

— Вчера вы сами сказали, что там должно быть очень хорошо.

— Прекрасная память. Придется уступить.

— Уступайте и приходите.

— Одна?

«Ах ты какая. Но не пройдет!»

— Зачем? Захватите с собой Катрэн.

Мы расхохотались.

— А как же ваш друг?

— Да он хороший парень.

— Я не о том.

— Так возьмите Катрэн!

Я шел по лесу и пел. Солнце приветствовало меня, птицы кричали мне: «Здравствуй! Молодец!»

— Сегодня у нас будут гости,— сказал я Виктору, возвратившись.— Давай варить варенье.

— Это кто же? — Он продолжал оставаться хмурым.

— Вчерашняя знакомая.

— Ты видел ее? Когда?

— Утром. На реке.

— Ну и что?

— И пригласил. А ты целый день даже вниз не спускался?

— Нет.

— Что же ты делал?

— Мало ли что...

«Странный человек!»

— Когда она придет?

— Наверно, к ужину.

— С этой... с подружкой?

— Думаю, что одна. Даже уверен.

Солнце село, и голубой сумрак начал разливаться над землей. Варенье было готово — густое, приторно-сладкое: я высыпал в него весь наш сахар. Я натаскал гору сухих сучьев, распалил костер, постелил брезент и расставил на нем посуду. Все было готово к приему гостей.

Но время шло, а «гости» не являлись. Уже тьма плотно укутала сосны, замирали одна за другой песни воскресного гулянья, и только из лагеря туристов доносилась протяжная мелодия. «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю?» — пели девушки, и недоумение и грусть звучали в их высоких стройных голосах. Одинок и печален был этот девичий хор, не звучало в нем ни одной басовой ноты: единственный среди них парень, видимо, не умел петь или спал.

А мы были также одиноки здесь. Никто к нам не пришел. В одиннадцать часов мы, как пишут в романах, «начали обходить пустые столы и гасить свечи».

— Ну и что, — бодро сказал я, — будем ужинать одни. Мы уже к этому привыкли.

Но было грустно. Быстро поев, я ушел спать. Виктор остался слушать последние известия.

Я проснулся, быть может, от света луны, проникавшего в палатку: полог ее был откинут и острый луч бил мне прямо в глаза. Виктора рядом не было. Я посмотрел на часы: шел второй час ночи.

Я вылез наружу. Все вокруг было залито молочным светом. Костер давно погас, но остатки неубранного ужина продолжали лежать на темном квадрате брезента. Что случилось? Я обошел площадку — никого! Дошел до крайних кустов, стал спускаться вниз и услышал голоса.

— А ты не думаешь, что слишком самоуверен? — Это был ее голос. — Пусти мою руку.

— А если я не хочу? — Это был голос Виктора.

— Что же случилось? Вчера ты был такой суровый, даже злой.

— А сегодня ты мне нравишься.

— Только сегодня?

— Сегодня ты красива особенно. Зачем ты так заколола волосы? Чтобы понравиться больше?

— Не тебе.

— Ему?

Она рассмеялась. Послышался какой-то шум.

— Ничего не выйдет. Ты же знаешь, что я сильный.

Опять шум.

— Вот и вырвала... Не смей! Я ведь тоже не слабая.

Некоторое время продолжалось молчание.

И вдруг быстрое движение, шорох осыпающегося песка, и светлая фигура стремительно скользнула вниз по склону.

— Лена!

— Ну нет! Только не это...

— Лена, стой! Я не хотел...

Но она уже была внизу, на тропинке и поправляла растрепавшиеся волосы. Я хорошо видел ее, стоя в тени деревьев.

— Не ходи, не догонишь. — Она сказала это смеясь, но так, что Виктор остался на месте.

— Но ты же завтра уходишь!

— Значит, прощай!

— Подожди, Лена! Я не хотел обидеть... Прости... Но подожди!

Прячась в тени деревьев, я вернулся в палатку. Виктор медленно пробрал к костру и тяжело опустился на брезент. Он сидел, свесив голову, охватив ее руками, — неподвижный, застывший...

Туристы ушли, оставив нам целую гору продуктов: рис, лапшу, сахар, лук и даже пачку какао. Когда я проснулся, Виктор уже приготовил завтрак. Мы молча поели, и он тут же ушел в лес, сказав, что вернется к вечеру. Я глядел ему вслед и думал: «Эх, Виктор, Виктор! Тебе, оказывается, тоже бывает плохо?»

Я переплываю Оку, выхожу на песок и медленно бреду по колено в воде вверх по течению к дальнему полуострову — низкой косе, заросшей сухим, колючим кустарником.

За мной постепенно смолкают крики и смех детворы, плещущейся у берега. В «белой усадьбе» тоже какой-то лагерь. Берег здесь лучше нашего, он песчаный, пологий, с широкими ровными отмелями.

На отмелях по пояс в воде стоят вожатые с рупорами, а между ними и берегом, как рыба в садке, плещутся загорелые тела. Гам стоит такой, что слышно у нас на бугре.

Я все бреду и бреду, обжигаемый солнцем, овеваемый ветром, и шум гложет, делается далеким, неясным, потом затихает совсем.

Надо мною, крича, низко проносятся чайки, стремительно упав, выхватывают из воды мелкую серебристую рыбешку и взмывают с нею вверх.

Здесь под берегом, в теплой неглубокой воде, рыбешки этой кишмя кишит. Целые косяки ее разлетаются из-под самых ног при моем приближении. Она пуглива, но стоит остановиться и подождать, как она собирается вновь и начинает шнырять туда и сюда в мягких красноватых водорослях, щекоча ноги. Иногда я минутами стою неподвижно, наблюдая за ее беспокойной жизнью.

Редко забредет сюда рыба покрупнее. Медленно проплывает она среди донной травы сквозь гущу копошащейся мелюзги — пучеглазая, будто удивленная, «куда это она попала», и вдруг, вильнув, исчезает на глубине.

Я подхожу к полуострову. Узкий залив глубоко вдается в берег.

Это мое любимое место. Я дал ему имя «Залив ключей». На метр от поверхности вода в нем теплая и приятная, но стоит опустить ноги, как их тут же сжимает холодом. Как-то, не зная этого, я, разбежавшись, прыгнул в воду. В первую секунду я даже не понял, в лед или в кипяток я попал — так обожгло и сдавило все тело. Испуганный, я выскочил наверх и долго не мог согреться на горячем песке.

Со дна залива бьет множество ключей, и там, в темной мертвой глубине его, стоит арктический холод.

Я заплываю в глубь залива, выхожу на берег и ложусь на мягкий песок, широко раскинув руки. Тело обсыхает почти мгновенно, и солнце тут же нагревает его. Ветра здесь нет, ему мешают кусты наверху.

Так я могу лежать часами. Время останавливается, оно исчезает, перестает существовать. И то, что вокруг, тоже перестает существовать.

Я гляжу в небо. Передо мною нет ничего, только белесое пространство, которому нет границ, нет измерений.

Низкий, длинный гудок обрывает все. Я поднимаюсь и возвращаюсь в мир. Опять вижу солнце, песок и кусты, слышу крики чаек, различаю запахи.

Пройдя сквозь густой царапающий кустарник, выхожу на берег. Длинные пологие волны мягко гладят песок.

Снизу медленно приближается караван: четыре баржи, составленные попарно, толкает желтый колесник с высокой трубой. Баржи большие, грузные, низко сидят в воде. Пароходик, маленький и слабый против них, отчаянно шлепает колесами. Кажется, что вся эта процессия неподвижно стоит на месте.

Они проходят ближе к нашему берегу фарватером. Неожиданно маленький пароходик гудит густым басом.

Я оглядываюсь вокруг: вижу на той стороне светлый обрыв нашего бугра, темные сосны на нем и среди них белую палатку с фигурой Виктора рядом, вижу детей, играющих на берегу, красный лагерный флаг над поляной, матроса на барже, откачивающего воду, и, странно, этот реальный мир, спугнувший мои грезы, вдруг делается до того прекрасен и дорог, что сердце захватывается от беспредельной любви и потребности сейчас же, немедленно сделать что-то хорошее, доброе только потому, что он существует и так красив.

Я захожу еще дальше по берегу, по ракушечьему кладбищу, устроенному здесь чайками и воронами. Сотни пустых раковин валяются на песке: птицы выклевали их мягкую середину.

Голубоватые кургузые чайки скачут у самой воды; черные и толстые, как головешки, вороны зло косят на меня глазами и, подняв суматошный галдеж, отлетают подальше.

Дойдя до конца косы, я вхожу в воду. Я стою в воде, чуть шевеля руками, а она сама несет меня.

Я только слегка подгребаюсь к берегу.

Ока сильно обмелела, ее можно перейти вброд. Иногда я так и делаю: опускаюсь на дно — вода даже не скрывает вытянутых рук — и прыжками подвигаюсь вперед. Вода желтая, мутная, по дну несет песок, и дно почти нельзя разглядеть. У нашего берега фарватер — глубокая яма. Там я дна не достаю.

А на бугре меня уже ждет Виктор: готов обед.



---

---

ЮЛИАН ТУВИМ

★

## ЦВЕТЫ ПОЛЬШИ

Из поэмы

*С польского*

От переводчика. Когда гитлеровские войска оккупировали Польшу, Юлиану Тувиму, великому польскому поэту, человеку уже пожилому, удалось бежать. Это спасло его. Он оказался в Бразилии, на другом полушарии, весь земной шар отделил его от поверженной, растоптанной родины.

Там, вдали, в одиночестве, истекающая кровью родина представилась ему с особой отчетливостью. Воспоминания обступили его. И он стал писать поэму о Польше, о ее красоте, о ее муках, о человечности живущих в ней людей.

По-видимому, он хотел написать эпическую поэму — с героями, со сквозным действием. Но Юлиан Тувим — прежде всего лирик по складу своего дарования, и лирические отступления, разрастаясь, громоздясь, заполнили всю поэму. Это лишило ее стройности, но придало ей необыкновенную эмоциональную силу. Она стала одним из замечательнейших созданий поэта.

«Цветы Польши» Тувим писал четыре года — начал в 1940 году и кончил в 1944-м, уже переехав из Бразилии в Соединенные Штаты. Да и не кончил по-настоящему — поэма так и осталась собранием лирических отступлений. В течение всего этого четырехлетия Польша находилась под пятой оккупантов, шла мировая война, и Тувим жадно следил за событиями. Вот почему в поэме так много гневных строк о фашизме, так много размышлений о прошлом и будущем польского народа. Ненависть немецкий и итальянский фашизм, он с таким же презрением говорит о фашизме польском, о польской реакции. Он хорошо понимает, что спасение Польши может прийти только с востока, и пылко следит за победами Советской Армии. Он не хочет для Польши западного, капиталистического пути развития, он пишет:

Отгороди нас от немецкой  
Земли стеной до неба сводов,  
Зато дружнее, по-соседски,  
Дай жить с народом ста народов!..

«Народом ста народов» он называл Советский Союз. Он любил Россию, отлично знал русскую поэзию, переводил Пушкина на польский язык. Эпиграфом к «Цветам Польши» он поставил две знаменательные пушкинские строки:

И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет.

Не случайно прибег он здесь к Пушкину — связь «Цветов Польши» с пушкинским стихом несомненна. И эта глубинная связь с Пушкиным делает поэму Тувима еще ближе русскому читателю.

После освобождения Польши Тувим вернулся в разрушенную Варшаву. Мечты Тувима осуществлялись — польский народ строил народную, социалистическую Польшу. «Цветы Польши» вышли в свет и были встречены читателями с любовью. Польский читатель почувствовал глубоко патриотическую основу этих страстных и горьких стихов, полных несокрушимой веры в торжество трудовых людей.

Ниже вниманию читателей предлагаются фрагменты из поэмы «Цветы Польши».

## Лодзь в Рио-де-Жанейро

Седая мгла, сырая мгла,  
 Мгла без просвета, без оконца!  
 Сквозь дымку темного стекла  
 Гляжу в затмившееся солнце —  
 В былое. Встарь прогулка шла —  
 О, злая мгла! Густая мгла! —  
 Вперед, назад, до поворота,  
 Вдоль по Короткой до Наврота <sup>1</sup>.

Сквозь иней слез, сквозь мглу кругом  
 Передо мной встает знакомо  
 Вновь каждый магазин и дом  
 И каждое окошко дома.  
 Сквозь иней слез, сквозь слез вуаль  
 Опять встает родная даль.  
 Ведь в мгlistый день тоска слабее  
 И видишь прошлое яснее.

Сегодня в Рио польский день,  
 Дождь польский, камешки сырые.  
 Как судно-призрак, судно-тень,  
 Сегодня Лодзь явилась в Рио.  
 Иду гулять — мечте вослед,  
 Куда? На Авениду? <sup>2</sup> Нет.  
 Вдоль по Короткой до Наврота —  
 Вперед, назад, до поворота.

## Отчизне

My country is my home <sup>3</sup>. Отчизна —  
 Мой дом. И Польша в самом деле  
 Дом для меня, моя отчизна,  
 А страны прочие — отели.  
 Дом. Комната. Мой стол рабочий,  
 А в нем (ты помнишь?) этот ящик,  
 В котором столько завалящих  
 Вещей. Ненужные портфели,  
 Квитанции, болты, иголки,  
 Какой-то лампочки осколки,  
 И запонки, и пара трубок,  
 Пустой синдетикона тюбик,  
 Пинцет, пипетка, молоточек,  
 Истертый, рваный кошелечек,  
 Костяшка (в домино играли),  
 Билет, не сданный на вокзале,  
 Какой-то замшевый футлярчик,

<sup>1</sup> Названия лодзинских улиц.

<sup>2</sup> Улица в Рио-де-Жанейро.

<sup>3</sup> Моя страна — мой дом (англ.).

И лак, и кисточка, и ларчик,  
 И пресс, и пробка, и булавка,  
 Давно просроченная справка,  
 Перо (подарок деревянный),  
 На нем есть надпись: «Закопане».  
 Ключ — от чего? Винт — от чего?  
 Но уж теперь «ни для чего».  
 Ты, словом, знаешь этот ящик...  
 В нем нет сокровищ настоящих,  
 Но если все переберешь,  
 Ты сердце вдруг свое найдешь  
 Среди предметов, там лежащих.  
 Не нужно, нужно — пусть лежит,  
 И в час уборки деловитой  
 Храни весь этот сор забытый —  
 В нем жизни прежней след сокрыт.  
 Ты с ним живешь, не замечая...

Так и с тобой, страна родная:  
 Не позволяет что-то нам  
 Убрать привязанностей хлам,  
 Такой ненужный, обреченный;  
 Пусть все лежит, как и лежало.  
 Что? Суеверие? Пожалуй.  
 Нет, миф, поправил бы ученый.  
 Из повседневной мифологии,  
 Из призраков минувшей жизни,  
 Из краски, линии, мелодии  
 Вдруг вспыхнет память об отчизне,  
 Такая подлинно родная,  
 Знакомая так несомненно,  
 Что ты почувствуешь мгновенно:  
 Она! Твоя! Твоя! Живая!

А это ведь сильнее, чем сила  
 Баториев и Ягеллонов<sup>1</sup>,  
 Которых столько лет спесиво  
 Своим враньем перевозносила.  
 Толпа певцов и фанфаронов!  
 О вы, истерики истории,  
 Вы, пересмешники истории,  
 Шуты истории, которые  
 Рифмуют «глорию» с «викторией»!  
 Вы — гуси, что весь век мололи  
 О предках, спасших Капитолий!  
 Я ненавижу вас за то,  
 Что «в свете пафоса событий»  
 Вы жижу грязную струите  
 В историю, как в решето.  
 Хотите Польшу вновь заставить  
 Плестись по «миссиям», «эпохам»,  
 Чтоб каждый журналист-пройдоха  
 Жирок накапливал неплохо

<sup>1</sup> Стефан Баторий — польский король (1533—1586); Ягеллоны — династия польских королей, правившая Польшей в XIV, XV и XVI веках.

На памяти о прошлой славе?  
 Вон, рифмоплет, вон, сплетник клейкий,  
 Воспевший славы пустоту!  
 Не скроешь полотном Матейки<sup>1</sup>  
 Отчизны нашей нищету!  
 Ты нам «величие» предскажешь —  
 Орлы, знамена и штыки,—  
 Народу же, как встарь, прикажешь  
 Носить дырявые портки.  
 Пером шныряя «благородно»,  
 К «величию» ведешь нас ты,  
 А твой народ, всегда голодный,  
 В избе вонючей и холодной  
 Затянет ту же животы  
 Иль на дороге «величавой»  
 Совсем лишится их, и в ряд  
 Курганы встанут, и кровавый  
 Посев костей укроют травы  
 В пустых полях... Вот результат  
 «Пути величия и славы!»

. . . . .  
 Мы люди скромные, простые,  
 Не великаны, не сверхлюди,  
 И мы просить у бога будем  
 Пути к величию другие.

Грянь в колокол, и злые тучи  
 Позолоти огнем зари,  
 И светом молнии летучей  
 Над нами небо озари.  
 От пепла, от кровавых пятен  
 Дай нам очистить дом родимый,  
 Дай смыть наш грех невыносимый,  
 Пусть будет беден, но опрятен  
 Дом, на кладбищах возводимый.  
 Земле, когда она воскреснет,  
 Горя свободой золотой,  
 Правителей дай умных, честных  
 И сильных мудрой добротой.  
 Когда народ расправит тело,  
 Пусть мощный он кулак возденет,  
 Чтоб труженики стали смело  
 Владетелями всех владений,  
 Банкиров разгони и сделай,  
 Чтоб деньги не рождали денег.  
 Пусть гордый чванство позабудет,  
 А смиренный, гневом пламенея,  
 Подымется — и пусть не будет  
 Ни эллина, ни иудея.  
 Мы жизни вольной и счастливой  
 Для всех, кто был раздавлен, просим.

<sup>1</sup> Ян Матейко (1838—1893) — польский художник, автор пышных картин из истории Польши.

Дай нам хлеба от польской нивы,  
 Дай нам гроба из польских сосен.  
 Словам, скотами загрязненным  
 И подлецами извращенным,  
 Верни их смысл, верни правдивость,  
 Пусть будет впредь закон законным  
 И справедливой справедливость.  
 Пускай же правда перестанет  
 Быть песен, сказок, снов уделом,  
 Ты дураков лиши мечтаний,  
 Мечтанья умных сделай делом.  
 Готовы к благу мы причислить  
 Пожар, что весь наш край разрушил,  
 Коль он огнем своим очистит  
 От мерзкой гнили наши души.  
 В большом ли, в малом ли обличье —  
 Нам Польша как бы ни предстала,—  
 В большом — дай нам сердец величье,  
 Сердец величье — если в малом.  
 Отгороди нас от немецкой  
 Земли стеной до неба сводов,  
 Зато дружнее, по-соседски,  
 Дай жить с народом ста народов!..

## *Поэзия*

...Поэзия! Светильник ты  
 Волшебный и лабораторный,  
 Ты как сосуд огнеупорный,  
 Вместивший веру и мечты.  
 О, математика анархии,  
 Как беспощаден твой расчет!  
 Ты химик в облике гадалки,  
 Трезва, а рядом пьяный сброд.  
 Ты непристойная, нагая;  
 Себя гашишем опьяняя,  
 Ты буйно в небо бьешь ногой,  
 Но прежде, чем себя ты взбесишь,  
 Ты, как аптекарь, точно взвесишь  
 До унции' наркотик свой.  
 Ты в вечность, словно в мяч, играешь  
 Средь звездных парков и лесов,  
 Но осторожно проверяешь  
 Колесики своих часов.  
 Так Фауст, слитый с Эйнштейном,  
 Видения в пробирку льет,  
 В своем обряде чародейном  
 Цепь точных формул создает;  
 Так бури снов и бури бунта;  
 Так буйства красск. звуков. рифм  
 Смиряет циркуль. логарифм  
 И дисциплина контрапункта.

## Из эпикола

Из досок — стол, из камня — дом,  
 Из боли создан стих мой горький!  
 Над Вислой высоко на горке  
 Сирена нам поет о том,  
 Что Висла все течет, струится,  
 И клад в ее воде таится.  
 Мой стих, стянул ты, как струна  
 Ее изгибы и излуки,  
 Ты вырываешься из муки,  
 Как чистый родничок из дна...  
 О, стих, рожденный из развалин  
 Любви моей, страны моей,  
 Плыви в водоворот страстей,  
 Как слезы радужно-хрусталин!  
 Вытягивайся, стань длинней,  
 Чтобы туда — домой — пробиться,  
 И с Вислою течение слей...  
 А Висла все течет... струится...

. . . . .

Река, тебе читать отрывки  
 Поэмы неба довелось,  
 И строфы туч твердить вразбивку,  
 Зорь Илиады, саги гроз  
 И звезд Священное Писанье —  
 И вдруг пришлось отобразить  
 Пожар Варшавы и завуть,  
 Ее услыша завыванье!  
 Был свод небес испепелен  
 Огнем, но ты, неколебима,  
 Текла в огне со всех сторон,  
 Текла горда, непобедима,  
 И перевернутые дымы  
 Текли в тебе, огнем палимы,  
 Как алых шествие знамен.

За небывалым цветом алым,  
 Который ты в волнах скрывала,  
 Мы, гневные, вернемся вновь  
 С надеждой новой, с верой новой,  
 И вновь взнесет наш вихрь суровый  
 И блеск, и крик, и стих, и кровь.

*Перевел Николай Чуковский.*

Рио де-Жанейро, ноябрь 1940 —  
 Нью-Йорк, июль 1944.



---

---

## КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

### ТРЕТЬЕ СВИДАНИЕ

**В**первые я попал в Польшу в 1901 году, маленьким мальчиком. Меня возила туда моя бабушка Вицентина Ивановна — очень строгая на вид, на самом же деле неслыханно добрая.

С бабушкой мы были в Белостоке, Варшаве и Ченстохове.

Несмотря на то, что я хорошо помню эту поездку, она все же представляется мне сейчас каким-то старинным видением.

Второй раз я попал в Польшу во время первой мировой войны. Мы отходили под натиском немцев от Келец к Брест-Литовску и дальше к Барановичам.

Восточная Польша запомнилась как сыпучие пески, скрип колес, старые распряты на перекрестках и темные осенние ночи.

Было безветренно, тихо. Постоянные зарева по горизонту разгорались, дымились, но ночи все же были настолько темными, что помогали думать, когда я лежал в санитарной фурманке, укрывшись шинелью.

Мне выдали старую кавалерийскую шинель. Она стала верным моим другом, эта длинная шинель из грубого сукна. Я быстро согревался под ней в сентябрьские ночи.

Шинель пахивала махоркой и кожей. Но от нее не воняло йодоформом, как почти от всех шинелей. За это я ее особенно ценил.

Никогда до тех пор я так подолгу не смотрел в мерцающее ночное небо, как в ту осень, лежа в фурманке среди польских болот и полей. Должно быть, поэтому Польша всегда вспоминалась мне потом вся в венках сияющих созвездий.

Звезды как бы благословляли эту измученную страну. Каждый раз я с неприязнью встречал заспанный рассвет. Его нельзя было остановить даже на несколько минут. Он был враждебен своей неизбежностью.

Однажды около городка Бялы я подобрал на свою фурманку и подвез до железной дороги беженцев — старика и девочку лет двенадцати.

Старик был так стар, что даже не отвечал на вопросы, а только слабо отмахивался костлявой рукой, а девочка — светлая, тихая, какая-то вся золотистая — тоже молчала.

В ответ на расспросы она только опускала глаза — большие и грустные. В них как будто отражались сухие осенние васильки. Дно зрачков было выгоревшего синего цвета с легким блеском.

Звали ее Гражина.

Впечатление золотистости вызывалось, должно быть, светлыми косами девочки с застрявшими в них стебельками соломы (очевидно, девочка ночевала с дедом где-нибудь в чужой стодоле) и ее выцветшей желтой жакеткой с большими оловянными пуговицами.

Время от времени я следил за взглядом девочки и видел то же самое, что и она, — отдаленные песчаные бугры, желтые заросли сурепки и старые вязы при дороге. Они трещали от воробьиного крика, как костры.

Я видел, как заметно побледнело синее поутру небо и по нему разлилась зеленоватая вода усталости. Очевидно, небо измучилось вместе с землей, все время содрогавшейся от канонады.

Изредка девочка кончиком белой косынки вытирала слезы в уголках глаз.

У меня в груди все болело от жалости к ней. Но чем я мог ее успокоить?

Напоследок, прощаясь, девочка прошептала: «Дзенькуе бардзо», и улынулась. Смущенная ее улыбка показалась мне воплощением всей этой милой страны: ее как будто остановившихся, медленных рек, береговых плакучих ракии и каких-то — тоже тихих и полудетских — рассказов о глубоко закопанном счастье.

После этого прошло больше сорока лет. В 1961 году я приехал в Польшу в третий раз.

Можете мне не верить — это меня не обидит, — но мне кажется, что я снова встретил в Польше ту девочку, которую подвозил на фурманке к безлюдной станции Бяла. Только теперь ей было не двенадцать лет, а, должно быть, все восемнадцать. Она, конечно, выросла, но осталась такой же тоненькой и стеснительной.

Я встретил ее вблизи большого портового города Гданьска, в местности, называвшейся Оливой.

Там в старом костеле среди парка был знаменитый орган. Иногда в костеле устраивались концерты органной музыки. Для этого в Оливу приезжали лучшие органисты из разных мест Польши и Европы. Концерты происходили по ночам, когда в костеле оканчивалась служба.

Мы пошли на концерт органиста из Кракова.

Сырая ночь постукивала по земле редкими каплями, падавшими с листьев. Как всегда ночью, сильно пахли заросли петунии. Я заметил эти пышные заросли около костела еще днем, когда приходил брать билеты на концерт. Петунию высадили национальных польских цветов — красную и белую.

Ночь была освещена смутным электрическим заревом близкого Гданьска и огромного Гданьского порта — настолько освещена, что можно было разглядеть лица людей, ожидавших у входа в костел начала концерта.

Я слышал и видел много органов. По своей архитектуре они большей частью носили черты готики. Лес стрельчатых труб, рвущихся в небо, и отсутствие украшений были характерны для них.

Есть органы аристократические и простонародные. Особенно суровы и даже как будто пахнут хлебом и постным маслом органы в глухих местностях Польши. В пустых и небогатых костелах они звучат как музыка пастушеского христианства, еще не извращенного ложью и властью.

Из аристократических органов я помню орган в одной из церквей Праги. На нем когда-то играл Моцарт. Орган этот был совершенно белый. Этот цвет соответствовал юности Моцарта и его живому и светлому характеру.

Орган — лучший из духовых инструментов. Богатство его тонов, трагическая мощь его голоса, сотрясающего небо, быстрый переход от грома к лепету песни — все это удивительно и почти загадочно.

Я люблю и органистов, но мало их знаю. Большой частью это скромные незлобивые люди, иной раз чуть глуховатые. На них смотришь с

почтением и завистью — эти бедно одетые музыканты свободно распоряжаются небесными бурями и пением звенящих женщин.

Орган в Оливе был один из немногих, где готика уступала место барокко. Богатая резьба покрывала его. Деревянные ангелы с золочеными трубами в руках стояли по его сторонам. В мажорных местах, во время «Аллилуйя!», начинал работать какой-то старинный механизм, ангелы подымали трубы к небу и из них вырывался ликующий вопль.

В костеле зажгли слабые люстры. Невдалеке от меня села худенькая девушка лет восемнадцати с длинными, блестящими светлой бронзой милыми косами.

Я посмотрел на девушку. Она вскинула строгие глаза. Дно зрачков у нее было василькового цвета с зеленоватым блеском. Бах гремел гениальными рефренами под сильными пальцами органиста.

Это, кажется, была та девочка со станции Бяла! Нет, конечно, не та! Но, может быть, даже наверное — ее внучка. Она казалась мне теперь, как и сорок пять лет назад, наилучшим воплощением нежности польской женщины. Говорят, этой нежности нет равной.

Какие-то полузабытые стихи — не помню чьи — возникли в памяти:

Нежнее, чем польская панна,  
И, значит, нежнее всего.

Орган начал петь очень тонко. Звуки его как бы щебетали и перепархивали с ветки на ветку. Что это могло быть?

Я снова взглянул на девушку. Она отчеркнула что-то в программе маленьким ногтем и мельком посмотрела на меня.

Я тотчас нашел это место в программе. Органист играл пьесу (имя композитора я забыл) под названием «Пение тропических птиц».

Я никогда не думал, что орган может издавать такие тончайшие переливы.

Девушка-подросток снова взглянула на меня, но уже с тревогой, будто стараясь припомнить, где мы встречались. Лицо ее стало растерянным. Конечно, она не могла ничего вспомнить, потому что тогда ее еще не было на свете.

Она опустила голову, уже не слушая музыку. И даже крик труб, возвестивших пришествие радости, не вывел ее из задумчивости.

Орган затих. Костел опустел. Слушатели исчезали во тьме. Снаружи стояла осенняя ночь. Она все гуще наполнялась прохладой — с Балтики задувал полуночный ветерок. Сильнее пахли петунии. Сердце щемило от слабой боли. Все прекрасно, все хорошо! Чего же ему все еще нужно, этому беспокойному сердцу? О ком жалеть? Если жалеть о всех хороших людях, прәмелькнувших мимо, то не хватит сил довести до конца эту жизнь. А ее нужно разумно прожить.

Я даже не пытался увидеть в беспорядочном свете автомобильных фар мою девушку — олицетворение сердечности и простоты. Уж в чем-чем, а в ее сердечности я был уверен.

Во время третьего свидания с Польшей я решил проехать по тем местам, где был во время первой мировой войны. Но когда я увидел новую Варшаву, восстановленную из бесконечных, тянувшихся до горизонта пирамид битого кирпича, стекла и известки, увидел этот блистающий город, возродившийся в полном смысле этого слова, «как феникс из пепла», я на время отложил свою поездку в места стародавних боев.

Героизм народа особенно виден в облике новой Варшавы. Каждый час дает пищу для удивления.

Поразительно, что целые части города, такие, как, скажем, Старе

Място (Старувка), воссозданные по памяти, по старым обмерам, чертежам, снимкам, по рисункам Каналетто, уже наполнились красками и воздухом истории и стали уже не гениальной подделкой, а подлинностью. Народ вдохнул в новые здания живую душу.

Рядом с новой Старой Варшавой раскинулась совершенно новая Молодая Варшава — легкая и светлая. В ней дома походили на океанские корабли, насквозь просвеченные солнцем и прохваченные воздухом. По всем признакам там шла за стенами разумная и спокойная жизнь людей, узнавших истинную цену своей независимости, своей культуре и гуманной силе.

Цену этому поляки узнали, столкнувшись лицом к лицу со смертью, с черными ужасами Освенцимов, гетто, Майданеков, во время варшавского восстания, в неистовой и, казалось, безнадежной схватке с армией бесноватого фюрера.

Сейчас в Варшаве во всем — в отдельных людях и семьях, в беседах и даже, кажется, в осеннем светлом небе — разлито то спокойствие, какое помогает жить и пользоваться дарами культуры.

Это спокойствие Варшавы привлекает и дает человеку, даже приезжему иностранцу, такому, как я, возможность неторопливо воспринимать все вокруг.

Это спокойствие я почувствовал сразу, в первый же свой варшавский день, когда вечером приехал в Жолибож, залитый свежестью Вислы, к переводчику своих книг на польский язык, точному и обязательному человеку Ежи Енджеевичу.

Постепенно за вермутом выяснилось, что он не только переводчик и знаток литературы, но и моряк, объехавший Европу, и знаток Венеции и старого венецианского театра, и знаток еще многих неожиданных вещей.

Куда бы я ни попадал, это состояние спокойствия и душевной ясности не покидало меня: и в усадьбе писателя Ярослава Ивашкевича, где темно от вязов и тесно от книг, и в саркастической и тонкой обстановке дома поэта Антония Слонимского, и в простой комнатке поэта Ежи Фицовского — сына моего лучшего товарища по первой киевской гимназии. Всюду и везде.

Каждый человек оборачивался неожиданной стороной, вызывая выжидательную улыбку.

Ежи Фицовский — передовой поэт и знаток старой Варшавы, был, кроме того, редким знатоком цыганской жизни и таборной поэзии, как бы полномочным представителем в Польше этого свободолобивого и романтического народа.

Знатоком старой романтической Варшавы был и пожилой поэт Антоний Слонимский — человек насмешливый и мягкий, проживший сложную жизнь. Он поражал своей непрерывной наблюдательностью. Он постоянно выхватывал из тянущейся, как по конвейеру, жизни один замечательный кусок за другим. Но каждый такой кусок в его рассказах — даже самый веселый — был чуточку окрашен его печальной добротой и снисхождением к человеку.

Однажды Антоний Слонимский рассказал, как около его дома в Аллее роз (варшавская улица, где останавливался когда-то Александр Блок) к нему подошел маленький соседский мальчик и задал ему простой, но совершенно современный вопрос.

Перед этим нужно сказать, что в Польше, как и всюду на Западе, некоторые магазины носят названия.

Вблизи дома, где живет Слонимский, есть обувной магазин под названием «Антилопа». Маленький сосед доверчиво взял Слонимского за палец и сказал:

— Пан Антоний, я знаю, что такое «анти», но я не знаю, что такое «лопа». Может быть, вы объясните мне?

Слонимский ласково и как-то грустно рассмеялся, рассказывая это.

Сам он напоминал англичанина — худощавый, сдержанный, как будто одинокий среди всех.

И квартира у него была какая-то диккенсовская. Все казалось, что в ящиках его письменного стола обязательно лежат коричневые дагерротипы Домби-сына, Давида Копперфильда в старомодном цилиндре, Урии Гипа и самого Чарльза Диккенса — низенького и невзрачного — с раскрытой книгой в руке.

Мир Диккенса устоял от мировых войн и катаклизмов. Добросердечие этого мира не могли убить современные варвары. Он оживал то в стихах Тувима, то в повестях Ильфа и Петрова, Гайдара и Каверина, то в словах самого хозяина дома.

У Слонимского есть прекрасная «Элегия еврейских местечек». Я знал эти местечки еще во время первой мировой войны. В них было много добродушия и печальной веселости. Теперь такие местечки остались, очевидно, только на картинах Марка Шагала.

С Ярославом Ивашкевичем мы учились в одни и те же годы (в начале века) в разных киевских гимназиях, я в первой, а Ивашкевич — в четвертой.

Он в какой-то мере остался киевским гимназистом. И я до сих пор замечаю в себе гимназические черты. Это нас и сдружило. Строгая и несколько утомленная настроенность Ивашкевича, его неожиданный юмор — он роняет его как бы невзначай, — его страсть к скитаниям по земле, соединенная с высоким патриотизмом, его служение литературе и всепонимание — все это соответствовало тому представлению о старшем товарище, которое почему-то сложилось у меня по отношению к Ивашкевичу, хотя мы с ним ровесники.

Усадьба Ивашкевича Стависко вблизи Варшавы напомнила мне о том, чего я никогда не видел, а только представлял себе по рассказу Мериме «Локис». Сыроватый парк, тихая роща, старопольский обжитой дом со множеством книг и вещей разных эпох и стран, затянутые паутиным туманом пруды, аллея, по которой бредут, поддерживая друг друга, две робкие старухи, простая трава и простые цветы в этой траве. Цветы обнаруживают себя волнами лекарственного запаха.

А в доме — чуть сумрачно от обилия вещей — довольно бы по всем признакам происходить всякие таинственные случаи.

Один такой незначительный и веселый случай произошел в столовой за крепким чаем — «гербатой».

Вокруг стола сидела вся милая семья Ивашкевича, когда неслышно вошла очень маленькая и строгая девочка. Едва доставая до стола, она стала на цыпочки, потянула к себе фарфоровую сахарницу, молча выбрала из нее весь кусковой сахар, сложила себе в фартук и, ни на кого не глядя, ушла.

Ивашкевич пристально смотрел на эту сцену и, очевидно, старался разгадать таинственное поведение девочки. В глазах у него зарождался смех.

Сумерки быстро сгущались в углах больших комнат. В тишине были слышны только семенящие шаги уходящей девочки. Как будто она одна жила в этом доме.

Невольно хотелось спросить: «Что это значит?» — будто в детском этом поступке заключался неуловимый смысл в духе рассказов Кафки.

В Польше я иногда чувствовал то состояние, какое в книгах мы называем «подтекстом». Как будто существовали две Польши: совершенно

реальная, повседневная и рядом с ней — немного таинственная, полувидимая и полуслышимая.

«Тут что-то есть!» — говорил я себе порою и вспоминал Джозефа Конрада, Александра Грина и других людей. Примесь польской крови наградила их безудержным воображением и умением извлекать из жизни подспудное очарование.

Я видел в Варшаве фильм Ивашкевича «Мать Иоанна из монастыря ангелов». Сила человеческих страстей, безжалостных и заслуживающих сострадания, ощущается в этом фильме очень мучительно. Фильм обрамлен необыкновенным, почти ирреальным по своей скупости жестким пейзажем.

Все в Польше было действительностью. Но стоило задуматься, и в этой действительности появлялись еле заметные сказочные черты.

Например, у Перро, да и у Андерсена нет сказки о маленькой старенькой королеве-музыкантше, что с благоговением приезжает за тридевять земель послушать знаменитый концерт или посетить родину великого композитора.

В Стависко я увидел на рояле фотографию бельгийской королевы Елизаветы с ее дарственной надписью — старая королева приезжала в Польшу на шопеновские дни и навестила Ивашкевича.

Композитор Лист писал художнику Делакруа об одном отрывке из второго концерта Шопена: «Кажется, что слышишь голос непоправимой утраты, настаивающей человека среди ни с чем не сравнимого блеска природы».

Делакруа дружил с Шопеном. Он называл композитора «восхитительным гением». Он написал портрет Шопена. Этот превосходный портрет — на нем Шопен изображен уже больным и встревоженным — висит в Лувре, а копия его — в Желязовой Воле, в доме, где Шопен провел свое детство.

Это несколько странный, будто дремлющий маленький дом. В комнатах пахнет разогретой на солнце сосновой смолой, горячими травами, лениво летают белые бабочки и садятся на изогнутые спинки старинных кресел. Несмотря на незатихающую игру рояля, в доме очень тихо.

Мы вышли из затененных комнат в парк и очутились среди того ни с чем не сравнимого блеска природы, где нас могла настичь, по словам Листа, непоправимая сердечная утрата.

Я плохо знаю и воспринимаю музыку. Но когда слушаю Шопена, то кажется, что он умеет придавать оттенок радости каждой печали и долю грусти любой радости. Он как бы уравнивает крайности нашего состояния и примиряет их в одном благородном спокойствии.

Мы приехали в Желязову Волю в жаркий августовский день. Небо было заполнено вереницами круглых маленьких облаков, очевидно только что вылепленных из свежего снега. Они без конца плыли, расходились, снова сходились и таяли над нами, как в медленном небесном полонезе.

Их непрерывное движение не мешало солнцу расточать на землю полуденный жар. Парк был прорезан стрелами света. Он вырывал из тени листья неизвестных деревьев и чашечки незнакомых цветов.

Парк был засажен растениями из разных стран. Их привозили сюда почитатели Шопена, сажали и уезжали, не зная, приживутся растения или нет. Но большей частью они приживались.

Я люблю бывать в местах, связанных с памятью замечательных людей. Из-за этого мне однажды пришлось крупно поспорить с недавно умершим американским поэтом Робертом Фростом. Этот едкий и умный старик сказал тоном, не допускавшим никаких возражений, что он

ненавидит всякие мемориальные места и ни капли бы не пожалел, если бы их и вовсе не было на свете. Речь шла о Пушкинском заповеднике в Михайловском. Мне кажется, что в этом случае восьмидесятивосьмилетний поэт хотел блеснуть своей «левизной».

Я, наоборот, очень ценю те острова спокойствия, где можно немного одуматься и стать самим собой. Особенно я люблю такие места, как Михайловское, как тургеневское Спасское-Лутовиново, Ясная Поляна, чеховская Аутка и шопеновская Желязова Воля.

Люблю за то, что, попадая в эти места, мы невольно начинаем думать об удивительных людях, живших здесь. Мы как бы возвращаемся к ним после разлуки, жестоко растрепав в препирательствах с жизнью память о них и нашу любовь к ним.

Они — полузабытые — вновь оживают в тех местах, где, может быть, эхо до сих пор хранит их голоса.

Кто знает? Может быть, действительно оно их хранит? Особенно в наше время открытия «антимира», когда невероятное становится таким же возможным, как глоток молока.

Каждое посещение таких мест связано с мыслью о случайной и вместе с тем плодотворной роли расстояний в жизни людей.

Вот Шопен! Тихий, захолустный Новогрудок, где он родился, среди белорусских болот. Потом вот эта Желязова Воля, переезд на Запад, в Париж, свита блестящих друзей, Жорж Занд и Балеарские острова — такие далекие от этих польских фольварков и «мястечек». Острова, горящие в синем золоте Средиземного моря и не сгорающие, как неопалимая купина. Но на них сгорело сердце Шопена.

Сердце Шопена! Оно было привезено в Польшу в серебряной урне и замуровано в одну из колонн костела Святого Креста (Свентего Кшижа) в Варшаве.

В 1961 году я долго искал в этом костеле на Краковском предместье колонну с сердцем Шопена, но никто не мог мне ее указать.

Какой-то старик подвел меня к надгробию писателя Болеслава Пруса, но о сердце Шопена он ничего не знал.

Показала мне колонну только школьница лет двенадцати — худенькая и болезненная.

Теперь я могу сказать точно — сердце Шопена замуровано во второй от входа левой колонне. Его трудно найти, так как надпись плохо видна и закрыта бело-красными лентами от венков.

Надпись сделана с той стороны колонны, которая обращена к главному залу костела. Увидеть ее трудно еще и потому, что к колонне вплотную придвинуты высокие черные скамьи для молящихся.

За Вислой против Варшавы раскинулось бывшее предместье Саска Кемпа — Саксонская роща. Это обширный парк, где вместо аллей протянулись тихие улицы с небольшими живописными домами.

У меня осталось впечатление, что в Саской Кемпе живет много добрых и неторопливых людей.

Мы тщетно разыскивали там с шофером такси Финляндскую улицу. Жители Кемпы удивлялись, когда мы расспрашивали их об этой улице. У них был такой вид, будто мы шутим или втягиваем их в розыгрыш. Шофер терял терпение и все чаще повторял: «Вот холера!» Возглас этот совершенно не вязался ни с мирным видом жителей Кемпы, ни с красотой улиц и приветливостью домов.

Я убеждал шофера, что в конце концов мы благополучно зыдем из этой передрыги с Финляндской улицей потому, что свет — не без добрых людей. Но шофер мне не верил.

Он считал, что вся беда — в слишком быстром росте Варшавы. Каждый день появляются новые дома, улицы, новые названия улиц, и люди просто не успевают знакомиться со своим родным городом.

Я попросил его остановиться около сухой маленькой старушки. Она стояла на тротуаре и не решалась перейти через пустую улочку, как будто то были Елисейские поля в часы «пик». Шофер насмешливо хмыкнул, но все же остановил машину.

Старушка вся расцвела, заулыбалась и приветливо закивала головой на мой вопрос о Финляндской улице. Охотно, даже предупредительно она ответила, что безусловно не знает, где Финляндская улица. И ее брат-бухгалтер, который живет через два квартала отсюда, тоже не знает. Но он знаком с паном Ежи Трусевичем, а пан Трусевич живет на Пятой улице (налево) и, кажется, знает, где эта Финляндская улица. Во всяком случае старушка что-то слышала в этом роде.

Старушка даже вызвалась показать нам дом, где живет пан Трусевич, но при условии, что мы пойдем с ней пешком, так как она боится ездить на этих чадающих «зварьованных таксувках».

Я поблагодарил старушку. Шофер тоже поблагодарил, но тут же сказал сквозь зубы: «До дьябла!» — и рванул машину.

Нам повезло. Примерно через полчаса мы наткнулись на Финляндскую улицу. Она оказалась такой тенистой и приятной, что шофер вместо упоминания «холеры» снял кепи и вздохнул.

На этой улице живет вдова замечательного польского художника Зигмунта Валишевского. О нем я писал в своей книге «Бросок на юг».

Впервые я увидел работы Валишевского в 1923 году в Тифлисе. Я предполагал, что многие его картины хранятся здесь, на Саской Кемпе, в тихом доме на Финляндской улице.

Я не ошибся. Ванда Валишевская показала нам замечательные, первоклассные работы художника, хранившиеся необыкновенно бережно в комнатах простых, свежих, отличавшихся морской чистотой и как бы собравших в одной призме множество разнообразного света с протекавшей вблизи Вислы.

Пани Ванда взволнованно и как-то нежно рассказывала нам о Валишевском. Она называла его Зигой, и так начали называть его и все мы — настолько он был прост и близок каждому из нас.

Я втайне обрадовался тому, что художник был таким, каким я его представлял, — очень простым, застенчивым, очень ребячливым и обладавшим качеством, свойственным всем одаренным людям: способностью работать много и упорно, как будто шутя, но очень серьезно, ни в чем не изменяя тем священным законам живописи, которые он сам открыл и выразил.

С недоумением и презрением он уступал дорогу крикунам и зазывалам, боясь хотя бы на миг очутиться рядом с ними на тех ярмарках, где торгуют живописью, как маргарином.

Больше всего в его характере меня обрадовала ребячливость. Пожалуй, это качество — одно из самых привлекательных, отпущенных таланту. Ребячливы были Гейне и Пушкин, Бернс и Багрицкий, Моцарт и Пикассо. Хорошо бы составить список веселых и легких людей в искусстве и изучить их жизнь, чтобы найти те грани, которые дали такой бессмертный свет их творениям.

По тонкости и легкости рисунка, его меткости и характерности, по удивительной расцветке — то нежной, то густой, как ночная ровная синева, — картины Валишевского никого не напоминают. Лишь изредка они начинают отдаленно походить переходами красок, собранием типов, острым гротеском и быстрым пейзажем на галантных художников XVIII века.

Кроме того, Валишевский — твердый и беспощадный портретист. Часто среди потока света, цвета и линий в его работах возникают неожиданные антракты — страдание и печаль.

Но тут же рядом вновь звучат волны нарядной музыки, как на концерте, изображенном им на фреске в Вавеле, на потолке средневековой башни со странным названием «Куриная лапка».

Разнообразие живописи Валишевского так велико, что, кажется, он пытался закрепить в красках и рисунке все, что непрерывно видели его глаз и воображение. И это ему удалось.

Из Варшавы мы проехали в Люблин.

Сорок шесть лет назад меня, военного санитаря, застала в Люблине поздняя весна вся в лиловых облаках сирени и в ее сладком запахе.

Казалось, что под тяжестью лиловых кистей могут обрушиться каменные ограды. Сирень наваливалась на них изо всех сил, изнемогая от собственной пышности. Такого сиреневого разлива я еще не видел. Даже костелы внутри были все в сирени. Сонмы зажженных праздничных свечей чуть мерцали сквозь сонмы прохладных цветов, похожих на шляпки маленьких филигранных гвоздей.

Под сводами гулко летали шмели, привлеченные сиреневым запахом. Они подымались по солнечному лучу, седому от дыма ладана, к нише. Там стояла задумчивая мадонна с гроздью сирени в руке.

Не знаю, может быть, это происходило от молодости, но с тех пор Люблин всегда оставался для меня полным весенней прелести. Все дело в восприятии. Что касается людей, воспринимающих жизнь в более сильном виде, чем это есть на деле, то я за них. Я за тех, кто владеет этим богатством и умеет его находить.

Люблин, конечно, изменился. Он стал чище и строже, на его окраинах вырос большой и прекрасный университетский город. Но общий облик Люблина остался таким же привлекательным, каким я его запомнил.

Все тот же величавый замок украшает вход в город. Все так же среди путаницы старинных сводчатых проходов, улочек и поворотов стоят старинные доминиканские костелы. Все так же из открытых дверей ка-вярен дивно пахнет только что смолотым кофе. И все те же любопытные мальчишки восторженно и почтительно ходят по пятам за приезжими иностранцами. Сейчас иностранцами были актеры негритянского ансамбля из Республики Мали. Мне казалось, что высокие, как тростник, негритянки заняли у люблинских полек их улыбку, вкрадчивость и тихий смех.

Все те же вековые деревья обрамляют пустынные переулки, по которым мы шли на свидание с молодым люблинским воеводой.

На его письменном столе стоял бронзовый бюст Пушкина. Воевода — в недавнем прошлом рабочий и партизан — вскользь рассказал нам, как он бежал из «лагеря смерти» Майданека. Потом он вынул записную книжку и показал даже с некоторой гордостью адреса всех писателей, художников и ученых, живущих в Люблине.

Пользуясь этой книжкой, воевода время от времени обходил дома этих людей, чтобы несколько минут поговорить, выпить «филижанку ка-вь», узнать новости, выяснить как будто невзначай, в чем человек нуждается, и ему помочь.

— Настоящие люди искусства, — сказал, смущаясь, воевода, — всегда слишком скромны. Они ничего для себя не просят. Приходится таким способом («в тен спосуб») узнавать, что им мешает жить.

Очевидно, за эту озабоченность о своих горожанах люблинцы отзывались о воеводе с доброй улыбкой и говорили с ним запросто. Сам же он, к счастью, ни на йоту не утратил уважения к высокой культуре и к людям искусства и даже это подчеркивал. Воевода был удивительно

демократичен. В Польше я почти не видел злых по самой своей сути бюрократов. Это одно из многообещающих качеств этой страны.

С нами ходил к воеводе старый польский писатель Яворский — человек, на редкость преданный литературе.

Давным-давно в небольшом городе Холме (Хэлме) Яворский на свой страх и риск почти без денег начал издавать литературный журнал «Камена».

Старый, повидавший виды номер «Камены» с переводом отрывка из «Колхиды» Яворский подарил мне и только снисходительно улыбнулся в ответ на мое удивление.

— Полистайте,— сказал он.— Тут вы найдете почти всех новейших писателей Польши. И всего мира.

Теперь «Камена» издается в Люблине.

Я представил себе редакцию «Камены», когда она была еще там, в Холме.

В этом маленьком городе я провел один день во время первой мировой войны. Он поразил меня множеством парикмахерских (непонятно, кого там брили и стригли,— жителей в Холме было немного) и бывших униатских церквей. В редакции «Камены», кроме Яворского, было, очевидно, не больше двух сотрудников из местных литераторов. Вазоны с фуксией стояли на подоконниках. Окна выходили в старый сад. Тишина нарушалась только дребезжанием пролеток и плачущим пением мальчиков из соседнего хедера.

Такой я представляю себе редакцию «Камены» в Холме и, очевидно, не очень ошибаюсь. Во всяком случае я был бы счастлив, если бы мне привелось работать в таком журнале и в такой провинции. Потому что нет, по-моему, более культурного и бессребренного дела, чем создание очага литературы в глубине страны, почти всегда в этом отношении обездоленной. Как говорят поляки, «сто лят» (сто лет) пану Яворскому за его самоотверженный труд.

Перед отъездом из Люблина мы пошли в замок, но оказалось, что он закрыт и можно посмотреть только старую часовню-каплицу с обветшалой византийской росписью.

Лестница в каплицу вела в толще холодной крепостной стены. Ступени у лестницы были высотой почти в полметра. Подыматься, а особенно спускаться по этой лестнице было трудно.

Византийский стиль — литой из золота, бородатый, угрюмый, омерзительный, как стоящие коробом ризы священников, всегда казался мне бесчеловечно жестоким.

Византийская пышность гнет головы к земле. Она давит, как чугунный венец. Она рождена властолюбием и гордыней.

Солнце было изгнано из византийской земли. И не только солнце, но и веселье, игра ума, телесная красота — все, что радовало вольный дух человека.

Я видел в Киеве в древнейшем Софийском соборе торжественные службы. Слов нет, это было и грозно и мощно. Гремели клиры. С монотонной угрозой иереи возглашали молитвы. Жар сотен свечей как бы расплавлял золотые митры и многопудовые оклады икон.

С этих икон, как из узилищ, испуганно смотрели молодые богоматери, окуренные до одури ладаном, оправленные в старые жемчуга и смарагды.

На самом деле они были смуглыми и дикими, как козы, девочками, бегавшими босиком по жаркой иудейской земле. Их заперли в каменные капища. гневно восхваляли и грозили людям карами за обуревавшее их неверие в непорочное зачатие Христа.

Я воспитался в крепкой любви к свободе. Поэтому я, естественно, не мог восхищаться Византией, ее сухими канонами, даже ее одеждой. Она превращала людей в золоченые тумбы.

Сейчас, конечно, наивная моя неприязнь к Византии прошла. Много я начал принимать — византийские базилики, мозаику, Айя-Софию в Стамбуле.

Айя-София показалась мне огромной, как мир, как вся земная сфера. Было страшно стоять в ней. Исполинский купол непонятным образом висел под небом.

Бывший вместе со мной в Айя-Софии писатель, робкий человек, сказал мне:

— Давайте лучше уйдем. Это слишком величественно и потому страшно.

Много базилик с полуразрушенными, узорно выложенными кирпичными стенами я видел в болгарском городке Несебре (бывшей Мессември), расположенном на крошечном полуострове Черного моря.

Они стоят, эти базилики, на самом берегу, веками слушают непрерывный шум моря и спят непробудным каменным сном.

В люблинской каплице остались только потускневшие фрески. Вопреки моему предубеждению я увидел богатый орнамент, знакомых по киевским соборам крылатых серафимов и прекрасные росписные колонны, похожие на примитивные кроны пальм.

От предубеждения моего мало что осталось. Лишний раз я убедился в неверности предубеждений, свойственных главным образом молодости.

Но откуда в Люблине Византия? Это оставалось загадкой. В часовне, кроме нас, было еще два польских художника — муж и жена. Они собирались снимать копии с этих фресок.

Молодой художник с трудом, путая польский, русский и французский языки, рассказал нам, что часовня эта построена королем Владиславом Ягелло в начале XV века и расписана мастером Андрейкой из Москвы.

В замке было мертвенно тихо и гулко. Кроме нас и художников, здесь не было ни души. Только черный и очень пыльный пес вылез из будки во дворе и гремел цепью, пытаясь стащить через голову старый ошейник. Он был так этим занят, что не обратил на нас никакого внимания.

У ворот замка нас ждала машина. Около нее сидел на корточках, вечно что-то проверяя, пожилой шофер в очках с железной оправой — пан Ежи, добрый дух нашей поездки по Польше.

У него было множество достоинств, не говоря уж, конечно, о том, что он был, проше пана, первоклассным, как бы спаянным с машиной шофером.

Кроме того, он знал Польшу, как свою комнату в Варшаве. Ни разу за всю дорогу он не посмотрел на карту.

Это был спокойный старый солдат, получивший восемнадцать ран куда хотите, за исключением, «пшепрашам паньства», раны в зад.

Пана Ежи несколько раз расстреливали. Он видел такие вещи, от каких леденеет кровь. Он был в числе первых освободителей Освенцима. Его машина тяжело буксовала на дороге, пропитанной кровью расстрелянных женщин.

Когда пан Ежи рассказывал об этом, то впервые за поездку у него затряслась голова и он сбавил скорость. Мне кажется, что такого отзывчивого и деликатного человека, как пан Ежи, нет другого в Польше.

Вряд ли у него были какие-нибудь недостатки. Мы заметили только один, и то совершенно пустяковый: пан Ежи не выносил «автостопов».

Термин «автостоп» придется объяснить. Он не всем известен. В Польше вы можете купить особую книжку с отрывными талонами. Книжки эти выпускает государство. Книжка дает вам право остановить любую машину, и если у шофера есть свободное место, то он обязан подвезти вас до любого пункта, который лежит на его пути. За это вы даете шоферу талон. Шоферы, набравшие определенное количество талонов, премируются мотоциклами и деньгами.

Обладатели такой книжки с талонами называются «автостопами». Их много машет своими книжками по обочинам польских дорог.

Добрый пан Ежи недолюбливал «автостопов» за неясность их психики. Дьявол его знает, какой попадется «автостоп» и что у него на уме! Поэтому мимо «автостопов» пан Ежи проносился на бешеной скорости.

Пан Ежи жил одиноко, очень скромно, много читал, а в свободные дни ездил на своем старом мотоцикле удить рыбу на Вислу где-то около бывшей крепости Модлин.

Так мне и не удалось поехать с паном Ежи на рыбную ловлю. Но мы обсуждали ту поездку с ним так тщательно, что теперь мне кажется, что я действительно ездил с ним на Вислу и удил рыбу в старых крепостных рвах Модлина — глубоких и подернутых ряской, где водятся, проше пана, карасы, жирные, как свиньи.

Еще в Варшаве Ярослав Ивашкевич просмотрел наш маршрут по Польше, подумал и сказал:

— Прежде всего надо ехать в Казимеж. Правда? Очаровательный, малюсенький (в этом месте голос Ивашкевича приобрел неожиданную певучесть) старый городок. Я туда езжу из Варшавы только на пароходе по Висле. Правда?

Не один Ивашкевич, но и многие знакомые поляки вставляли в разговор это слово «правда». Очевидно, оно соответствовало выражению «Это так!». Непонятно почему, но это маленькое слово заставляло вас слушать собеседника гораздо внимательнее, чем если бы этого слова не было. Оно как бы ставило абзацы и расчленяло речь на сжатые куски.

Поэтому из Люблина мы поехали в Казимеж — маленький город-музей на тихой и совершенно уснувшей Висле. Там бесконечно долго шел, останавливаясь и снова шел против течения старый буксирный пароход. Мы уже уезжали из Казимежа, а буксир все еще добродушно пыхтел около городка, не обижаясь на лодки с подвесными моторами. Они его легко обгоняли.

Не тот ли это буксирный пароход, о каком мне рассказывали в Варшаве?

Варшавяне завидовали мне — тому, что я скоро буду в Кракове и там, конечно, увижу в Вавельском замке знаменитые гобелены. В Польше их называют «арасами».

Когда немцы подошли к Кракову, гобелены были сняты и упакованы. Их надо было увезти во что бы то ни стало. Но не было машин. Армия отступала. Немцы яростно рвались к городу. В небе тучами висели фашистские авионы, население бежало, и казалось, гобелены обречены на гибель.

Тогда-то в Вавеле и появился пожилой капитан буксирного парохода, застрявшего в Кракове из-за отсутствия топлива для машины. Он пришел в Вавель и предложил сотрудникам немедленно перенести гобелены к нему на пароход, а топливо он как-нибудь добудет. «История умалчивает», как капитан достал топливо, но арасы погрузили на буксир, и он медленно, лавируя среди затопленных барж, сгоревших мостов, садясь на мели, с невероятным трудом снимаясь с них и упорно уклоняясь от авиабомб, пополз вниз по реке к Сандомежу. Там надо

было перегрузить гобелены на железную дорогу и отправить в спасительный тыл.

Будь я на месте кого-нибудь из польских литераторов, я описал бы это удивительное плавание — на волосок от гибели и пожаров, в постоянном страхе за ветхую машину, в обстановке отступления и полного неведения, что делается у тебя за кормой.

Успокаивала только река — все такая же плавная, задумчивая, отражавшая облака и старые ивы. Но ни ивам, ни облакам не было, к сожалению, никакого дела как до людей, капитана и матросов, так и до арсов, лежавших в трюме.

Буксир останавливали, требовали от капитана, грозя оружием, чтобы он выкинул гобелены и взял военный груз. Но капитан, сжав зубы и не отвечая на ругань и даже на стрельбу, вел буксир дальше — метр за метром, пока не доставил гобелены в Сандомеж. Оттуда они были вывезены для сохранения в Канаду.

После войны Канада долго не возвращала их, долго тянула — трудно было, конечно, расстаться с этим богатством. Но в конце концов Канада сдалась, и сейчас все гобелены висят на прежних местах в залах Вавельского замка.

Первое впечатление от них удивительное. Как будто искуснейший мастер разбросал по стенам свежие травы, цветы, статуи, ткани, мужественных героев, кокетливых пастушек, оружие, пернатые шлемы, пенистые каскады, утренние зори и армады облаков, несущихся по старинному небу на всех парусах к счастливой Аркадии.

В Вавеле начинаешь понимать силу этого как будто замкнутого гобеленного искусства. И становится особенно значительным подвиг старого буксира, спасшего для Польши и для всего мира эту бесценную живопись.

Казимеж не город, а средневековая игрушка.

Его костелы, замки, его «каменицы», лабазы и аркады, его уют и предания, остатки живописной местечковой нищеты, поля, обступившие город и веющие сухими и душистыми травами, — все это как бы погружено в тишину, в солнце, в пустынность и дает отдых усталым глазам. И сердцу. Поэтому у Казимежа так много верных приверженцев.

Из Казимежа мы поехали в Ченстохов. Тусклый осенний день распростерся над Польшей. Одна тихая «весь» сменялась другой. Ощущение быстрого хода машины перешло в оцепенение. В небе накапливались душные облака, потом шумными полосами начали набегать дожди, вихри, и гром заворчал, уверенно двигаясь к нам из потемневших далей.

В Ченстохов мы въехали уже в темноте, под проливным дождем.

Рассказывая о Ченстохове, мне придется повториться. О Ченстохове я уже писал.

Я хочу повторить о Ченстохове то, что, может быть, неизвестно части читателей. А именно, что Ченстохов — это цитадель католичества в Польше, священная Мекка для верующих поляков, в особенности для крестьян. Это место, где никогда не гаснет огонь фанатизма. Но жар этого фанатизма уже не так силен, как шестьдесят лет назад, когда меня привозила в Ченстохов моя бабушка. То была странная бабушка. Она одинаково верила в Христа, Магомета и Будду, но не выносила фанатизма и ханжества.

В Ченстохове на холме Ясна Гура высится старинный католический монастырь-крепость, выдержавший осады татар, турок и шведов. До сих пор в стенах монастыря торчат круглые ядра. Только опытный человек может сказать, какие ядра турецкие, а какие шведские.

В этом монастыре хранится величайшая католическая святыня — икона Ченстоховской богородицы («Матка боска ченстоховска») с разрубленной татарской шашкой щекой. Лицо ее поражает сухостью и полным отсутствием выражения. Ее считают чудотворной и в честь ее совершают пышные и многочисленные службы.

Было бы еще понятно, если бы люди несли свое поклонение к ногам юных и грустных мадонн — таких, как Сикстинская или Мадонна Лита. Здесь же оно кажется неоправданным.

К иконе стекаются десятки тысяч паломников, обычно осенью, как раз когда мы приехали в Ченстохов.

Служба около иконы начинается в четыре часа утра. Тогда раздвигается под звуки органов, пение клиров и перезвон серебряных колоколов золотая завеса, закрывающая икону на ночь. Этот момент считается самым торжественным, и на него все хотят попасть.

В старой и зажитой ченстоховской гостинице портье разбудил нас в три часа ночи. Шел дождь. Темнота тяжело лежала над провинциальным Ченстоховом, похожим на старые губернские города. В этой темноте медленно, будто увязая в ней, звонили колокола на Ясной Гуре.

На окнах в гостинице висели пестрые, крикливые занавески. Из закрытого на ночь ресторана тянуло холодным чадом горелой баранины. Из номеров слышался мужской храп, перемешанный с плеском воды в умывальниках и громким шепотом женщин, собиравшихся в костел.

Их беспокоил дождь. Он не шумел равномерно за окнами, как полагается дождю, а как-то небрежно, будто раздавая пинки и пощечины, шлепал по тротуару и по лужам то тут, то там. После каждого шлепка он затихал и прислушивался к недовольным голосам. А услышав, как его бранят женщины, начинал злорадно барабанить по окнам, торопя богомолков, выгоняя их на холод и мокроту, в эту неуютную ночь.

К костелу подымалась широкая аллея из густых и низких лип. Последние уличные фонари остались позади. В аллее стоял непроглядный мрак. Мы слышали вокруг шорох сотен ног и затрудненное дыхание многих людей. В их хрипах и кашле была вся невыспанность и сырость этой ночи, усталость, болезни, покорное терпение.

Пан Ежи шел с нами, как человек опытный, бывший здесь не раз. Машинам запрещалось приближаться к костелу ближе чем на километр. Поэтому мы оставили свою у подножья Ясной Гуры.

Это обстоятельство огорчало пана Ежи. Оно нарушало его понятие о вежливости по отношению к нам, как-никак, а все-таки иностранцам. «Непшиемность!» — но ничего не поделаешь. Пан Ежи только вздыхал.

Когда глаза немного привыкли к темноте, впереди на смутном небе проступили качающиеся кресты. Их несли перед процессией.

Темнота и дождь искажают размеры вещей. Сейчас кресты казались высокими и грозными, как будто именно на этих самых крестах были распяты на Голгофе Христос и разбойники.

Гравий трещал под ногами паломников, как трещал когда-то под тяжелой обувью римских легионеров, ведших Христа на казнь. По службе своей легионеры отшвыривали с дороги бесноватых нищих, пытавшихся ударить Христа, в то время как он тащил, изнемогая, собственный крест.

Сколько раз еще в детстве мы видели эти мрачные и кровавые сцены Христовых страстей. Видели на полотнах и фресках величайших художников и на лубочных, грубо раскрашенных литографиях «для народа».

Неожиданно толпа запела — очевидно, было уже недалеко до монастыря. Люди пели глухо, всхлипывая. Сквозь всхлипыванья все чаще слышались слова: «Матка боска ченстоховска, змилуйся над нами».

На небе не было еще признаков рассвета, но вокруг все же стало яснее. Свет как будто сочился от земли и мокрой травы.

Мы вошли в браму (ворота) монастыря, прошли вдоль его выщербленных стен и прорикли в костел.

Мы опоздали. Золотая завеса уже была раздвинута. Икона — вся в цветах, свечах и серебряных амулетах — сверкала впереди, в дымном сумраке храма, бесстрастная и неживая.

Орган пел ей хвалы, и те же хвалы шептали вокруг сотни людей всех возрастов, даже маленькие дети.

Много лет назад я был в этом же костеле, в этот же час и на такой же службе. Я был испуган тогда, жался к бабушке, и мне казалось, что я совсем один в этом мире среди непонятных опасностей и враждебных людей.

Сейчас же я не испытывал ничего, кроме желания побольше увидеть и получше запомнить все, что происходило вокруг в этот дождливый день в том Ченстохове, куда я никак не думал попасть еще раз в своей жизни.

Мы вышли из костела. Дождь перестал, но раннее утро было еще пасмурное, сырое, пропитанное запахом недавнего дождя.

Во дворе монастыря под низкой аркадой шла общая исповедь. Большая толпа монотонно и слитно шептала о своих грехах. Все эти грехи были одинаковы и как бы давным-давно узаконены. Но все же иногда раздавался болезненный крик. Все настораживались, очевидно, ждали истерического покаяния в каком-нибудь особенно тяжком и смертном грехе.

Впалые глаза загорались жадностью и любопытством. Люди сбивались вокруг кающегося, подымались на цыпочки, чтобы увидеть его, хватались цепкими пальцами за плечи передних, вытягивали жилистые шеи и громко дышали.

Казалось, толпа была готова ринуться на грешника или грешницу и растерзать их. Но бесстрастный ксендз, видевший многое на своем веку, слегка подымал руку, что-то говорил успокоительное, и напряжение разряжалось глухими женскими рыданиями. Тогда становилось ясно, что никакого греха не было и вообще его нет, а есть темное горе беспомощного и жалкого человека. И никакие силы никаких покаяний этому горю не смогут помочь.

Покаяния эти были больше похожи на жалобы, обращенные к богу, чем на рассказы о своих грехах. «Матка боска ченстоховска, змилуйся над нами».

Хотелось поскорее уйти из этой юдоли темного страдания. Много больных, изнуренных людей и калек протискивалось к иконе, чтобы повесить около нее символ своей болезни — серебряное сердце, серебряные почки, серебряные ноги и руки.

Мы вышли на крепостные валы. Они тянулись вокруг монастыря вдоль глубокого рва, густо заросшего деревьями. В ветвях шумел дождливый ветер.

По ту сторону рва на высоких постаментах на уровне валов, по которым мы шли, стояли преувеличенно большие чугунные скульптуры, изображавшие страсти Христовы — весь путь на Голгофу, распятие и снятие с креста.

Молодая наша спутница смотрела с недоумением на эти жестокие и грубые статуи, на то, как по распущенным железным косам Марии Магдалины, склонившейся у ног Христа, бежали, будто по водостокам, струйки воды. Снова начинался дождь.

Я подумал о нашей спутнице, подумал, что глаза, излучающие столько радости, не должны смотреть на этот «сад страданий и казней».

Мы ушли. В ларьках на площади и перед монастырем мы увидели разноцветные свечи, обвитые золотыми полосками, и купили их.

Пан Ежи объяснил нам, что это «громовые свечи». Их зажигают во время грозы и ставят на окна, чтобы молния не попала в дом. И наша молодая спутница повеселела — свечи выглядели очень нарядно.

Перед нами открылась большая унылая низина с корявыми соснами, плоская, как плаха, и будто присыпанная золой.

Бывают же на земле такие безрадостные места — пыльные и угнетающие своим сухоточным однообразием, места, к которым целиком относятся слова: «Глаза бы мои на них не глядели».

На этой низине стоят вдоль дороги дома в два этажа. Расставлены они редко, вокруг них нет ни цветов, ни деревьев. Своим видом они только усиливают уныние этой земли.

Тотчас за домами тянутся вдаль, уходят в равнину прямые и бесконечные улицы из толстой колючей проволоки. Они теряются в тумане. Домов на этих проволочных улицах нет.

На огромных квадратах земли, ограниченных этой проволокой, видны сгоревшие и разрушенные бараки, длинные, как товарные поезда.

Проволока прилепана в несколько рядов к высоким столбам с тонкими, согнутыми, как у рахитиков, шеями. Шеи эти стальные. Они согнуты внутрь и тоже оплетены проволокой. Это западня. Перелезть через такую ограду изнутри невозможно. По проволокам еще недавно шел смертельный электрический ток.

Первое время больше всего думаешь о жильцах домов на краю дороги. Выселили из этих домов не всех. Часть жильцов почему-то не тронули, и они жили здесь все время с детьми и своими стариками. Жили в нескольких шагах от места, где каждый день убивали тысячи людей — просто так, без всякой причины, убивали ради убийства.

В домах, должно быть, было слышно все — и крики убиваемых, и выстрелы, и собачий лай немецких команд.

Да... Первое время все думаешь о мирных семьях, живших в этих домах. Все думаешь об этом. Может быть, они сходили с ума? Это было бы естественно. Они же все слышали и еще должны были объяснять детям, что происходит за толстой проволокой, где висят на перекрестках «улиц» таблички с номерами барачков, с рисунком безглазого черепа и надписью «Внимание! Смерть!».

Вот хорошо! Хотя за это спасибо! И люди бросались на проволоку, чтобы скорей умереть.

Одна только ночь, проведенная в таком доме, была, должно быть, как последний круг Дантова ада, как кошмар, когда тебе засыпают песком горло, а ты не можешь ни крикнуть, ни вырваться.

Отсюда, от этих мирных домов, начинался «лагерь смерти» Освенцим — лагерь убийств, удушений, пыток, отчаяния, неслыханных зверств.

Но не будем так тяжело оскорблять зверей. Ни один зверь не сделает и тысячной доли той подлости, какую делали здесь дикие существа, считавшие себя людьми, — выкормыши фашистской тирании.

При въезде в «лагерь смерти» стоят ворота с кощунственной для этого места надписью на немецком языке о том, что «труд делает человека свободным».

За воротами — приплюснутое к земле здание с широкой низкорослой трубой. Это крематорий. В нем сжигали заключенных. Кажется, что эта труба выросла на крови, как жирный красный гриб.

В крематории — железные ржавые транспортеры, покрытые какими-то твердыми наростами. По этим транспортерам подавали в жерла печей трупы задушенных газами и расстрелянных.

Сейчас жерла стоят открытыми, как беззубые пасти исполинских допотопных гадов, ждущих добычи.

Несмотря на то, что за стенами крематория сверкает солнечный день, здесь темно, душно, люди спотыкаются о железное оборудование смерти, о ломы, о какие-то цепи. Железо почти непрерывно и мучительно гремит.

И так странно было видеть, как молодая женщина, закусив губы и опустив глаза, положила в желоб транспортера охапку влажных пурпурных гладиолусов. Она склонилась над желобом так низко, как мать склоняется над колыбелью ребенка.

Старая женщина, стоявшая рядом со мной, торопливо отвернулась.

— Боже,— сказала она.— Если бы он мог знать...

Кто он и что он мог бы знать? Отец или брат этой молодой женщины был, должно быть, сожжен здесь. По этому заржавленному желобу палачи сбросили его в огонь. И, может быть, этот человек был вторым Юлием Словацким, или Венявским, или Витом Ствошем (о нем речь будет впереди).

Об Освенциме много писали. Он сохранен для того, чтобы мы никогда не забывали о чудовищной жестокости, на какую способен человек. Не забывали о двуногом иступленном животном, принадлежащем, к сожалеению, к тому же разряду живых существ, к которому принадлежим и мы.

Освенцим — сгусток подлости. Как она могла так расцвести в наш век рядом с самыми высокими творениями человеческого духа?

Западная цивилизация попала в руки убийц. Великие ученые работали на массовое истребление. Человечество должно не гордиться ими, а проклясть их на веки веков.

Может быть, не стоит сохранять Освенцим? Может быть, лучше забыть о нем? Потому что трудно человеку жить и работать, когда тысячи хороших и добрых людей задушены без всякой вины тут же, рядом с нами.

Человечество получило еще один страшный удар в сердце. Теперь черный и пропитанный кровью фашистский застенок уничтожен. Но все же то тут, то там он напоминает о себе. Все время выползают из каких-то мусорных нор фашистские фюреры разных оттенков, но одинаково лживые и наглые. И до тех пор, пока они не будут уничтожены или обезврежены, у человечества не будет ни покоя, ни мирной жизни, не будет ничего подлинного и прекрасного.

Во имя великих и поруганных ценностей, моральных и эстетических, которые нам доверили, во имя будущего, во имя того, чтобы оно просияло на идущие за нами поколения светом, теплом, уважением к человеку и к жизни, просияло дыханием свободы, чтобы в каждой самой малейшей крупинке жизни и в самом легком душевном движении человека были признаки спокойствия и счастья,— во имя всего этого надо освободить мир от фашистских диктаторов.

Так вот — стоит ли сохранять Освенцим? Должно быть, да. Хотя бы ради тех мыслей, какие он вызывает.

Все, что осталось от Освенцима, похоже на галлюцинацию. И эта песчаная земля, что вдруг оседает под ногой в тех местах, где были закопаны трупы, и горы женских волос и детских туфель, и ржавые наросты на проволоке (кажется, что это не ржавчина, а засохшая кровь), и уныние чахлах роц, где много обгорелых сосен (здесь убитых сжигали на кострах), и фотографии молодых обнаженных женщин, идущих на расстрел, и черная виселица, за которой догорает осенний закат.

Невыносимо хочется бежать отсюда, бежать к мирной жизни, к огням, смеху, музыке, любимым книгам и друзьям.

В Освенциме я испытал внезапный озноб, гнев, стеснение сердца. Даже когда машина вынесла нас в вечерние затихшие леса и в окна дуло запахом хвои и свежей воды, мы еще не могли вздохнуть полной грудью.

В 1915 году, во время первой мировой войны, наш санитарный отряд остановился однажды на ночевку в местечке Загнанске, недалеко от Келец. К Загнанску вплотную подходили невысокие горы. Была зима, и горы покрылись тонким снегом.

Рано утром, умываясь во дворе, я заметил вдали, на горах сельский костел. Мне захотелось пройти к нему.

На мое счастье, мы собирались простоять в Загнанске еще несколько часов, у меня было время, и я пошел по узкой извилистой дороге в горы, к костелу.

Мы обычно запоминаем самые сильные, кардинальные случаи из своей жизни. Но вот сейчас, когда приходится много вспоминать, я обнаружил, что некоторые обстоятельства жизни, внешне ничем замечательные, не имеющие даже намека на событие, оставили в сознании долгий след и, конечно, в какой-то мере помогли тому внутреннему процессу, какой называется «формированием человека».

Таким «обстоятельством» оказался этот простой зимний день. Впервые в сплошном потоке трудных и торопливых дней появилась наконец передышка, и я мог побыть наедине с собой.

Костел стоял на вершине горы, вдали от селений. В нем могло поместиться, по-моему, не больше пятидесяти человек. Он был засыпан по колени снегом и крепко заколочен.

Я обошел его вокруг. Замерзшие листья потрескивали под ногами. И все время лениво кружился снег. Он опускался на каменную скамью около костела, на чей-то могильный камень и на всю окрестную зимнюю даль.

В дверях костела было прорезано маленькое окошко. Стекло в нем было выбито. Я заглянул в окошко и увидел несколько старых скамей, алтарь, растрескавшегося деревянного Христа, бессильно уронившего голову в терновом венце, а под стеной за алтарем — старые знамена. Их было несколько. На всех знаменах виднелись изображения сломанного черного креста и таких же терновых венцов, как на голове Христа.

Я побродил около костела, потом сел на каменную скамью, прислонился к спинке, опустил наушники на шапке, поднял воротник шинели и даже задремал.

Меня усыпило торжественное, как церемониальный марш, падение снега и окрестная тишина. Только на юго-западе, в стороне фронта, изредка слышались раскаты орудий.

Давно я заметил, что открытые тихие дали всегда вызывают спокойствие и желание подвести итог пережитому, найти в себе и в своей жизни нечто равноценное этим далям, прежде всего — ясность, свойственную прекрасной земле.

Никого вокруг не было, и потому эти мысли можно было выразить только улыбкой. И я чувствовал ее на своем лице. Я улыбался отдаленным воплям петухов, едва слышному звону льда в ведрах с водой — их несла под горой крестьянка в красной шали, — слабому стуку топора все там же, внизу, и торопливой воркотне снегирей.

Мог ли я тогда подумать, что через сорок с лишним лет опять увижу эти знамена из Загнанского костела, но увижу в маленьком городке Анджеве около Кракова?

Из Освенцима мы поехали в Краков. По дороге мы остановились в Анджееве.

Городок этот известен великолепной коллекцией солнечных часов, собранных местным жителем астрономом Пшипковским.

Отец этого Пшипковского — провинциальный доктор, увлекался астрономией и выстроил рядом со своим жилым домом в Анджееве маленькую обсерваторию. Сын доктора-астронома, теперешний хранитель музея — большой, добродушный человек, — по общему мнению, был очень похож на Пьера Безухова из «Войны и мира». Что бы ни говорили скептики, но точный литературный образ обладает великой силой. Пьер Безухов вымышлен, его никто не видел и не мог увидеть, и все же он для миллионов читателей совершенно реальное лицо. Он даже реальнее многих наших знакомых.

«Пьер Безухов» — пан Пшипковский, близорукий и несколько смущенный этим обстоятельством — ввел нас в большую комнату с застекленными шкафами. В них хранились десятки солнечных часов.

Я всегда представлял себе солнечные часы в виде простого, но громоздкого сооружения. Такие часы ставятся под открытым небом на площадях или в парках. Здесь же были собраны маленькие и очень красивые солнечные часы разных видов и форм. Большинство их сделано из меди.

От Пшипковского я впервые узнал, что есть целая наука о солнечных часах, и называется она «гномоника». Пан Пшипковский показал нам такие маленькие солнечные часы, что они помещались на ладони. При этом Пшипковский заметил, что все египетские обелиски — не что иное, как стержни солнечных часов, и что упоминание о солнечных часах есть еще в Библии.

Потом он повел нас в свою прекрасную библиотеку и с гордостью показал первое издание коперниковского трактата.

В углу библиотеки стояли старые знамена. Я где-то уже видел такие знамена. Но где?

И я вспомнил заброшенный костел около местечка Загнанска, замедленный снег и эти же знамена в сумрачном свете зимнего дня. То были зеленые и красные знамена с изображением грубо сломанного деревянного креста и терновых венков.

В библиотеку вышла мать Пшипковского — Софья Эдвардовна, очень живая и подвижная старая женщина, свободно и без всякого акцента говорившая по-русски.

Я спросил, что это за знамена, и сказал, что видел точно такие же знамена, но это было очень давно... и где? В ту минуту я не мог припомнить. Уж очень это было давно.

— Их можно было увидеть только в Загнанске, — твердо сказала Софья Эдвардовна. — Это знамена польских повстанцев тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. Почти вся наша семья участвовала в восстании. Вы были когда-нибудь в Загнанске?

— Был, но очень давно.

Тогда Софья Эдвардовна рассказала, что много лет эти знамена хранились в заброшенном костеле в Загнанске. Костел этот стоит в пустынном месте.

Тогда я вспомнил до мельчайших обстоятельств тот час, когда я сидел на скамье около костела и снег валил вокруг громадными хлопьями. Вспомнил рассеянный свет, нисходивший с низкого неба.

Сквозь хмурую зиму вниз, в долине, светились зеленые семафоры на полустанке.

В такие дни в домах бывает особенно уютно. Очень громко стреляют дрова в печах, очень шумит огонь, очень вкусным кажется кофе. И очень

желанной становится размеренная и тихая жизнь с перекличкой пегухов, подсвистыванием синиц, дымком, прилипающим к крышам, и неожиданным лиловым подснежником, найденным на прогалине около дома.

Я долго смотрел на этот день, сидя на скамье. Я готов был благодарить кого-то за то, что этот день существует.

Как бы желая отрезвить меня, на юго-западе загремела сильная канонада. Очевидно, сейчас придется запрягать фурманки, седлать коней и отходить дальше — на Скаржиско и Ивангород.

Я пошел к полустанку. Мне хотелось окружить эту мирную деревню, эти горы и буковые леса непроницаемым для войны магическим кругом, спасательным поясом из плотного воздуха. Он легко останавливал бы и отбрасывал снаряды и пули.

Я усмехнулся ребяческим своим мыслям.

Краков — красивый город, но мне кажется, что в нем не очень уютно жить. До сих пор чувствуется, что он долго был под скучной властью австрийцев. На его улицах можно встретить много чинных и наглухо запертых людей.

Есть такое пошлое выражение «супружеская чета». В Кракове вы можете наглядно убедиться, что это такое. В особенностях в праздничные дни. Тогда по улицам важно шествуют «супруги» с «супругами». Каждая «супружеская чета» не прогуливается, а самодовольно несет себя и несет на себе, как на магазинной витрине, все, чем она имеет право, по собственному мнению, гордиться: дорогое пальто и перчатки, трости с серебряными набалдашниками, новые ботинки, меховое манто (на «супруге») и солидные галстуки.

Я не хочу сказать, что такое впечатление производит большинство краковян. Нет, конечно. Их не так много, этих тяжеловесных людей. Но нигде в Польше, кроме Кракова, я таких людей не встречал. Потому они и бросаются здесь в глаза.

Но хватит о них!

Вообще же в Кракове уже много веселой и талантливой молодежи, художников, много рабочих из Новой Гуты, ученых. Не будем отравлять впечатление от этого редкого по красоте города неприятными встречами.

Лучше пройдем по пустынным «плянтам», где ярко по осени цветет пурпурный шафран, по рабочим окраинам, где люди словоохотливы и ласковы, зайдем в Мариацкий костел посмотреть алтарь гениального скульптора и резчика по дереву Вита Ствоша, побываем на острых студенческих спектаклях, войдем, как в святилище, в сумрачные залы Вавеля, где на стенах цветут знаменитые гобелены — арасы, а в крипте под алтарем собора стоят два саркофага — черный с прахом Мицкевича и белый с прахом Словацкого.

Со стен Вавеля открываются голубеющие пространства, похожие на старую географическую карту, когда топографы еще рисовали на картах города, мосты, мельницы, корабли и где-нибудь сбоку — амуров, дующих в раковины, чтобы вызвать благоприятный ветер для моряков.

Со стен Вавеля видны разноцветные полосы полей, отдаленные рощи, трубы и дымы Новой Гуты. К югу где-то далеко над горизонтом как бы висят низко, над самой землей какие-то горы. Может быть, это тучи, а может быть, Татры.

В определенные часы на башню Мариацкого костела подымается трубач и трубит на все стороны света. Но пение трубы обрывается на половине мелодии в память убитого татарами трубача во время одной из польско-татарских войн.

Татары пустили в трубача целый рой поющих стрел. Трубач упал, не закончив своего сигнала.

В Кракове сохранились традиции. Это хорошая черта народа, любящего свою страну и ее прошлое.

Но есть традиции и странные, как, например, особое богослужение для женщин, собирающихся родить. Есть и нарушение традиций — выставка новейшего церковного искусства в одном из краковских костелов. Там вы можете увидеть церковный сюрреализм и даже угодную богу абстракцию.

Краков — город художников и художественной молодежи с неизбежным для нее увлечением новаторством.

В общем, это здоровая молодежь. Молодежь иной и быть не может. Молодежь всегда была беспокойной, всегда была занята спорами и увлечениями, всегда будоражила стариков.

Вершины Татр были слегка присыпаны снегом. То тут, то там снег дымился от ветра. Тогда начинали шуметь черные горные ели и на асфальтовое шоссе со стуком сыпались большие шишки. Белки перелетали с ветки на ветку, распушив хвосты.

В Закопане шли упорные дожди, стало холодно, и мы вскоре уехали с юга Польши на ее крайний север — в Гданьск и Сопот.

В день отъезда по Закопане весь день носилась гуральская (горская) свадьба. Впереди скакал молодой горец в белых брюках с нашитыми на них черными шнурами. Время от времени он останавливался и играл на трубе. За всадником с песнями, хохотом и звоном валом валил свадебный кортеж.

Прохожие останавливались и смотрели с восхищением, но не на невесту, а на подругу невесты — дружку, — девушку сверкающей красоты. Гибкая, высокая, в зеленой шелковой юбке и пестрой шали, она смущенно смеялась. Ее гортанный переливающийся смех действовал на зрителей, как колдовство.

Прохожие шли следом за свадьбой и не спускали глаз с этой девушки. Только на выезде из города они останавливались и нехотя возвращались улыбка. Но на лицах у них долго еще оставалась счастливая и удивленная улыбка. Очевидно, странные мысли появлялись у них в голове: что вот, мол, они много колесили по свету, видели много городов и тысячи всяких людей, но никак не думали, что в отдаленном и маленьком горном городке в Польше на границе с Чехией встретят девушку такой прелести.

По силе впечатления эта крестьянская девушка не уступала самым прославленным красавицам мира. Очевидно, такое же впечатление произвела бы Галатей, если бы она ожила и прошла перед нами по улицам скучноватого городка своей крылатой, легкой походкой.

Все кажется серым — очень гладкое и холодное море, облака, озябшие деревья с понурой листвой и бледные пляжи. По ним надо долго идти до уреза воды. По пути можно набрать кусочки темного янтаря.

Все вокруг серое, и только паруса рыбацких шаланд — оранжевые, зеленые, красные и черные — веселят однообразную даль Балтики. Изредка слой облаков утончается, и сквозь него белым пятном пробивается солнце. Но и этого достаточно, чтобы в море вдруг появились синеватые отблески.

На длинной дощатой пристани в курорте Сопоте пусто. Там с разных сторон задувает ветер да ходит с озабоченным лицом престарелый рыжеватый пижон с маленьким транзисторным приемником. Этот прибор

висит у него на ремне через плечо, как фотографический аппарат, и играет разные джазы.

Пижон с приемником быстро ходит взад и вперед по пристани. Он нетерпелив. Звуки джаза тянутся за ним, как нитка. Иногда она обрывается, приемник замолкает, и вступает в свои права морская тишина. Тогда слабые всплески мелких волн кажутся прибоем.

Пижон, бегавший по пристани, развлекаая джазами самого себя, был воплощением пошлости и пустоты.

Но вскоре на пристани появился еще один престарелый тип под стать первому пижону, но с той только разницей, что пижон был круглолицый и рыжий, а новый посетитель пристани вытянутым своим лицом напоминал людей с картин Эль Греко. Его веки были надменно полуприкрыты. Несмотря на холод, он был в шортах. От взгляда на его голые волосатые ноги день почему-то казался холоднее, чем был на самом деле. Пижоны изысканно поздоровались друг с другом.

— Счастлив быть вашим слугой,— сказал один.

— Я послушный ваш раб,— ответил другой.

— Я не знал, что шановный пан такой любитель легкой музыки.

— Да простит меня пан Едвабный,— ответил первый пижон,— но джаз не есть легкая музыка.

— Фешенебельное развлечение! — сказал тип с длинным лицом.— А скажите, джаз не расстраивает ваши нервы?

— Я не отстаю от века,— несколько язвительно заметил пижон с приемником.

В это время приемник щелкнул и вдруг запел:

О, алуэттэ!

О, алуэттэ!

Та-та-то-то-ти-ти-там-там!

— Весь Париж,— сказал человек с длинным лицом,— сто лет поет эту песенку. Даже рамолики, кушающие овсянку. И склеротики, не помнящие своего имени. Весь Париж!

— Не дай бог, чтобы пана Едвабного постигла такая участь. Мое нижайшее почтение шановному пану. До лучших дней.

Человек с приемником вздернул плечами, будто поправляя свой кургузый пиджачок, отошел, и грянул бравурный марш, очевидно, в честь катера «Олимпия», подходившего к пристани.

— Старый башмак! — с сердцем сказал пан Едвабный.— Подумаешь, знаток музыки! Нажился на подтяжках, рыжий пес!

Я был на стороне пана Едвабного. Но поскольку он явно рассчитывал на длинный разговор со мной, то я предпочел уйти. Я сделал вид, что очень заинтересован тем, как пристанет «Олимпия». Она пришла из Гдыни и отходила в Гданьск.

«Олимпия» привезла только пятерых пассажиров и в их числе мальчика с большим ленивым котом.

Кот лежал на руках у мальчика, как одалиска. Он томно свесил голову, будто артист, усталый от поклонниц и славы.

Пижон включил, как говорится, «на полную железку» приемник, и тот заревел «Очи черные». Глаза у кота обезумели. Он с воплем отчаяния вырвался из рук мальчика и помчался, распластываясь на твердую землю. Мальчик помчался за ним, а молодой матрос с палубы «Олимпия» кому-то крикнул:

— Опять этот варьят<sup>1</sup> играет на своей машинке! Кто до Гданьска? Отходим! Кто до Гданьска?

<sup>1</sup> Варьят — сумасшедший.

Я поднялся на палубу катера. Очевидно, по случаю холодного дня других пассажиров не было.

Мы отчалили. Пижон включил по случаю нашего отъезда тягучий вальс.

В море катер начало покачивать. Я смотрел на балтийскую воду — она была оловянного цвета, но очень прозрачная. В ней плавали веточки водорослей. Под днищем катера было хорошо видно песчаное дно.

Очень давно, лет тридцать назад, я прочел в каком-то журнале статью под названием «Архитектура кораблей». Кажется, это была статья Корбюзье.

Люди очень долго не замечают и не признают новой красоты. Понятие красоты с течением времени изменяется и расширяется. Древние греки не знали красоты неоновом света, а мавры — красоты океанских пароходов.

На новую красоту людям нужно открывать глаза. С детских лет мы знали, что парусные корабли красивы во всем, даже в своих терминах: фрегаты, баркантины, клипера — и в названиях отдельных бесчисленных частей корабля и такелажа: шканцы, штирборт, бизань, кабестан, кливер, топенант. Но нам не приходило в голову смотреть на железные пароходы как на произведения искусства. Мы видели в их конструкции только утилитарные и совершенно необходимые вещи, пока нам не открыли глаза, и мы с бьющимся сердцем вдруг заметили мощные изгибы железных бортов, могучие трубы, просторные палубы, ряды сверкающих иллюминаторов.

Разговор об архитектуре кораблей происходил на Гданьской судостроительной верфи.

На этой верфи шаг за шагом можно проследить рождение корабля, начиная от ребристого скелета и кончая готовым кораблем, только что спущенным на воду.

На верфях (по-польски «сточнях») нас окружали океанские громады. Мы поднялись на одну из таких громад — на так называемую «рыболовную базу» «Печенга», построенную в Гданьске для СССР.

По существу это был не корабль, а морской дворец. На «Печенге» было все, что нужно человеку для культурной жизни, в том числе и большой зал для кино и спектаклей.

Существует неписанный закон: чем тяжелее условия плавания, тем больше должно быть на корабле комфорта.

«Печенга» плавает в северных водах, у берегов Канады, Исландии и Гренландии. Поэтому на ней удобно и просторно. Мощь ее машин и мощь стройного корпуса создают у экипажа «Печенги» уверенность в своем корабле.

Так почти незаметно рождается мысль о неразрывной связи технических качеств корабля с его внешним видом. Так рождается эстетика кораблей, отрицающая все лишнее и утверждающая только необходимое. И вот оказывается, что эта ясность и простота архитектуры сами по себе являются эстетическим фактором, сами по себе величественны, гармоничны и не требуют никаких украшений.

Наоборот, любое украшение ощущается как ненужное пятно. Оно просто нестерпимо.

В каюте капитана «Печенги» мы пили шерри-бренди. Капитан рассказывал о последнем рейсе корабля в те воды, где рождаются туманы и айсберги, где у людей обостряется чувство родины.

На Гданьских верфях я долго смотрел, как работают судостроители. В большинстве это потомственные заслуженные пролетарии — спокойные и независимые. Самый их труд, самая манера их работы вызывала

удивление. И уважение. Все это были подлинные мастера. Было совершенно ясно, что никто, кроме них, не мог бы так уверенно справиться с этой сложной работой.

Сознание собственного достоинства и собственного рабочего таланта делало их несменяемыми хозяевами этих верфей. И не только верфей, но и всей страны.

Туманные, сырые равнины балтийской Польши, какая-то неподвижная река вся в зарослях увядшего стрелолиста, а за рекой — замок-монолит Мальборг, приют крестоносцев.

Там в подвалах стоят очаги — на них целиком жарили на огромных вертелах быков и диких вепрей. Там горячий ток воздуха бил из решетчатых отверстий в полу — средневековых калориферов. Мы останавливались на этих решетках, чтобы согреться.

Архитектура замка сурова, безжалостна. Такой замок, должно быть, выдержит взрыв атомной бомбы.

Между двух крепостных стен, окружающих замок, растут огромные кусты бузины с красными ягодами, стоит сладкий запах облетелой листвы и в углу чернеет виселица — старая, источенная червем, готовая вот-вот рухнуть. При взгляде на нее вспоминаешь, что никогда еще на земле не было полного счастья и благодатного покоя.

Это время придет. Не может не прийти.

По дороге из Гданьска в Варшаву тихий туман лежал над полями. В этом тумане придорожные березы казались призраками. И если бы не дети, спешившие в школу — маленькие девочки и мальчики с пачками книг, — то последним впечатлением от Польши были бы эта тишина и туман.

Мы взяли в машину и довели до какого-то городка двух школьников, двух мальчиков с веселыми и смущенными глазами. Они быстро о чем-то трещали и шмыгали носом — жест всех мальчишек на всем земном шаре.

Когда мальчики сошли, шофер, не оборачиваясь, сказал:

— Вот кому интересно жить. Правда?

А я подумал о странном совпадении: мое знакомство с Польшей почти полвека назад началось с того, что я подвез на фурманке девочку со стариком, а сейчас, уезжая из Польши, мы подвезли двух мальчиков. Я не знаю народных поверий, но, очевидно, такие встречи с детьми к добру? Кто знает?

Село солнце, и на горизонте возник купол света. Мы подъезжали к Варшаве.

Надо было прощаться с Польшей, с ее сердечными людьми, верящими в свое умное будущее.

И снова пришло знакомое всем скитальцам чувство — будто ты оставил часть своего сердца в покинутой стране. Но вопреки всем естественным законам ты не обеднел, а, наоборот, стал богаче.



---

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

★

## ПРОЩАНИЕ С МОЛДАВИЕЙ

Привыкаешь к теплым дням.  
Привыкаешь к деревьям.  
Притулившимся по склонам.  
Прирастаешь к желтым кронам  
И медлительным корням.

Виноградник на бугре.  
Мальчик смотрит боязливо.  
— Буно зиво!<sup>1</sup>  
— Буно зиво.  
Прирастаешь к детворе.

Кто, большой, тому виной,  
Что к земле иноязыкой —  
Будто здесь баюкан зыбкой —  
Прикипаешь, как родной?

И глядишь, глаза слепя,  
В даль, светящуюся зовом,  
Провожая долгим взором  
Уходящего — себя...

---

<sup>1</sup> Добрый день.



---

МАРК ЩЕГЛОВ

★

## СТУДЕНЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ

### Несколько слов об авторе

Незадолго до своей смерти Марк Щеглов получил письмо от писателя Э. Казакевича. «Думаю,— писал Казакевич,— что в Вашем лице советская литература приобретает критика выдающегося. Я не боюсь сказать Вам это: глубокий ум, который Вы так блестяще обнаруживаете, легко оградит Вас от самодовольства перед лицом чьих бы то ни было похвал — моих или людей более значительных, чем я». В этих словах содержится признание того места, которое занимал Щеглов в нашей литературной жизни пятидесятих годов, тех надежд, которые связывались с его именем.

После Марка Щеглова остались статьи, рассеянные по журналам и альманахам и частично собранные теперь в одной книжке, да добрая, благодарная память о нем у всех, кто знал его лично, да еще вот эти записки студенческих лет, извлеченные из груды потрепанных тетрадок. В этих обрывочных записях «для себя» Марк предстает таким, каким и знали его всегда товарищи и однокашники,— мужественным, честным, убежденным, с обостренной чувствительностью ко всему доброму и злему и с каким-то изумительным запасом жизнестойкости.

Когда я думаю о нем, я вспоминаю его то дома, в Электрическом переулке, в этой маленькой, узкой, как келья, полутемной комнате, служившей некогда ванной, сидящим, повернув ноги, на диване с книжкой в руке; то в кабинете профессора Н. К. Гудзия, где идет толстовский семинар и Марк, слегка опоздавший и пристроившийся в укромном углу за этажеркой у самой двери, что-то пишет в зелененький измятый блокнотик; то на скромной студенческой пирушке, где он сразу становится центром дружеского кружка, и гитара ходит ходуном в руках его, и все молча признают его первенство и в песне, и в шутке, и в завязавшемся вдруг серьезно разговоре; то в редакции «Нового мира», куда он с трудом, громыхая костылями, поднимается по широкой лестнице с рукописью, свернутой в трубочку и болтающейся сбоку на бечевке, чтобы не занимать руки...

Но чаще и отчетливее всего я вспоминаю почему-то, как в пору весенних экзаменов Марк сидит на камнях старой ограды в университетском садике, сняв шляпу, положив сбоку костыли, покуривает, слегка задрав голову, с наслаждением щурится на солнце и с каким-то добрым любопытством вглядывается в лица тех, кто выходит и входит, хлопая дверью, из здания факультета. Он никого не ждет, не ищет, ему просто радостно смотреть на суетливую, шумную студенческую жизнь и чувствовать себя причастным к ней.

Один старый литератор, попросивший познакомиться его с Марком Щегловым, сказал, отойдя от него, в недоумении и растерянности: «Не может быть, что этот изуродованный болезнью, с трудомдвигающийся инвалид — Марк Щеглов! Когда я читал его статьи, мне казалось, что их пишет очень удачливый, уверенный в себе, счастливый человек...» Кто-то передал последние слова Марку. «Хорошо, что так думают...» — сказал он, улыбнувшись.

*Да, сейчас лучше можно оценить, чего стоила ему борьба с тяжелейшим недугом, борьба за жизнь, за возможность учиться, за право работать в литературе.*

*Щеглов напечатал первую свою большую статью в сентябре 1953 года. В сентябре 1956 года он умер. Три года — слишком малый срок в литературной судьбе. Но к этому он готовился всю жизнь, и оттого след его деятельности ярок, заметен и сейчас.*

*Марк Щеглов был натурой впечатлительной, импульсивной. Может быть, оттого и в писании дневника он не был слишком аккуратен и систематичен. О каких-то днях писал тщательно и подробно, а потом — ни единой строчки долгие месяцы. В его тетрадях студенческих лет часто рядом шли конспекты лекций и дневниковые записи, перечни сдаваемых экзаменов и черновики писем друзьям, выписки из Лессинга и Плеханова и собственные стихи, наблюдения, заметки, переработанные иногда в художественное описание. Готовя к публикации эти записи, мы исключили из них все частное и мало-значительное, не пытаясь, однако, сглаживать и затушевывать наизыность и противоречивость отдельных страниц.*

*В «Студенческих тетрадях» Марка Щеглова читатель увидит комсомольца сороковых годов, несколько романтически, «идеально» настроенного, пылко верующего в справедливость, глубоко преданного своей родине, живущего, несмотря на болезнь, ее заботами и интересами. Это человек редкой чистоты души, сердечности и чуткости, ощущающий чужую боль и беду до забвения своей, способный на высокие чувства и порывы.*

*Нельзя не обратить внимания и на его художественную впечатлительность, — впечатлительность человека, жадно впитывающего слова, краски и звуки, одаренного поразительной восприимчивостью к прекрасному. Внимательный читатель, наверное, оценит яркую конкретность его пейзажных зарисовок. Может быть, из-за болезни он жил как-то особенно близко с природой — с природой скудной, городской; остро, почти мучительно резко воспринимал смену времен года — зимние метели, гололедицу, оттепели, весеннее солнце, летние грозы.*

*Некоторые страницы его записей невеселы, порою граничат с отчаянием. Надо ли удивляться этому? Удивляться надо скорее тому, как человек, с детства измученный болезнью, трудностями в семье, бытовым нестройством, побеждает минуты тоски и безнадежности своей внутренней жизнестойкостью и оптимизмом. Друзья, товарищи, комсомол помогают ему почувствовать себя человеком нужным, полезным, не одиноким, и сам Марк видит в этом выражение сущности советских законов жизни. «Студенческие тетради» — это урок большого человеческого мужества.*

*Марк Щеглов вел свои записи в сложное время, в трудные послевоенные годы. В его оценках некоторых книг и кинофильмов заметна и дань общим заблуждениям тех лет, и непосредственная наивность молодости. Но достойно внимания другое: как быстро созревает недюжинный ум Марка Щеглова, как его поразительная восприимчивость к прекрасному в жизни и искусстве, сперва еще неразборчивая и воспламенявшаяся от одного намека на красоту, становится избирательной и требовательной, покорной строгому суду трезвого взгляда и точного вкуса.*

*Читатель увидит, как сосредоточенно и терпеливо копил Щеглов силы духовные, сознательно готовясь к неясному еще вполне ему самому будущему своему поприщу, чтобы, вырвавшись на простор самостоятельной деятельности, проработать в литературе три кратких года и сгореть, едва достигнув тридцати лет.*

*В последние годы Марк Щеглов не вел дневника. Все, чем он жил, о чем думал, находило отклик в его статьях и рецензиях, которые он писал бурно, с увлечением, без передышки, точно боясь не успеть высказать то, что волновало его и томило. Читая дневники студенческих лет, понимаешь, что, при всем их обаянии, искренности, драматизме, это лишь, так сказать, «предыстория» духовного развития Щеглова-литератора, широко и зрело проявившего себя в своих известных критических работах.*

*К извлечениям из дневника мы решили присоединить некоторые письма Щеглова к матери и друзьям, любезно предоставленные нам Н. В. Щегловой-Кашменской, Ф. Световым, Д. Павловой, А. Турковым, а также его разрозненные литературные заметки 1954—1956 годов, еще не появившиеся в печати. Все это дает возможность пополнить характеристику его личности и судьбы.*

**В. Лакшин.**

## Тетрадь первая

1947 год

*27 октября.*

Буду вести дневник. Это нужно. Основное, что раньше мешало мне,— это то, что я в записях никак не мог быть более беспристрастным к себе и менее требовательным к стилю. Все мне казалось, что я пишу для кого-то и что этот «кто-то» — строгий и праведный — будет вчитываться в мои излияния как в документ и что поэтому мне надо во что бы то ни стало оправдаться и, таким образом, представить себя в выгодном свете. Как я был глуп! Но теперь я — мнится — достиг той «седьмой ступени» самосозерцания, которая поможет мне быть точным, искренним и не вычурным.

Сегодня день особый. Сегодня мне исполнилось двадцать два года. Что ни говори, а многовато, уже больше, чем хотелось бы. Вчера вечером и ночью состоялось празднество. Сошлись други. Пили за меня, за маму (она «округлила» счет дней — старый, новый стили,— так что ее пятидесятилетие совпало с моим днем рождения). Я поднял тост за каждый год из этих пятидесяти, за каждый день. Хором — неистово, до хрипоты — орали песни. Потом, по инициативе милого культурга Светланы, играли в умные игры. Проигрывали фанты. Хорошо, убежденно и со страстью Володька читал «Облако в штанах»... Была В. Присутствие ее меня тяготит, а несдерживаемая нежность ужасает. Нет, я положительно не переносу этих страстных до истеричности и томных до сентиментальности «артистических» натур.

Впрочем, сейчас я весь в другом. Университет, книги, новые люди — жизнь, любимейшая жизнь охватывает меня, и так многого мне хочется, так многое меня радует и ужасает, что мелкие, убогие чувствованьяца прошлых лет кажутся смешными и стыдными.

*30 октября.*

Был в университете. Договорился об экзамене по логике — о дне и часе — и, кажется, очень неудобно. Перед тем долго ходил по центру. Дышал, улыбался, слушал, всматривался... Обожаю Москву новую! И старую! А больше всего — будущую!

*3 ноября.*

Сегодня я доволен собой. Утром сдавал логику. В результате еще одна пятерка. Я снова начинаю привыкать к удачам. Впрочем, какие, к черту, удачи; просто позанимался как следует. Перед экзаменом волновался, не зная, что и как (ведь сдаешь человеку, которого совершенно не знаешь). Но оказалось все довольно просто. Вопросы достались вполне знакомые, и, начав косноязычно и путаясь, я постепенно вошел в форму... Преподаватель показался мне человеком совсем не университетской эрудиции, даже в области логики. Так, маленький и скучный администратор-деляга, занимающийся между прочим и науками.

На днях слышал по радио окончание новой повести Симонова «Дым отечества». Давно уже прислушивался к этой штуке. Но последние главы и эпилог показались мне необычными. Я рад, что появилась такая нужная, богатая смыслом книга. Не хватало, просто не хватало вещи, которая бы верно и поэтично представила наши послевоенные будни, труды наши, думы наши о мире и родине. У меня было такое впечатление, будто в той драчке, которую мне доводится вести с людьми «трезво мыслящими» и с самим собой (когда не хватает умения за частностями

и трудностями увидеть славное и светлое), — так вот, будто в этой драчке я получил великой силы поддержку, будто кто-то сказал мне: ты прав, дружище, так и нужно... И вообще в мыслях Басаргина я нахожу так много своего, передуманного, и не только в мыслях, но даже в оттенках тех настроений, которые вызываются в нем окружающей жизнью. Оттого ли это, что я, как и он, застигнут в позе наблюдателя, или еще отчего — не знаю, только мне необычайно радостно себя, нас, моих сверстников видеть абсолютно правыми в основном, в главном — в нашем романтически приподнятом ощущении жизни... Отсюда все остальное — доблесть, радость, дружба, убежденность и многое еще...

Мысли последних глав об отечестве, о «нас», о будущем и настоящем, о «трезвости» и романтичности так близки моим мыслям, что действуют на меня почти физически, как при резонансе. Молодец Симонов, очень современная книга, и очень умная, и очень моя...

Скоро огромный праздник. Москва с утра до вечера шумит, чистится, украшается. Милиционеры шеголяют в новой форме — черная шинель и ярко-алые канты, петлицы и погоны. Очень нарядно. В Охотном ряду липы — ровесницы Октября. Каждая посажена в Сокольниках тридцать лет назад и теперь празднует день рождения вместе со всеми. Хотел писать (и напишу) о том, как в холодную, липкую, сумасшедшую вьюгу под стрекотанье отбойных молотков ловкие девчонки готовили ямы для посадки деревьев. И как я стоял улыбающийся и заносим был снегом...

Ну вот уже и совсем вечер. На улице с половины дня густой и тихий снегопад. Завтра все будет белым-бело. Подошел к окну, посмотрел в снег, и стало мне по-зимнему зябко и одиноко. И подумалось, как всегда: грустную жизнь ведешь ты, Марк Александрыч, нет тебе ни дела настоящего, ни молодости, ни любви. А так хочется, так горестно хочется и дела настоящего, и молодости, и любви. Любовь — какое вообще затасканное слово, а я вмещаю в него всю свою душу, исхотевшуюся жизни, всю тоску по людям, по смеху, по задору, по дружному шагу, по ласке, по изяществу, по теплу, по здоровью.

6 ноября.

Канун праздника. Промозглая, скользкая сырость на улице, и толпы улыбающиеся, и бесчисленные мигания электрических лампочек. Кремль сказочен. Каждая башня, каждый теремок обведены светящимся кантом и горят в темноте узорным волшебством. Очень красиво.

Люди веселые, шумные, по двое, по трое, толпами, и только я, как знатный иностранец, все один. И, видимо, поэтому мне что-то невесело. Кроме того, обморозил нос.

Ну, ничего, завтра встану пораньше и пойду бродить.

С большим праздником вас, дорогие мои люди! Хорошего вам веселья!

7 ноября. Вечер.

Праздник! Наперекор погоде, усталости и маминому характеру — взволнованный, всеобъемлющий праздник! И хотя с утра корчилась в груди обычная гнусная тоска, я все-таки испытал его — напряженное, острое чувство радости и простора, чувство, которое заставляет вопреки пронизывающей сырости ходить нараспашку, улыбаться встречным и поперечным, любуясь миром.

В общем, день прошел так. Встал рано, полный готовности следовать хоть на край света за демонстрацией. Завтрак с фантастически вкусным пирогом, испеченным мамой. Мирное, праздничное утро...

В Москве морозящий холодный дождь, намокшие, хлопающие на ветру красные полотнища, слякоть и веселые люди: стройные, в ярких свитерах физкультурницы, черно-золото-красные прозябшие милиционеры, ребятишки с флажками и шариками, музыка, лозунги, шум, смех, праздник! На Советской площади в витринах карикатуры на Черчилля и К°, бисер капли на ветках вчера посаженных лип, парадное великолепие зданий и посреди площади — серо-зеленые громады отдыхающих после парада танков. В люках молодые розовые лица бойцов. На одной из башен — яркий букетик цветов на высокой тонкой ветке. Потом грохот моторов, клубы дыма, танки идут вниз по улице и за ними — стаи мальчишек в диком восторге. Самые счастливые успели забраться на борт и что-то неистово, захлебываясь от возбуждения, кричат своим менее счастливым сверстникам, бегущим сзади. И весь город, кажется, наполнен лязгом и рокотанием моторов.

В семь часов я был уже дома. Мама захворала с полудня, простудилась и поминутно сухо кашляет. Все так же озабочена, опечалена и так же готова, наверное, ругать меня за всякие грехи... И мне уже совсем, совсем не празднично. И хочется товарищей, шума, суматошного веселья!

Сейчас посмотрел, мама совсем седая и бледная. Больна и устала. А я смею говорить о празднике! Но что же мне сделать? Что мне и как мне помочь?

*12 ноября.*

Неудачи. Вчера был в университете по делам своего жадно желаемого перевода на очный филфак. Кажется, ничего не получится (во всяком случае этой зимой). Я даже не смогу произнести перед ректором прочувствованную и страшно убедительную речь, которую я вот уже полмесяца вынашиваю и приукрашиваю по той простой причине, что меня к нему не пустят. Разговор с секретарем был краток и скучен. Я, волнуясь, деревянно выразил свое желание записаться на прием, и секретарь несколько раз сухо объяснила, что ректор по таким вопросам сейчас не принимает и что поэтому мне надо ждать будущего года, но что, впрочем, она (чтоб убедить меня совершенно) справится об этом у самого и во вторник я смогу узнать о результатах.

Огорчен — нет, убит я был страшно. Вдруг это значит, что все мои мечты о трудной, интересной, золотой жизни студента не осуществляются? Это значит, что я опять один, скучен и зол. Кроме того, если вспомнить о вопросах «прозаических» — стипендия, карточки и т. п., то я — короче говоря — может быть, вообще на очень долгое время лишаюсь возможности образовываться. Вчера я целый день рычал и убивался внутренне. А мама расхлебывала.

Нет, нет, не знаю, как смогу я сохранить те крохи бодрости и молодости, которые я еще не растерял, если мне не удастся встать вровень со сверстниками, если я не глотну чистого воздуха юности, здоровья, задора, труда, лирики, умничанья, чистого воздуха тех будней, которые захватывают, зовут меня каждый раз, как я попадаю в университет.

Вот вчера я зашел на факультет. В тесном вестибюле толпа парней и девушек обступила какого-то преподавателя и выпытывает у него все, что можно выпытать о внутривидовой борьбе, о трудах Лысенко, и здесь же вступают в спор между собой и с самим преподавателем. Шум, смех. Слышно: «Он стоит на ламаркистских позициях!.. Внутривидовая борьба существует!.. А как же Лысенко?.. Это революция в ботанике!.. В своих статьях... Абсурд!..» — фамилии, термины, остроты и т. д. Захожу в боковой зал-аудиторию. У стен, у столов и на столах студенты, и опять

вокруг споры, смех, умные лица над книгами. А в углу у окна две девушки в накиннутых на плечи пальтишках, и третья тихонько наигрывает, разбирает рахманиновский романс «Не пой, красавица...». И так все хорошо — и этот зал, уставленный столами, и обилие книг, и высокий полусвет из окон, и девушки, и Рахманинов, и вся эта обстановка умной и веселой жизни. На стене факультетская газета: «Итоги работы наших студентов в колхозе.— Агитпункт открыт! — Привет студентам-москвичам от белгородцев! — Новые стихи наших поэтов.— Это наши лучшие комсомольцы!» — так и отдает атмосферой молодого, трудового комсомольского мира, из которого меня вырвала гнусная болезнь и в который меня теперь не пускают.

Вот теперь с волнением и со смутной надеждой ожидаю вторника. Хоть бы меня принял этот самый ректор, я же расскажу ему, я же заставлю его поверить в то, что ради такого случая можно сделать исключение из сухих и бессмысленных правил. А если он попросту сухарь-администратор и все пламенные слова его не трогают, тогда я нагрублю ему напоследок, скажу: «...я посмел поверить в то, что ректоры и директора могут быть людьми...» А кроме шуток, просто не знаю, как я буду дальше существовать и как мама. Тяжко, ох, тяжело, братцы.

Сегодня после обеда хочу съездить к Сидорычу. Далеко, сколько, но я просто не могу больше один. На днях водил маму в кино на «Воспитание чувств». Она в восторге. Фильм на самом деле замечательный. А Марецкая и того лучше. Варенька, Варенька...

Даже стихи на ум нейдут, так нескладно все получается. С утра сегодня грыз латынь. Спотыкаясь, перевел полстраницы и сник. Ну ее к черту! Гнусно, гнусно живешь, Макар!..

*17 ноября.*

Только что из университета. Был на латыни. Устал до ломоты, но удовлетворен. Сидели в маленькой аудитории в тесном кругу: девушки, ребята и чудесный Александр Иванович. Интересно, весело, славно.

А завтра — решение. В двенадцать к ректору. Не могу подумать, что мне могут отказать. А ведь могут...

На улице гололедица. Ходить ужасно трудно. Но все-таки это зима. Белая, пушистая, с сиреневыми сумерками, с девичьими лицами «ярче роз». Вот насыплет снегу, запорошит все вокруг — хорошо жить будет! Только бы ноги не подвели. Не могу отделаться от предчувствия мрачного. Кровь плохая, в спине справа что-то злобно побаливает, и на душе неспокойно. Кроме того, захворала мама. Температурит, кашляет тяжко, исхудала, нервничает по пустякам. Вот ведь как все плохо складывается. Что-то нужно делать.

В общем, мне сейчас обычно тошно и грустновато, но надоело писать об этом, копать и хныкать. Лучше просто полежу, помолчу...

*19 ноября.*

Вчера утром поехал в университет по делу о переводе. В городе настоящая, сумасшедшая зимняя метель. Сыплет снегом за воротник, в лицо, крутится, носится, наметает сугробы, заволакивает дома, улицу, и сыплется, сыплется с крыш, с неба — отовсюду.

В университет попал как раз к началу приема у ректора. Как я и думал, секретарша отказалась записать меня на прием и, как ни разглагольствовал я, осталась непреклонной. В заключение в общем довольно дружелюбного разговора посоветовала мне обсудить этот вопрос с помощником проректора М. Вышел, смирясь. У М. прием в два часа. Пришлось ждать, бегать по темным коридорам, рассматривать всякие стенгазеты

и графики с тем, чтобы как-нибудь провести время. После десятой или одиннадцатой пробежки от ректорской резиденции до заочного через комнаты и коридорчики, после бесчисленных столкновений в узких дверях с бесчисленными «простите» и «пожалуйста», после того как наизусть были заучены подписи под портретами университетских ученых, вывешенных рядом с отделом кадров, после этого томительного часа увидел я наконец, что у входа к М. собираются студенты — истцы и просители. Присоединился к ним, волнуясь и предчувствуя. Настала моя очередь идти. Вошел. За письменным столом сидит полная седовласая женщина, от которой зависит решение судьбы моей. Начал говорить о том, как трудно, о том, что не знаю, как быть, и т. п. У седовласой сразу лицо сделалось скучным и невнимательным, и я понял, что не имеет смысла убеждать ее в своей правоте, так как исход предreshен. Несколько официально убедительных фраз и цитат из министерских приказов, несколько неумных советов — и я был свободен. Собственно, после этого мне не на что было надеяться, но я зачем-то решил обратиться за помощью к нашему проректору Б., и этой встрече суждено было стать самым гнусным впечатлением вчерашнего дня. Вот абсолютно точная зарисовка.

Я (*мнусь*): ...И — вот... мне посоветовали обратиться к вам за поддержкой... Как, могу ли я рассчитывать на...

Б. (*радуясь своему могуществу*): Нет, не поддержу... Заочное отделение существует, чтобы выпускать заочников... Вы знали, куда шли... Приказ министерства строжайше запрещает...

Я (*задет ее безапелляционностью*): Но... ведь от каждого приказа возможны отступления... в некоторых случаях...

Б. (*в том же безоговорочном тоне. Ей положительно доставляет удовольствие подавлять меня своей властью*): Вы под эти исключения не подходите.

Я: Может быть, вы скажете, кто подходит под эти исключения?

Б. (*не ожидала такого вопроса*): Ну... я сейчас не могу сказать вам, все зависит от случая...

Я (*бешусь*): Так, значит, мой случай не кажется вам разительным?

Б. (*почти нагло*): Нет.

Я: И вас нисколько не трогает тот факт, что я, может быть, не смогу учиться вообще?

Б. (*так же*): Нет, нисколько.

Я, онемев, встаю.

Б. (*радуясь моей беспомощности*): И вообще мы сделали для вас исключение еще при поступлении... Так что...

Вот разговорчик! Ну и негодяйка! Я чуть ли не на карачках полз в университет на экзамены, так хотелось мне учиться, и когда свалился, упросил отсрочить экзамены до осени и сдал их, несмотря на то, что каждая поездка в университет стоила мне мучений и стыда незабываемого, — сдал их безукоризненно. И вот эту двухмесячную отсрочку она теперь изображает как милость, как снисхождение, за которое я должен быть ей трепетно благодарен. При каждой встрече она напоминает мне об этом «исключении». Как будто я виноват был в том, что меня в самое неудобное время схватил паралич, как будто я виноват был, что мог тогда только ползать. И будто нужно было бы это снисхождение, если бы не мое горькое, упрямое желание учиться, попасть в университет, — желание, заставлявшее меня преодолевать черт знает что. Другой бы, видя меня в то время, просто освободил бы от экзаменов, тем более что школьных показателей было для этого вполне достаточно. А она теперь забыть не может ту милость, которую оказала мне! У, чинуша, законченный тип буквоеда, бюрократа без души и человечности.

Словом, в результате всех этих встреч и препирательств я остался тем же и с тем, с чем был. На стационар не попал, не сделался студентом... Утешает одно: летом я непременно буду на очном, мне почти обещали это и у ректора, и у М. Значит, теперь ждать, хотеть и работать, работать, работать. Работать и в области науки, и для дома, для матери. Зашйбать деньгу. Иначе будет плохо. Мама еле жива, больна, нервничает, недоедает. Живется плохо нам. Я обязан этой зимой все силы и мысли посвятить вопросу о собственном заработке. Нужно жить.

После вчерашних университетских хлопот и тревожений долго сидел в Александровском саду, недалеко от арки белых ворот. В саду бело, пустынно. Шелестит вьюга, мириады снежинок танцуют и мчатся в воздухе. Вдали, под Кремлевской стеной, мальчишки катаются на салазках, изредка медленно прошепчет белый с головы до ног милиционер, и больше никого. С Моховой доносится шум движения, автомобильные гудки, где-то продолжается, кипит жизнь, а здесь ветер, снег, поседевшие от времени камни Кремля, пустые, со снежными подушками скамьи, редкие прохожие, тишина и крепостная высокая башня с медленно по ветру поворачивающейся звездой, в которой уже заметно алеет свет. Я сидел целый час один, снег заносил меня, и было так хорошо мне и грустно-покойно. Я думал о многом, что никакого касательства к только что случившемуся со мной не имело, думал о своей родине, о древней красоте Кремля, о том, как люблю я нашу зиму, о том, что Москва — самый лирический и в то же время самый торжественный город на свете, о том, как хорошо было бы сидеть не одному, а с любимой, думал, что у меня нет ее и не будет и что поэтому я самый несчастный на свете, думал, как прекрасен этот снежный бульвар и какая хорошая, суматошная метелица сегодня, и что я обязательно буду писать стихи обо всем этом; и еще о многом думал — о значительном и пустяковом, о печальном и радостном, и совершенно забыл, что только что потерпел такую хлесткую и горькую неудачу в деле, которое еще вчера решало для меня вопрос о счастье. Сидение в снегу излечило меня от надвигающегося уныния.

Домой вернулся возбужденный метелью и больше раздосадованный, чем опечаленный случившимся. Удивил маму своим состоянием. А сегодня как и не бывало вчерашнего огорчения. Готов ко всему и бодр. Разве только где-то в глубине, внутри шевелится тоскливый червячок.

Сегодня пока никуда не выходил. Вчера вечером после щедрой и долгой метели хлынул осенний ливень. Сугробы обледенели, снежный наст покрыло водой. (Соседи приходили с мокрыми по щиколотку ногами.) А сегодня солнечный, розово-голубой морозец. Вся эта мокрота замерзла, и вот опять гололедица. Решил сегодня по пустякам не выходить, а то грохнусь где-нибудь еще. И не встану.

Маме стало совсем плохо. Бесконечно болеет. Что же делать? Часа два назад ушла в амбулаторию, к врачу. Хоть бы вылечили, хоть бы помогли.

Только что водопроводчик на лестнице сказал мне: «Сегодня топить не будем... ремонт идет... еще не холодно на улице. Мороз всего ноль-ноль». Как видно, любитель футбола.

21 ноября.

Мама хворает, и — как всегда в таких случаях — я чувствую себя виноватым в том, что относительно здоров и бодр в такое неподходящее время.

25 ноября.

Все утро я боялся и досадовал, что мне придется обычными своими, плоскими и неумелыми словами описать большие впечатления последних дней.

Вчера вечером после латыни я присутствовал в Комаудитории на комсомольском обсуждении фильма «Воспитание чувств» «при участии постановочного коллектива», как было сказано в афишках. В сущности говоря, весь коллектив представлял постановщик Д. Обсуждение началось с выступления девушки-организатора, установившей порядок вечера. Потом слово взял Д. Я не могу стенографически воспроизвести текст его выступления, да это и не нужно. Я был захвачен главным образом горячей страстностью, полемичностью, несдержанностью его манеры. Помню, что речь шла не только и не столько о фильме «Воспитание чувств», сколько о высочайших, значительнейших и актуальнейших проблемах и категориях вообще. Особенным негодованием и страстью была наполнена речь Д., когда он стал говорить об американской кинематографии. Казалось, вот человек говорит о самом ужасном, о потрясающих всю его душу вещах, о том, о чем он не может не говорить, потому что это действительно самые чудовищные, самые трагические, самые страшные и постыдные явления современности. Гневом против тех из сидящих в зале, кого не потрясает его пламя, кто хотел бы свести разговор на легчайшую дорожку популярного обсуждения, наполнилась его речь после получения записки, в которой безымянный автор просил «подробней рассказать о фильме «Воспитание чувств» и не уклоняться от темы вечера». Стало казаться, что сейчас конец, что этот маленький взлохмаченный человек, яростно жестикулирующий, побледневший от нервного напряжения, больше не выдержит, что должно что-то случиться либо с ним, либо с залом. То, что говорил он об Америке, было так страшно, так невероятно жестоко, что хотелось кричать от боли за исковерканный мир, в котором людей учат быть мерзавцами и прививают им все самое страшное, скотское и извращенное. Казалось, в этот светлый зал, к этим славным ребятам и девушкам вошел кто-то дикий, мутноглазый, зловонный и, ослабевая, протягивает к ним огромные жадные лапищи, свирепые и отвратительно похотливые. Хотелось драться, свирепо, жутко драться с этим монстром, с этим огромным и сумасшедшим уродом.

Такого напряжения не выдержал сам выступавший. Бледный, с сорвавшимся голосом, он попросил разрешить сделать перерыв, с тем чтобы после прений выступить снова. Начались прения. Выступил некий блондин в очках с лицом злого доки и эгоиста. Ему суждено было стать скандальной фигурой вечера. Его критика фильма заключалась в том, что он зло, тупо и методично перечислял все замеченные им неувязки, мелкие факты, которые никакого значения для оценки фильма иметь не могут, которые ничего не убавляют и не прибавляют к впечатлению, остающемуся после просмотра. В том же самом свете рассматривали фильм многие (особенно девушки), но они хоть быстро стусевывались, видя насмешливое отношение зала к подобного рода обсуждению. Но этот тип был зол и методичен до конца и, пока не высказал всего, не ушел с кафедры, и ушел-то с видом оскорбленного величия, полный пренебрежения и злобы к топающему и хохочущему залу. Вот фрагменты из выступления этого зоила: «Я не увидел в фильме любви... Какая же это любовь, если они все время отворачиваются друг от друга... Посмотрит и отвернется... Где же любовь? Откуда в маленькой деревенской школе? И потом Сибирь, страшный мороз, а входящие не закрывают

двери... Это и есть отсутствие подлинного реализма и правдоподобия в фильме...» и т. д. и т. п.

После этого на кафедру быстро вошла девушка. Она с таким жаром и так убеждающе говорила, столько передуманного и звонко умного было в ее энергичной речи, что зал, уставший от нудных слов, сразу поспешил, оживился. Аплодировали ей долго, искренне и радуясь. А я не могу забыть ее и сегодня...

На всем протяжении прений на сцену летели записки, которые Д. читал, низко наклоняя к ним кудлатую голову. Их собралась целая пачка. (Робея, и я послал одну со словами, в которых хотел выразить признательность и уважение.) Главным образом по поводу их и выступал он в заключение вечера. Речь его была так же горяча, прерывиста и нервна, как и вначале. Ответил он на два главных заявления. Одно от «товарища блондина» (под таким именованием он и получил известность на вечере) о любви и второе — записка от неизвестного лица, записка, возмущившая всех. Там было написано буквально следующее: теперь, когда нас, педагогов, будутсылать в Сибирь, все время будутсылаться на ваш фильм.

По этим поводам Д. говорил необыкновенно страстно, горько и убедительно. «Ваши простые будни, кажущиеся вам подчас скучными и серыми, за рубежом вдохновляют людей на жизнь и борьбу, заставляют их верить в торжество разума, красоты и справедливости. Что за жизнь, как она прекрасна! (Широкая, светлая улыбка!) Не все ли равно — черный, татарин, еврей (ликующий разворот рук). Что за проблема? Она давно решена... Вот оно, ваше счастье. Учись, работай, делай много, хорошо, что только захочешь, иди... работы много, только желай! Жизнь каждого из вас, простая жизнь, есть материал для сценария. Всю свою жизнь я посвящаю вам, посвящаю созданию образа молодого человека нашей эпохи, прекрасного человека. Спасибо вам за то, что вы живете, за то, что вы есть». О родине («святая, единственная в мире земля, каждый комочек ее целовать»), о проклятии денег за рубежом и о свободе наших рук от этой грязи (рассказ о десяти миллионах), о жизни и смерти — физической и духовной, которая может наступить гораздо раньше («думайте о том, чтобы больше зарабатывать, остаться в Москве, удачно вылететь замуж, больше есть, мягче спать — и вы уже мертвы») — прекрасные, горячие слова умного, честного, страстного художника запомнятся на всю жизнь.

Так и стоит сейчас перед глазами огромная аудитория, сотни молодых, жадных глаз и на сцене маленькая темная фигурка, быстро двигающаяся, жестикулирующая, — коренастый человек с большой лобастой и взлохмаченной головой, произносящий удивительные слова, страстно, до крика убеждающий, возмущающийся и славословящий.

По окончании вечера Д. устроили овацию. Было уже больше полуночи, но никто не спешил расходиться, и в ночном университете гулко и долго звучали взволнованные голоса. В полутемном вестибюле я нечаянно вступил в беседу с женой Д., не сразу догадался об этом и долго, сбивчиво и волнуясь говорил ей что-то. Потом в страхе убежал.

А на улице дождь, скользко, гололедица. Хлестко пригоршни ледяных крошек бьют в лицо. Взявшись под руки, во весь тротуар идут студенты, только что сидевшие в одном зале со мной, радовавшиеся и возмущавшиеся в одном со мной порыве, и вдруг опять незнакомые и чужие. Было грустно и весело. Пустынная, ночная Москва, метро, молодость... Вчера был вечер, в который я был счастлив в полную меру. Так хорошо, когда ты вместе с людьми.

27 ноября.

День кончается. Сегодня без усталости трудился над рефератом об Аристотелевой «Поэтике», который мне предстоит читать в воскресенье. Страшно вато.

По привычке, ставшей необходимостью, поднимался на факультет, но до своего не дошел и лишь побыл с полчаса на философском. Видел Володю после неудачного доклада о философии Гоббса, читанного им на семинаре. Озадачен он. Вокруг него чудесные ребята и девушки. Особенно мне понравился один венгр — живой, насмешливый, но с открытой, чрезвычайно привлекательной улыбкой. Завтра, когда я приду сюда за билетами, мне будет приятно обратиться к нему и назвать его по имени: «Коре, вы не знаете, где Володя?»

Вообще народ у нас в университете замечательный. Подумать только, сегодня на дворе жуткая слякотища, гололедь, и дождь, и ветер, а философы, например, усталые после учебного дня, дружно собираются куда-то к черту на кулички, в Серебряный бор в подшефный избирательный участок. И все с подъемом, весело, будто это пустыня.

Завтра вечером поведу маму на концерт в Коммунистическую. Покажу ей наш университет. Я на самом деле, а не только в стихах «влюблен, как к человеку привык» к университету. Когда бы и зачем бы я там ни появлялся, хотя бы случайно, без особой надобности, мне хочется быть там как можно дольше, и чувствую я себя в это время совершенно по-особому, как-то восторженно и взволнованно, хотя мне давно пора бы привыкнуть и сжиться с университетской действительностью.

О, никто не знает, как мне хочется, как жутко желается мне и как мне необходимо перейти на очное отделение! Написать, что ли, молящее послание к ректору?

28 ноября.

Перечел предыдущие страницы. Ярко вспомнился вечер 25-го. Но, вероятно, под влиянием времени я воспринял все вспомнившееся с большим скептицизмом. Возбуждение и патетическая — до хрипоты — страстность Д. кажутся мне искусственным пафосом умелого актера. Его упоминания о собственных заслугах и разговоры о бескорыстии и пламенном благородстве творческой жизни — нервным хвастовством. И обидно за вспоминающуюся теперь инертность аудитории.

Полчаса назад кончил реферат. Завтра дополню его кой-чем и в воскресенье оглашу. Язык довольно гладок и кое-где искусен, но хотелось добиться от себя не этого, но большей глубины, научности. Не знаю, получилось ли... Вечером идем на концерт. Рад лишней возможности подышать университетом.

20 декабря.

За последние десять дней столько событий, что и описывать лень. Главное — отмена карточек и реформа валюты. Народ радуется. Жить стало определенно легче. На нашем семейном бюджете это пока отразилось неблагоприятно. Поэтому радость отравлена домашними сетованиями и вздохами.

Мать совсем плоха. Нужно выручать ее. Сегодня расклеиваю по округе объявления: «Студент дает урок...» Нужно зарабатывать. Вообще жизнь моя идет скверненько. Кругом неудачи. Мать измождена. Я зол, потому что не знаю, где искать спасения. А в стране яркая, буйная жизнь шумит...

Сегодня, кажется, решаюсь послать куда-нибудь свои стихи на отзыв. Что-то ожидает меня? Впрочем, я почти уверен, что мне посоветуют заниматься чем-то другим. Тоже горько.

Дней пять тому назад наконец-то пришла настоящая голубая зима. Стекла разрисованы узорчатым серебром, и вечером, когда с улицы в окна бьет свет, кажется, что они затянуты парчой. Снежок попискивает под ногами, когда усталый иду с лекций. Хорошо жить!

Завтра выборы. После голосования поеду к Сидору. Вообще за все это время было много-много увидено, услышано и перечувствовано. Но нет мочи писать длинные и нудные отчеты о том, что воспринималось как праздник.

## СТИХИ 1947—1948 ГОДОВ

\* \* \*

Весна! Весна!  
С утра сегодня  
Топтались дворники на льду.  
Ручьи храпели, конной сотней  
У солнца мчась на поводу.  
Ребятам в школах задавали  
Стихи о солнце и траве,  
Растерянно ползли трамваи,  
Промокнувшие до бровей...  
И позабыв, что в мире мокро,  
Презрев и сплетни, и Мосторг,  
Соседки открывали окна,  
Впуская в комнаты простор.  
А день бежал, слепил и булькал  
В улыбках, встречах впопыхах  
И свежесыпеченной булкой  
Почти неуловимо пах.

## ДОЖДЬ

Вбежал! Рассмеялся! Защелкал!  
Разбился струей о карниз!  
Из щедрой небесной кошелки  
Посыпался, крупнозернист.

Невольню любому пографил,  
Дарил серебро вразброс.  
Дал силу — и ринулись травы  
В безмолвный, торжественный рост.

И я, зачарованный точно,  
Слушать готов и смотреть,  
Как летя из труб водосточных  
Неудержимая трель!

Как мир цепенеет внезапно,  
От света и счастья — слепец,  
И солнца медвяная капля  
Тихонько сползает с небес.



Кричали люди разное,  
 Успев хлебнуть по разику.  
 Стояли люди, празднуя,  
 И радовались празднику.  
     А плясунья словно  
     Золотцем подкована.  
     А девчонка будто  
     В серебро обута!  
 Каблучками шелкала — бо-жень-ки!  
 Не стоят на месте — но-жень-ки!

В жизни у меня много всяких бед,  
 Только все же мне унывать не след,  
 Если в мире есть такие чудеса —  
 Девчонка под гармошку пляшет полчаса!  
 Что за мастерица — чуки-чуки-чук!  
 Я стою, хмельною головой кручу...  
 Город, люди, звезды, музыка и смех.  
 Может, слишком поздно,  
 Но я счастливей всех!  
 Сколько буйной силы я в себе несу!  
 Жаль, что из меня  
     ни-ку-да плясун!

\* \* \*

Дождь прошел, и стало слышно  
 Все, что было в отдаленье,  
 За оградами, за крышами,  
 За домоуправленьем.

Из своей квартиры вышел  
 И стою,дохнуть не смея,  
 Потому что стало слышно  
 Поднебесье с подземельем.

1948 год

5 января.

Дневник — не запись фактов и захлебывающихся восклицаний, но запись мыслей (если они есть, конечно). Этому меня научил читаемый сейчас мною «Дневник» Ренара. Хватит школярски прилежных описаний и впечатлений, хватит! Отныне мой дневник станет копилкой мыслей и образов... И пусть я буду проклят, пусть сограждане живым закопают меня и в назидание потомству вычеркнут меня из всех домовых и прочих книг, если я вновь сползу в слякоть повествований о виденном и слышанном с бесконечным перечислением подробностей и оттенков.

**Мысли и просто так**

5 января.

Власть ритма. Прочитанное стихотворение заставляет у меня в груди что-то долго и мерно колебаться — как тронутый маятник, — и этому колебанию хочется подчинить все движения и фразы. Так часто рождаются мои стихи.

7 января.

Сегодня рано утром, проснувшись в синей темноте, я вдруг ясно услышал в себе мелодию, которую вспоминал уже несколько дней,— танец звезд из «Синей птицы». Нежная, печальная, голубая музыка, вызывающая прерывистые вздохи и непрерывную грусть о чем-то столь же нежном и печальном, что никогда не возвратится. Я думал надолго сохранить в себе эти звуки, но стоило мне заснуть еще на полтора часа, и я потерял его, этот драгоценный мотив. И остались мне только случайно трогающие сердце, мерцающие нотки. Впрочем, я забыл уже и те трепетные слова, которыми хотел поведать утреннее. Получилось обычно.

Звезды, приговоренные к сожжению на медленном огне.

8 января.

«Мосье Верду» Чаплина. Прежним Чаплином почти не пахнет. Вещь явно заражена патологией. Довлеющая мистика жизни и смерти...

Думается, если бы Чаплину перенести нашу войну, увидеть тысячи высоких смертей, его бы не тронула проблема Верду. В крайнем случае основным мотивом сценария стал бы мотив обличения, звучащего в последнем слове мосье Верду, а не психопатологическая похоть старух и сомнамбулический угар убийств, хотя бы и поданных в виде социального зла. Общий пафос — много психологических изломов и нет подлинного, глубокого, драматического психологизма. Тем не менее иногда вздрагиваешь... Но ведь это не Чаплин. Где его юмор, грустный юмор, яснее очеркивающий трагедию!

А может быть, это умышленный прием с целью взять за горло пресыщенную злодейством публику и вместе с изысканными ужасами впустить в нее каплю разумной человечности, заставить зрителя увидеть в фильме сквозь патологию социальное горе, обратить его к жизни? Ведь Чернышевскому во время оно для «Что делать?» понадобились же ухищрения авантюрной фабулы.

9 января.

Недавний номер «Нового мира». Читаешь, задыхаясь от учащенного биения сердца<sup>1</sup>. Сволочи, что они делают с миром! Умирают люди, прекрасные, гордые, более других достойные жить и жить. Их не воскресить. Страшно.

А государственные подлецы великих стран лощеным языком проповедуют справедливость и мир, безопасность и свободу. Холодные веле-речивые скоты.

Горелая земля Испании! Юность антифашизма, наша юность. Особая мужественная романтика интербригад... Сжатый кулак на уровне плеча... Пасионария... Это охватывает, как сухой, пыльный ветер дальних дорог истории, как ожесточенный восторг предвестья революции мира.

Нет, нет и нет! Еще раз о мосье Верду. Ставить проблемы добра и зла, любви и морали так вот старинно, с привлечением Шопенгауэра и атрибутов мировой скорби — сугубая наивность. Мир сейчас — сплошная клокочущая трагедия. Ее отражение — в каждом из нас.

10 января.

Сокольников. Май. Светлая музыка, светлые одежды людей и грубое, темно-коричневое злание церкви. Долго топчусь на крыльце, не зная,

<sup>1</sup> В № 12 «Нового мира» за 1947 год была помещена подборка статей, воспоминаний, писем «Салют, Испания!», посвященная героической борьбе испанского народа с фашизмом. (Прим. ред.)

каким способом полагается проникать внутрь. Наконец убеждаюсь, что способ этот не таит в себе ничего нового и опасного. Вхожу, осторожно продвигаюсь несколько шагов вперед и останавливаюсь, твердо раскопчась, готовый обратиться в бегство при первом же таинственном знаменнии. Но знаменья долго нет, зато сзади укоризненный шепот: «А шапку-то разве не нужно снимать?» С испуганной и смущенной торопливостью сдергиваю кепчонку с виска и, прижав руку к сердцу, прошу извинения у нищей старухи, которая смотрит на меня с нескрываемым осуждением. Потом с отчаянной решительностью устремляюсь в глубь помещения. Ничего сверхъестественного не случается, и я, вполне успокоившись, рассматриваю все вокруг. Огромный, пустынный, высокий зал, окрашенный по-больничному — белым с синькой. На стенах какие-то картины... Ходят девочки, прикладываясь по порядку ко всем иконам... Трясущиеся старушки в черном прячутся по углам... Настроение елейное, постыньное... Через пару минут не выдержал, удрал на свежий воздух, к светлым людям, к светлой музыке.

*11 января.*

Иракий Андроников. Грузный мужчина неопределенных лет... Половина смешного в его устных рассказах заключается в исполнении. Потому-то они и устные.

Рассказы лермонтовского цикла увлекательнее иного приключенческого романа... Это интереснее всего на свете. «Первый раз на эстраде». Зал колыхался от хохота. С моими соседками чуть не сделалось плохо. Вспотели и навалились бессильно друг на друга и вдвоем — на меня.

Уродливый и немощный, я люблю сильных и красивых девушек, улыбочатых и нецеремонных. Вчера ночью на троллейбусной остановке видел одну такую. Ее зовут Майка. Какое веселое, весеннее, спортивное имя! Майка!

*14 января.*

Вчера в «Историчке» я разбередил себе душу любовью и стихами. Вместо того чтобы заниматься историей падения Рима, впитывал Белого.

...Нельзя втискивать ширь и глубь живой души в клетку установленных метров, не сломав ее. Все: ритм, строфика, расположение слов — все должно подчиняться порыву чувств. Стихотворение должно быть рваным, косматым... Поздний Брюсов более архитектор, чем поэт. Нет! Маяковский, Блок, Белый — триумvirат великолепных мастеров. Идти нужно только к ним или, вернее, только от них.

*17 января.*

Хватит оригинальничать, пора учиться мыслить...

Я до безобразия мало читаю. Учебники, периодика... и все. А нужно читать, как в детстве — яростно, без сна и обеда.

*18 января.*

Университет. Я уже готов был восхищаться ею, но вчера увидел, как она откровенно «форсит» нелепой, безвкусной шляпкой, и мне стало скучновато. Восхищение растаяло в иронической почитительности.

Начинаем в сотый раз говорить об искусстве. Вздохи. «Да, да... искусство...» И под конец: «И вот ты, такой чуткий, такой одаренный...» Не выдерживаю... Взрыв. Потом бегаю по коридору, объятый ужасом... Слишком глупо.

Если на каждое произведение накладывает отпечаток эпоха, если современные вкусы должны быть современно изощрены, то почему же какое-то «Не искушай...» взволновывает и чувственней, и глубже, и чище, чем, скажем, лучшие оперы Шапорина или Шостаковича? Может быть, это просто незрелость вкусов?

В каком-то журнале кто-то не согласен с тем, что романтизм — это от неудовлетворенности действительностью. Но разве же это не так? Ведь и революционный романтизм — это в конечном счете гордый порыв к светлой и горячей красоте — из ежедневности, желание сделать все лучше, чем оно есть... Другой вопрос — сколь человечески этот порыв воплощается в искусстве и в жизни: веселым, песенным трудом или иступленным протягиванием ладоней к голубым звездам. Гордо, с широким светом в глазах или пассивно, нищенски, судорожно. Прометей — это бог «гордого» романтизма.

### Из старой тетради

«В вашей картине мне нравится оформление заката» (выражение полиграфиста).

Щедро украшая свои любовные письма мифологическими именами и названиями, он не забывал подле каждого из них в скобках помещать подробное объяснение из боязни остаться непонятым.

В кинотеатрах премьера: «Молодость нашей страны». У входа мальчишки продают билеты: «Кому билет на молодость?» Звучит волшебю.

«Молодой одинокий студент ищет комнату в тихом интеллигентном семействе». Как неприятно написано...

19 января.

Недавно группа комсомольцев с филфака организовала комитет помощи Индонезийской республике. Энтузиазм достиг такой степени, что многие здесь же, сразу чуть ли не объявляли себя волонтерами... Но горячее это дело что-то приостановлено, тем более что между голландцами и республикой подписано перемирие. Теперь ребята подумывают о Греции и шутливо сожалеют о затишье в Индонезии. Черти! Если на Марсе случится революция, они махнут и туда.

Встал на учет в ячейке РЖУ. Секретарем моим теперь будет некий белобрысый мальчик. Спрашивает: могу ли я выполнять какие-нибудь поручения? Ответил оппортунистически: в зависимости от того, какие они... Вот ведь, черт подери, все у меня неверно в жизни как-то! Вместо того, чтобы сейчас гореть на факультетской работе, придется заняться вещами, касающимися меня очень отдаленно: жилищный вопрос, очистка улиц и т. п. Хоть бы дожить до лета скорее, а там уж я непременно переберусь на стационар. Лето, скорее лето!

В душе мгновенный, колючий ужас — ноги слабеют.

21 января.

Проклятье! Ноги, ноги! Жуткие симптомы прежнего...

Только что «Интернационалом» кончилось заседание, посвященное памяти Ильича. Наш гимн, давно-давно не слышанный. Сердце наполнилось торжественным, широким восторгом! Я пел вместе с репродуктором: «Это

есть наш последний...» Никогда не понять, что есть в этой музыке такого, что заставляет глубже дышать, шире, размашистей двигаться.

Перед трансляцией заседания передавали «Патетическую». Чайковский совершил преступление, когда сделал финалом четвертую часть. Звуча непосредственно вслед за скерцо, она ошеломляет: рушится все, со светлых, звонких ступеней скерцо еще катастрофичней падение, еще безысходнее титаническое напряжение скорби. Финал распластывает человека, рвущегося, клокочущего рыданиями, и успокаивает его смертью. Все кончено.

Я сейчас помню только два музыкальных отрывка, которые вызывают во мне физическую, крутую боль. Это кусочек из третьей части «Лунной сонаты» и финал из «Патетической» симфонии (момент перехода от мотива утешения к трагедии). В первые разы я плакал и грыз подушку, теперь хватаюсь за виски и раскачиваюсь...

*27 января.*

Пастернак. В целом я его не приемлю. Неестественная усложненность поэтической ткани, за которой часто ничего нет, нарочитый профессионализм мышления, вечная мина «объевшегося рифмами всезнайки», обывательски шуточная манера говорить о жизни. Но там, где Пастернак перестает быть «Пастернаком», там он чудодей поэзии, и особый привкус его стихов придает им дрожащую, первоочаровательную прелесть.

Торжественное затишье,  
Оправленное в резьбу,  
Похоже на четверостишье  
О спящей царевне в гробу...

Это же настоящая, русская, задумчивая поэзия. Это ж классика! «Торжественное затишье»!

В воскресенье сдаю средние века, историю. Ночью снился Филипп Красивый.

*7 февраля.*

Кончил сессию.

В общежитии на Стромынке кто-то из философов поспорил с соседом на пол-литра водки, что через пятнадцать минут будет наверху, где живут девчата-филологи, с любой из них, и выиграл пари. Рассказывая об этом, Володя удивлялся распушенности девчат. Он не заметил, что гаже всего в этом эпизоде выступает похабство, хладнокровная аморальность героя событий. И это комсомолец, это советский интеллигент, и это на самом партийном из факультетов! Кретины из нью-йоркских ночных заведений легко сойдутся с таким. В свое время Павка Корчагин бил таких спортсменов по морде.

*8 февраля.*

«Великая сила» Ромашова. Неискренняя пьеса. Вместо живых образов — какие-то плакатные, плоские фигуры. Всем как будто наделены: и революционная юность, и трудовое подвижничество, и патриотизм, а не веришь, что это действительно так. Говорят каким-то жестяным языком вещи, ставшие уже двадцать лет тому назад трюизмами. Все показное, даже скромность.

В нашей литературе скучно рождается ряд схем положительных героев, которые будто бы отражают основные черты советского человека послевоенных лет. Схемы эти сухие, раздражающие, натянутые, при всем их внешнем соответствии идеалу современности...

Что за нелепость! Жена, увидев мужа, расстроенного неудачей в деле, которому он отдает жизнь, говорит примерно так: «Что с тобой?.. А, Трофим, я знаю, ты чувствуешь себя так, как чувствовал бы себя человек, долго и трудно взбирающийся по веревке на гору, в минуту, когда ему осталось совсем немного и он боится, что сорвется, упадет, не доберется...» И еще что-то, ужасно сухое, ужасно литературное и ужасно пошлое. И эту дребедень произносит Гоголева!

Рассказывать «содержание» музыки — все равно что кому-нибудь отгадывать, что он видел во сне. Мне всегда хочется спросить в таких случаях: а откуда вы знаете? И это всегда мешает.

*12 февраля.*

Вот что было. Оранжево-зеленый летний вечер. Кончается ужин. На всех верандах звякает посуда. Моя кровать стоит отдельно, в застекленных сенях по пути в парк из темного, гулкого здания. Перевернувшись на живот, я медленно прихлебываю чай из жестяной кружки и смотрю, как рядом со мною за стеклом постепенно темнеет и туманится старый тополевый парк. Стушеваются серые пятна кустов, еще ярко розовеют самые высокие веточки деревьев, но с другой стороны, слева, как отражение заходящего солнца, уже медленно всплывает белая, анемичная луна, необыкновенно большая и ровная...

Если новаторство формы не самоцель, то какой же это формализм?! Так можно в литературе, например, Маяковского причислить к модернистам и формалистам, потому что он отверг силлабо-тонику, освященную пером самых классических классиков. А кроме того, я не хочу быть правым только потому, что недостаточно развит музыкально... Мое непонимание современной музыки, таким образом, становится критерием.

*14 февраля.*

Первые отклики в газетах на постановление о музыке. Есть и такое: «О своевременности постановления сужу по себе. Когда по радио передают вещи классические, с удовольствием слушаю, а когда начинается передача симфонии Шостаковича, то я просто переключаю радио на другую волну». Невозможно представить более вульгарного истолкования! Как, наверное, польщены были бы классики тем, что он «с удовольствием слушает» их «вещи». Неужели Шостакович должен опуститься до такого уровня восприятия. И вообще многие люди не понимают, не любят не только Шостаковича и Прокофьева, но и симфонического Глинку, Мусоргского, Римского-Корсакова и даже Чайковского, не говоря уже о прочих. Многие, многие еще всяким «симфониям» предпочитают русский народный хор, а то и Утесова. Но что же из этого следует?

Поражает всеобщее, безоговорочное, жестокое осуждение творчества ведущих композиторов; и, главное, безоговорочное, как будто не Шостакович написал Седьмую — высшее достижение советской симфонической школы, как будто не он, не Прокофьев были сталинскими лауреатами.

Я рукоплещу вмешательству партии в вопросы искусства, оно всегда стимулирует лучше, но я не согласен с «закрытием» Шостаковича и Про-

кофьева, с категорическим обвинением их в формализме. Никто из «традиционалистов» не написал ничего больше Первой, Пятой, Седьмой, «Золушки», «Здравицы» и др. Или не оплодотворяли они себя соками народной полифонии? Шостакович, Прокофьев, красочный Хачатурян — это лучшее, оригинальнейшее из того, что имеет современная музыка.

Что касается советской оперы, все говоримое вполне верно. Здесь разорванный, схематический стиль неприятен, неестествен, раздражает...

В опере, конечно, полнота гармонии, логики, напевности необходима. Тем более в опере русской.

Но у большой симфонической музыки — свои законы...

*15 февраля.*

Впечатление от газетных откликов такое. Много лет люди терпели, слушали, исполняли музыку Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна и др. и не осуждали (по крайней мере так открыто и так резко) ее только потому, что, как казалось, в авторитетных кругах она пользовалась сочувствием. Каждый стеснялся обнаруживать непонимание новейшей музыки, потому что это на самом деле отнюдь не достоинство. Теперь же все вдруг поняли, что это был «ложный стыд», и почти с ликованием сообщают городу и миру о том, что у них давно уже болит голова от музыки Шостаковича, и т. п. Кто-то договорился до откровенной пошлости — «музыка должна ласкать слух». Чудовищно!

Хочется еще, еще раз спросить: «Товарищи музыкальные деятели, но где вы были до того?»

Я все равно знаю, что Шостакович, Прокофьев и Хачатурян не школяры, и обвинять их в трюкачестве, которое доказывает лишь претензии на новаторство, но не талант, нельзя, нелепо. Эти трое — огромного дарования композиторы. Оригинальнейшие дарования. Современнейшие дарования. От них можно требовать содержательности, идейности, глубины — да! Но вмешиваться в формальные стороны их мастерства можно лишь дискуссионным, теоретическим путем. Заставить Шостаковича писать одни обработки народных песен невозможно. Он и без нашего вмешательства писал не только сложнейшие оперы, но и массовые песни и вообще вещи, вполне доступные среднему слушателю. Обидно за Шостаковича. Он не заслужил таких серьезных упреков.

В конечном счете постановление ЦК должно повлиять в лучшем смысле на вещи. И я верю, что оно не собьет с толку ни Шостаковича, ни Хачатуряна, как сбило с толку многих любителей «классических вещей».

И я верю, что в Шостаковиче достаточно честности, патриотичности, советскости и таланта, чтобы дать миру еще много великих творений, равных по силе Пятой и Седьмой симфониям. И у Хачатуряна. А Прокофьев — просто революционер, он-то поймет.

Если бы постановление касалось только оперы, я был бы полностью счастлив им.

Первый час ночи.

Попутешествуй по ночной Москве, когда девушки возвращаются с катков, когда на каждой улице, в каждом вагоне метро розовощекие дружелюбные люди, а в воздухе редкие блестящие снежинок и скрип-скрип маленьких торопливых шагов, попутешествуй по ночной Москве — и ты влюбишься в нее до замиранья сердца.

Вовка говорит: «Рисовка», Колька: «Начинается»... и все смеются, смеются... Что же мне делать, если у меня и серьезное получается смешно!

*20 февраля.*

У меня такое состояние сейчас: я люблю все, все (кроме того, что ненавижу) в жизни, в литературе, в мире вообще.

*21 февраля.*

Стихотворение Суркова об убитом военном поваре. Вот что нужно писать сейчас. И как нужно писать. Это берет меня за самые суровые, ненавидящие и напряженные струны и натягает их еще больше, до предела. И в то же время это лирика.

А перед этим Сурков сказал: «Уже три года, как кончилась война, но нет в людских сердцах покоя. Уже давно не кричат на нашей земле пушки, но... и т. д. И потому я прочту вам стихотворение, в котором нет нежности».

В Чехословакии вчера тревожные события. Саботаж министров из «народной» партии. Правительственный кризис. Но нынче с утра на площадях великолепные, мощные манифестации в поддержку Готвальда и компартии. Рабочие лозунги. Здорово! Кукиш дяде Сэму. Рот фронт!

*23 февраля.*

На стенах города плакат. В левом углу внизу копошатся злобно какие-то черные уродцы, воинственно настроенные. А сверху огромный, светло-зеленый, сердитый и веселый солдат грозит им пальцем... И надпись: «Не балуй!»

Недавно в разгар литературного вечера в Политехническом музее «За мир, за демократию» приехал Пастернак. Когда Пастернак вышел на эстраду, почти весь зал поднялся с мест, аплодируя. Потом, когда Пастернак читал стихи, его вызывали неумоимо. Регламент был сломан. Не дожидаясь конца выступления, остальные участники вечера — поэты и писатели — поднялись из-за стола и вышли. Остался зал наедине с «объевшимся рифмами всезнайкой». По окончании вечера его гурьбой провожали домой. Что же это? Как об этом думать?

*27 февраля.*

Как об этом скажешь! Мир охвачен весной. В форточку видна свисающая с заводской крыши тающая золотая сосулька. Глядя на нее, я вспоминаю детство. Сегодня впервые к нам заглянуло солнце, пошарило лучами по серому, пятнистому углу, сморщилось, должно быть брезгливо, и ушло. Но завтра, я знаю, оно придет вновь. И послезавтра.

*6 марта.*

Эдуард Багрицкий становится моим самым любимым, самым созвучным поэтом. И в сердце своем я оглушаю Пастернака Багрицким.

Та жизнь, о которой мечталось, она где-то в стороне, она мимо, а здесь, ежедневно — что-то скудное, бытовое, мелкое, кухонное, невыносимое.

А люди ставят рекорды, люди поют песни, строят, дерзают. Ведь есть же, есть же это — и жизнь, и труд, и любовь, и будни, как праздники! Есть! Я знаю, я вижу, я наблюдал в конце концов. Что же мне не суждено приобщиться?

Мама вся — нервы, измождена, устала. И еще выносит мой характер! И я ничем, ничем не могу украсить, облегчить эту неудавшуюся жизнь. И больше: я чувствую, что одним лишь своим присутствием отягощаю ее дни. Горе, горе!

*11 марта.*

По пути в «Историчку» стоял на задней площадке трамвая. На остановке вагон дернуло, и я закачался и грохнулся навзничь. Так крепко приложился, что в ушах зазвенело. Но самое худшее то, что я не мог пошевелинуться на полу из-за боли в спине. Вокруг копошились какие-то барышни, и я беспомощно хватался за полы их пальто и не мог, не мог встать. Ноги как переломило, а в спине зудящая боль. Боже, боже, как бы не затуберкулезить снова.

*16 марта.*

Еду на литературный вторник, на факультет. Будут стихи.

*17 марта.*

Домой возвратился во втором часу ночи. Вечер был интереснейший. Сначала читал стихи Давид Кауфман. Стихи в большинстве своем впечатляющие, но очень странно: ощущаешь их не целостно. Собственно, каждое стихотворение целиком не создает настроения. Воспринимаешь отдельные куски, более или менее яркие, полные. Вдруг какая-нибудь, заставившая заерзать на стуле, четкая, отточенная до красоты формула — и опять барахтаешься в пестром многословии, а уцепить внимание совершенно не за что. И вдруг опять что-нибудь вроде:

Люблю свободные стихи,  
Когда они покорены...

Да, да, основной детский грех стихов Кауфмана — это отсутствие чувства меры, сдержанности. Создается совершенно ясное впечатление: вот человек захлебывается от щедрости мира, и лично ему бы пожелал, чтобы мир был поскареднее. Какое-нибудь маленькое желание он готов обыгрывать до бесконечности, до скуки, потому что не в силах оторваться от всего многообразия ярких деталей (часто несущественных), которые бросаются в глаза при каждом шаге на пути действительного или поэтического осуществления этого желанья.

Переводы из Тувима — почти классика. И это явление настоящей, способной делать «чудеса на кончике ногтя» поэзии опять не в пользу Кауфмана. Я часто морщился и от технически неуклюжего образа, **со всем** детской строки. (Иногда было даже так: «Ах, вот, вот совсем как у меня... и, значит, плохо».)

Потом, после перерыва, было еще интересней. Снова об этом позже. Сейчас — в «Историчку».

*18 марта.*

На вечер приехали Урин, Межиров, Гудзенко и еще кто-то. Вечер приобрел особую значительность. Поэты совсем не сладкогласцы; хорошие ребята, обыкновенные парни, несколько элегантней выглядящие.

Необычайно обаятелен строгий, круглоголовый, с детской челкой и усами, хрипло-басовитый Гудзенко. Прямо какой-то Хома Брут или Остап Бульба. Говорил такие же широченные, добро-молодецкие вещи.

Вопросы поэзии, современной поэзии меня волнуют и увлекают все больше и больше. Но об этом нужно много, много говорить или ничего.

*22 марта.*

Снег, снег, снег...

*23 марта.*

Мелкий, язвительный дождь. Но дождь, а не снег. Ура! Сегодня полдня истратил на бесперспективные поиски глюкозы для мамино сердца. Нигде нет. Скорбно.

*30 апреля.*

Канун праздника. Ноги — ни к черту. В душе ежеминутное отчаяние. А Москва сегодня — город солнца. Любимая! Первое мая. Весна. Молодость. И ничего не увидеть, никуда не выйти. Бессилье...

Жизнь моя, половинная моя жизнь прекращается вовсе. Университет; Москва, лирика, друзья, книги — все уходит... Дьявольская, скудная, параличная судьба!

Может быть, это последний мой май. Завтра ребята взялись довести меня к Сидору, а там будь все пятьюжды проклято! Мне бы толькодохнуть, увидеть, поклониться Москве, весне, звездам на Кремле, девчонкам, песням...

*7 июля.*

Проклятое лето. Минули месяцы с тех пор, как я нелепо и бессильно слег.

*11 сентября.*

Минувшее лето на самом деле выглядело драматически и отчаянно. Когда о нем думалось — еще ранней весной, — я смутно представлял себе какие-то свободные и дальние путешествия, триумфальную сессию, романтику веселых встреч и грустных расставаний, Ленинград или подмосковное зеленое и пыльное лето с электричками, девушками в легких платьях, музыкой в парках, ночевками где-нибудь... Все случилось другим — горьким и болезненным. В апреле взбунтовались ноги. Месяц почти я как-то еще тянулся и ползал деловито, заглушая, убивая в себе назревавшее крикливое отчаяние и испуг пустой верой в мистическое «авось» и ожесточенными занятиями в университете. Потом было Первое мая, когда я надышался Москвой в остатный разок, и вслед за этим — конец. Физически я был оттянут на два с лишним года назад. Ноги умерли почти совершенно. И это после того, как я решил и поверил весело, что мне сам черт не брат!

Настало опять безобразное время... Заботы о здоровье, о лежанье, мгновения боли по просыпанию, после того как первым же движением убеждаешься в собственном бессилии, мамины нотации и скорби, стыдные детали и сознание неотвратимости, непостижимости и в то же время ясной, сухой, жестокой причинности случившегося... — одним словом, та нуда, которая исковеркала, исказила мне жизнь и душу... Кроме того, разум двадцатитрехлетнего человека, одержимого буйством одоления

наук и искусств, жаждущего охватить все и вся: философское, политическое, любовное, литературное, вчерашнее, завтрашнее, вечное и мгновенное, красоту и мысль, смех и слезы; разум нестройный, зыбкий, но откликающийся на все в мире, приемлющий жизнь, грустящий и ликующий вместе, слитно с миром, с солнцем, — душа, втиснутая в бедный мирок скудной, семейной, квартирной, неврастенической, копеечной жизни, снедаемая тоской, и обидой, и озлоблением — словом, случилось горе страшнейшее, патетичнейшее и в то же время скучное, медицинское, безликое и привычное, как боль, к которой привыкаешь и которая вдруг взвивается...

Может быть, я был бы морально скручен, может быть, я возненавидел бы такую жизнь и себя, но в этом мире «чуть что не так — весна». Обо мне узнали в университете. Почувствовалось мое долгое отсутствие. Ко мне пришли — сначала как вежливость, из сочувствия обычного. Потом что-то случилось: други, сокурсницы стали бывать у меня с радостью для себя — чаще, чаще, ближе, теплее, подробнее, лиричнее, проще — я сделался предметом самых самоотверженных и веселых забот и тревожений. Снова впрягся в занятия. Помогли. Сдал три экзамена. Заболел благодарностью и любовью. Понял мир, лето, молодость... смысл всего. И в конце концов влюбился... Влюбился в обаятельную, уже не раз горевшую женщину. И она сделала меня забывчивым и счастливым, счастливым допьяна.

### 1949 год

6 января.

Соседские девочки идут в Третьяковку. Когда они весело сказали мне об этом, я вдруг почувствовал, как близко, как живо то, чего мне не достается на долю. Сразу я истошно загрустил, забеспокоился. А Нина говорит мне: «Пойдем с нами... Поэт, взорлим, воспоем!..»

4 апреля.

Не странно ли? Я окончательно приговорен к туберкулезу, паралич плесенью охватывает мое тело, подбираясь почти что к горлу. Положенный на лопатки, я стиснут узкими стенами и мыслями, пошлыми своими мыслями стиснут и сожалениями — а все-таки жизнь...

22 июня.

Снова лето. Кажется, конец всему. На днях отправляюсь в инвалидный дом. Это — последний этап.

Как жалко, как жалко всего! Может быть, в детстве я только и чувствовал такое несчастье.

Но что значит расставание с домом, с жизнью «на воле», когда, мне кажется, близко, близко сама смерть. Лежу толстый, печальный и подгниваю.

А как бы я сейчас жил! Время сейчас для жизни. Страшно противно умереть. Да притом ни за что ни про что, это не смерть — это отмирание.

Эх, надо бы поговорить на совесть обо всем, навсегда. Не хватает ни честности, ни вдохновения... Тоска.

27 октября.

Сегодня мне исполняется, «стукает» двадцать четыре года. Ни в природе, ни в настроении людей — никаких «знамений». Даже, так сказать,

герой дня и тот настроен буднично и бледно. До двух часов пополудни рассматривал какие-то старые бумажки, дневники, записки свои...

Нынче хочется выздороветь, восстать из разбитых параличом так же физически ощутимо, как в иное время хочется есть, «червячка заморить»... Хочется быть по силам с теми, кто вышел «строить и мечь в сплошной лихорадке буден», — чернорабочим хотя б. Но силы, силы, здоровье!

Если говорят, что человек, его психика и все вытекающее из нее образуется в большой степени сочетанием внешних сил, «условий существования», если, помимо наследственных предпосылок, есть нечто, просто понимаемое и объяснимое, что влияет на создание индивидуального строя души, характера, — то интересно знать и вспомнить (хотя многое не поддается памяти, многое мимолетно), что образовало меня — одного из жителей зеленой звезды, занявшего в земном летосчислении несколько десятилетий двадцатого века, что именно и когда именно обусловило мои многочисленные и противоречивые «люблю» и «не люблю», мою характерность. Или это не интересно?

## Тетрадь вторая

1950 год

6 апреля.

Третий раз за последнюю неделю пытаюсь начать дневник. Но вот уже два раза перечеркиваю и рву первые же полстраницы. Может быть, и с этим началом будет то же самое. Почему-то мой неестественный, «небрежно литературный» слог мне претит сразу же; претензии, возникшие в любую секунду, в следующую уже вызывают внутри гримасу какую-то; а в то же время беспощадная, вылечивающая искренность, ради которой только и стоит затевать всю эту писанину, эта искренность непосильна для меня, я ее боюсь... Совершенно по-детски, болезненно хочется если уж не быть, то хоть казаться чистым, благородным, мужественным и добрым.

14 апреля.

В своем прологе я не коснулся еще одного — тайного! — соображения, которое толкает меня на занятие дневником. Вот оно: хоть я и наотрез отделен от живой, воплощенной жизни, хоть я — вопреки моей почти физиологической жажде все познать, все увидеть — ничего за малым не знаю и ничего вовсе не вижу (эпоха, стройки, схватки, любые события, знание бытия, вся сложность, и великолепие, и трагизм жизни... — все это я знаю из книг или как бы из книг), несмотря на мою ужасающую неосведомленность в прошлом, текущем и предстоящем, я все-таки современник, меня воодушевляет моя эпоха, «я радуюсь маршу, с которым идем», и планов я люблю громадь, и обожаю мою страну, верю в наступление конечного торжества человечества, люблю все, кроме того, что ненавижу, — и все это должно коснуться этих страниц. Отголоски фактов, отклики торжеств, крохи событий — пусть хоть так, не тшусь быть Нестором, но пусть и эти малые отзвуки будут знаменем времени. Что-то ведь познаю и значу и я — инвалид двадцати четырех с лишним лет, обретающийся в одном из московских переулков на рубеже двух исторических эпох...

Я не зря так обильно цитирую Маяковского. Нынче ведь двадцать лет со дня его смерти. По радио — трансляция вечера из Колонного зала.

Все хорошо — и аплодисменты в адрес русской литературы, давшей миру Владимира Владимировича, плохи мелочи. Докладчик перевирает цитаты бесстыже. Много пафоса, и нет истинного «маяковского» подъема, увлекательности, страсти. Одним словом, «навели хрестоматийный глянец». И в то же время нет и «стиля» в лучшем значении. Поэты говорят, как корректоры,— гладко подчас, слово к слову и безвкусно. Или как сдающие на аттестат зрелости, в лучшем случае.

В стихах Луконина о Маяковском — что-то о дураке, «загудевшем под Либавой». Шумные аплодисменты. Злоба дня. Все-таки молодцы наши... Вот тебе и чудо американской техники! Б-29, «летающая крепость»... Поделом вору. Другой вопрос — те десять, что дали себя на убой послать... Десять людей. Первые жертвы великой и последней всемирной войны, войны за мир.

20 апреля.

Я не в силах спокойно, как внеклассное чтение, воспринимать Чехова...

Для меня не пройдена еще полоса убежденности, что верх порядочности и достоинства, верх осознающего себя гуманизма (в идеях, искусстве, а больше всего в жизни, в сожительстве) — это кодекс, сочиненный А. П. Чеховым в одном из писем к брату Николаю. Некая «ограниченность» Чехова для меня — нонсенс...

Еще нам отрезан срок дыхания и зрения. Еще умирают дети, уходят жены, разбиваются жизни. И старость не под силу иному, и одиночество, и несбывшиеся мечты, планы, верования. И хотя «не хлебом единым жив человек», однако и хлеб насущный — проблема. Все это узкая сфера жизни личной, или, как говорили прежде, частной жизни. И вот здесь Чехов — поддержка, опора, совесть русского человека, интеллигента в особенности.

### Из письма другу

Москва. Июнь 1950 г.

Здравствуй, дорогой!

У меня мука — морока с экзаменами. За эти вот полмесяца не смог написать тебе ни единой строки. Теперь ты, по всей вероятности, на Курилах, и достичь тебя невозможно. Это письмо, должно быть, дождетя тебя «на базе».

А у меня в самом деле катавасия невиданная. Переведен на очное, но как-то формально, только лишь для того, чтобы иметь право на стипендию. Учебный же план для меня остается прежним, заочным. Пока я числюсь на третьем курсе и имею обязанность сдать до лета немецкий язык. Это какая-то трагедия бессилия. За считанные дни перевести «Вертера» и возобновить в памяти грамматику, которая не китайская, но все же дико сложна и мне в новинку, хоть я и занимаюсь языком с самых невинных лет.

Все это волшебство с переводом совершено волею богов и их наместника на земле — депутата и ректора Несмеянова. На днях я уже получил первую стипендию (за май), и так должно быть ежемесячно в течение двух лет, если я не сорвусь. В мае, еще и в последние дни, пока все не оформилось, было много треволнений и суеты всяческой — бросало нас то в хлад, то в жар, в зависимости от того, какой оборот принимало дело. Однако думаю, что сложность и суетолака главная еще впереди —

это ведь первый во всей новой истории университета случай... Ну и пусть. Главное — это то, что я смогу ощутить буквальное успокоение, так как не нужно будет тревожиться о куске насущного хотя бы. И маме полегчает. Вот то главное, что случилось у меня в недавнее время.

Попутно я усиленно, в твоём целеустремленном стиле, сдаю экзамены: литературу восемнадцатого века, педагогику и прочее. Дописал и сдал свою окаянную работу насчет Ломоносова и Державина. Кончать ее было нетрудно, но совестновато. Прошлый энтузиазм невозродим, сведения распылены, пришлось отделяться голой риторикой: «заря реализма» и прочее.

Все наши кипят и метутся. Весна, гормоны, экзамены, борьба идей и прочее. У меня редко бывают. Теперь филологический факультет подвержен расколу на два противоположных лагеря: марристов и немарристов. Нашелся человек, который вдруг крикнул: «А король-то голый!» И пошло... Вера почти кусается. Ведь для нее Марр — Иисус в языковедении. А я ничего не понимаю. Меня бешено увлекает сам турбулентный ход дискуссии: вправо — влево, вкривь — вкось, назад — вперед! А истина? Истину я когда-нибудь открою сам. Все-таки, брат, это мучительно — ничего или очень мало знать.

Ну, а как ты, что ты?.. Твоя жизнь внешне превосходна! Маяки, шторы, матросы, спирт, острова с книжными именами, ежедневный выход — не куда-нибудь! — в Тихий океан — это так здорово, что за все это можно отдать и литературу, и треть, нет, четверть жизни самой впридачу...

Что же касается твоего адского отрицания временами всей литературы и искусства вообще, то ведь для нас с тобой это, кажется, то же, например, что отрицать смысл ежедневного принятия пищи или ходьбы. Нет, ты отруби себе руки-ноги, как-то уверь себя, что ты кирпич, а потом отрицай уж...

Взял я тут недавно Фета и понял, что от этого никуда не уйти. Через головы Маяковского и Блока вдруг как пахнет чем-то отроческим, свежим, изящным и грустным. И вдруг показалось, что и в самом деле

Только в мире и есть, что душистый  
Милой головки убор.  
Только в мире и есть этот чистый  
Влево бегущий пробор...

Чепуха, конечно, в мире есть много другого, мы все тому свидетели... Но я убедился, что наша усадебная лирика девятнадцатого столетия — Фет, Майков, Толстой — это удивительно человеческая струя в мировой поэзии (хотя я и сознаю, как одиозна была она в свое время).

### Из письма другу

Москва. 1950 г.

...Как бы это, дорогой мой, подвиг совершить, дабы очиститься, оправдать существование? Какой-нибудь, знаешь, картинный, праздничный и верный поступок! Что-нибудь не меньшее, чем спасение отечества или смерть за жизнь! Чехов, мудрец и Человек, он знал, что и любовь — это крошечно, когда нет «высшего сердца, одержимого тревогой». А у меня и любви нетути...

Занят я как будто многим... Совершенно объят невыносимыми проблемами, связанными с Толстым и толстовством: философией смерти и веры, навязчивой манией секса, эстетикой, мразью плотского и еще кучей крепких, как петля, вопросиков, будь они убиты! А Роллан! В ужас прихожу от эльбрусоподобности всех задач и решений, которые вдруг предстают.

## Из письма матери

Поливаново. 21 августа 1950 г.

Мамочка! Вчера только утром отправил тебе письмо с посетителями, а сегодня снова захотелось писать...

Пожалуйста, мама, не доверяй моему нытью, когда оно будет просачиваться в письма. Оно очень несерьезно и возникает просто от того или иного беглого впечатления. Девчонки запоют за рекой — мне жалобно и грустно-грустно. Сумерки наступают — вот повод для «философии», и тому подобное. В общем же я, ей-богу, уверен, что пробуду здесь неделю, вылечусь вовремя и тогда, как пел Феликс, «будем мы с тобою, дорогая, вдоль по Садовой улице гулять...».

Как-то ты там без меня будешь?.. Ну, первое время отдохнешь, успокоишься, а потом?.. Все эти домашние дела... Пожалуйста, не скупись, мама, если нужно будет купить, например, замазки хорошей, которая бы облегчила тебе дело, или новую кисть для пола и т. п. А то ведь ты удовольствуешься каким-нибудь суррогатом, а работы будет вдвое. Мне, как я чувствую, здесь не нужно будет никаких прибавлений к тому, что есть. Кормежка и сейчас недурная, а обещают сделать еще лучше...

Самое плохое, что я ожидал и что тем не менее поразительно, — это отсутствие библиотеки, радио, газет. Пока еще лето, погожие дни, веранда, это терпимо и незаметно. Но как это снести будет осенью, в серые дожди, когда и на веранде не спасешься и вообще дороги сюда не будет никому? Кстати, о дороге. Ты знаешь, что сейчас еще и в воскресные дни не налажено сообщение с Ознобишином и что эти шесть километров оврагов, трясин и пригорков нужно будет идти пешком?.. Трудность эта непредвиденная и тоже одна из причин моей время от времени разрывтоски. Я ж вовсе оторвался от всего, что для меня составляло единственную радость. Дом, университет, учеба, встречи с людьми, книги, стихи, умные разговоры, пирушки, дурачества... И теперь никого, никого. Кто же решится, кроме тебя одной, на преодоление всех препятствий по пути ко мне!..

В добавление к тому, что я просил в прошлом письме (бумаги писчей и «черной», чернил, книги по списку и Сережкину книгу о Толстом — зеленую), привези, пожалуйста, любых газет, каких только удастся тебе получить... и еще раз бумаги, бумаги, бумаги.

Сдается мне, что я, еще не обжившись здесь, ввожу тебя в лишние расходы. Если что-нибудь из того, о чем я писал, достать, купить, получить трудно, накладно, то, конечно, ты отложи до будущего. А я, разумеется, обойдусь.

Воздух здесь!!! Вот лежу сейчас грудью к широко распахнутому окну, и меня овеивает, омывает, свежит прохладный и легкий летучий настой листьев, хвои, солнца, утренней синевы. И кругом все чирикает, свищет, вьется, кукарекает... А ветер и в подмышки, и в уши, и в волосы! Изумительно! С каждой секундой крепну и вдохновляюсь. Прощай! Пиши про все и подробно. Целую.

Марк.

## Из письма матери

Поливаново. 9 апреля 1951 г.

Довольно долго не было от тебя никаких совершенно вестей, и вдруг сегодня — ошеломляюще! И стрептомицин, и статья из стенгазеты, и нагоняй от тебя — и все в один прием! Если б ходил, то, наверное, шатался от такой необыкновенной порции... О чувствах своих по всем этим пово-

дам не нахожу сил говорить. В свое спасение через стрептомицин я то безумно верю, то — до ужаса нет. Именно до ужаса и безумно, как бы это глупо ни звучало. Кроме того, вся эта история долгих хлопот и участия, которое принял во мне университет, и такие лестные характеристики, и все-все — так это необыкновенно, так книжно идеально и в то же время со мной же это происходит, и на самом же деле! Мама!

А статья-то просто слезу исторгает. Только ведь это о каком-то замечательном молодом гражданине — не обо мне, грешном. Но именно поэтому я отныне буду принимать эти строчки, как лекарство, как возбуждающее и целебное. Вот каким меня видят, должен же я походить на этого героя хоть малость!.. И главное, ведь то, что я испытал, то, что было этой зимой в третьей немецкой группе филологического факультета МГУ, — это не просто эпизод для восхищения соседок и знакомых, это отрывок нашего чудесного, милого времени, которое умеет калек и бедняг образовывать в завзятых оптимистов, влюбленных в жизнь... (Вот на какие тирады я стал способен с недавних пор, вот что сделали вы со мной.)

Ну вот, как на духу, скажу раз навсегда: ведь давно уже почти насколько я не завидую никаким атлетам и конькобежцам-фигуристам, никаким здоровякам, — ей-ей, у меня подчас бывает столько счастья и веселья в жизни, что хоть с другим делись — я и делюсь, как только умею и где только могу. Ну, честное слово, поверь же мне — я, наверное, в рубашке у тебя родился...

### Из письма другу

Поливаново. Весна 1951 г.

Ты примешь ли мое письмо после столького молчания, не выбросишь его и не затопчешь в гневе? Ну так слушай. Я живу черт знает как! Коротко это можно выразить просто — канун выздоровления. Сонмы соображений, надежд, что-то кричит в мозгу, беспрестанно радуясь, и вдруг — жутчайшее отчаяние и неверие. А проза, эпическая, впрочем, проза такова: мне выхлопотали стрептомицин и максимум через неделю начнут впрыскивание. Я почему-то уверен в благополучном — мало сказать так, — в счастливейшем исходе, и для меня сам этот исход образно выглядит так: где-то, в благоприятных обстоятельствах, мы с тобой — по комплекции Дон Кихот и Санчо, а по сущности оба Доны — звеним стаканами, блещем афоризмами, изумительно проводим время. И все это в Москве, на старых местах, где ты живешь изо дня в день, а мне приходится ходить, замирать и вспоминать вдруг, что вот здесь мы столько-то лет назад говорили о том-то, а вот там немного позднее думали о другом, и кто с нами был... и все, все. Ты примешь меня в компанию?

Даже страшно делается, как подумаю, что через лето я могу быть в Москве. А если нет, а если и эта мечта обманет, «как всякая мечта», прибавлял Блок. О черт поberi! Не может же быть такого глумления и безобразия!..

Я, кроме того, еще и тоскливо думаю, как, возвратясь в Москву, не увижу вас, потому что один уедет к северным оленям, другой — в дальний Туркестан, а третий — на еще более дальний Сахалин. И выпить не с кем будет: за то, чтоб все сбывалось, и за конечное счастье человечества. И что вам нужно, кто вас гонит?! Горюпыги несчастные!

Почему ты мне не пишешь? Я тоже не из писучих, но у меня все тускло, нечем жить, а ведь ты — в буре-мире, да еще и сочинишь пьесу на животрепещущую тему. У меня, впрочем, тоже есть опыт в драматургии. Лет шестнадцати я сочинял трагедокомедию «Франческа да Римини».

ни». На пяти тетрадных листках я уместил трех итальянских герцогов, десять знатных вельмож, французского посла, прекрасную Франческу и уродливого Малатесту, придворный праздник, любовную интригу, убийства, попойки и, кроме того, монахов, рыцарей, наемных убийц, куртизанок, их шлейфы и прочее и прочее. Я помню, что под конец эти мои инкубаторские герои вышли у меня из повиновения и начали друг друга убивать и травить. Из вассалов, помню, осталось в живых двое. А сам гвоздь сюжета — судьба и смерть несчастной Франчески — это было, пожалуй, самым утешительным и легким в произведении.

Теперь я думаю об этом своем детском опусе словами из «Сна в летнюю ночь». Там играется «грустная краткая сцена Пирама — истинно трагивеселая драма», и один из зрителей говорит:

Мой государь, во всей пиесе этой, может быть,  
 Каких-нибудь слов десять. Я не знаю  
 Другой пиесы столь короткой, но,  
 Мой государь, и эти десять слов  
 В ней лишние. Вот отчего она  
 И краткая, и грустная пиеса.

Вот какие истории случаются, когда тебе шестнадцать лет от роду. Сейчас бы я таким дураком не был и, наверное, написал бы не средневековую, а реалистическую драму под названием «Главбух».

### Из письма другу

Поливаново. 1951 г.

...Для меня, в сущности, вся жизнь, любая жизнь — в новинку. Я рад без конца и без усталости смотреть, смотреть на все, что выделяет вокруг меня жизнь. Это ведь дьявольски заинтересовывает. Столько судеб, событий, преобразений; столько красок, звуков, картин; столько организмов в конце концов!.. Вот как-то так я воспринимаю жизнь, и никакая чудовищная механика и тонкотканная философия не способны это **первичное** во мне уничтожить. И как всякая протоплазма, как каждая клетка, я до ужаса страшусь одного — смерти. Для меня ж и з н ь в о о б щ е имеет одно лишь дурное свойство — ограниченность **во** времени. Мне в **высшей** степени наплевать на атомную бомбу и на все подобное, как на фетиш, — но оно убивает, вот что страшно. И даже если б я расщепился, погиб, то я все равно не был бы убежден, потому что до последнего мига был переполнен жизнью и жаждой жизни, дыхания, зрения! И это, понимаешь, наперекор всему, наперекор любому аду, временно восцарствовавшему на планете. И хотя я понимаю, что все это — и чувство и фразы — достаточно примитивно и по-телячьи, может быть, но так это во мне сильно и идет изнутри, что я готов, вероятно ломясь в открытые двери, сумасшедше, пьяно доказывать и прививать это каждому встречному и поперечному, как что-то сугубо мое, неповторимое и особенное!.. И Федору Достоевскому я прощаю многое, по слабости, за то только, что именно его Карамазов великолепноше рокошет о любви к жизни вопреки логике и разуму, любви нутром, чревом, помимо и больше, чем даже смысл жизни (хотя последнее есть уже сползание куда-то вбок)...

Да, жить все-таки нужно проше, спокойно обращаясь в орбите всего живущего испокон веков. Я вот устроил у себя за окном птичью кормушку и смотрю часто туда. Целый день, сменяя друг друга, набирают полный рот хлебных крошек, улетают и возвращаются снова какие-то

причудливые, никогда мною вблизи не виденные синицы. По-видимому, они выкармливают осенних птенцов. Невозможно обрисовать то удовольствие и тщание, с которыми птицы эти добывают себе хлеб насущный. Утром, когда они прилетают сразу двое или четвером, то при виде полной кормушки они несколько минут всецело отдаются ликованию — пританцовывают, бьют крылышками, свистят. И затем начинается работа — старательная, привередливая, но счастливая — на весь день... Этакая ведь силища — эта природа. Один человек так мечется по земному лону и ищет, и не верит, и плачет... А наша мать мудро, снисходительно и беззаветно воссоздает жизнь, сменяет ветошь, обновляет и заселяет землю. И эта бесконечная молодость, этот «безмолвный, торжественный рост» — ослепляют.

Сейчас я знаю: все, произведенное искусством, помимо грубости, пошлости и прямого зла, все, дышащее интеллектуальной или чувственной силой, все — от жизни, все — прекрасно и непререкаемо. Человек многообразен, противоречив и разветвлен. Он может быть великолепным и непреклонным борцом за освобождение человечества и в то же время тяжело страдать от мельчайшей ранки, нанесенной ему какой-нибудь раскрашенной егозой. И всему этому должно быть место в искусстве, от этого не уйти... Мы с тобой в лагере Добра — прирожденно, и это во всяком случае предопределяет все наши раздумья и поступки. Но мы в то же время и сгустки плоти, узлы нервов, мы — страждущая мысль и чувство. И вот где-то здесь — на стыке — рождается высокое человеческое искусство. Поверь же в это, ощути себя целостно! Ведь обязательно это нужно — найти себя. «Плюнь на скуку — морскую суку!» — как говорил Третьяковский. Или: «Откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро»...

Такое множество советов и рецептов я тебе надавал, что боюсь, ты порвешь это письмо в клочья и обрывки затопчешь... Получился какой-то морализаторски-философски-лирико-политический эссе вместо добropорядочного письма в ответ.

У меня есть любимый... нет, не любимый — милый сердцу литературный герой — Федя Протасов из «Живого трупа». Так вот он говорит в одном месте: «Вино ведь не то что вкусно. А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно». И он даже собеседнику своему говорит: «Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно... И только когда выпьешь, перестает быть стыдно...» и т. д. Вот это штука! То есть у Толстого все это глубоко социально и т. д., но понятное в личном плане — это психологическое откровение! Ты понимаешь — все не то, все — стыдно. Но что ж, но как же надо?! И вот тут-то и поморщишься, помучаешься...

### Из письма другу

Осень 1952 г.

Одна у меня есть тут утеха, хожу в консерваторию слушать музыку, в особенности Александра Николаевича Скрябина. И в музей-квартиру его на Арбате. Там, в старинном, огромном и туманном кабинете, изредка устраиваются концерты для ценителей. Большие пианисты играют на скрябинском инструменте одну только его музыку. Это самые сильные переживания последнего года. Там все сохранено так, как было при жизни А. Н.: и кровать, на которой умер он, и детские игрушки, и рукописи, и посуда, и цветы, и под Новый год зажигается елка. А переулок тихий, каменные доходные дома, особняки в липах, снег, снег на карнизах, в подворотнях, на шубах... Удивительное дело! Жили люди в большой деревне, в кривых, тишайших переулочках, зима под семью печатя-

ми в скромных, окрашенных в темное квартирках, рано зажигали лампы, смотрели на овальные портреты в старинных, тусклых рамах и думали о скорбях человечества, о Прометееве огне, об искусстве, которое спасет людей, создавали тончайшее искусство радости для всех, которые будут еще жить и бедствовать,— так рождалось героичнейшее из искусств — русское. И самое сердечное...

### Тетрадь третья

Весна 1953 года

В моем отношении к делу сейчас, к книгам и разговорам есть такое: вот, пока не наступило «то» (а что?), пока не призван на царство, чтоли, нужно сколько можно «нахвататься», помудреть, разузнать, не пропуская никакого случая на этот счет. Похоже, как человек, которому нужно перейти улицу и на той стороне пройти вперед, пока ему мешает движение, использует время, чтобы продвинуться дальше по этой стороне.

Ночь. Февраль. В переулке тихо, тепло, и «один фонарь качается». Ни одной души. Закроешь глаза, и все равно видно, что на тротуарах влажная наледь, а по обочинам черные пятна луж натекли. Во всех концах на разные голоса, но по какой-то скале, журчит и журчит, то тихо, то звонче, а в общем тихо, то по трубам, то по карнизам и камню — вода. И где-то особенно звучно и резко «икает» в ледяную, водой полную лунку.

А посреди дороги на белом еще, вчерашнем снегу в домашней позе сидит кошечка. Дома черные, сплошные, с оттаявшими гребнями. Резкий ветер.

Сижу в кабинете — библиотеке нашего профессора. Только что с улицы. Там двинулись сугробы. Из-под них, как из-под черных ледников, мчится вода. А в ней замешено солнечное серебро и золото. В темных воротах накопился Байкал — в него много речушек, ручейков, а из него — одна Ангара хлещет на улицу, дочиста вымыв под собой тротуар, так что видно крошку асфальта.

У профессора в кабинете пепельно-сизый отсвет на всем.

Синева из окон, синеватый дымок сигареты в мундштучке, сумрачные и синие дальние углы и подуголья большой комнаты, в которой стены не стены, а шведские стенки из тусклых книжных корешков. Перед профессором две высокие свечи в подсвечниках.

Сам в синем, домашнем.

Черные, низкие, потертые кресла, в зеркальных местах еще отражающие эту присущую всему синеву. В простенках и по верх книг картины в рамах и акварели. Сидим, вежливо поджав ноги. Говорим об ученом и дипломном.

Аверху окна видна кромка крыши домов напротив. Кромка двойная, и в промежутке постоянно и часто вспыхивают длинные, как бы кисельные капли, подряд несколько и вразной протягивающиеся книзу. Как будто чьи-то пальцы прядут золото-серебряно-розовые толстые нитки.

Солнце гаснет, и капли прекращаются, снова вспыхнет — и сразу начинается это прядение. Весело глядеть. Весна неутомима.

Весна. Зоосад. Сиреневый снег на озере. Голые ветки, ловящие солнце сквозь пальцы. На дальней дорожке пара. Мужчина в темной шляпе,

пальто распахнуто, руки в карманах, ярко-клетчатый шарф. Женщина с рыжеватым хохолком поднимает к нему лицо. Целует его... Потом идут дальше, смеясь, размахивая чемоданчиком. Снег по дорожкам скисший, по обочинам еще хрусткий.

Вся зима — от первой снежной пышной рукавички, снятой с ветки, первого плавкого снежка в ноябре в первом часу ночи на сквере до раскопанной во дворе между сараями в грязном и мокром мусоре последней погибающей обсосанной льдинки в солнечный полдень тринадцатого апреля.

Скверик близ Большого театра закрыт, входы загорожены скамьями. Но с внутренней их стороны сидят люди. И я сижу. Рядом со мной тесно — девушка читает с увлечением. Заглядываю. Первые строчки, которые попались на глаза, говорят о том, что герой, объясняясь с дамой, оглянулся на дверь гостиной и увидел, как болонка, покрутившись вокруг стоявшего на полу вазона с розами, подняла на них ногу. Смешно. Жду, когда девушка дойдет до этого места. Через минуту она начинает смеяться и тихо, безудержно хохочет себе в воротник. И я не могу удержаться — смеюсь, кусая губы.

Я знаю, с чего начинается в Москве весна. Еще в середине февраля, когда один день сыплет снег, а другой трещит мороз, внизу, в метро, видно, как просыпается почва. В эскалаторных тоннелях на беленом потолке появляются какие-то мокрые, темные пятна — это начинает бродить глубина глубин. На поверхности еще жжет холодом, а десять метров внутрь уже что-то шевелится и сочится.

### Письмо читательнице

Москва. Сентябрь 1955 г.

Дорогая Джульетта, Ваше сердитое письмо я прочитал давно, потом куда-то его засунул и только теперь извлек и перечитал со вздохом...

Вы, вероятно, и не помните того, что наговорили мне? Будто бы все мы — критики какой-то «группы Померанцева» — в прошлом хорошие люди, сейчас отступили; что для меня лично это отступление началось с не полюбившейся Вам чем-то рецензии на Бианки... будто бы я выдумал себе какую-то «отвратительную» позу «отверженного рыцаря», что вообще я ничтожный трус и ренегат...

Вы думаете, что все это было мне приятно читать? Первое Ваше письмо было куда приятнее... Единственное, что все-таки составляет для меня бочку меда на ложку дегтя в Вашем письме, — это сознание того, что ты здесь что-то царапаешь, изредка печатаешь, порою даже не придавая тому значения, а где-то далеко требовательная и суровая девочка все читает и ничего не прощает...

Ах, Джульетта, как бы Вам объяснить все, что сейчас делается? Не надо сердиться, не надо говорить мне обидных слов об «отступлении». Оттого, что некто М. Щеглов похвалил среднюю (но не ничтожную) книжку, ведь ничего не переменилось: и стены не обрушились, и книги не перестали писаться — хорошие и плохие. И потом вы же не сможете сказать, что в своих рассуждениях автор отказывается от всего, что защищал вчера, что он требует теперь неправды, агитацистики, бездушия, антихудожественности. Нет этого!.. И вы должны понять, что для подлинного страстного воззвания нужен иной случай...

Литература, Джульетта, вообще — писание, это не всегда то, что де-

лалы Мопассан, Александр Блок или Чернышевский, иногда это в силу житейских обстоятельств — незаметная поденщина. Лишь бы это не вырождалось в беспринципность и халтуру. При всей своей суровости Вы вряд ли захотите обругать меня так, я надеюсь.

Жалко, что мы не увиделись с Вами в Москве летом. Я в это время был в Крыму и пробыл там до середины сентября. Посмотрел бы я на Вас, какая вы...

Представляю, какими глазами встретили Вас в «Новом мире», когда Вы искали Померанцева. Вы, Джульетта, как и многие из молодых читателей, слишком большое значение придаете и статье «Об искренности в литературе», и ее автору. Вы даже пишете «группа Померанцева». Это ошибка. Я, например, едва знаком с Померанцевым... И не надо думать, что Померанцев — мученик, с ним ничего драматического, насколько мне известно, не произошло. И мне немного досадно, когда такие умные читательницы, как Джульетта, говорят о нем как об апостоле. Тогда как дело не в том, не в его статье, а в более широких и мужественных вещах. Не надо унывать, Джульетта, и не надо ничего оплакивать. Мы живем в необыкновенное, суровое, полное нежданного-негаданного время. Думайте о серьезном, ничего не бойтесь, будьте всегда честной и любите людей. Когда я вижу, сколько на свете чудес, сколько любви, хороших людей, дорогих слов, картин, музыки, когда я знаю, что стоит только позвать, — и сколько всех нас откликнется! — то можно ли терять голову! Все будет хорошо!

Не бойтесь, Джульетта, я напишу когда-нибудь, может быть скоро, статью, которая и Вам понравится. Вы не станете меня так жучить, как в своем последнем письме...

А статья о Бианки все-таки одна из моих любимых, и Вы здесь несправедливы, я думаю. Всего доброго Вам.

Пишите, если захотите. Зовут меня Марк.

М. Щеглов.

Я сейчас работаю мало. Заедают разные занятия в университете (я в аспирантуре).

Однако посмотрите: может быть, в номере двенадцатом «Нового мира» будет небольшая статья о С. Есенине (рецензия на новый двухтомник), а в журнале «Театр» в начале будущего года — уже нашумевшая здесь дискуссионная статья о современных пьесах.

Что Вы вообще читаете, что Вам нравится? Знаете ли Вы такие вещи, как повесть В. Некрасова «В родном городе»? Извините за грязноту письма — вечная спешка.

**В редакцию журнала «Молодая гвардия»**

(А. Туркову и З. Крахмальниковой)

Анапа. 28 августа 1956 г.

Уважаемый отдел критики!

Сделав усилие, между утренним и вечерним пляжем (умирайте от зависти!) я перечитал наипоследний раз свою статью. Из-за солнца, должно быть, я с большим трудом припоминаю, что же, собственно, мне нужно было в ней еще изменить. Мне легче дерзить на расстоянии, но, честное слово, я не могу согласиться, что на деле, а не на словах в статье существует противоречие между первой и второй ее половинами. Это только одна видимость, ибо если я заставляю Лаврова взглянуть глубже на причины житейского страдания и сделать попытку опровергнуть устои того, на чем держится в его рассказах все счастье и не-

счастье (см. стр. 15—17), то это не значит, что я солидарен с теми, которым претит самый мир рассказов И. Лаврова, которые брезгают коркой хлеба и коммунальной квартирой...

В статье я кое-что переделал, но не в сторону изменения «концепции», а так, чтобы стало четче, яснее видно, чего же, собственно, желает уважаемый автор... Считаю важным также добавление в самом начале статьи — псевдотеоретическое «кредо» М. Щеглова.

И еще одно скажу: мне, удивительное дело, статья эта начала нравиться. Тут есть что-то особенно дорогое — не Лавров, а о б щ и е с л о в а, которые касаются, как кажется, самого важного сейчас и в литературе, и в жизни. Плохо ли, хорошо ли, но это н а п и с а н о, и неужели же ваш журнал выставит меня вон?

• В моем письме звучали рыдания, и поэтому надо кончить.

Как-то вы живете там, в этом Вавилоне? Слушаем по радио метеосводки: дождь, дождь. Жалкие и несчастные маленькие люди, знайте, что здесь, на этом берегу, каждый день тридцать градусов с гаком и море синее (как очи Зои К — ой, сказал бы я, но боюсь ошибиться в цвете).

Всего хорошего. В Москве буду двадцатого числа.

М. Щеглов.

\* \* \*

*В этом письме, написанном за четыре дня до смерти, М. Щеглов говорит о своей статье «На полдороге», посвященной рассказам Ильи Лаврова. В рукописи этой статьи, одновременно с письмом посланной в редакцию, были такие слова, которыми особенно дорожил автор:*

«Нам представляются высшей степенью холодного равнодушия те литературные «манифесты», в которых говорится о «бескрылой», «неудачливой в жизни мелкоте», которая «полезла» на страницы книг, а также брезгливые замечания о загсах и нарсудах, о так называемых «мелких дрызгах быта»... Кто эти великолепные счастливицы, спасенные жизнью даже от того, что они сдержанно именуют «некоторыми неустройствами быта», бестрепетно проходящие мимо «мелких дрызг», отраженных в деятельности столь почтенных учреждений, как загс и нарсуд, не запинаясь, рассуждающие о «маленьких людях», о «мелкоте» со «слабыми идейными поджилками», об «обыденной сутолоке» жизни! Каким образом мог сложиться в наши дни этот их барский идеализм? И со всем тем какая внутренняя вульгарность слышится в этом накоплении брызгливых словечек «мелкий», «неудачливый», «мелкота»...

Особенно странно и неожиданно, что подобный тон отозвался вдруг в статье В. Ажаева «Молодые силы советской прозы», где об интересующих нас рассказах Ильи Лаврова говорится следующее: «Как бы с подчеркнутой последовательностью показывается в них обыденная жизнь рядовых людей — сторожей, продавщиц, парикмахеров, железнодорожных проводников, мелких служащих. Но не это, разумеется, вызывает возражения (и на том спасибо!—М. Щ.); худо то, что герои И. Лаврова — люди маленькие в самом плохом смысле слова. Они неудачники с несложившейся жизнью, и почему-то (!) они дороги автору именно жалкой своей судьбой и беспомощностью. Итак, «неудачник с несложившейся жизнью» — это и есть «маленький человек в самом плохом смысле слова»... По естественной логике, «большой человек и в самом хорошем смысле слова» — это счастливцев с исключительно удачно сложившейся судьбой, преуспевающий, довольный обстоятельствами, спокойно идущий по головам, и уж, конечно, не «мелкий служащий»! Откуда такая спартанская закалка, такой культ удачи и пренебрежение к «неудачнику», к «беспомощности», к слабому или ослабевшему? «Почему-то неудачники дороги автору жалкой своей судьбой»! Но ведь следующая за сим ступень — это... «пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!».

*Письмо и рукопись пришли в редакцию уже после того, как была получена телеграмма, извещавшая, что 2 сентября 1956 года Марк Щеглов скончался в Новороссийске от туберкулезного менингита тридцати лет от роду.*

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЗАМЕТОК

(1954—1956)

Есть стихи, не возбуждающие остротой и оригинальностью, стихи обыкновенные на первый взгляд, но в этой своей обыкновенности содержащие высший запас поэтической прочности и уверенности. Этим стихам не звучать с эстрад и трибун, их не заучивают наизусть юноши. Их читают спокойно и, прочитав, благодарят за честность, простоту и тепло. И не забывают. В конечном счете из таких произведений составляется большая и нужная поэзия наших дней.

Лирика — это область самого непосредственного и самого **конечного**, «досказанного» выражения человеческого чувства и мысли. Здесь нагляднее, чем в других жанрах, просматривается любая утайка, **ловится** любой фальшивый звук, сильнее, чем везде, чувствуется гнет посторонней «идеи». Писать лирические стихи — это как дышать, тут ты — весь, какой есть; цепь лирических стихов — это запись сердца, кардиограмма, в которой — хочет того или не хочет автор — видно всякое отклонение от естественного ритма. В лирике некуда скрыться, стих — плохой союзник; но он же и самый верный союзник для того, кто ничего не боится, кто в поэзии «дышит», а не манерничает, не популяризирует, не прячется в облако пышной патетики, кто в меру сил горячо и правдиво, чистым голосом поет правду о себе, о людях, о жизни — и может сказать вместе со старым поэтом: «Ум и сердце человецье были гением моим».

Представьте себе в жизни человека, который бы, садясь обедать в столовой, произносил тост за нашу передовую и механизированную пищевую промышленность или по пути на работу, оглядываясь на каждую проходящую мимо автомашину, с восторгом вскрикивал: «ЗИМ!.. ЗИС!.. МАЗ!..» и т. д. В жизни такой чудак вызвал бы смех, или бы мы заподозрили его в неискренности... Но в стихах все это или подобное тому не только возможно, но процветает. Герой одного стихотворения дарит любимой цветы и настойчиво просит не благодарить его, потому что-де обо всем постарался Мосзеленхоз, ему спасибо.

Живой человек живет, борется, сердится, любит, страдает до боли душевной, пылает возмущением, плачет и хохочет, а «лирический герой» отражает этот поток чувств сглаженным, утихомиранным, поэт старается уместить живую бурю в лирический стакан воды. Установилась даже какая-то степень поэтической взволнованности — так, чтобы «ни больше, ни меньше». Даже в такой малорассудочной области чувств, как любовь, герой поэзии тягуче рассуждает или неловко отшучивается.

Из засухи, постигшей область поэзии, говорящей о любви, об отношениях мужчин и женщин, мы вообще еще не вышли. Смешно, конечно, чего-то здесь «добиваться», уверять кого-то в чем-то, вообще применять силу. Но не может не поразить это противоречие. В жизни человека есть такое исключительно человеческое, богатейшее оттенками, яркое чувство-полюмя, которое несет человека на гребне своем таким одержимым, и счастливым, и нежным, как никогда больше не бывает. А поэзия об этом говорит в четверть голоса, в лучшем случае шаловливо, вкрадливо, если не пусто-декларативно.

\* \* \*

Одно из отталкивающих свойств многих стихотворений — это отношение их героя к встречным и поперечным, к современникам, не пишущим стихов. В любой книжке мы найдем стихотворения, озаглавленные «Маляр», «Тракторист», «Шофер», «Лифтерша» и т. д. Например, «Лифтерша». Вверх, вниз движется лифт, на нем едут офицер, студентка, маститые жильцы большого дома. И всем хозяйством управляет старая женщина — лифтерша. Казалось бы — что тут особенного, как это «обыграть»? Но поэт «обыгрывает»:

Спокойна лифтерша седая,  
Обычен приветливый вид.  
И, лифта вниз ожидая,  
Начальство в подъезде стонт.

Вот оно в чем дело! Поэта тронуло, что «нижний чин» — лифтерша имеет право заставить ждать «начальство» — «долг платежом красен». Зачем это странное, унижающее «сочувствие» так называемым «маленьким людям»? Да их в таком кротком обличье и нет в нашей стране.

Постепенно увенчивается успехом борьба, ведущаяся в нашей литературе против псевдоположительного героя романа, повести, рассказа — бесстрастной цельнокюановой фигуры, не знающей ни человеческих слабостей, ни трудностей на жизненном пути, ни борьбы чувств, ни глубины мыслей. Но этот бодрый и бездумный герой имеет еще убежище в нашей лирической поэзии. Это его натужный поэтический тенорок звучит в гладких строчках стихотворений, это в его глазах огромная, сложная, радостная наша жизнь распадается на веселенькие «жанровые сценки», это его любое чувство никогда не перехлестнет через край, не заставит ответно забиться наше сердце. Отрегулированный, в меру бодрый, в меру грустный, в меру шутник — этот герой поэзии не годится в подметки любому из простых смертных.

### О Тютчеве

Имя Тютчева — одно из самых дорогих имен классической русской поэзии. Пройдя сквозь все перипетии историко-культурных движений последних ста лет, сквозь все и всякие переоценки ценностей, Тютчев в наши необыкновенные дни живет как поэт высочайшего строя души, нужный, драгоценный, как поэт русской природы, русской мысли и страсти, как поразительный мастер стиха.

Тютчев — любимый поэт многих лучших людей нашей родины. Он был горячо отмечен Пушкиным, напечатавшим в своем «Современнике» целое «собрание сочинений» поэта; И. С. Тургенев, Тютчевым проверявший степень поэтической чуткости своих знакомых, сказал, что тот «создал речи, которым не суждено умереть». Крупные люди враждебного Тютчеву политического лагеря — революционеры-демократы Некрасов и Добролюбов высоко, по достоинству оценивали поэтический дар Тютчева. Добролюбов с восхищением вспоминал Тютчева как раз в самых ответственных своих работах; Некрасову принадлежит большая, сильная статья в «Современнике», взволнованно пропагандировавшая поэзию Тютчева. Тютчев был любимым поэтом великого ученого Менделеева и великого композитора Скрябина. Лев Толстой не мог без слез

слышать некоторые стихи поэта и сказал как-то, что «без Тютчева нельзя жить». Владимир Ильич Ленин пожелал непременно иметь стихотворения Тютчева в личной библиотеке своего кремлевского кабинета. Разные люди разных эпох и поколений, разных представлений о целях человека на земле, но именно большие люди с героической судьбой, подлинно воплощавшие гений народа, принимали и чувствовали поэзию Ф. И. Тютчева, полную высокой, взволнованной думы и живого разнообразия чувств. Бывали времена, когда Тютчев казался первым по читаемости поэтом в России, наравне с Пушкиным. Люди разных пристрастий вслушивались в то, как бьется тютчевское «сердце, полное тревоги», в то, какие тайны открывает перед ними «вещая душа» поэта, сопереживали с ним любовь и боль, восторженное смятение от близости к самому «подспудному» хаосу космической вечной природы и прелесть беглых, «минучих» впечатлений родных домашних зим и весен. А главное, эти немислимые чудеса поэзии, выразительности, которые содержала в себе небольшая книжка стихов Ф. И. Тютчева, про которую сказано, что она «томов премногих тяжелей».

Не может остаться равнодушным к этой мощной и терпкой от крепости художественного «настоя» поэзии и наш современник, в особенности же человек, пишущий, читающий, любящий подлинные стихи, болеющий о русской поэзии.

Когда-то Анатолий Франс, рисуя социалистическое будущее нашей планеты, представлял себе, что в этом новом высочайше организованном, гуманном мире совершенно особое место займет поэзия. Он говорил от имени одного из жителей этого тогда еще «послепослезавтрашнего» мира: «У нас не только есть поэты, у нас есть поэзия. Мы первые определили область поэзии. До нас в стихах выражали многие идеи, которые лучше бы могли быть выражены в прозе. Писались рифмованные рассказы. Это было пережитком того времени, когда излагались размеренным языком законодательные постановления и хозяйственные предписания».

Речь тут идет, по-видимому, о том, что поэзия делается бесконечно одухотворенной и утонченной выразительницей человеческого чувства, драгоценной хранилищем переливающихся, иными словами, неуловимых, впечатлений и ощущений бытия, острой мысли, всего разнообразного духовного состава расцветшего человека, а не останется рядовым «чтением», параллельным чтению беллетристики, как это часто и повсеместно бывает. Если это так, то поэзии Ф. И. Тютчева, изумительно искренней, богатейшей именно выражением нескрываемых личных «человеческих» тонкостей и оттенков, отражающей свет и тени, присущие картине жизни, благородной по своей гармонии, суждена все возрастающая популярность и новая народная слава.

\* \* \*

Прямая литературная ложь сельских идиллий и эклог, кажется, разоблачена у нас и убита. Но немногим лучше другой коварнейший враг подлинного искусства — полуправда. Ложь о жизни никого больше не очарует, ее шансы незначительны, но полуправда в нынешних условиях — тот же обман. Подкупающие своим сходством с жизнью — тут есть и «борьба», и семейные нелады и т. п. — страницы полуправды делают, в сущности, то же богопротивное дело, которым занималась бесконфликтная словесность: они набрасывают на нашу жизнь, труд и борьбу прельстительный розовый флер, останавливающий человека от того, чтобы во всю силу драться с тем, что ему отвратительно видеть.

Полуправда — это умение открыть в жизни действительные конфликты, но объяснить их в таком «надлежащем» свете, что они либо кажутся фатально исторически-обоснованными (а значит, чего же тут спорить!), либо их источник указан совсем не в том направлении, где его в действительности надо искать. Полуправда и в том, что художник, обнаруживая в нашей жизни тот или иной трагический «острый угол», в последний момент, когда все нужно объяснить, на все нужно указать, опасаясь зайти «слишком далеко», каким-нибудь несложным фальсификаторским способом сводит все на нет; типический, опасный конфликт вдруг становится ничтожным «случаем». Полуправда наконец — в той холодности, которая позволяет производить с материалом живой жизни любые манипуляции, которые писатель сочтет нужными в тех или иных благородных целях. Полуправда подрывает силу искусства.

Но зато каких глубоких обобщений, ярких образов, какого благотворного действия на жизнь достигает художник, когда он понимает, что полуправдой не обойдешься, когда он смело и грозно показывает всю правду, правду во что бы то ни стало, когда его герои изображены «суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде», как писали Маркс и Энгельс, а не в преображенном «официальном виде»!

\* \* \*

Наша литература сейчас на трудном, но верном подъеме. Мы многим навредили сами себе: «бесконфликтностью», ошельмовыванием ряда достойных уважения имен и книг, ханжеством, небрежением к художественной стороне, к искусству, психологии во имя немарксистской, плоской «тенденциозности». Сейчас нельзя допустить, чтобы снизили хоть на йоту пафос великой литературы.

В этих чрезвычайных обстоятельствах есть в нашей литературной жизни вещи, которые все еще нужно общественно компрометировать путем гласной дискуссионной критики. Одной из таких вещей является варварская литературная нетребовательность, провинциализм, невежество, а навстречу этому — разнообразное и темпераментное скорокропательство «на потребу». Это бывает не только в случаях отсутствия литературных дарований, но даже и с заслуженными, талантливыми авторами под влиянием тех или иных подчас неведомых причин. Мы еще являемся свидетелями полнейшей литературной нетребовательности — в печать проникают произведения, написанные беспомощной или холодно-ловкой рукой, художественно недостойные тех идей, которыми они — формально — всегда напичканы. Но «посягательство на высокий сюжет с доморощенными средствами вызывает брезгливое чувство» — так говорил И. Е. Репин. И когда современный критик встречает произведение, на его взгляд, унижающее и самое литературное дело, и понятие «идейности», произведение, в котором на каждой странице — насилие над вкусом, над эстетическим чувством советского читателя, он, этот критик, не в силах в своей статье ограничиться одной лишь «сердечной тоской», «болью» и «сочувствием автору». Он имеет право, он обязан найти слова, которые бы показали его «брезгливое чувство» к халтуре. А это чувство выражается, конечно, не охами и вздохами, не ханжеским «плетением словес», а насмешкой, резкостью, пародийным заострением, даже нанесением словесных обид... Резкий тон — «во многих случаях это единственный тон, приличный критике, понимающей важность предмета и не холодно смотрящей на литературные вопросы» (Н. Г. Чернышевский). И вот этот по необходимости «резкий тон» сейчас некоторыми понимается как несовместимое со статутом «хозяйского отношения» к советской литера-

туре качество критики. Едва только литературный брак и непорядочность назовешь своим именем, как те, кто вчера еще готовы были «выжигать» и «выкорчевывать», те именно, от кого литература все время чувствует неудобство, теперь нежно голосуют за «хозяйское отношение»... За так называемое хозяйское отношение, скажем мы! Ибо в отношении к литературе, к искусству нельзя рассуждать: «в хозяйстве все пригодится». Истинно хозяйское отношение здесь — это требовательность, страсть, высшие критерии, стыд, который вопреки пословице «ест глаза», резкое порицание в литературе того, что так не любо нашему читателю.

Все эти вопросы, конечно, требуют широкого общественного обсуждения.

Справедливо отстаивая товарищеские методы литературной полемики, во всех случаях (во всех случаях!) борясь с «проработочной», бессердечной, казенной критикой, примеры которой еще так часты, мы, однако, во имя подлинно хозяйского отношения к советской литературе, во имя ее великого будущего должны сопротивляться попыткам «всех примирить, все сгладить», ханжескому сюсюканью при виде откровенной нехудожественности, конъюнктурщины, слабости. Доверие к литературе, к таланту, бережность и честность, подлинно партийный взгляд на труд писателя и труд критика не имеют ничего общего с хозяйским отношением... к халтуре.



# Л У Б Л И Ц И С Т И К А

## В КАНУН РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ

*Автобиографические высказывания В. И. Ленина  
1893—1900<sup>1</sup>*

Вся жизнь великого Ленина, его деятельность и борьба — это бессмертный подвиг во имя утверждения на земле самого справедливого общественного строя — коммунизма.

*Н. С. Хрущев.*

### ПЕТЕРБУРГ (1893—1895)

В Петербург Ленин переезжает из Самары 31 августа 1893 года. В первом из сохранившихся писем к матери он 5 октября так рассказывает о своем тогдашнем быте:

— Комнату я себе нашел наконец-таки хорошую, как кажется: других жильцов нет, семья небольшая у хозяйки и дверь из моей комнаты в их залу заклеена, так что слышно глухо... Ход хороший. Так как при этом очень недалеко от центра (например, всего 15 минут ходьбы до библиотеки), то я совершенно доволен.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Квартиру, находившуюся в доме 4 по Ямской улице (ныне улице Достоевского), Ленин оценивает прежде всего с точки зрения не столько личных, сколько конспиративных удобств. Ведь в ней «других жильцов нет», семья небольшая, «слышно глухо», и не в меру любопытным ушам по ту сторону заклеенной двери не расслышать бесед с М. А. Сильвиным, Г. М. Кржижановским, В. В. Старковым и другими студентами-марксистами, зачистившими к «Старику», как только он появился в Петербурге.

Владимир Ильич как бы отчитывается перед матерью в своих более чем скромных денежных расходах:

— Нынче первый раз в С.-Петербурге вел приходо-расходную книгу, чтобы посмотреть, сколько я в действительности проживаю. Оказалось, что за месяц с 28/VIII по 27/IX израсходовал всего 54 р. 30 коп., не считая платы за вещи (около 10 р.) и расходов по одному судебному делу (тоже около 10 р.), которое, может быть, буду вести. Правда, из этих 54 р. часть расхода такого, который не каждый месяц повторится (калоши, платье, книги, счета и т. п.), но и за вычетом его (16 р.) все-таки получается расход чрезмерный — 38 р. в месяц. Видимое дело, нерасчетливо жил: на одну конку, например, истратил в месяц 1 р. 36 к. Вероятно, пообживусь, меньше расходовать буду.

Т а м ж е.

<sup>1</sup> Первый обзор ленинских автобиографических высказываний «Начало пути» был опубликован в № 4 «Нового мира» за этот год. Он охватывал гимназические и студенческие годы Владимира Ильича, его жизнь в Симбирске, Казани, Кокушкине, Алакаевке, Самаре. Данный обзор, составленный, как и первый, В. Яковлевым, содержит автобиографические ленинские материалы, относящиеся к 1893—1900 годам.

В сентябре 1893 года Ленин едет из Петербурга во Владимир для встречи с Н. Е. Федосеевым. В своих воспоминаниях об этом выдающемся революционере он пишет:

— Помню, что посредницей в наших сношениях была Гопфенгауз, с которой я однажды виделся и неудачно пытался устроить свидание с Федосеевым в г. Владимире. Я приехал туда в надежде, что ему удастся выйти из тюрьмы, но эта надежда не оправдалась...

Федосеев Николай Евграфович. Один из пионеров революционного марксизма в России. Сборник воспоминаний. М.—П. 1923.

Весной и летом 1894 года Ленин пишет книгу «Что такое «друзья народа»...». Одну из дошедших до нас немногочисленных записей бесед с ним об этой работе воспроизводит М. А. Сильвин:

— Мы были, естественно, в полном восхищении от работы Ильича.

Я нервно настаивал, чтобы экземпляр ее был непременно послан Михайловскому. Ильич заметил мне по этому поводу, что он пишет не для Михайловского, а для того, чтобы, во-первых, разъяснить возможно более широким кругам читателей, что такое марксизм, и, во-вторых, — вскрыть буржуазный характер народничества как идеологии мещанства, как апологии мелкого производителя... Следует сказать, что Владимир Ильич не был доволен малым тиражом нашего первого издания. Он сознавал, что такая крупная и важная работа должна иметь массу читателей, и писал в расчете именно на широкое распространение своего произведения.

М. А. Сильвин. Ленин в период зарождения партии. Воспоминания. Л. 1958.

Вслед за народниками на арену политической борьбы вступают новые идейные противники научного социализма — так называемые «легальные марксисты». О беседах с Лениным по поводу «легального марксизма» М. А. Сильвин вспоминает:

— Струве я встретил однажды у Владимира Ильича... в период подготовки сборника «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития»... Как только Струве ушел, я довольно наивно стал выговаривать Владимиру Ильичу за это знакомство:

— Зачем вы его принимаете, что вы от него ждете, что он нам может дать? Владимир Ильич сухо заметил:

— Вы думаете, что он нам неинтересен, а я думаю, что интересен.

...Владимир Ильич тут же меня посвятил в вопрос об издании книги... и рассказал о цензурных затруднениях, какие встречает книга. Он объяснил мне, что книги объемом больше двадцати печатных листов не подлежат предварительной цензуре, но до выпуска в свет должны быть представлены цензору, и вот тут-то и начинается история: «вероятно, книгу не пропустят». Она действительно была конфискована и сожжена...

Обширность знаний Владимира Ильича не переставала меня удивлять в продолжение этих двух-трех лет, когда наши встречи были так часты... Не раз я находил его за чтением Маркса в оригинале и во французском и английском переводах. Как-то на мой вопрос, свободно ли он читает на этих языках, он заметил, что революционеру необходимо знать иностранные языки, что лично ему сравнительно трудно дается английский, в особенности произношение. И он рассказал мне, как в магазине Дейблера он на днях спросил у приказчика «Экономическую историю Англии» Эшли... Продавец, иностранец, его не понял.

«Эшли... Эшли...» — несколько раз повторил он с недоумением, наконец попросил написать имя автора и тут же быстро и уверенно проговорил: «Ах, Эйшлей!» — и достал книгу.

Осенью 1894 года в кружке петербургских марксистов Ленин выступает с рефератом «Отражение марксизма в буржуазной литературе», резко критикуя книгу П. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». В написанном осенью 1907 года предисловии к сборнику «За 12 лет» Владимир Ильич так рассказывает о петербургском периоде своей революционной деятельности, характеризуя политический смысл статьи «Экономическое содержание народничества...»:

— ...свою, направленную против г. Струве работу (статья «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» за подписью К. Тулин в сожженном цензурой сборнике «Материалы к вопросу о хозяйственном развитии России», СПб, 1895 г.) я перепечатаваю теперь целиком в тройных целях. Во-первых, поскольку читающая публика ознакомилась с книгой г. Струве и статьями народников против марксистов в 1894—1895 году, постольку имеет значение и критика точки зрения г. Струве. Во-вторых, предостережение г-ну Струве со стороны революционного социал-демократа, сделанное одновременно с нашими общими выступлениями против народников, имеет значение и для ответа тем, кто неоднократно обвинял нас за союз с подобными господами, и для оценки очень знаменательной политической карьеры г. Струве. В-третьих, старая и во многих отношениях устаревшая полемика со Струве имеет значение поучительного образчика. Образчик этот показывает практически-политическую ценность непримиримой теоретической полемики...

Я должен заметить еще по поводу статьи против г. Струве, что в основу ее положен реферат, читанный мной осенью 1894 года в небольшом кружке тогдашних марксистов. От группы с.д., работавших тогда в Петербурге и создавших год спустя «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», в этом кружке были Ст., Р. и я. Из легальных литераторов-марксистов были П. Б. Струве, А. Н. Потресов и К. В этом кружке я читал реферат, озаглавленный: «Отражение марксизма в буржуазной литературе». Как видно из заглавия, полемика со Струве была здесь несравненно более резка и определена (по социал-демократическим выводам), чем в напечатанной весной 1895 года статье. Смягчения были сделаны частью по цензурным соображениям, частью ради «союза» с легальным марксизмом для совместной борьбы против народничества.

Вл. Ильин. За 12 лет. Собрание статей. Том первый. СПб. 1908.

Упомянутые под конспиративными инициалами: Ст., Р. и К.— это В. В. Старков (1869—1925) — один из руководителей «Союза борьбы», С. И. Радченко (1868—1911) — избранный членом ЦК на I съезде РСДРП, но в 1905 году отошедший от политической деятельности, и Р. Э. Классон (1868—1926) — в девяностых годах «легальный марксист», а впоследствии выдающийся инженер-энергетик, изобретатель гидравлического способа добычи торфа. К воспоминаниям о страстных дискуссиях тех дней Владимир Ильич возвращается и четверть века спустя. 2 ноября 1920 года он пишет Р. Э. Классону:

— ...Вы, по-видимому, слишком много времени потратили на «бессмысленные мечтания» о реставрации капитализма и не отнеслись достаточно внимательно к крайне своеобразным особенностям переходного времени от капитализма к социализму... я говорю это не с целью упрека и не только потому, что вспомнил теоретические прения 1894—1895 годов с Вами...

«Ленинский сборник» XXXV. М. 1945.

В. В. Старков рассказывает, как проходили эти «теоретические прения» представителей революционного марксизма с его буржуазно-либеральными фальсификаторами:

— ...Владимир Ильич поразил нас всех, хотя он был таким же юнцом, как и все мы, тем литературным и научным багажом, которым он располагал. Особенно резко проявилось это при наших дискуссиях с Струве, Потресовым и инженером

Классоном... От нашей группы на диспут с группой «легальных марксистов» были назначены Владимир Ильич, я и... С. И. Радченко...

Споры доходили до самых глубин исторических и экономических проблем и в конечном счете велись почти исключительно между Струве и Владимиром Ильичем, причем, полагаю, Струве был не меньше нас поражен глубиной и всесторонностью познаний Владимира Ильича в этой области. А между тем Владимиру Ильичу в это время было всего 22—23 года... при этих диспутах Владимир Ильич поразил нас всех, в том числе и Струве, своей поразительной трудоспособностью. Бывало не раз так, что Струве оперировал при спорах каким-либо литературным материалом (обычно иностранным), неизвестным Владимиру Ильичу. В таких случаях Владимир Ильич забирал томы материалов у Струве или находил их в публичной библиотеке и на следующее заседание, всего лишь через один или два дня, являлся во всеоружии, вполне владея этим материалом и давая нам блестящий и глубокий анализ его.

В. В. Старков. Воспоминания о В. И. Ленине (Ульянове).  
«Красная новь», 1925, № 8.

Зимой и весной 1895 года Ленин руководит подпольными кружками петербургских рабочих, проводит ряд совещаний с социал-демократами. Для легального прикрытия революционной деятельности Ленин становится помощником присяжного поверенного. О характере своей адвокатской работы в Петербурге он однажды рассказывал М. А. Сильвину:

...когда я как-то спросил Владимира Ильича, как идет его юридическая работа, он сообщил мне, что работы, в сущности, никакой нет, что за год, если не считать обязательных выступлений в суде, он не заработал даже столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов на ведение дел. Об адвокатской работе он скоро вовсе перестал думать.

М. А. Сильвин. Ленин в период зарождения партии.

### ЗА ГРАНИЦЕЙ (1895)

Двадцать пятого апреля 1895 года Ленин впервые выезжает за границу. Его главная цель — установление революционных связей с плехановской группой «Освобождение труда». Намеревается он ознакомиться с западноевропейским рабочим движением, встретиться с крупнейшими зарубежными марксистами, изучить недоступную в царской России марксистскую литературу. Пять лет спустя на допросе в Петербургском охранном отделении Владимир Ильич напишет в протоколе допроса:

— В 1895 году был в Германии и Франции для научных занятий...

«Красная летопись», 1924, № 1.

Предметом этих занятий Владимира Ильича был в то время прежде всего революционный марксизм. Об этом свидетельствует открывающий ленинские «Философские тетради» комплект книги Маркса и Энгельса «Святое семейство или критика критической критики», изданной в 1845 году во Франкфурте-на-Майне<sup>1</sup>. Его письма родным содержат любопытные путевые заметки. 2 мая 1895 года Ленин пишет матери из Зальцбурга:

— По «загранице» путешествую уже вторые сутки и упражняюсь в языке: я оказался совсем швах, понимаю немцев с величайшим трудом, лучше сказать, не понимаю вовсе («Не понимаю даже самых простых слов, — до того необычно их произношение, и до того они быстро говорят», — поясняет он в подстрочном примечании. — Б. М.). Пристаешь к кондуктору с каким-нибудь вопросом, — он отвечает; я не понимаю. Он повторяет громче. Я все-таки не понимаю,

<sup>1</sup> См. «Ленинский сборник» XII. М. 1930.

и тот сердится и уходит. Несмотря на такое позорное фиаско, духом не падаю и довольно усердно коверкаю немецкий язык.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Следующее письмо отправлено Марии Александровне из Швейцарии 8 мая:

— Предыдущее письмо писал с дороги. Теперь уже устроился на месте, — думаю, впрочем, что не надолго и что скоро опять поеду куда-нибудь.

Природа здесь роскошная. Я люблю ее все время. Тотчас же за той немецкой станцией, с которой я писал тебе, начались Альпы, пошли озера, так что нельзя было оторваться от окна вагона...

Т а м ж е.

В те дни Ленин впервые встретился в Женеве с Г. В. Плехановым, а в Цюрихе с П. Б. Аксельродом, договариваясь с ними об издании за границей сборника «Работник». Излагая беседы с Владимиром Ильичем о его первых встречах с Плехановым и Аксельродом, Анна Ильинична пишет:

— Вернувшись из-за границы в 1895 г., он много рассказывал мне... об Аксельроде, сказав даже, что тот напомнил ему покойного отца. «Отношение Плеханова было также вполне хорошее», говорил он мне, но с ним чувствовался все же некоторый холодок, а с Павлом Борисовичем совсем простые, дружеские отношения установились. И Владимир Ильич рассказывал мне о прогулках за город, о беседах с видимым удовольствием и большой теплотой...

А. И. Е л и з а р о в а. Владимир Ильич в ссылке (1897 г.). «Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

В архиве старого большевика П. А. Красикова сохранилась еще не изданная полностью рукопись его воспоминаний, озаглавленная «Некоторые моменты моей жизни и моих отношений к В. И. Ленину-Ульянову». Одна из его записей воспроизводит беседу с Владимиром Ильичем, состоявшуюся, видимо, весной 1897 года в Красноярске, два года спустя после первой ленинской встречи с Г. В. Плехановым:

— Ильич знал, что я был привлечен за сношения с Плехановым и его группой... Ильич спросил меня, какие остались у меня личные отношения с Плехановым?

Я помню, подробно рассказал ему... в каком тяжелом материальном и физическом состоянии я знал Плеханова, почти без средств как для издания марксистской литературы, так и для собственного существования, с гнездящимся в его организме туберкулезом, с женой, которая готовилась стать врачом, но еще почти ничего не зарабатывала, с тремя дочерьми, из которых одна умерла от менингита, причем обнаружилась потрясающая картина той нужды, в которой жила семья Плеханова. Я описал жалкий вид костюма Плеханова, бахрому его брюк, порыжелость пальтишка и цилиндра, вечный бронхит и бледность его щек...

Владимир Ильич, как это он всегда умел делать, внимательно слушал мой рассказ, не прерывая его, но отдельными замечаниями и полувопросами направляя разговор в нужное ему русло... Владимир Ильич сказал:

— Ну вот, как вы, конечно, знаете, теперь дело с Плехановым стоит уже иначе. Мы сделали и сделаем все, чтобы привлечь и сберечь для нашего общего дела такой блестящий ум и сделать общим достоянием такую огромную литературную силу. Вот эта книжка, — он указал на лежащую у меня на столе книгу Бельтова, — прекрасная книжка, и в то же время она дала Георгию Валентиновичу изрядную сумму франков. Когда я его видел в 1895 году, от штанов с бахромой уже не осталось и следа! А теперь мы смело можем сказать, что он нужды уже никогда не увидит. Но дружба с ним, и в том числе личная, нам очень важна. У революционера его закала личная связь, личная симпатия играют огромную роль.

«Известия», 19 апреля 1963 года.

Упомянутая в беседе Ленина с Красиковым книга — это издавшийся под псевдонимом «Н. Бельтов» труд Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Ленин считал, что на этой книге «воспиталось целое поколение русских марксистов»<sup>1</sup>. К этому-то поколению и принадлежал Ленин. Его встречи с Плехановым не остались тайной для зарубежной агентуры царской охранки. Уже 26 мая департамент полиции инструктирует всех начальников жандармских пограничных пунктов о том, как им поступить «по прибытии на пограничный пункт» Владимира Ульянова. В данном случае, особо тревожащем охранку, предписывается произвести «тщательный осмотр багажа и о направлении избранного пути уведомить департамент полиции и начальника подлежащего жандармского управления для продолжения негласного надзора полиции...»<sup>2</sup>. На другой день — 27 мая — Владимир Ильич пишет матери из Парижа:

— В Париже я только еще начинаю мало-мало осматриваться: город громадный, изрядно раскинутый, так что окраины (на которых чаще бываешь) не дают представления о центре. Впечатление производит очень приятное — широкие, светлые улицы, очень часто бульвары, много зелени; публика держит себя совершенно непринужденно, — так что даже несколько удивляешься сначала, привыкнув к петербургской чинности и строгости.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Обычного путешественника манит центр Парижа с его знаменитыми развлечениями. Ленин куда чаще бывает на рабочих окраинах. Его прежде всего интересует пролетарский Париж, Париж коммунаров и социалистов. Г. М. Кржижановский рассказывает:

...Наконец наступил желанный день, и наш «Старик», стремительный и подвижный, как ртуть, вновь вернулся в нашу среду. Он живо рассказывал нам о тех впечатлениях, которые вынес от знакомства с Плехановым, Аксельродом и Засулич. Однако в памяти моей с гораздо большей яркостью живет его описание встреч с парижским пролетариатом. Французский рабочий-массовик своим общим культурным уровнем, своей живой восприимчивостью и своей товарищеской общительностью, по словам Владимира Ильича, представлял как раз тот человеческий материал, с которым наиболее естественным образом могли связываться упования марксистов-революционеров.

Г. М. Кржижановский. О Владимире Ильиче. М. 1924.

Седьмого февраля 1898 года, уже в ссылке, шутливо разделяя опасения матери, предполагающей, что Мария Ильинична «угорит... в Париже», Ленин вспоминает.

...я жил в Париже всего месяц, занимался там мало, все больше бегал по «достопримечательностям».

«Пролетарская революция», 1929, № 4.

Еще через много лет — 21 февраля 1914 года — Владимир Ильич делится с матерью такими впечатлениями от Парижа, опирающимися, видимо, и на его юношеские наблюдения:

— Париж — город очень неудобный для жизни при скромных средствах и очень утомительный. Но побывать ненадолго, навестить, прокатиться — нет лучше и веселее города.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Со второй половины июля 1895 года Ленин уже в Германии 10 августа Владимир Ильич пишет М. А. Ульяновой из Берлина, сообщая свой адрес в Моабите, на Фленсбургерштрассе, 121<sup>1</sup>, у некоей фрау Куррейк:

<sup>1</sup> «Социал-демократ», 30 августа 1910 года.

<sup>2</sup> «Красный архив», 1934, № 1.

— Устроился я здесь очень недурно: в нескольких шагах от меня Tiergarten (прекрасный парк, лучший и самый большой в Берлине), Шпре, где я ежедневно купаюсь, и станция городской железной дороги. Здесь через весь город идет (над улицами) железная дорога: поезда ходят каждые 5 минут, так что мне очень удобно ездить в «город» (Моабит, в котором я живу, считается собственно уже предместьем).

Плохую только очень по части языка: разговорную немецкую речь понимаю несравненно хуже французской. Немцы произносят так непривычно, что я не разбираю слов даже в публичной речи, тогда как во Франции я понимал почти все в таких речах с первого же раза. Третьего дня был в театре; давали «Weber»<sup>1</sup> Гауптмана. Несмотря на то, что я перед представлением перечитал всю драму, чтобы следить за игрой,— я не мог уловить всех фраз. Впрочем, я не унываю и жалею только, что у меня слишком мало времени для основательного изучения языка.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Семнадцатого августа Владимир Ильич подробно рассказывает матери о своей жизни в Берлине:

— Живу я по-прежнему и Берлином пока доволен... Занимаюсь по-прежнему в Königliche Bibliothek<sup>2</sup>, а по вечерам обыкновенно шляюсь по разным местам, изучая берлинские нравы и прислушиваясь к немецкой речи. Теперь уже немножко освоился и понимаю несколько лучше, хотя все-таки очень и очень еще плохо.

Берлинские Sehenswürdigkeiten<sup>3</sup> посещаю очень лениво: я вообще к ним довольно равнодушен и большей частью попадаю случайно. Да мне вообще шлянье по разным народным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т. п...

Т а м ж е.

Наконец 26 августа Ленин отправляет родным последнее письмо из Германии. В нем речь идет о знаменитом конспиративном чемодане, под двойным дном которого Владимиру Ильичу удалось, несмотря на бдительность царских жандармов, провезти нелегальную революционную литературу:

— Живу я здесь все так же и обжился уже настолько, что чувствую себя почти как дома, и охотно остался бы тут подольше.— но время подходит уже уезжать, и я начинаю подумывать о разных практических вопросах, вроде покупки вещей и чемодана...

Т а м ж е.

Этим письмом исчерпываются автобиографические документы Ленина, связанные с его первой поездкой за границу. Уже 7 сентября вержболовский жандарм доносит о прибытии из-за границы Ульянова, направившегося, «судя по купленному билету, в г-р. Вильно». «По самому тщательному досмотру его багажа, ничего предосудительного не обнаружено»,— гласит жандармская сводка. Вскоре, однако, директор департамента полиции сообщает начальству петербургских жандармов, что, по поступившим «агентурным сведениям, Ульянов успел войти за границей в сношения с известным эмигрантом Плехановым, который будто бы и обещал доставить в империю революционную литературу»<sup>4</sup>. Ее и впрямь привез Ленин в своем чемодане, за которым, к счастью, вполне безуспешно охотится охранка. Вот что рассказывает об этом старшая сестра Ленина:

— Владимир Ильич был очень доволен своей поездкой... он рассказывал по возвращении, что отношения с Плехановым установились хотя и хорошие, но

<sup>1</sup> «Ткачи».

<sup>2</sup> Королевская библиотека.

<sup>3</sup> Достопримечательности.

<sup>4</sup> «Красный архив», 1934, № 1.

довольно далекие, с Аксельродом же совсем близкие, дружественные... По возвращении из-за границы Владимир Ильич был у нас в Москве и много рассказывал о своей поездке и беседах, был особенно довольный, оживленный, я бы сказала даже — сияющий. Последнее происходило, главным образом, от удачи на границе с провозом нелегальной литературы... Владимир Ильич не намеревался сначала везти с собой что-нибудь нелегальное, но за границей не выдержал, искушение было слишком сильно, — и он взял чемодан с двойным дном. Это был обычный в то время способ перевозить нелегальную литературу: она укладывалась между двумя днами. Работа производилась в заграничных мастерских чисто и аккуратно, но способ этот был все же очень известен полиции, — вся надежда была на то, что не станут же исследовать каждый чемодан. Но вот при таможенном осмотре чемодан Владимира Ильича был перевернут вверх дном и по дну, кроме того, прищелкнули. Зная, что опытные пограничные чиновники определяют таким образом наличие второго дна, Владимир Ильич решил, как рассказывал нам, что влетел. Тот факт, что его благополучно отпустили и он сдал чемодан в Питере, где последний был также благополучно распотрошен, привел его в великолепное настроение, с которым он и приехал к нам в Москву.

А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания об Ильиче.  
М.—Л. 1931.

### ПЕТЕРБУРГ (1895)

Седьмого сентября 1895 года Ленин возвращается в Россию. Он едет в Вильно, Москву и Орехово-Зуево, всюду встречаясь с местными социал-демократами и договариваясь с ними о поддержке совместного с группой «Освобождение труда» издания сборника «Работник». 29 сентября Владимир Ильич в Петербурге. Он формирует здесь «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», руководит всей его агитационной и организаторской деятельностью. В начале ноября он пишет в Цюрих П. Б. Аксельроду:

— Буду рассказывать по порядку. Был прежде всего в Вильне. Беседовал с публикой о сборнике. Большинство согласно с мыслью о необходимости такого издания и обещают поддержку и доставление материала. Их настроение вообще недоверчивое... дескать, посмотрим, будет ли соответствовать тактике агитационной, тактике экономической борьбы. Я напирал больше всего на то, что это зависит от нас.

Далее. Был в Москве. Никого не видал... Там были громадные погромы, но, кажется, остался кое-кто, и работа не прекращается... Потом был в Орехово-Зуево. Чрезвычайно оригинальны эти места, часто встречаемые в центральном промышленном районе: чисто фабричный городок, с десятками тысяч жителей, только и живущий фабрикой. Фабричная администрация — единственное начальство. «Управляет» городом фабричная контора. Раскол народа на рабочих и буржуа — самый резкий. Рабочие настроены поэтому довольно оппозиционно, но после бывшего там недавно погрома осталось так мало публики и вся на примете до того, что сношения очень трудны...<sup>1</sup>

«Бюллетень Института В. И. Ленина при ЦК РКП(б)». М.  
1923, № 1.

Осенью 1895 года Ленин пишет брошюру «Объяснение закона о штрафах...». О своей работе над этой брошюрой он вспоминает в одном из примечаний к четвертой главе книги «Что делать?»:

<sup>1</sup> Никакие иные документальные и мемуарные свидетельства о поездке Ленина в Орехово-Зуево, кроме приведенных автобиографических, неизвестны. Интересные предположения о наиболее вероятных конспиративных связях Владимира Ильича с подпольщиками города текстильщиков Подмосковья высказывают местные историки и краеведы С. Рождественский, С. Зрячкин и А. Кайев («Орехово-Зуевская правда», 22 апреля 1958, 22 апреля 1960 и 21 апреля 1963).

— Как сейчас помню свой «первый опыт», которого бы я никогда не повторил. Я возился много недель, допрашивая «с пристрастием» одного ходившего ко мне рабочего о всех и всяческих порядках на громадном заводе, где он работал. Правда, описание (одного только завода!) я, хотя и с громадным трудом, все же все-таки составил, но зато рабочий, бывало, вытирая пот, говорил под конец занятий с улыбкой: «мне легче экстру проработать, чем вам на вопросы отвечать!»

Н. Ленин. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Штуттгарт. 1902.

Этим информатором Ленина был, видимо, А. П. Ильин — рабочий судостроительного завода «Новое Адмиралтейство». Он пишет о своих встречах с Владимиром Ильичем:

— Сказав, что он работает над какой-то книгой, тов. Ульянов попросил меня сообщать ему самым точным образом все то, о чем он будет меня спрашивать, заметив, что от этого зависит для него очень много важного... Много фактов сообщил я в вечера наших свиданий Владимиру Ильичу о штрафах, которые форменным образом съедали весь заработок рабочего.

А. П. Ильин. В. И. Ульянов в рабочих кружках Петербурга. «Бакинский рабочий», 24 января 1926 года.

Не раз вспоминает Ленин различные эпизоды революционной конспирации. Анна Ильинична и Надежда Константиновна рассказывают:

— С осени 1895 года за Владимиром Ильичем сильно следили. Он говорил мне об этом... поздней осенью этого года. Он говорил, чтобы в случае его ареста не пускать в Питер мать, для которой хождение в разные учреждения с хлопотами о нем было особенно тягостно, так как было связано с воспоминаниями о таком же хождении для старшего сына... Рассказывал Владимир Ильич мне несколько случаев о том, как он удирает от шпижков... рассказы его, которые он передавал очень живо, с веселым хохотом, были, помню, очень забавны. Запомнился мне особенно один случай. Шпион настойчиво преследовал Владимира Ильича, который никак не хотел привести его на квартиру, куда отправлялся, а отделаться тоже никак не мог. Выслеживая этого нежеланного спутника, Ильич обнаружил его в глубоких воротах питерского дома. Тогда, быстро миновав ворота, он вбежал в подъезд того же дома и наблюдал оттуда с удовольствием, как заматался выскочивший из своей засады и потерявший его преследователь.

«Я уселся, — передавал он, — на кресло швейцара, откуда меня не было видно, а через стекло я мог все наблюдать, и потешался, глядя на его затруднительное положение; а какой-то спускавшийся с лестницы человек с удивлением посмотрел на сидящего в кресле швейцара и покатывавшегося со смеха субъекта»<sup>1</sup>.

А. И. Елизарова-Ульянова. Воспоминания об Ильиче.

— Хождение по рабочим кружкам не прошло, конечно, даром: началась усиленная слежка. Из всей нашей группы Владимир Ильич лучше всех был подкован по части конспираций: он знал проходные дворы, умел великолепно надувать

<sup>1</sup> Об этом же рассказывает и М. А. Сильвин: «Однажды забежав ко мне, Владимир Ильич весело рассказывал, как он только что «провел» шпика, быстро завернув за угол и войдя в ближайший подъезд. Он просидел в этом месте с полчаса на стуле для швейцара, пользуясь отсутствием последнего, и видел сквозь стекла двери, как мечется плюгавая фигура, бегая взад и вперед, но, убедившись, что след не отыскать, бросила слезку...»

Ильич... настойчиво и непрерывно предостерегал нас от обывательских повадок, от дружеской переписки с намеками в ней на нашу подпольную деятельность, на аресты товарищей, на выдающиеся черты и личные особенности их... Он настаивал на необходимости заматывать следы при посещении рабочих квартир, чаще менять вагоны конок при переездах по городу, пользоваться проходными дворами, остерегаться громких разговоров у себя дома из-за возможности ненадежного соседства, не оставлять нелегальщи-

шпионов, обучал нас, как писать химией в книгах, как писать точками, ставить условные знаки, придумывал всякие клички. Вообще у него чувствовалась хорошая народвольческая выучка. Недаром он с таким уважением говорил о старом народвольце Михайлове, получившем за свою конспиративную выдержку кличку «дворник». Слежка все росла, и Владимир Ильич настаивал, что должен быть назначен «наследник», за которым нет слежки и которому надо передать все связи. Так как я была наиболее «чистым» человеком, то решено было назначить «наследницей» меня...

Н. К. Крупская. Воспоминания. М. 1925.

К воспоминаниям о петербургском революционном подполье Владимир Ильич возвращается и десятилетие спустя — летом 1905 года. Делегат III съезда партии Г. И. Крамольников, впоследствии один из самых серьезных исследователей литературного наследия Ленина, пишет:

— Незадолго до закрытия съезда Алеша Джапаридзе предложил мне перед отъездом из Лондона зайти к Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне.

Когда мы пришли к ним, Надежда Константиновна прежде всего заставила Алешу вырвать из записной книжки листок с адресом для связи с В. И. Лениным, а затем не успокоилась до тех пор, пока мы не заучили этот адрес. Владимир Ильич посмеялся, но одобрил натиск на нас Надежды Константиновны и тут же вспомнил, что еще в 1895 году в Петербурге, при организации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», в нелегальных кругах было усвоено одно хорошее положение: «Когда имеешь дело с секретными, конспиративными делами, надо говорить не с тем, с кем вообще можно беседовать, и не о том, о чем вообще можно говорить, а только с тем, с кем нужно, о том, и только о том, о чем нужно». И Владимир Ильич добавил:

— Полагаю, и теперь, через 10 лет, в 1905 году, это правило не устарело...

Г. И. Крамольников. Из воспоминаний делегата III съезда партии. Сборник «О Владимире Ильиче Ленине». Воспоминания. 1900—1922. М. 1963.

В ноябре 1895 года Ленин пишет статью «О чем думают наши министры?». О ней Владимир Ильич беседует с Анной Ильиничной:

...никто не говорил с самого начала определеннее Владимира Ильича... что политическое сознание должно развиваться с первых же бесед и с первых листков. Помню разговор с ним об этом поздней осенью 1895 года незадолго до его ареста, когда я приехала опять к нему в Петербург...

Владимир Ильич указывал мне тогда, что все дело в подходе.

«Конечно, если сразу говорить против царя и существующего строя, то это только оттолкнет рабочих. Но ведь «политикой» переплетена вся повседневная жизнь. Грубость и самодурство урядников, пристава, жандарма и их вмешательство при всяком несогласии с хозяином обязательно в интересах последнего, отношение к стачкам всех власть имущих — все это быстро показывает, на чьей они стороне. Надо только всякий раз отмечать это в листках, в статьях, указывать на роль местного урядника или жандарма, а там уже постепенно направляемая в эту сторону мысль пойдет дальше. Важно только с самого начала подчеркивать это, не давать развиваться иллюзии, что одной борьбой с фабрикантами можно добиться чего-нибудь». «Вот, например, — говорил Владимир Ильич, — вышел новый закон о рабочих... его следует разъяснить, показать, насколько тут

ны на виду домашней прислуги и квартирных хозяев. Наружное наблюдение за нами чем дальше, тем больше становилось все более назойливым и наглым, и на это также обращал наше внимание Владимир Ильич... Владимир Ильич особенно настаивал на соблюдении элементарных правил конспирации, на возможно более редких посещениях друг друга в порядке приятельства и дружбы, на прекращении ненужной переписки со знакомыми во избежание невольных нескромностей и разных ненужных сообщений» (М. А. Сильвин. Ленин в период зарождения партии).

делается что-либо для рабочих и насколько — для фабрикантов. И вот в газете, которую мы выпускаем, мы помещаем передовицей статью: «Как министр заботится о рабочих»<sup>1</sup>, которая покажет им, что такое наше законодательство, чьи интересы оно защищает. Мы намеренно говорим о министре, а не о царе. Но эта статья будет политической, и такой должна быть обязательно передовица каждого номера, чтобы газета воспитывала политическое сознание рабочих».

А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания об Ильиче.

За три дня до ареста Владимир Ильич сообщает матери:

— Живу я по-прежнему. Комнатой не очень доволен — во-первых, из-за придирчивости хозяйки; во-вторых, оказалось, что соседняя комната отделяется тоненькой перегородкой, так что все слышно и приходится иногда убежать от бала-лайки, которой над ухом забавляется сосед. К счастью, это бывало до сих пор не часто. Большею частью его не бывает дома, и тогда в квартире очень тихо.

Останусь ли я тут еще на месяц или нет, — пока не знаю. Посмотрю. Во всяком случае на рождество, когда кончается срок моей комнаты, не трудно будет найти другую.

Погода стоит теперь здесь очень хорошая, и мое новое пальто оказывается как раз по сезону<sup>2</sup>.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

В ноябре—декабре Ленин готовит первый номер органа «Союза борьбы» — подпольной газеты «Рабочее дело», пишет для него статьи: «К русским рабочим», «Ярославская стачка 1895 года»... 6 и 8 декабря (за несколько часов до ареста!) руководящая группа «Союза» обсуждает под председательством Ленина материалы газеты. Об этом первом ленинском опыте редактирования революционной газеты рассказано в книге «Что делать?»:

...той группой петербургских социал-демократов, которая основала «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», был составлен еще в конце 1895 года первый номер газеты под названием «Рабочее Дело»: Вполне готовый к печати этот номер был схвачен жандармами в набег с 8-го на 9-е декабря 1895 года у одного из членов группы, Анат. Алекс. Ванеева, и «Раб. Делу» первой формации не суждено было увидеть света. Передовая статья этой газеты (которую, может быть, лет через 30 извлечет какая-нибудь «Русская Старина» из архивов департамента полиции) обрисовывала исторические задачи рабочего класса в России и во главе этих задач ставила завоевание политической свободы. Затем была статья «О чем думают наши министры?», посвященная полицейскому разгрому Комитетов грамотности, и ряд корреспонденций не только из Петербурга, но и из других местностей России (напр., о побоище рабочих в Ярославской губ.). Таким образом этот, если не ошибаемся, «первый опыт» русских социал-демократов 90-х годов представлял из себя газету не узко местного, тем более не «экономического» характера, стремившуюся соединить стачечную борьбу с революционным движением прогив самодержавия и привлечь к поддержке социал-демократии всех угнетенных политикой реакционного мракобесия. И никто, хоть сколько-нибудь знакомый с состоянием движения в то время, не усомнится, что подобная газета встретила бы полное сочувствие и рабочих столицы и револю-

<sup>1</sup> А. И. Ульянова имеет в виду статью «О чем думают наши министры?».

<sup>2</sup> Последние строки письма, видимо, связаны с обстоятельствами, о которых вспоминает Анна Ильинична: «Поздней осенью... мы с матерью ездили в Питер навестить Володю. У матери была при этом специальная цель. купить ему зимнее пальто. Володя был всегда очень непрактичен в житейских, обыденных вещах, — он не умел и не любил покупать себе что-нибудь, и обычно и позже эту задачу брали на себя мать или я. В этом он напоминал всецело отца, которому мать заказывала всегда костюмы, выбирала материал для них и который, как и Володя, был чрезвычайно безразличен к тому, что надеть, привыкал к вещам и по своей инициативе никогда, кажется, не сменил бы их. Володя и в этом, как и во многом другом, был весь в отца» (А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания об Ильиче).

ционной интеллигенции и получила бы самое широкое распространение. Неудачей же предприятия доказал лишь, что тогдашние социал-демократы оказались не в силах удовлетворить насущный запрос момента вследствие недостатка у них революционного опыта и практической подготовленности.

Н. Ленин. Что делать?

Одно из высказываний Владимира Ильича на этом редакционном совещании: воспроизводит М. А. Сильвин:

...Владимир Ильич в качестве редактора «Рабочего дела» читал нам все статьи, предназначенные для первого номера. Он, улыбаясь, начал с заявления: «Я понимаю свои обязанности редактора самодержавно», — исключая, таким образом, ненужные прения по содержанию статей, которые уже были согласованы с отдельными авторами.

М. А. Сильвин. Ленин в период зарождения партии.

В «Что делать?» Ленин критически оценивает революционную работу тех лет:

— Основной наш грех в организационном отношении — что мы своим кустарничеством уронили престиж революционера на Руси... Пусть не обижается на меня за это резкое слово ни один практик, ибо, поскольку речь идет о неподготовленности, я отношу его прежде всего к самому себе. Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи, — и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию! И чем чаще мне с тех пор приходилось вспоминать о том жгучем чувстве стыда, которое я тогда испытывал, тем больше у меня накоплялось горечи против тех лжесоциал-демократов, которые своей проповедью «позорят революционера сан», которые не понимают того, что наша задача — не защищать принижение революционера до кустаря, а поднять кустарей до революционеров.

Н. Ленин. Что делать?

Общую и в то же время несомненно автобиографическую характеристику этого периода революционной деятельности Ленин дает и в заключении к своей книге:

...1894—1898 гг. Социал-демократия появляется на свет божий, как общественное движение, как подъем народных масс, как политическая партия... Большинство руководителей — совсем молодые люди, далеко не достигшие того «тридцатипятилетнего возраста», который казался г. Н. Михайловскому какой-то естественной гранью. Благодаря своей молодости, они оказываются неподготовленными к практической работе и поразительно быстро сходят со сцены... Борьба заставляла учиться, читать нелегальные произведения всяких направлений, заниматься усиленно вопросами легального народничества. Воспитанные на этой борьбе социал-демократы шли в рабочее движение, «ни на минуту» не забывая ни о теории марксизма, озарившей их ярким светом, ни о задаче низвержения самодержавия.

Там же.

Мы уже приводили ту незаконченную автобиографию, которую Ленин начал писать по просьбе солдат-фронтовиков в мае 1917 года. Видимо, по его поручению в те дни Н. К. Крупская подготовила статью «Страничка из истории Российской социал-демократической рабочей партии», напечатанную 13 мая в газете «Солдатская правда». Сохранившаяся рукопись показывает, что Владимир Ильич отредактировал эту статью и внес в нее немаловажные поправки, уточнения и добавления. Первые из них посвящены его революционной деятельности в Петербурге 1894—1895 годов.

Н. К. Крупская писала: «Первый раз Ленин был арестован в 1887 году, но практически стал работать лишь с 1894 г.». Владимир Ильич вычеркнул слово «лишь», противоречащее его работе в подпольных марксистских кружках Поволжья, и вписал вместо него слова:

— в массовом социал-демократическом движении...

Далее Надежда Константиновна сообщала: «В 1895 г. Ленин ездил за границу повидаться с группой «Освобождение труда», столкнуться с Плехановым, Аксельродом, Засулич о постановке дальнейшей работы. [На обратном пути он провез чемодан с нелегальной литературой. За это].. был он арестован...» Ленин вычеркнул заключенные в квадратные скобки слова и написал:

— За социал-демократическую работу в Питере...

«Записки Института Ленина». П.— М. 1927.

### ТЮРЬМА (1895—1897)

В ночь с 8 на 9 декабря 1895 года петербургские жандармы арестовывают Ленина и его ближайших соратников по «Союзу борьбы»: А. А. Ванеева, П. К. Запорожца, Г. М. Кржижановского, В. В. Старкова и других. Ленина заключают в камеру № 193 петербургского дома предварительного заключения.

Пять лет спустя, в мае 1900 года, на допросе у начальника петербургской охранки полковника Пирамидова Ленин заявляет:

— В 1895 году был... привлечен при с.-петербургском губернском жандармском управлении по обвинению в противоправительственной пропаганде среди с.-петербургских рабочих...

«Красная летопись», 1924, № 1.

Двадцать первого декабря 1895 года жандармы допрашивают Владимира Ильича в тюрьме. Допрос в присутствии товарища прокурора Петербургской судебной палаты ведет «отдельного корпуса жандармов» подполковник Клыков. Однако ему так и не удается добиться каких бы то ни было показаний, выгодных следствию. Сначала, не зная, в какой мере провокаторы помогли охранке разобраться в деятельности «Союза борьбы», Ленин отвергает решительно все предъявляемые ему обвинения. Вот что записано в первом протоколе:

— Зовут меня Владимир Ильич Ульянов... По поводу отобранных у меня по обыску и предъявляемых мне вещественных доказательств объясняю, что воззвание к рабочим и описание одной стачки на одной фабрике находились у меня случайно, взятые для прочтения у лица, имени которого не помню.

Предъявленный мне счет составлен лицом, имени которого я назвать не желаю, по порученной им мне продаже книг, во-первых, Бельтова (О монизме в истории) и, во-вторых, сборника в пользу недостаточных студентов университета св. Владимира... Почерк, коим писана рукопись под № 2 и 3 по протоколу осмотра, мне неизвестен, и рукопись, означенная под № 4, где описана Ярославская стачка 1895 г., писана мною с рукописи, полученной мною, как выше было указано, и возвращенной обратно. На заданный мне вопрос о знакомстве со студентом Запорожцем отвечаю, что вообще о знакомствах своих говорить не желаю, вследствие опасения компрометировать своим знакомством кого бы то ни было. При поездке за границу я приобрел себе... французские, немецкие и английские книги, из которых припоминаю: Schoenblank, Bruno, «Zur Lage der Arbeitenden Klasse in Bayern», Stadthagen, A., Der Arbeiterrecht. «Les paysans»<sup>1</sup> и другие. Когда я поехал за границу, я имел при себе чемодан, которого теперь у меня нет, и где я

<sup>1</sup> Шёнбланк, Бруно, «К положению рабочего класса в Баварии», Штадтхаген, А., «Трудовое право», «Крестьяне».

его оставил, не помню. Уезжая за границу, я переехал границу, кажется, 1 мая, а возвратился в первой половине сентября. По возвращении из-за границы я прямо проехал к матери в Москву: Пречистенка, Мансуровский переулоч, дом Лоськова (ее тогдашний адрес), а оттуда в 20 числа сентября приехал в С.-Петербург и поселился в Таировом переулке, дом № 44/6, кв. № 30. Вещи на квартиру я перевез с вокзала. В день ли приезда я нашел эту квартиру или спустя несколько дней, я не помню. Мне кажется, что 17 числа я не был еще в С.-Петербурге, но положительного ответа о числах сверх вышеизложенного дать не могу.

«Красный архив», 1934, № 1.

Сразу после допроса Владимиру Ильичу удается передать Н. К. Крупской шифрованную записку для родных. О ее содержании вспоминает Анна Ильинична:

— После первого допроса он послал к нам в Москву Надежду Константиновну Крупскую с поручением. В шифрованном письме он просил ее срочно предупредить нас, что на вопрос, где чемодан, привезенный им из-за границы, он сказал, что оставил его у нас, в Москве. «Пусть купят похожий на мой, покажут скорее, а то арестуют». Так звучало его сообщение, которое я хорошо запомнила.

А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания об Ильиче.

Двенадцатого января 1896 года Владимир Ильич пишет старшей сестре:

— Получил вчера припасы от тебя, и как раз перед тобой еще кто-то принес мне всяких снедей, так что у меня собираются целые запасы: чаем, например, с успехом мог бы открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной. Хлеба я ем очень мало, стараясь соблюдать некоторую диету. — а ты принесла такое необъятное количество, что его хватит, я думаю, чуть не на неделю, и он достигнет, вероятно, не меньшей крепости, чем воскресный пирог достигал в Обломовке... Сплю я часов по девять в сутки и вижу во сне различные главы будущей своей книги.

В. И. Ленин. Письма к родным. М. 1931.

Тридцатого марта Ленина допрашивают вторично. На этот раз его показания еще лаконичнее:

— Относительно предъявленных мне рукописей: 1) листок, на котором написано «Рабочее дело» и по рубрикам указаны разные статьи; 2) рукопись о стачке ткачей в Иваново-Вознесенске; 3) стачка в мастерской механического изготовления обуви, отобранных, по словам лиц, производящих допрос, у Анатолия Ванеева, объясняю, что они писаны моей рукой, а также предъявляемая мне рукопись «Фридрих Энгельс» (из венской газеты «Neue Revue») писана мной, составляя перевод, сделанный мной во время пребывания за границей и приготовленный для напечатания в одном из русских изданий; фактических объяснений о рукописях под рубриками 1) 2) 3) я представить не могу.

«Красный архив». 1934, № 1.

Не сломила Ленина одиночка и еще почти полтора месяца спустя. 7 мая он заявляет:

— К показанию своему от 30 марта сего года я добавить ничего не могу. Относительно же свертка, в котором, по словам лица, производящего допрос, оказались предъявленные мне на предыдущем допросе мои рукописи, я ничего сказать не могу. По поводу сделанного мне указания на имеющиеся против меня свидетельские показания — объясняю, что не могу дать объяснений по существу вследствие того, что мне не указаны показывающие против меня лица. Относительно своей заграничной поездки объясняю, что я предпринял ее, поправившись только что от болезни воспаления легких, которою был болен весной 1895 года в С.-Пе-

тербурге, причем я воспользовался при этом возможностью заняться по предметам своей специальности в Париже и Берлине — главным образом, в Берлинской королевской библиотеке. Ни в какие сношения с эмигрантами я не вступал.

«Красный архив», 1934, № 1.

Рассказы самого Владимира Ильича о пребывании в тюрьме передают его близкие и друзья. А. И. Ульянова и Н. К. Крупская пишут:

— Владимир Ильич мастерил намеренно чернильницы крохотного размера: их легко было проглотить при каждом щелчке форточки, при каждом подозрительном шорохе у волчка. И первое время, когда он не освоился еще хорошо с условиями предварилки, а тюремная администрация не освоилась с ним как с очень уравновешенным, серьезно занимающимся заключенным, ему нередко приходилось прибегать к этой мере. Он рассказывал, смеясь, что один день ему так не повезло, что пришлось проглотить целых шесть чернильниц.

Помню, что Ильич в те годы и перед тюрьмой и после нее любил говорить: «Нет такой хитрости, которой нельзя было бы перехитрить». И в тюрьме он со свойственной ему находчивостью упражнялся в этом... раз на свидании он рассказывал мне со свойственным ему юмором, как на очередном обыске в его камере жандармский офицер, перелистав немного изрядную кучу сложенных в углу книг, таблиц и выписок, — отделался шуткой: «слишком жарко сегодня, чтобы статистикой заниматься». Брат говорил мне тогда, что он особенно и не беспокоился: «Не найти бы в такой куче», а потом добавил с хохотом: «я в лучшем положении, чем другие граждане Российской империи, — меня взять не могут»...

«Пролетарская революция», 1924, № 3.

— Раз, когда к году сидения я сообщила ему, что дело, по слухам, скоро оканчивается, он воскликнул: «Рано, я не успел еще материал весь собрать».

А. И. Ульянова - Елизарова. Воспоминания об Ильиче.

...Как ни владел Владимир Ильич собой, как ни ставил себя в рамки определенного режима, а нападала, очевидно, и на него тюремная тоска. В одном из писем он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы — я и Аллолиария Александровна Якубова — в определенный час пришли и встали на этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Аллолиария почему-то не могла пойти, а я несколько дней ходила и проставала подолгу на этом кусочке. Только что-то из плана ничего не вышло, не помню уже отчего.

Н. К. Крупская. Воспоминания.

Незадолго до высылки Ленина в Сибирь прокурор Петербургского окружного суда получает от него такое прошение:

Имею честь просить о передаче сестре моей Анне Ильиничне Елизаровой прилагаемых при этом:

- 1) письма
- 2) рукописи № 1 («Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни») и
- 3) рукописи № 2 («Очерки политической экономии начала XIX века»).

Помощник присяжного поверенного У л ь я н о в.

Санкт-Петербург, 8 декабря 1896.

Воспроизводится по факсимиле, впервые опубликованном в книге: В. Е. Муштков, П. Е. Никитин. Здесь жил и работал Ленин. По памятным ленинским местам Ленинграда и окрестностей. Л. 1961.

На основании этой ленинской записки директор Государственного исторического архива Ленинградской области Н. Малеванов характеризует названные в ней «Очерки политической экономии начала XIX века» как «неизвестный труд Ильича» и предполагает, что «нам еще удастся найти этот труд молодого Ленина. Ведь сообщают же пометки на документе, что рукопись из тюрьмы счастливо «вышла» на волю»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> «Неделя», 14—20 января 1962 года.

На ленинской записке и впрямь сохранились резолюции прокурора о выдаче просмотренных рукописей и расписка Анны Ильиничны, которая «обе рукописи получила».

«Рукопись № 1», написанной еще весной 1893 года, под ее приведенным в скобках заглавием неизменно открываются все издания Сочинений Ленина. Это первый из его сохранившихся ранних трудов. Но где же «рукопись № 2»? Неужто Анна Ильинична сберегла лишь одну ленинскую работу? Столь же сомнительно, чтобы Ленин никогда ни единым словом не посетовал на исчезновение своего «вышедшего» из тюрьмы труда. Но, быть может, вопреки предположениям биографов и архивистов Владимир Ильич имеет в виду вовсе не рукопись какого-то нового и вот уже шестьдесят семь лет никому неизвестного труда, а просто-напросто иное, первоначальное заглавие общеизвестной статьи «К характеристике экономического романтизма»? Ведь она посвящена трудам швейцарского экономиста Сисмонди, писавшего, как подчеркивает Ленин уже в самой первой фразе, «в начале текущего столетия» — то есть «начале XIX века».

В биографической литературе о Ленине принято считать статью «К характеристике экономического романтизма», составляющую около ста пятидесяти книжных страниц, написанной в Красноярске, да еще в библиотеке Юдина. Однако Владимир Ильич приступил к работе в этой библиотеке — после ее осмотра — лишь 10 марта, а двадцать пять дней спустя — 5 апреля — он уже делится с матерью своими впечатлениями от апрельской книжки журнала «Новое слово», содержавшей начало его статьи. Как отмечает тогда же Владимир Ильич, журналы и газеты приходят в Красноярск «на 11-ый день». Следовательно, апрельский номер петербургского журнала должен был выйти в свет никак не позднее 24 марта. Две недели, если не больше, должна была идти рукопись из Красноярска, куда Владимир Ильич приехал лишь 4 марта. Получается таким образом, что Ленин написал огромную статью за один-два дня, если он начал ее до своего появления в библиотеке Юдина, или примерно за одну ночь, если согласиться с многочисленными исследователями, считающими, что статья эта подготовлена лишь в результате работы в этом книгохранилище. В таком случае на ручной набор, верстку и корректуру статьи в редакции «Нового слова» оставалось до выхода журнала в двадцатых числах марта не более нескольких... часов. Не естественнее ли предположить, что рукопись статьи, законченной Лениным в заключении, была с измененным против первоначального названием передана в редакцию им или по его поручению Анной Ильиничной еще в декабре 1896 года, когда ее выдали из прокуратуры, или в феврале 1897-го за те три дня, которые Владимир Ильич провел на свободе в Петербурге?.. Мы несколько отклонились в сторону, но зато показали, как автобиографические документы Ленина могут исправить ошибки его биографов.

К своим тюремным воспоминаниям Ленин возвращается не раз и в более поздние годы, особенно в связи с многочисленными арестами родных и близких. 7 февраля 1898 года он пишет матери, сообщившей ему о свидании в тюрьме с арестованным младшим братом:

— Нехорошо это, что у него уже за 2½ месяца одутловатость какая-то успела появиться. Во-1-х, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по-моему, это необходимо. А во-2-х, занимается ли гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я, по крайней мере, по своему опыту скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался каждый день на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согрешься даже в самые сильные холода, когда камера выстыла вся, и спишь после того куда лучше. Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смеховорный) — 50 земных поклонов. Я себе как раз такой урок назначал — и не смущался тем, что надзиратель, подсматривая в оконечко, диву дается, откуда это вдруг такая набожность в человеке, который ни разу не пожелал побывать в предварилкинской церкви! Но только чтобы не меньше 50-ти подряд и чтобы не сгибая ног доставать рукой каждый раз об пол — так ему и написать.

Еще три года спустя — 19 мая 1901 года — он запрашивает из Мюнхена арестованную на этот раз почти одновременно с М. Т. Елизаровым Марию Ильиничну:

— Надеюсь, наладила уже более правильный режим, который так важен в одиночке? Я Марку писал сейчас письмо и с необычайной подробностью расписываю ему, как бы лучше всего «режим» установить: по части умственной работы особенно рекомендовал переводы и притом обратные, т. е. сначала с иностранного на русский письменно, а потом с русского перевода опять на иностранный. Я вынес из своего опыта, что это самый рациональный способ изучения языка. А по части физической усиленно рекомендовал ему, и повторяю то же тебе, гимнастику ежедневную и обтирания. В одиночке это прямо необходимо.

Из одного твоего письма, пересланного сюда мамой, я увидел, что тебе удалось уже наладить некоторые занятия. Надеюсь, что благодаря этому ты будешь хоть иногда забывать об обстановке и время (которое обыкновенно в тюрьмах летит быстро, если нет особо неблагоприятных условий) будет проходить еще незаметнее. Советую еще распределить правильно занятия по имеющимся книгам так, чтобы разнообразить их: я очень хорошо помню, что перемена чтения или работы — с перевода на чтение, с письма на гимнастику, с серьезного чтения на беллетристику — чрезвычайно много помогает. Иногда ухудшение настроения — довольно-таки изменчивого в тюрьме — зависит просто от утомления однообразными впечатлениями или однообразной работой, и достаточно бывает переменить ее, чтобы войти в норму и совладать с нервами. После обеда, вечером для отдыха я, помню, regelmäßig<sup>1</sup> брался за беллетристику и нигде не смаковал ее так, как в тюрьме. А главное — не забывай ежедневной, обязательной гимнастики, заставляй себя проделать по нескольку десятков (без уступки!) всяких движений! Это очень важно.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Своеобразный штрих того же нелегкого периода ленинской жизни воскрешает письмо к Н. В. Петровской, отправленное 12 июня 1919 года. В то грозное время Петровскую привлекают к следствию по делу двух ее знакомых — офицеров-белогвардейцев. Она вынуждена напомнить Владимиру Ильичу, что, видимо, по поручению оставшихся на свободе членов «Союза борьбы» посетила его в тюрьме. Ленин не может лично принять Петровскую из-за «ряда особенно спешных дел», связанных с организацией отпора денкинцам, начавшим наступление на юге и в день, которым датировано письмо, уже приближающимся к Купянску. В Петрограде тогда вспыхивает восстание на форте Красная Горка. На востоке продолжают ожесточенные бои с колчаковцами, а Ленин отвечает обратившейся к нему и, видимо, уже очень далекой от революции просительнице:

— Вы пишете, что Вас могут и даже «будут вправу» упрекать в неправде, если я не дам подтверждения, что Вы посещали меня в тюрьме 22 года тому назад. Я извиняюсь, что забыл многое из той поры, но сестра подтверждает определенно, и я припоминаю, что посещения были, — прошу извинить, что забыл фамилию. Поэтому ни в каком случае на основании моей плохой памяти Вас-то упрекать никто не вправе. Я надеюсь, Вы извините меня, что я не в состоянии принять Вас в силу ряда особенно спешных дел.

Искренно уважающий Вас  
В. Ульянов (Ленин).

«Ленинский сборник» XXXV. М. 1945.

Сразу после выхода из тюрьмы, накануне отъезда в сибирскую ссылку Ленин проводит между 14—17 февраля 1897 года совещания «старяков» и «молодых». Так в революционном просторечии эпохи именуется прежние руководители «Союза борьбы» и его новые лидеры. Последние видят задачи рабочего движения не в политической, а в эко-

<sup>1</sup> Регулярно (нем.).

номической борьбе. Революционный марксизм едва ли не впервые завязывает открытый бой с новоявленным идейным противником — «экономизмом». В «Что делать?» Ленин вспоминает:

...отметим следующий характерный факт... который бросает некоторый свет на то, как в среде действовавших в Петербурге товарищей возникала и росла рознь будущих двух направлений русской социал-демократии. В начале 1897 года А. А. Ванееву и некоторым из его товарищей пришлось участвовать, перед отправкой их в ссылку, на одном частном собрании, где сошлись «старые» и «молодые» члены «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Беседа велась главным образом об организации и в частности о том самом «Уставе рабочей кассы», который в окончательном своем виде напечатан в № 9—10 «Листка «Работника»... Между «стариками» («декабристами», как их звали тогда в шутку петербургские социал-демократы) и некоторыми из «молодых» (принимавшими впоследствии близкое участие в «Раб. Мысли») сразу обнаружилось резкое разногласие и разгорелась горячая полемика. «Молодые» защищали главные основания устава в том виде, как он напечатан. «Старики» говорили, что нам нужно прежде всего вовсе не это, а упрочение «Союза борьбы» в организацию революционеров, которой должны быть соподчинены различные рабочие кассы, кружки для пропаганды среди учащейся молодежи и т. п.

Н. Ленин. Что делать?

В данном случае «Старики» — это несомненный псевдоним «Старика», то есть самого Ильича. Это свои речи он и воспроизводит...

### МОСКВА — КРАСНОЯРСК — МИНУСИНСК (1897)

Семнадцатого февраля 1897 года Ленин покидает Петербург, отправляясь в ссылку. Полиция разрешает ему для свидания с матерью остановиться на два дня в Москве. Дни эти Владимир Ильич преимущественно проводит в читальном зале библиотеки Румянцева музея. Есть основания предполагать, что Ленин воспользовался читальным залом не только для работы над научной литературой, но и для конспиративных встреч с представителями московского революционного подполья...

В еще не изданных воспоминаниях Д. И. Ульянова приводятся некоторые из ленинских автобиографических высказываний, относящихся к этому периоду и связанных с работой над книгой о развитии капитализма в России:

— Когда его спрашивали, как это он добился разрешения получать так много книг в тюрьму, что, конечно, необходимо для выполнения такого большого научного труда, Владимир Ильич отвечал: «По закону не запрещается находящимся в предварительном заключении заниматься литературной работой, я этим воспользовался и подал соответствующее заявление»... Владимир Ильич говорил тогда в Москве, что сделать столько за год можно было только в одиночном заключении, на воле пришлось бы писать такую работу не меньше трех лет... Владимир Ильич даже выражал нечто вроде сожаления, что его освободили не вовремя: «Посидел бы еще недолго, и закончил бы полностью работу в предварилке...»

Д. И. Ульянов. Из моих воспоминаний об Ильиче. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Чтобы продлить хотя бы на несколько дней пребывание в Москве, Ленин готов отказаться от полученной им по просьбе матери льготы и ехать в ссылку не за свой счет, а в арестантском вагоне. И Владимир Ильич обращается в Московское охранное отделение с таким официальным прошением:

— На основании распоряжения административных властей я подлежу ссылке в Восточную Сибирь на три года... директор департамента полиции разрешил мне еще в С.-Петербурге отправиться в Иркутск по проходному свидетельству на свой счет, заехав на двое суток в Москву к моей матери.

Найдя, что сопровождать меня в Иркутск ей крайне обременительно по слабому состоянию ее здоровья и что остальные ссыльные по этому же делу отправлены по железной дороге на казенный счет, моя мать подала уже из Москвы прошение г-ну директору департамента полиции о разрешении мне пробить у нее несколько дольше и о том, чтобы присоединить меня к партии... Справки, навешенные на телеграфе, показали, что ответ по телеграфу не получен, и потому я решил обратиться в Московское охранное отделение, предполагая, что ответ на телеграмму и на прошение сообщен предварительно ему.

В настоящее время, следовательно, я нахожусь в неопределенном положении. Если г. директор департамента полиции не разрешит мне присоединиться к партии для отправки на казенный счет по железной дороге, то я тотчас же по получении ответа отправлюсь в г. Иркутск на свой счет, согласно предписанию, содержащемуся в выданном мне проходном свидетельстве...

Помощник присяжного поверенного

В л а д и м и р У л ь я н о в.

Москва, февраля 22 дня 1897 года.

«Красный архив», 1934. № 1.

Но московские охранники и слышать не хотят о том, чтобы Владимир Ульянов задержался в Москве еще хотя бы на сутки. Они угрожают ему немедленным арестом, если он в тот же день не покинет «первопрестольную». С Владимира Ильича берут такую расписку:

— Подлинное проходное свидетельство получил 22-го февраля, когда и обязуюсь выехать из Москвы с поездом Московско-Курской железной дороги в 11 часов вечера.

В. У л ь я н о в.

Т а м ж е.

Московские охранники следят за каждым шагом Ульянова. Через полчаса после его отъезда полицейский надзиратель Серегин уже передает из третьего участка «Мещанской части» телефонограмму о том, что Ульянов «выехал в 11 ч. 30 м. вечера по Курской ж. д. в Тулу»<sup>1</sup>.

Ленинские документы помогают уточнить одно из сообщений известного указателя «Ленин в Москве». В нем сообщается, что Владимир Ильич «выехал к месту своей ссылки в Сибирь... почтовым поездом № 3 22 февраля 1897 года»<sup>2</sup>. Однако названный поезд отошел на Челябинск в 3 часа пополудни. В 11.30 вечера с Курского вокзала отправляется, судя по железнодорожному расписанию тех дней, поезд не № 3, а № 9<sup>3</sup>. В одном из битком набитых вагонов этого уже не почтового, а т о в а р о - п а с с а ж и р с к о г о поезда Ленин и уезжает в ссылку. Второго марта с дороги, со станции Обь, ныне одного из районов Новосибирска, он сообщает матери:

— Встретился в нашем поезде с тем самым Arzt'ом, у коего Анюта была в С.-Петербурге. От него узнал кое-какие полезные для меня вещи насчет Красноярска... По его словам, остановиться там можно будет, без всякого сомнения, на несколько дней. Я так и думаю сделать, чтобы выяснить свое дальнейшее положение... Благодаря беседе с Arzt'ом мне уяснилось (хотя приблизительно) очень многое, и я чувствую поэтому себя очень спокойной: свою нервность оставил в Москве. Причина ее была неопределенность положения, не более того.

«Пролетарская революция». 1929. № 2—3

«Arzt'ом» — то есть доктором, о котором пишет Ленин, был В. М. Крутовский — красноярский врач-народник, друг Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко. Несмотря на остроту идейных расхождений с Лениным, Крутовский оказал ему весьма значительную поддержку. Он направил Владимира Ильича на квартиру к К. Г. Поповой, рекомен-

<sup>1</sup> «Красный архив». 1934. № 1.

<sup>2</sup> «Ленин в Москве. Места пребывания, даты и события». М. 1959.

<sup>3</sup> «Новости дня», 22 февраля 1897 года.

дозвал владельцу известной красноярской библиотеки Г. В. Юдину и посодействовал как помощник губернского врачебного инспектора направлению не в Туруханский, а в Минусинский округ, выгодно отличающийся от других мест тогдашней Енисейской губернии благоприятными климатическими условиями. В воспоминаниях В. М. Крутовского воспроизведены его примечательные беседы с Владимиром Ильичем. Рассказав, что его петербургская знакомая издательница А. М. Калмыкова попросила его «похлопотать в Красноярске, чтобы Ульянова не законопатили куда-нибудь в отдаленные места Енисейской губернии, например, в Туруханский край», В. М. Крутовский пишет: «...начиная от Тулы, я на каждой остановке поезда замечаю молодого человека небольшого роста, довольно худощавого, с маленькой клинообразной бородкой, очень живого и подвижного, который все ссорится с железнодорожным начальством, указывая на ужасное переполнение поезда и требуя прицепки лишнего вагона... Так мы прибыли в Самару, где поезд стоял час... Тот же пассажир горячо настаивал... о необходимости прицепить лишний вагон и хотя несколько разгрузить тесноту. Спор был очень горячий. Окружающая толпа поддерживала требование пассажира. Наконец, начальство о чем-то пошептало между собой, и начальник станции, обращаясь к составителю поездов, изрек: «Ну его к черту! Прицепите вагон» Все успокоилось, а я, зная хорошо порядки наших железных дорог, подумал: должно быть, незаурядный человек этот маленький пассажир, если мог добиться того, чтобы начальство уступило и согласилось прицепить еще вагон... После этой сцены я пошел в буфет. Вдруг к моему столику подсаживается бунтующий пассажир, просит официанта подать ему чернил и перо, после чего, написав несколько открыток по неизвестным мне адресам, пишет на одном из конвертов адрес: Петербург. А. М. Калмыковой.

Тогда я сразу сообразил, кто это, и, обращаясь к В. И. Ленину, сказал:

— Значит, вы — Ульянов? Очень рад познакомиться.

В. И. Ленин вскочил со стула и, не протянув мне руки, сердитым голосом ответил:

— Вы что, сыщик?

— Совсем нет. По адресу я вижу, что вы — Ульянов, который едет в Красноярск и о котором мне говорила А. М. Калмыкова. Я давно вас высматривал в поезде...»<sup>1</sup>

От Самары Ленин и Крутовский, по предложению Владимира Ильича, едут в одном купе вагона, прицепленного в результате его настойчивых требований.

Дважды пишет Ленин матери с дороги, но эти письма до сих пор не обнаружены. Третье письмо начинается такой пометкой:

— 2-е марта. Станция «Обь».

Остановка здесь большая, делать нечего, и я решил приняться паки и паки за дорожное письмо — третье по счету... Ехать все еще остается двое суток. Я переехал сейчас на лошадях через Обь и взял уже билеты до Красноярска... Переезд через Обь приходится делать на лошадях, потому что мост еще не готов окончательно, хотя уже возведен его остов. Ехать было недурно, — но без теплого (или, вернее, теплейшего) платья удалось обойтись только благодаря кратковременности переезда: менее часа... Несмотря на дьявольскую медленность передвижения, я утомлен дорогой несравненно меньше, чем ожидал. Можно сказать даже, что вовсе почти не утомлен... Дело, вероятно, в том, что я здесь все ночи без исключения прекрасно сплю. Окрестности Западно-Сибирской дороги, которую я только что проехал всю (1300 верст от Челябинска до Кривошеенова, трое суток), поразительно однообразны: голая и глухая степь. Ни жилья, ни городов, очень редки деревни, изредка лес, а то все степь. Снег и небо — и так в течение всех трех дней. Дальше будет, говорят, сначала тайга, а потом, от Ачинска, горы. Зато воздух степной чрезвычайно хорош: дышится легко. Мороз крепкий: больше 20°, но переносится он несравненно легче, чем в России. Я бы не сказал, что здесь 20°. Сибиряки уверяют, что это благодаря «мягкости» воздуха, которая делает мороз гораздо легче переносимым. Весьма правдоподобно.

«Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

<sup>1</sup> В. М. Крутовский. В одном вагоне с Ильичем. «Пролетарская революция», 1929, № 1.

Четвертого марта десятидневное путешествие Ленина заканчивается. Он добирается наконец до Красноярска. Через два дня после приезда в город, по совету В. М. Крутовского, Владимир Ильич подает прошение на имя иркутского генерал-губернатора:

— По распоряжению административных властей я сослан в Восточную Сибирь на три года по политическому делу. По разрешению департамента полиции я приехал на место ссылки на свой счет по проходному свидетельству, выданному мне г. С.-Петербургским градоначальником... Местом явки в этом проходном свидетельстве назначен город Иркутск...

Так как по справке у местного губернского начальства (т. е. в Енисейском губернском правлении) оказалось, что относительно меня нет еще никаких распоряжений и так как, судя по общим предположениям, высказанным моей матери г. директором департамента полиции, возможно, что место жительства мне будет назначено в пределах Енисейской губернии, то явка в город Иркутск в этом последнем случае потребовала бы от меня весьма обременительных добавочных расходов на обратное путешествие. Поэтому я имею честь... просить... разрешить мне остаться в городе Красноярске до распоряжения о назначении мне места жительства...

Вместе с тем я ходатайствую о назначении мне места жительства, в виду слабости моего здоровья, в пределах Енисейской губернии и, если возможно, в Красноярском или Минусинском округе.

Помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов.

Город Красноярск, марта 6 дня 1897 года.

«Советская Сибирь», 21 мая 1926 года, и «Записки Института Ленина» III. М. 1928.

В Красноярске Владимир Ильич поселяется на Большекаченской улице, в доме Клавдии Гавриловны Поповой, о которой еще в дороге ему рассказывает тот же доктор Крутовский. Ленинское письмо, содержавшее, видимо, сообщение о том, как ему живет у Поповой, не сохранилось. Весьма одобрительно отзываясь о своей хозяйке Владимир Ильич в письме от 17 апреля:

— Здесь я живу очень хорошо: устроился на квартире удобно — тем более, что живу на полном пансионе.

«Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

Любопытные подробности ленинского быта в этом своеобразном красноярском «пансионе» воссоздают воспоминания о К. Г. Поповой, принадлежащие Марку Горбунову: «Начиная с 1880-х годов и вплоть до первой революции дом Клавдии Гавриловны играл большую роль в истории енисейской, а отчасти и всей сибирской ссылки... Да и сама Клавдия Гавриловна была во многих отношениях редким человеком и настоящим другом ссылных в течение по меньшей мере целой четверти века... Кого только не видела она у себя за эти годы!

Когда Владимир Ильич уезжал с пароходом в Минусинск, то перед прощанием спрашивал Клавдию Гавриловну, какие ссылные ей больше нравятся, старые, которые были раньше, или молодые, нынешние? Она ответила ему, что старые ей кажутся лучше и они ей больше по душе.

Расстались Владимир Ильич с Клавдией Гавриловной, несмотря на это расхождение в симпатиях, очень тепло и сердечно»<sup>1</sup>.

Как только Владимир Ильич поселяется у Поповой, на следующий день после его приезда в Красноярск, В. М. Крутовский пишет не слишком жалующему политическим ссылным и вообще весьма неохотно допускающему в свое книгохранилище незнакомых ему людей Г. В. Юдину рекомендательное письмо, излагающее ленинскую просьбу. Получив это письмо от Владимира Ильича, Юдин помечает его датой их встречи —

<sup>1</sup> Марк Горбунов. В. И. Ленин в Красноярске. «Былое», 1925, № 25.

«9 марта» — и записывает имя-отчество сразу пригласившегося ему молодого посетителя. На следующий день — 10 марта — Ленин рассказывает Марии Ильиничне:

— Вчера попал-таки в здешнюю знаменитую библиотеку Юдина, который радушно меня встретил и показывал свои книгохранилища. Он разрешил мне и заниматься в ней, и я думаю, что это мне удастся. (Препятствия тут два: во-1-х, его библиотека за городом, но расстояние небольшое, всего версты две, так что это приятная прогулка. Во-2-х, библиотека не закончена устройством, так что я могу чрезмерно обременить хозяина частым спрашиванием книг)... Ознакомилась с его библиотекой далеко не вполне, но это во всяком случае замечательное собрание книг. Имеются, напр., полные подборки журналов (главнейших) с конца 18 века до настоящего времени. Надеюсь, что удастся воспользоваться ими для справок, которые так нужны для моей работы.

«Пролетарская революция», 1929, № 2--3.

В письме матери Владимир Ильич сообщает о встречах с доктором Я. М. Ляховским, высланным в Верхотурск по делу «Союза борьбы», а также с П. А. Красиковым, Н. А. Мерхольевым и другими политическими ссыльными, обитавшими тогда в Красноярске. Он пишет:

— 15/III. 97.

Сегодня проводил доктора. Он уехал в Иркутск. Ему не позволили ждать здесь дольше, т. е. не позволило местное начальство. Меня пока не тревожат, да и не могут, я думаю, ибо я подал прошение генерал-губернатору и теперь жду ответа... Я провожу здесь время в двух занятиях: во-первых, в посещении библиотеки Юдина; во-2-х, в ознакомлении с городом Красноярском и его обитателями (большой частью невольными). В библиотеку хожу ежедневно, и так как она находится в 2-х верстах от окраины города, то мне приходится проходить верст 5 — около часа пути. Прогулкой такой я очень доволен и гуляю с наслаждением, хотя частенько прогулка меня совсем усыпляет. В библиотеке оказалось гораздо меньше книг по моему предмету, чем можно было думать, судя по общей ее величине, но все-таки есть кое-что для меня полезное, и я очень рад, что могу провести здесь время не совсем зря. Посещаю и городскую библиотеку: в ней можно просматривать журналы и газеты; приходят они сюда на 11-й день, и я все еще не могу свыкнуться с такими поздними «новостями»...

Там же.

Одним из спутников Владимира Ильича в его прогулках от Таракановки, где была расположена библиотека Юдина, до Большекачаченской улицы Красноярска был Василий Анучин — тогда совсем юный семинарист, ставший впоследствии выдающимся ученым-этнографом. 7 июня 1909 года регулярно переписывавшийся с ним А. М. Горький ссылается на, видимо, капризные рассказы Владимира Ильича о тех днях:

...В. Ул. часто вспоминает «сибирского шамана» и о тех беседах, которые вели с ним во время похождения в юдинскую библиотеку. Забавно выходит, когда он в лицах изображает, как вы, рыча октавой, завлекаете его в сибирскую веру...

«Сибирские огни», 1941, № 1.

«В. Ул.» — это Владимир Ульянов, названный так Горьким по конспиративным соображениям. О «похождениях в юдинскую библиотеку» сам В. И. Анучин вспоминает:

— Всего мне довелось ходить с Владимиром Ильичем в библиотеку три раза. Однажды он, наконец, вспомнил намеченный разговор об областничестве, а я давно ждал его и, надо признаться, имел затаенную надежду распропагандировать Владимира Ильича. Стараний я приложил много, но по лицу собеседника увидел, что моя агитация не имеет никакого успеха. Тогда я решил взять напором:

— Владимир Ильич... скажите определенно ваше мнение...

— Можно!.. Если сибирское областничество имеет хоть какую-нибудь организующую роль; если областничество не партия, а только демократический блок с лозунгом Федеративного устройства России, то... то «до Твери нам по пути».

В. А н у ч и н. Встреча. «Литературный современник», 1940, № 1.

Двадцать шестого марта Ленин получает телеграмму о выезде из Москвы партии политических ссыльных, в которую входят А. А. Ванев. Г. М. Кржижановский, Ю. О. Мартов и В. В. Старков. Имея в виду сестру Г. М. Кржижановского — А. М. Розенберг и называя ее для конспирации немецким словом Schwester (то есть сестра), Владимир Ильич пишет матери:

...получил вчера вечером, в 10-м часу, телеграмму о выезде, обрадовался ей несказанно и сломя голову полетел к Schwester'у делиться радостью. Теперь мы считаем дни и «едем» с почтовым поездом, вышедшим из Москвы 25-го...

Про себя ничего нового написать не могу: живу по-прежнему, шляюсь в библиотеку за город, шляюсь просто по окрестностям для прогулки, шляюсь к знакомым, сплю за двоих, — одним словом, все как быть следует.

«Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

Четвертого апреля на вокзале в Красноярске Ленин встречает товарищей по «Союзу борьбы». А. И. Елизарова вспоминает:

— Владимир Ильич рассказывал по возвращении из Сибири о том, как они с Антониной Максимиллиановной вышли навстречу поезду с партией и как жандармы стали отгонять их от вагонов. Удалось обменяться только краткими приветствиями с прибывшими, жандармы решительно погнало обоих прочь.

А. И. Е л и з а р о в а. Владимир Ильич в ссылке.

«Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

Семнадцатого апреля Владимир Ильич отправляет матери и старшей сестре письмо, как бы завершающее его красноярский «дневник в письмах», отрывки из которого мы воспроизвели. В нем он ссылается на не дошедшие до нас свои письма родным:

— Я собрал сегодня поподробнее сведения о селах, куда мы назначены (мне официально это еще не сообщено). Я — в село Шушенское (кажется, в прежних письмах я писал неверно — Шушинское). Это большое село (более 1½ тысяч жителей), с волостным правлением, квартирой земского заседателя (чин, соответствующий нашему становому, но с более обширными полномочиями), школой и т. д. Лежит оно на правом берегу Енисея, в 56 верстах к югу от Минусинска... Лето я проведу, следовательно, в «Сибирской Италии», как зовут здесь юг Минусинского округа. Судить о верности такой клички я пока не могу, но говорят, что в Красноярске местность хуже. Между тем и здесь окрестности города, по реке Енисею, напоминают не то Жигули, не то виды Швейцарии: я на днях совершил несколько прогулок (дни стояли тут совсем теплые, и дороги уже высохли), которыми остался очень доволен и был бы доволен еще больше, если бы не воспоминание о наших туруханцах и заключенных минусинцах.

Письмо заключается полухотливым приглашением, обращенным к Д. И. Ульянову, поехать на врачебную работу в Шушенский переселенческий пункт. По этому поводу Владимир Ильич восклицает:

— Эге! Если я через три с хвостиком недели таким сибиряком стал, что из «России» к себе зову, то что же через три года будет?

«Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

Двадцать девятого апреля — накануне отъезда из Красноярска — Владимир Ильич пишет енисейскому губернатору:

— Не имея средств к жизни и будучи назначен на жительство в село Шушенское, где я не могу рассчитывать иметь какой бы то ни было заработок, я имею честь просить о назначении мне установленного законом пособия на содержание, квартиру и одежду.

Помощник присяжного поверенного  
Владимир Ульянов.

Прошение это доверяю подать фельдшернице Антонине Максимильяновне Розенберг.

«Пролетарская революция», 1928, № 11—12

Тринадцатого апреля, в 8 часов 30 минут утра, как это зафиксировано в донесении красноярского полицеймейстера, Ленин, Кржижановский и Старков на пароходе «Святой Николай» уезжают из Красноярска в Минусинск, к местам, как шутит Владимир Ильич, их «окончательного успокоения» — селам Шушенское и Тесинское...

В Минусинск — от пристани Сорокино, на которой были высажены пассажиры «Святого Николая», — Ленин и его друзья приезжают 6 мая 1897 года. На следующий день он пишет матери:

— г. Минусинск, 7 мая 1897.

Приехали мы сюда, дорогая мамочка, только вчера. Завтра собираемся ехать в свои села, и я хотел было поподробнее написать тебе о путешествии сюда, которое оказалось очень дорогим и очень неудобным... но не знаю, успею ли это сделать ввиду того, что теперь я сильно заматался в переездах...

«Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

В Минусинск за годы ссылки Владимир Ильич приезжает неоднократно. Его впечатления об этом городе отражены в письмах разных лет. В письме к матери от 12 октября 1897 года он, например, делится такими житейскими наблюдениями:

— Многим я уже запасся на зиму в Минусинске, кое-что куплю еще. Вообще покупать в Минусинске очень нелегко: выбор самый жалкий, магазины сельского типа (всякая всячина: товар приходит периодически, и я как раз попал в такое время, когда товар старый вышел, а новый еще не пришел), так что привыкшему к столичным магазинам трудновато искать в них. Впрочем, эти столичные привычки давно пора бросить: здесь они совсем не к месту и надо привыкать к местным. Я уже привык, кажется, достаточно, только вот насчет закупок все еще рассуждаю иногда по-питерски: стóит, дескать, зайти в лавку и взять...

Расскажу поподробнее о своей поездке. В Минусинске я пробыл только два дня, все время прошло в беготне по лавкам, в хлопотах по делу Базиля (написали мы с ним жалобу на приговор мирового судьи, и сам сей судья признал, что его приговор слишком суров. Посмотрим, чем решит 2-ая инстанция), в посещении знакомых... Думаю, что в зиму удастся еще раз съездить. Такие временные наезды, пожалуй, даже лучше, чем жизнь в Минусинске, который меня не тянет. Одно преимущество в нем — почта (в Ачинске это преимущество еще гораздо сильнее и, конечно, я бы «предпочел» Ачинск). Но это мимоходом, ибо я вполне освоился с Шушей и с зимовкой здесь, о переводе не хлопочу и тебе не советую хлопотать.

Т а м ж е.

### СИБИРЬ (1897—1900)

Три года, проведенные Лениным в Шушенском, исчерпывающе освещены в его письмах к родным. Они, как известно, опубликованы в тридцать седьмом томе четвертого издания его Сочинений.

Осенью 1900 года Н. К. Крупская отмечала, что, всегда глубоко погруженный во внутренний духовный мир, Владимир Ильич якобы «совсем не умеет писать о своей внешней жизни». Полушутливое замечание это опровергается почти каждым из ленин-

ских писем. Внешнюю обстановку своей жизни в Шушенском Владимир Ильич характеризует необыкновенно живо, полно, а нередко и юмористически. 7 и 18 мая 1897 года он рассказывает в письмах к М. А. Ульяновой:

...«Шу-шу-шу»... я называю в шутку место моего окончательного успокоения... Шу-шу-шу — село недурное. Правда, лежит оно на довольно голом месте, но недалеко (версты  $1\frac{1}{2}$ —2) есть лес, хотя и сильно повыврубленный. К Енисею прохода нет, но река Шушь течет около самого села, а затем довольно большой приток Енисея недалеко ( $1$ — $1\frac{1}{2}$  версты), и там можно будет купаться. На горизонте — Саянские горы или отроги их, некоторые совсем белые, и снег на них едва ли когда-либо стаивает. Значит, и по части художественности кое-что есть, и я недаром сочинял еще в Красноярске стихи: «В Шуше, у подножья Саяна...», но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил!

«Пролетарская революция», 1929. № 2—3.

Девятнадцатого июля Ленин описывает Шушенское на этот раз младшей сестре:

— Ты просишь, Маняша, описать село Шу-шу-шу... Гм, гм! Да ведь я, кажись, однажды уже описывал его. Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных — все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет. Окружено село... навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросят прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза. Верстах в  $1$ — $1\frac{1}{2}$  от села (точнее, от меня: село длинное) Шушь впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и протоков, так что к главному руслу Енисея подхода нет. Купаюсь я в самом большом протоке, который теперь тоже сильно мелеет. С другой стороны (противоположной реке Шушь) верстах в  $1\frac{1}{2}$  — «бор», как торжественно называют крестьяне, а на самом деле преплохонький, сильно повыврубленный лешишко, в котором нет даже настоящей тени (зато много клубники!) и который не имеет ничего общего с сибирской тайгой, о которой я пока только слышал, но не бывал в ней (она отсюда не менее 30—40 верст). Горы... насчет этих гор я выразился очень неточно, ибо горы отсюда лежат верстах в 50, так что на них можно только глядеть, когда облака не закрывают их... точь-в-точь как из Женевы можно глядеть на Монблан. Поэтому и первый (и последний) стих моего стихотворения содержит в себе некую поэтическую гиперболу (есть ведь такая фигура у поэтов!) насчет «подножья»... Поэтому на твой вопрос: «на какие я горы взбирался» — могу ответить лишь: на песчаные холмики, которые есть в так называемом «бору» — вообще здесь песку достаточно.

Т а м ж е.

Столь же подробно рассказывает Ленин и о таком немаловажном обстоятельстве «своей внешней жизни», по выражению Крупской, как охота или, пожалуй, точнее, странствия по окружающим Шушенское холмам, лесам, озерам и островам между протоками Енисея. Попутно он описывает все времена года ссылки: весну, лето, осень, суровую сибирскую зиму. 25 мая, 19 июля и 17 августа 1897 года Владимир Ильич рассказывает матери и старшей сестре о своем образе жизни в Шушенском:

— Живу я здесь недурно, усиленно занимаюсь охотой, перезнакомился с местными охотниками и езжу с ними охотиться. Начал купаться — пока еще приходится ходить довольно далеко, версты  $2\frac{1}{2}$ , а потом можно будет поближе, версты  $1\frac{1}{2}$ . Но для меня все такие расстояния ничего не значат, потому что я, и помимо охоты и купанья, трачу большую часть времени на прогулки.

...купаюсь (иногда по 2 раза в день) в Енисее, гуляю («Защищаюсь сеткой от комаров, которых здесь бездна. А это еще — пустыки сравнительно с севером!» — поясняет он под строкой. — Б. Я.), охочусь. Для гулянья, правда, здесь нет подходящих мест, но при охоте случается забираться далеко — в места недурные... Потому и письма коротки, что жизнь слишком однообразна: всю внешнюю обста-

новку я уже описал; с внутренней же стороны день ото дня отличается только тем, что сегодня читаешь одну книгу, завтра — другую; сегодня идешь гулять направо из села, завтра — налево; сегодня пишешь одну работу, завтра — другую...

«Пролетарская революция», 1929, № 2—3.

Девятого мая 1899 года Владимир Ильич делится впечатлениями от новой сибирской весны, уже третьей для него по счету:

...На этих днях здесь была сильнейшая «погода», как говорят сибиряки, называя «погодой» ветер, дующий из-за Енисея, с запада, холодный и сильный, как вихрь. Весной всегда бывают здесь вихри, ломающие заборы, крыши и пр. Я был на охоте и ходил в эти дни по бору, — так при мне вихрь ломал громаднейшие березы и сосны.

«Пролетарская революция», 1929, № 8—9.

Опасаясь огорчить мать, на долю которой выпало столько трагических испытаний, Владимир Ильич умалчивает о пережитых им в ссылке грустных минутах. Лишь около двух лет спустя после приезда в Шушенское — 11 ноября 1898 года — он пишет младшей сестре в Бельгию, где нет в то время Марии Александровны:

— Получили мы, Маняша, твое письмо и были ему очень рады. Взялись сейчас за карты и начали разглядывать, где это — черт побери — находится Брюссель. Определили и стали размышлять: рукой подать и до Лондона, и до Парижа, и до Германии, в самом, почитай, центре Европы... Да, завидую тебе. Я в первое время своей ссылки решил даже не брать в руки карт Европейской России и Европы: такая, бывало, горечь возьмет, когда развернешь эти карты и начнешь рассматривать на них разные черные точки. Ну, а теперь ничего, обтерпелся и разглядываю карты более спокойно; начинаем даже нередко мечтать, в какую бы из этих «точек» интересно было попасть впоследствии. В первую половину ссылки, должно быть, больше смотрелось назад, а теперь — вперед.

«Пролетарская революция», 1929, № 5.

Таким образом, вопреки неточному представлению о том, что Ленин якобы совсем не писал «о своей внешней жизни», он в письмах к родным исчерпывающе характеризует, по его аналогичному выражению, «всю внешнюю обстановку» своего ссылочного быта. Но, разумеется, охота и прогулки были лишь насущно необходимым отдыхом Владимира Ильича после долгих часов напряженного литературного труда в Шушенском. Его результаты общеизвестны. За три года ссылки Ленин написал книгу «Развитие капитализма в России», брошюры «Новый фабричный закон» и «Задачи русских социал-демократов», подготовил сборник «Экономические этюды и статьи», закончил еще одиннадцать работ. И все это менее чем за три года, в глухом сибирском селе, оторванный от живой литературной среды, от редакций и книгохранилищ. Автобиографические свидетельства Владимира Ильича воссоздают творческую историю почти всех произведений, законченных в ссылке.

### ПСКОВ И РИГА (1900)

Трехлетняя ссылка подходит к концу. Ленин готовится к осуществлению своего организационного плана создания партии. Во всех деталях обдумывает он деятельность будущей революционной газеты, вокруг которой сплотятся партийные кадры. Немало тогда зависит от того, где Владимиру Ильичу удастся поселиться до отъезда за границу. 27 июня 1899 года он пишет из Шушенского А. Н. Потресову, намеченному им в соредакторы «Искры»:

— Мой срок кончается 29.I 1900. Только бы не прибавили срока — величайшее несчастье, постигающее нередко ссылочных в Восточной Сибири. Мечтаю о Пскове.

«Ленинский сборник» IV. М.—Л. 1925.

Псков — неподалеку от Петербурга, Риги, Смоленска. Здесь Ленин предполагает сделать все возможное для подготовки издания «Искры». 26 февраля 1900 года Владимир Ильич приезжает в Псков. Над ним незамедлительно учреждается негласный полицейский надзор, а 28 февраля он получает «объявление» департамента полиции о том, что ему воспрещается жить «в столицах и С.-Петербургской губернии впредь до особого распоряжения, а в губерниях: Московской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Тульской, Пермской, Уфимской, Орловской, Екатеринославской, Бакинской, Варшавской и Петроковской. Белостокском уезде, Гродненской губ., области войска Донского и гг.: Вильне, Кieve, Николаеве, Одессе, Харькове, Риге, Юрьеве, Либаве, Казани, Томске, Елисаветграде, м. Кривом Роге, Херсонской губернии, а также в Иркутске и Красноярске, с их уездами, в течение трех лет, сроком по 29 января 1903 года». Охранники изолируют Ленина от всех тогдашних пролетарских и университетских центров. На документе сохранилась ленинская расписка:

— Настоящее постановление мне объявлено 28 февраля 1900 г.

Помощник присяжного поверенного В. У л ь я н о в.

«Красная летопись», 1925. № 3.

Десятого марта Владимир Ильич просит департамент полиции разрешить Н. К. Крупской переехать к нему в Псков. Через пять дней он пишет матери:

— О Наде послал прошение 10-го и скоро буду ждать ответа... Я живу здесь ничего себе, часто посещаю библиотеку и гуляю.

«Пролетарская революция», 1929. № 11.

В те дни на третьей странице № 23 местной газеты появляется объявление, опубликованное лишь в 1960 году автором монографии «Ленин в Пскове» Г. М. Дейчем:

— Желают брать уроки немецкого языка (теории и практики) у образованного немца. Предложения письменно: Архангельская, д. Чернова, кв. Лурьи, для В. У.

«Псковский городской листок», 19 марта 1900 года. См. также «Огонек», 1960, № 12.

Не отрывающий теорию от практики и в изучении иностранных языков В. У.— разумеется, Владимир Ульянов. Это подтверждает письмо названной в объявлении местной аптекарши—его тогдашней квартирной хозяйки — Лурьи. Владимир Ильич, рассказывает она, «бывало, до 3-х часов ночи занимался литературным трудом, причем меня просил, чтобы ему на ночь подавали самовар...» По тому же свидетельству, уже к девяти часам утра он почти ежедневно уходил на почту и спал, таким образом, не более пяти часов в сутки<sup>1</sup>. Это не вполне соответствует тому образу жизни, который Владимир Ильич рисует в письмах к матери, но, видимо, гораздо ближе к истине — так интенсивно трудится он в Пскове.

Автобиографические высказывания Владимира Ильича, связанные с состоявшейся в начале апреля поездкой в Ригу, сохраняют обстоятельные воспоминания М. А. Сильвина:

— Полагая, что Владимира Ильича должны особенно интересовать быстрые нелегальные сношения с заграницей, я написал ему, предлагая приехать в Ригу и обещая некоторые новости. Я просил Владимира Ильича приехать в воскресенье, когда я бываю «дома», так, чтобы он вечером того же дня мог выехать обратно,— предварительно я условился с латышами о свидании.

Было часов двенадцать дня, когда Владимир Ильич в мягкой фетровой шляпе, в перчатках и с тросточкой, одетый вполне джентльменом, появился на пороге нашей комнаты. Это было в апреле на пасхе. Я спросил, скоро ли он нас нашел, Владимир Ильич сказал, что нашел без затруднений и, только желая проверить свой немецкий акцент, поговорил с полисменом и остался очень доволен,— поня-

<sup>1</sup> «Известия Псковского губкома РКП(б)», 1924, № 4.

ли друг друга прекрасно. За завтраком я передал ему свои впечатления от рижских товарищей, упомянув и о связях с границей. Владимир Ильич заметил, что это, конечно, важно, в особенности ввиду его новых планов, и он посвятил меня теперь в эти планы создания за границей неуязвимого организационного центра и общерусской социал-демократической газеты, на почве ведения и распространения которой должна будет сформироваться партия. Узнав, что он собирается за границу всерьез и надолго, я был очень разочарован... Владимир Ильич попробовал взять меня юмором: «Съездить один раз в ссылку — это можно, но ехать туда второй раз было бы глупо; за границей мы будем более полезны». И он выразил уверенность, что при содействии старых и новых товарищей дело заграничного центра упрочится и что во всяком случае это единственно правильный курс, который теперь необходимо взять.

Мы отправились затем к латышам... Ильич... заметил мне потом, что, конечно, стоило познакомиться с этими людьми, но насчет практической полезности этого знакомства особенно обольщаться не следует. Вечером того же дня он уехал в Псков. По понятным причинам нигде в переписке Владимира Ильича нет никакого упоминания об этом визите... Жена Ковалевского передает, что когда на Лондонском съезде в 1907 году А. М. Горький представил Ленину ее мужа Ковалевского, упомянув при этом, что он латыш, Ленин улыбнулся и сказал: «Я помню, ведь я в 1900 году был в Риге в квартире Ковалевского».

М. А. Сильвин. Ленин в период зарождения партии.

Шестого апреля Ленин пишет матери:

— Я действительно виноват, — не поздравил даже тебя и Маняшу с 1 апреля. Дело в том, что я тогда вторично «завертелся» (как выразилась Надя в письме к сибирским товарищам) по случаю приезда долгожданного путешественника (который теперь уже, вероятно, приехал к себе домой).

Живу я по-старому... Гуляю — теперь недурно гулять здесь, и в Пскове (а также в его окрестностях) есть, видимо, не мало красивых мест... мой знакомый берет заграничный паспорт и думает ехать лечиться числах в 20-х апреля; мне с его отъездом будет здесь скучновато.

Беру уроки немецкого языка у одного здешнего немца, по 50 к. за урок. Переводим с русского, немного говорим — не очень-то хорошо идет дело, и я подумываю уже не бросить ли; — пока, впрочем, посмотрю еще. Занимаюсь вообще мало; все еще не кончил указателя к Webb'у.

Бываю в библиотеке, читаю газеты. Новых книг вижу мало...

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

«Долгожданный путешественник» — это вернувшийся из туруханской ссылки Ю. О. Мартов. «Знакомый» — второй будущий соредактор «Искры» — А. Н. Потресов, который ранее Ленина выехал за границу для установления связи с Г. В. Плехановым и П. Б. Аксельродом и подготовки конспиративного издания «Искры» в Германии. «Указатель к Webb'у» — указатель к переведенному Лениным еще в Шушенском первом и отредактированному второму томам книги Сиднея и Беатрисы Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма». В псковской библиотеке Владимир Ильич бывает не только для научных и литературных занятий. Как за три года до того читальный зал московского Румянцевского музея, псковская Публичная — идеальное место для конспиративных встреч с единомышленниками. Один из них — Н. В. Сергиевский — вспоминает:

— Сам я с Владимиром Ильичем случайно столкнулся чуть ли не на следующий день по приезде его в Псков. Сажу я как-то за газетой в читальном зале в Публичной Библиотеке, и в момент, когда мой взор, оторвавшись от газеты, упал на знакомый характерный череп (лицо было закрыто газетой), я приподнялся, чтобы взглянуть на лицо, и увидел действительно Владимира Ильича. Подошел к нему. Он сейчас же узнал меня, а потом вышел за мной в курилку. Здесь, как человек

дела, даже и не спрашивая моего «кредо», очевидно по старой памяти, он сообщил мне о своих предположениях и предложил оказывать помощь... Мы условились только, что в случае провала оба будем держаться тактики решительного отказа от всяких показаний. Я устроивал для него конспиративную переписку, рассылку шифров (книг для шифра) и проч. Поэтому виделся я с ним не часто, свидания обыкновенно происходили в курилке местной Публичной Библиотеки, куда из читального зала выходил или я за Владимиром Ильичем или он за мной.

Н. Сергиевский. К пребыванию В. И. Ульянова (Ленина) во Пскове в 1900 году. «Красная летопись», 1924, № 1.

Быть может, именно здесь Ленин ведет конспиративные переговоры с будущими агентами «Искры». Недаром год спустя — 24 мая 1901 года — он с заслуженной гордостью сообщает Н. Э. Бауману, организирующему перевозку «Искры» в Россию:

...для приемки у нас функционируют сравнительно очень дешевые, не обременяющие кассу агенты в Пскове...

«Ленинский сборник» VIII. М. 1928.

Вскоре Владимир Ильич направляет официальное прошение директору департамента полиции. В нем говорится:

...Министр Внутренних Дел постановил воспретить мне жительство, в числе прочих губерний, в Уфимской губернии. В настоящее время в городе Уфе проживает моя жена, Надежда Ульянова, состоящая под гласным надзором, и ходатайство мое (в прошении от 10 марта сего года) о разрешении ей перевестись в город Псков было признано не подлежащим удовлетворению. По последним известиям, которые я имею от жены, она заболела и лечится у... доктора Федотова; я указываю фамилию врача в видах того, чтобы мое заявление могло быть проверено и в случае если такая проверка будет признана необходимой, я имею честь... просить о наведении справки по телеграфу. Болезнь моей жены требует упорного лечения, которое потребует, по словам врачей, не менее шести недель, и так как находящаяся при моей жене мать ее должна будет вскоре уехать из города Уфы, то жена останется одна, а это крайне вредно могло бы отозваться на ходе лечения.

На основании вышеизложенного я имею честь... просить разрешить мне прожить в городе Уфе полтора месяца...

гор. Псков, 20 апреля 1900.

В л а д и м и р У л ь я н о в.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Пятого мая Владимир Ильич получает заграничный паспорт и сообщает об этом матери:

— Вчера получил свидетельство от местного полицеймейстера о неимении с его стороны препятствий к отъезду моему за границу, сегодня внес пошлину (десять рублей) и через два часа получу заграничный паспорт. Значит, двинусь летом в теплые края; немедленно ехать отсюда я не могу, потому что надо еще снестись с редакциями и некоторыми издателями переводов и покончить некоторые денежные дела... Кроме того, я должен дожидаться здесь ответа на мое прошение в департамент о разрешении мне прожить 1½ месяца в Уфе вследствие болезни жены. Прошение это подано мною 20-го IV и через недельку, примерно, должен быть ответ. Надо я навещу непременно, но не знаю еще, удастся ли прожить у нее 1½ месяца или (что вероятнее) придется ограничиться меньшим сроком.

Письмо заканчивается такой припиской:

— Сейчас получил паспорт из канцелярии губернатора и навел справку о своем прошении о поездке в Уфу: оказывается, отказано!! Вот уже этого я совершенно не ожидал и совершенно теряюсь теперь, как быть!

Десятого и 18 мая Владимир Ильич снова пишет матери в Подольск:

— Я очень рад, что пришло разрешение на свидание с тобой, и, разумеется, непременно воспользуюсь им; выехать отсюда сейчас же я, к сожалению, не могу, ибо возвращаться сюда мне бы уже не хотелось, а для улаживания финансовых дел и некоторых дел с редакциями я должен еще пробыть здесь дней 5—7 или около того...

Прошу не беспокоиться о моем здоровье: я чувствую себя теперь хорошо и много гуляю, благо погода стоит великолепная; после 2—3-х дней дождя все позеленело, пыли нет еще, воздух прекрасный,— так и тянет ins Grüne<sup>1</sup>.

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Быть может, этими письмами Ленин пытается усыпить бдительность охранки, ибо как раз в те дни он готовится к конспиративной поездке в Петербург, уже побывав нелегально в Риге и Смоленске...

### ПЕТЕРБУРГ (1900)

— 1900 арест,— отмечает Ленин очередную из пережитых им полицейских репрессий.

«Ленинский сборник» XX. М. 1930.

На сей раз охранникам удается выследить его по дороге из Пскова в Петербург и схватить уже с заграничным паспортом и средствами, собранными на издание «Искры». Об этом чуть было не закончившемся трагически эпизоде мы опять-таки знаем из собственных рассказов Владимира Ильича старшей сестре и брату:

— Брат рассказывал нам, как все вышло. Они поехали вдвоем (с Мартовым.— *Б. Я.*) с корзиной литературы в Питер и доехали бы, может быть, благополучно, если бы не переконспирировали. А именно, они решили, для того чтобы замести следы, пересесть по пути на другую железнодорожную линию, но упустили из виду, что пересели на дорогу, идущую через Царское Село, где жил царь, и слежка была поэтому много строже. В охранке над ними подтрунили за эту конспирацию. Но все же сразу их не арестовали. Корзину удалось сбить по приезде, и навестить кое-кого они успели, не приведя хвостов. На ночлег они устроились где-то в Казачьем переулке... но только что вышли они утром, как были схвачены на улице шпиками. Владимир Ильич рассказывал: прямо за оба локтя ухватили, так что не было никакой возможности выбросить что-либо из кармана. И на извозчике двое весь путь за оба локтя держали... Владимир Ильич беспокоился главным образом за химическое письмо Плеханову, написанное на почтовом листике с каким-то счетом. В этом письме сообщалось о плане общерусской газеты, и оно выдало бы его с головой. И все три недели он не знал, проявлено ли письмо. Всего больше беспокоило его, что химические чернила иногда со временем выступают самостоятельно. Но оказалось с этой стороны благополучно: на листок не обратили внимания, и он был в этом же виде возвращен брату...

«Правда», 21 января 1926 года.

Запись Анны Ильиничны дополняет новыми штрихами и деталями Дмитрий Ильич:

— Вместе с Мартовым, который был тогда единомышленником Владимира Ильича, они отправились в Питер. Прибыть на Варшавский вокзал, т. е. ехать прямо, казалось им опасным. Они решили замести следы и приехать с другого вокзала, где их не ждут шпики. Проехали из Пскова до Гагчины, откуда повернули по боковой линии на бывшее Царское Село, там опять пересели в другой поезд и благополучно, казалось, прибыли в Питер. На другой день утром, когда Владимир Ильич вышел из квартиры, где ночевал, его внезапно схватили, — как

<sup>1</sup> В зелень, на лоно природы (нем.).

он рассказывал потом, — «за руки, один — за правую, другой — за левую, да так взяли, что не двинешься... если бы надо было что-нибудь проглотить, не дали бы». Посадили на извозчика и привезли в градоначальство; там, конечно, обыскали, но ничего не нашли. Отвели тут же в камеру. Вызывают на допрос: «Зачем приехали? Вам ведь известно, что в столицу вам запрещен въезд?» Далее: «И выбрали путь, нечего сказать! Через Царское Село! Да разве вы не знаете, что там мы за каждым кустиком следим?»

При градоначальстве сидеть было очень скверно, не сравнить с предварилкой. «Инсекты не дают покоя ни днем, ни ночью, — рассказывал Владимир Ильич, — и вообще грязь невозможная, а кроме того, ночью шум, ругань; как раз около камеры усаживаются каждую ночь в карты играть городовые, шпики и пр. ...»

Д. Ульянов. Возвращение из ссылки. «О Ленине». М. 1925.

Сохранился протокол допроса Владимира Ильича самолично начальником петербургской охраны полковником Пирамидовым, датированный 23 мая 1900 года. Ленин, разумеется, не называет никого из единомышленников, с которыми ему удалось встретиться в Петербурге. Он упоминает лишь и без того уже установленные так называемым «наружным наблюдением» охраны редакционные встречи и ночевку на квартире матери активного члена «Союза борьбы» Е. В. Малченко. Выходя оттуда, он и был арестован. Вот что рассказывает — со всеми необходимыми умолчаниями — этот документ об одном дне ленинской революционной борьбы и ряде предшествующих ему событий и обстоятельств:

— Зовут меня Ульянов, Владимир Ильич, родился я 10 апреля 1870 года, в г. Симбирске... Постоянно проживал в городе Пскове... Занимаюсь литературным трудом и переводами, зарабатывая приблизительно 1.500 р. в год... На предложенные мне вопросы отвечаю:

В С.-Петербург я прибыл 20 мая, утром, по Варшавской жел. дороге, по пути в г. Подольск и с целью, главным образом, посещения редакций и окончания моих денежных и литературных дел перед отъездом за границу, на отъезд куда я уже получил паспорт от г. псковского губернатора; еду туда для продолжения моих научных занятий и пользования библиотеками, так как в России мне закрыт доступ во все большие города... Что касается до моих частных свиданий в С.-Петербурге, то я не нахожу возможным объяснять их, так как это не входит в состав совершенного мною проступка, а именно — самовольного прибытия в С.-Петербург. По той же причине я не нахожу возможным ответить на ваш вопрос — прибыл ли я сюда один или с кем-либо. 20 мая я посетил два раза редакцию «Северного Курьера», куда я явился для передачи своего отказа на предложение, полученное мною незадолго от г. редактора. Ночевал я, вследствие запоздания к поезду, у Екатерины Васильевны Малченко, Б. Казачий переулок, д. № 11, кв. 6, которую я упросил разрешить мне переночевать, вследствие моего запоздания на поезд. На следующий день, утром, по выходе из квартиры, откуда я шел на вокзал, я был арестован на улице. При задержании я первоначально потому отказался назвать место моего ночлега, что был взволнован как способом заарестования, так и боязнью вовлечь в неприятные последствия тех лиц, доброю услугою коих я по неосмотрительности воспользовался<sup>1</sup>.

...Найденные у меня зашитыми 1300 рублей составляют мои личные средства и везти их с собой мне было необходимо как потому, что я должен был взять несколько сот с собою за границу, так и потому, что я должен был уплатить мой

<sup>1</sup> В сообщении Пирамидова от 22 мая отмечается, что задержанный «на улице, по выходе из квартиры Малченко, где ночевал», Ульянов «отказывался указать свое местожительство в С.-Петербурге и объяснял приезд свой желанием повидаться с редакторами некоторых местных изданий, воспользовавшись проездом через С.-Петербург — в Подольск, куда ехать он имеет разрешение... Конспиративность своего пребывания в С.-Петербурге он объясняет сознанием незаконности приезда сюда» («Красная летопись», 1924, № 1).

долг теще и оставить некоторую сумму жене, не имеющей теперь заработка и нуждающейся в лечении. Вез я их с собой зашитыми, опоздав своевременным переводом, а крупные суммы я всегда вожу с собою таким образом, что может быть легко проверено осмотром прочих моих жилетов, которые почти все имеют такие карманы. Относительно приобретения этих денег объясняю следующее: 1) сумма около 850 руб. (если я помню, 881 р. с коп.) получена мною в конце прошлого года от г. Поповой, издавшей мой перевод книги Вебба; 2) около 150 р. (если я помню, 162 р. с копейками) получены мною из редакции «Жизни», переводом во Псков, весною текущего года, 3) остальную сумму, полученную мною меньшими частями, в которую входят, между прочим, и остатки от моих сбережений, в случае надобности я могу с точностью указать по справкам в конторских книгах редакций изданий: «Научное обозрение», «Начало», «Новое Слово» и издательства Водовозовой<sup>1</sup>. Остальные деньги, отдельно от этой суммы, взяты мною на мелкие расходы.

В л а д и м и р У л ь я н о в.

«Красная летопись», 1924. № 1.

Старшему чиновнику для поручений Квицинскому начальник петербургской охранки незамедлительно поручает навести справки в издательствах, указанных арестованным. Они подтверждают, что еще 20 октября 1899 года Анна Ильинична получает в издательстве Поповой 813 рублей 75 копеек за перевод первого тома книги Сиднея и Беатрисы Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма». 19 мая 1900 года еще 150 рублей за этот перевод вручаются — для передачи Владимиру Ильичу — Петру Струве. Есть все основания предполагать, что к своему заработку Ленин присоединяет деньги, переданные ему для издания «Искры» псковскими «легальными марксистами».

Полковник Пирамидов доносит жандармскому начальству: «Ввиду того обстоятельства, что к У л ь я н о в у... в настоящее время может быть предъявлено только обвинение в самовольном приезде в столицу, полагал бы ограничиться произведенными опросами и отправить с провожатым надзирателем... У л ь я н о в а — в Подольск». Туда-то «в сопровождении конвоиров в статском платье», как гласит очередное сообщение охранки от 7 июня, Ленина и отправляют 31 мая.

### ПОДОЛЬСК — УФА (1900)

Опять-таки со слов старшего брата Дмитрий Ильич Ульянов описывает забавный «случай с исправником Перфильевым»:

— По освобождении Владимир Ильич поехал в Подольск, где мы жили с матерью. Его сопровождал от самого градоначальства полицейский чиновник, который и доставил Владимира Ильича по назначению — прямо к исправнику Подольского уезда. Исправник, некий Перфильев, старый чиновник, любивший при случае метнуть гром и молнию, но трус по существу, потребовал у Владимира Ильича документы. Тот предъявил свой заграничный паспорт. Перелистав и просмотрев его, исправник положил документ к себе в письменный стол и сказал: «Теперь вы можете идти, а паспорт останется у меня»... «Документ мне нужен, — сказал Владимир Ильич, — возвратите его мне». Исправник величественно ответил: «Вы слышали: документ останется у меня, а вы можете идти». Владимир Ильич протестовал и заявил, что он не уйдет, пока не получит обратно паспорта. Исправник стоял на своем. Тогда Владимир Ильич повернулся к выходу и заявил: «В таком случае я принужден жаловаться на ваше незаконное дей-

<sup>1</sup> Владимир Ильич имеет здесь в виду свои работы: «К характеристике экономического романтизма» («Новое слово», 1897, № 7—10). «Заметка к вопросу о теории рынков» и «Еще к вопросу о теории реализации» («Научное обозрение», 1899, № 1 и 8), рецензии на книги «Кулачество ростовщичество» Р. Гвоздева, «Торгово-промышленная Россия», «Аграрный вопрос» К. Каутского, «Эволюция современного капитализма» Гобсона и др. (см. «Начало», 1899, № 3. 4. 5). В издательстве М. И. Водовозовой вышла книга Ленина «Развитие капитализма в России».

ствие в департамент полиции», и вышел. Исправник струсил, последняя фраза произвела свое действие. Он вскричал: «Послушайте, г. Ульянов, вернитесь назад! Вот ваш паспорт, возьмите его».

Владимира Ильича ждали дома с нетерпением. Как только он перешагнул порог, он внес с собой живость и веселье. Начал рассказывать о своих последних злоключениях и прежде всего об этом «старом плуте и дураке» — исправнике. Он был еще возбужден после этой схватки: «Хотел отобрать у меня заграничный паспорт, старый дурак, так я его так напугал департаментом полиции»... и Владимир Ильич весело захохотал.

«О Ленине». М. 1925.

В этом случае на пользу Ленину-революционеру пошла юридическая осведомленность Ульянова-адвоката.

Начало июня Ленин проводит в Подольске. Здесь он встречается с будущими искровцами: П. Н. Лепешинским, С. П. Шестернинным и другими<sup>1</sup>. 7 июня через Нижний Новгород Владимир Ильич вместе с матерью и старшей сестрой едет в Уфу, к Н. К. Крупской. Ровно через два года Владимир Ильич вспоминает об этом путешествии в письме, отправленном из Лондона в Самару М. А. Ульяновой:

...Манин рассказ о том, как она на лодке каталась, — меня раздражил... Хорошо бы летом на Волгу! Как мы великолепно прокатились с тобой и Анютой весной 1900 года!

«Пролетарская революция», 1929, № 11.

Подробно рассказывает о беседах с Владимиром Ильичем во время так запомнившегося ему путешествия по Волге его старшая сестра:

— Путешествие это я хорошо запомнила. Был июнь месяц, река была в разливе, и ехать на пароходе по Волге, потом по Каме и, наконец, по Белой было дивно хорошо. Мы проводили все дни на палубе. Володя был в самом жизнеутраченном настроении, с наслаждением вдыхая чудный воздух с реки и окрестных лесов. Помню наши с ним подолгу в ночь затягивавшиеся беседы на пустынной верхней палубе маленького парохода, двигавшегося по Каме и по Белой... Владимир Ильич подробно, с увлечением развивал мне свой план общерусской газеты, долженствовавшей сыграть роль лесов для построения партии. Он указывал, как постоянные провалы делают совершенно невозможными съезды в России. Как раз в апреле того года огромные провалы на всем юге вырвали чуть ли не с корнем несколько организаций...

«Если одни приготовления к съезду влекут за собой такие крахи, такие жертвы, то безумно организовать его в России; только орган, выходящий за границу, сможет длительно бороться против таких направлений, как «экономизм», сможет сплотить партию вокруг правильно понятых идей социал-демократии. Иначе, если бы даже съезд и собрался, все распалось бы опять после него, как после I съезда».

Я не могу, конечно, восстановить через столько лет наши беседы, но общее содержание глубоко залегло в моей памяти. Много говорили о позиции Группы «Освобождение труда»... Владимир Ильич говорил, что, конечно, они люди старые, больные, чтобы выполнять практическую работу, — в этом молодые должны

<sup>1</sup> А. И. Елизарова-Ульянова вспоминает об этих днях: «Мы переехали тогда с ранней весны в Подольск, где сняли вместо дачи квартиру в доме Кедровой в конце города, на берегу реки Пахры. Володя пробыл у нас неделю, если не больше, принимая участие в прогулках пешком и на лодке по живописным окрестностям Подольска, играл с увлечением в крокет на дворе. Приезжал к нему тогда Лепешинский, приезжали Шестернин с женою, Софьей Павловной. Последние ночевали у нас, и я помню, как горячо обрушился Владимир Ильич на позицию защищаемой ими заграничной группы «Рабочее дело». Приезжал и еще кто-то. Со всеми Владимир Ильич договаривался насчет шифра, убеждал в необходимости правильного корреспондирования в намечавшуюся русскую газету, о которой он говорил лишь с наиболее близкими» (А. И. Ульянова-Елизарова «Воспоминания об Ильиче»).

помогать им, но не обособляясь в особую группу, а признавая целиком их вполне правильное и выдержанное теоретическое руководство. Владимир Ильич именно так и мыслил свою с товарищами работу за границей.

«Правда». 21 января 1926 года.

С двухнедельным пребыванием в Уфе, использованным Владимиром Ильичем для переговоров с местными ссыльными революционерами о содействии «Искре», связан лишь один сохранившийся ленинский документ — письмо М. А. Ульяновой от 2 июля 1900 года:

— К сожалению, должен сообщить тебе, что наше свидание несколько откладывается: я вынужден съездить ненадолго к товарищу в Сибирь и потому раньше как 20-го или 21-го июля (вероятнее, думаю, 20-го) проезжать через Подольск не буду. А затем мне останется только собрать вещи, визировать паспорт — и ехать дальше.

«Пролетарская революция». 1929. № 11.

Нам кажется, что ссылка на «товарища в Сибири» сделана Владимиром Ильичем из конспиративных соображений. Ведь уже через несколько дней после этого письма, разумеется, перлюстрированного полицией, он оказывается вовсе не в Сибири, а на Волге — в Самаре и Сызрани, где снова подбирает и инструктирует будущих агентов и корреспондентов «Искры». Интереснейшие уфимские рассказы Ленина о своих встречах и беседах в Москве, Пскове, Риге, Смоленске, Петербурге, Подольске и Нижнем Новгороде на этот раз Надежда Константиновна не пересказывает, а лишь упоминает:

— Он рассказывал о том, что ему удалось сделать за это время, рассказывал про людей, с которыми приходилось встречаться. Конечно, по случаю приезда Владимира Ильича был ряд собраний. Помню, как, когда выяснилось, что Леонович, считавший себя народовольцем, не знает даже по названию Группы «Освобождение Труда» — Владимир Ильич вскипел: «Да разве революционер может не знать этого, разве он может сознательно выбрать партию, с которой будет работать, если не знает, не изучит того, что писала Группа «Освобождение Труда».

Н. К. К р у п с к а я. Воспоминания.

Основанные на его личном революционном опыте высказывания Владимира Ильича о бдительности подпольщика воспроизводит в воспоминаниях «Тов. Ленин в Уфе (1900 г.)» А. Петренко. Когда он в коридоре меблированных комнат громче обыкновенного произнес заглавие нелегальной книги Плеханова «Наши разногласия», Владимир Ильич заметил: «Надо быть осторожнее, товарищ. Здесь могут подслушать». — «Что же тут неосторожного...» — возразил мемуарист. — «Ведь могут же быть разногласия между нами...» Ленин на это ответил:

— Ну, нет. Так рассуждать нельзя, если не хотите по пустякам обратить на себя внимание недреманного ока. От своих противников всегда следует ожидать худшего. Надо рассчитывать, что ваши слова будут истолкованы в наименее выгодном для вас смысле. Лучше представлять опасность большей, чем она может казаться, и принимать соответствующие меры.

«Пролетарская революция». 1924. № 3.

В те дни за плечами Ленина была уже почти тринадцатилетняя школа революционного подполья, школа тюрьмы и ссылки. 16 июля 1900 года он уезжает за границу, чтобы там осуществить продуманный во всех деталях план организации партии, разгнать из «Искры» могучее пламя русской революции.



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЕОНИД ГУРУНЦ

★

## КАРАБАХ, КРАЙ РОДНОЙ

Земля! Ты чего-то ждешь от меня?  
Скажи, старина, чего же ты хочешь?  
Жду, чтоб мои сыновья изменили меня!

*Уолт Уитмен.*

**Н**агорный Карабах. Здесь я родился. обучался писать буквы, подставив под тетрадку доску, — в школе тогда не было парт. Здесь я ходил за стадом подпаском.

Я почти каждый год бываю в Карабахе, я знаю его большие пути и глухие, затравенные тропки, знаю его радости, удачи его людей, знаю их огорчения и промахи, болью отзывающиеся в сердце.

В Карабахе много садов и еще больше гор. Тут на сравнительно малой площади — немногим более четырех тысяч квадратных километров — собрались в тесный кружок такие горы-великаны, как Гимяш и Мров-таг, вершины которых подпирают небо, и лишь немногим уступающие им Кырх-кыз, Большой и Малый Кирс, Гюллюджа, Зиарат. А такие, как Бурухан, Басунцхут, Матагахут, да и многие другие вполне солидные вершины снисходительно называют здесь хутами, то есть пригорками. Еще бы! Ведь весь-то Карабах сам по себе закинут высоко в поднебесье — выше чем на тысячу метров над уровнем моря!

Реки? Конечно, и они есть в Карабахе, правда, в большинстве маловодные. Это Хочен, Каркар, Тартар. Однако весной во время паводка они бушуют и гремят галькой так, словно это сам Терек. Но зато сколько здесь звонких и стремительных ледяных родников! Припадешь в жару к такому родничку — губы обожжешь.

И свои минеральные источники в Карабахе есть, и полезные ископаемые тоже — барит, гипс, пирит, минеральные краски, тальк, мергели, мрамор, и даже свои очаги землетрясений есть — Шушинский, Гадрутский, Ванкский.

Ну, а что можно сказать о климате края, где летом, забравшись на какой-нибудь Кирс, можно отморозить нос, а в долине и зимой ходят в одной рубашке да еще расстегнув воротник? В этом крае легко спутать календарь.

И все же Карабах не знает ни большой жары, ни продолжительных сильных морозов. Очевидно, благодаря тем же горам, которые, сообщая летом прохладу, преграждают путь холодным воздушным массам, идущим с востока и запада. Поэтому-то живописные склоны Карабаха большую часть года покрыты буйной зеленью, а летом в садах наливаются знойным янтарным соком теплолюбивая шах-тута, вкус ягод которой, уверяю вас, раз попробовав, вы не забудете никогда.

Много разных плодов и ягод зреет под небом Карабаха, но всем им мои земляки предпочитают шах-туту. Представьте себе огромное дерево с могучей пышной кроной, густо усыпанное белыми в пупырышках крупными ягодами. Как сахарное мороженое, тают они во рту. И этими деревьями заняты огромные пространства. Они дают тень и сохраняют родники. Исполон веку великое уважение питают карабахцы к шах-туте, никто не посмеет швырнуть в это дерево камнем, обломать ветку.

Я не знаю, известны ли ученым целебные свойства, какие заключает в себе спелая ягода туты. Но карабахцы знают: если у вас язва желудка, ешьте нашу царь-ягоду. Если сердце работает неважно, отправляйтесь к нам в Карабах и ешьте шах-туту. Ревматикам великолепно помогает ванна из перебродившего сока этой ягоды. Маляриков излечивает ежедневный прием натошак стакана бекмеза — густого сладкого сиропа, приготовленного из тутовых ягод. А если вы здоровы, то тем лучше: ешьте туту натошак, ешьте после обеда, ешьте до самого вечера и никогда не говорите: «Спасибо, наелся» — вас поднимут на смех, потому что тутой наестся нельзя.

Вы, конечно, думаете: всяк кулик свое болото хвалит! Но поговорите с заслуженными врачами Азербайджанской республики А. Астаряном, Х. Бозяном, десятки лет работающими в Карабахе. Поговорите с ними, и они назовут вам адреса людей, вылечившихся тутой. Вам покажут книгу анализов, и вы узнаете, что в зрелых плодах шах-туты содержание сахара достигает внушительной цифры — тридцать два процента!

Скажите положа руку на сердце, знаете ли вы еще какую-нибудь другую плодую культуру, содержащую такое количество сахара?

Шах-тута — щедрое дерево. За один сезон с него восемь раз снимают плоды. Вот почему карабахский труженик так любит это дерево. Большинство колхозов области разводит шах-туту. Тысяча семьсот двадцать гектаров сплошных массивов шах-туты — такова площадь, занимаемая этой высокопродуктивной культурой. Для несведущих скажем: шах-тута — это один из кормильцев Карабаха. Специалисты подсчитали: валовой доход от шах-туты превосходит расходную часть бюджета области...

И все же должен напомнить, что благодатная карабахская земля никогда не могла прокормить своих тружеников. Слишком она была тесна и перенаселена горами, чтобы на ней карабахский крестьянин мог добыть себе достаточно хлеба. Вот почему в старом Карабахе так много было отходников, людей, пополнявших собой армию сезонных рабочих в городах Средней Азии и Баку.

## РОДНОЙ НОРШЕН

Когда едешь от станции Евлах, что лежит на железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси, в сторону города Агдама, то по мере приближения к нему все отчетливее вырисовываются вдаль сизые горы, покрытые туманом. Это и есть наш Карабах.

Здесь что ни село — то свой климат, свой рельеф, свое лицо. Если район Мартуни славится зерном, виноградом, тутой, то в районе Шуши пшеница едва возносит над землей голову, тута безвкусна, а виноград не растет вовсе. Зато здесь чудесные альпийские луга, на когорых пасутся тучные колхозные отары, здесь целебные источники (которыми, к сожалению, почти не пользуются), здесь каменные карьеры, снабжающие чуть ли не весь Азербайджан мельничными жерновами.

А район Мардакерта, который по праву называют житницей Карабаха, поставляет области все, начиная от электрической энергии до хлопка, зерна, нефти. А Гадрут, закинутый под самое небо, богат лесами, лугами, ископаемыми.

У подножия сизых гор расположилось мое родное село Норшен. С него, с Норшена, собственно, и начинается Карабах. Само название Нор-шен означает «Новое село». Но это, ей-ей, для красного словца. Лет тридцать назад у нас умер старик Вани-апер, было ему не то сто тридцать с небольшим, не то без малого сто сорок лет, но и он родился в Норшене.

Наше село — все из белого камня. И это не какие-нибудь вам приземистые домишки, а осанистые дома, иногда двухэтажные, крытые железом, с пегушком на коньке. Они знали труд каменщика, столяра, кровельщика. Дома тесно жмутся друг к другу. Примостилось село на крутом склоне, и раскрывается оно подъезжающему к нему человеку сразу все — сверху донизу. Норшен — село особенное.

Мне могут сказать: а разве соседние села — Каракенд, или Ашан, или Гацы — не раскинулись на таких же крутых склонах? Разве там, как и в Норшене, сквозь кроны столетней шах-туты не проглядывают каменные дома под железными крышами? Нет, ни у меня, ни у кого другого не повернется язык сказать хоть одно худое слово об

этих селах. А вот при упоминании Норшена у карабахца лицо расплывается в лукавой улыбке. Не слишком высокого мнения о Норшене мои земляки. Они считают это село непутевым, а его жителей обзывают пустомелями, кутилами, спесивцами.

Какими только прозвищами не награждают они нас, норшенцев! Что скрывать, любят норшенцы веселые пирушки — любое событие отмечают с помпой, и уже никто не усидит дома, если у кого из них случается большая радость.

Если при упоминании Каракенда люди ощущают на своих губах вкус терпкого каракендского вина, а при упоминании Ашана или Гацы — пахучий жилистый пшеничный хлеб, то, услышав слово «Норшен», им неотвязно приходят в голову танцы. Да, именно танцы.

Правда, норшенцы славятся в Карабахе не только своим веселым нравом, плясками, пирушками, громкими свадьбами, но — прибавлю я истины ради — и не менее громкими делами, которые в силу характера моих односельчан не всегда сразу замечают люди.

Наше село и многим другим отличается от остальных карабахских селений. Здесь нет ни лесистых массивов Гадрута, ни голых плоскогорий Шуши, нет и широких ровных пашен, какими изобилует Мардакерт. Если здесь горы — то невысокие, если леса — то жидковатые, если пахотные участки — то небольшие. Множество оврагов мешают норшенцам пользоваться не только трактором, но и мотоплугом. И тем не менее здесь возделан каждый клочок земли.

Здесь, как и всюду в Карабахе, хлеборобство — дело почетное, им занимаются все колхозы, выгодно это или невыгодно. Но тут в почете и сады — тут и виноград всегда дают сносные урожаи, — и табаководство, и пчеловодство, и шелководство: по семьдесят — восемьдесят килограммов шелка с каждой коробки грены собирают норшенцы. Я уже не говорю об овцеводстве, которое вообще в области стоит высоко. Ведь именно Аванеса Оганесяна, заведующего норшенской овцеводческой фермой, главного отарщика колхоза, заметили в Москве и наградили орденом.

Итак, я в Норшене. Если бы сейчас было начало лета, когда тута обильно расточает свой ни с чем не сравнимый аромат, мы оглохли бы от ликующего звона цикад. Сады Норшена начинаются сразу у карабахской границы и тянутся по живописной долине до самого села. Густая листва вековых деревьев шах-туты отбрасывает густую, почти черную тень. А звон цикад то и дело прерывается короткими ударами така — палки, которой сбивают спелые плоды с ветвей!

Но сейчас уже осень. Тутовый сезон отошел. Сад пуст. Нет густой тени на дороге, нет характерного ухающего удара така, нет и звона цикад.

Мой спутник — уже немолодой человек. Из-под выцветшей шапки ровной проседью светятся виски. Зовут его Саркис Хачатрян. Он бригадир садоводческой бригады. Из скромности Хачатрян говорит не о только что снятом богатом урожае туты, а о строительной бригаде, которая замешкалась и никак не закончит помещения для молочно-товарной фермы. Ему бы сейчас блеснуть перед гостем успехами своей бригады, но он упорно говорит о животноводах.

— Вот никогда не думал, что наши коровы могут дать столько литров молока в год. А болтали, будто им больше четырехсот — пятисот литров никак не дать. А вот дали же.

Я действительно слышал в селе такие разговоры в один из своих приездов, помню, как колхозники открыто поговаривали о нерентабельности фермы. И хорошо помню, что одним из ярых ее недругов был не кто иной, как наш Саркис. «Разогнать к чертям надо такое хозяйство», — твердил он тогда. Я напомнил Хачатряну о его недавнем мнении. Он рассмеялся:

— Сейчас вспомнишь еще, как я носил районное руководство за непочтение к нашей туте.

— Районное руководство ты ругал правильно, — заметил я.

— Не совсем. Стрелочника ругал. А надо было повыше брать.

Я хорошо знаю, что значит для Норшена и для всего Карабаха тута. Мне разъяснять этого не надо. Но у бригадира старая незаживающая рана.

Кто-то когда-то поместил шах-туту в графу непланных культур, с тех пор ни у кого руки до нее не доходят.

— Это тута-кормилица наша беспланова? — возмущается Хачатрян. — Ну, не смешно ли! Нерадивых хлеборобов за плохой урожай наказывают, а за плохой урожай туты никому и в голову не придет отчитать виновных. Даже теперь, когда как будто сдвинули дело с мертвой точки, сбор туты не составляет и третьей доли того, что мы получали от наших садов в первые годы коллективизации.

И тут мне хочется рассказать, как, объединив усилия, мы с земляками спасали нашу шах-туту. Было время, когда ее просто приказали сводить. Представляете: брать топоры и срубать, а то и срывать бульдозером деревья. Почему? Сперва в вышестоящих инстанциях решили: «Такой культуры не существует, а есть только низкокачественные ягоды шелковицы». Второй предлог — тутовые ягоды служат сырьем для изготовления водки, которая содержит большой процент сивушных масел. Поэтому сбор плодов запретили!

Карабахцы приуныли. Что делать? Беда!

Помню, приехал я тогда по зову моих друзей односельчан — и сразу же в обком: «Почему не разрешают собирать туту? Почему срубают деревья?» Отвечают: «Указание сверху». — «А вы-то сами как к этому относитесь: разве правильное оно, это указание? Разве можно чьим-то росчерком пера лишить наши колхозы чуть ли не самой доходной статьи?» Обкомовцы отводят глаза. Крыть нечем. Главный козырь — сивушные масла в тутовой водке — оказывается, вовсе и не козырь. Потому что все дело в том, что изготовители снизили требования, и в колхозах стали изготавливать араку — тутовую водку пониженной крепости, а поэтому в ней стало больше и сивухи! Дело ведь это легко исправимое. Да и нельзя же видеть в этом полезнейшем плоде только одно его применение — араку.

С письменным разрешением обкомовского начальства, в сопровождении председателя «Каринтреста» Бабаяна — тоже норшенца — отправляемся в наше родное село за вещественными доказательствами, необходимыми для восстановления поруганной чести шах-туты.

Через два дня я уезжал из Норшена, нагруженный бутылками араки, которые должны были опровергнуть вздорную небылицу о сивухе. Кроме них, я увозил банку бекмеза — густого сиропа, приготовленного из сока тутовых ягод, похожего на мед, мешочки тутовой сушенки, не уступающей по вкусу кишмишу. Мы решили биться за нашу кормилицу: туту.

После безрезультатных хождений по ведомствам мы обратились к печати. Нас поддержали «Известия», и это решило исход боя. Мы одержали победу. Только должен сказать: противник был ненастоящий. После выступления «Известий» он сразу же капитулировал, издал приказ об отмене запрета сбора туты с такой же поспешностью, с какой прежде издал приказ о запрете. Но эта бюрократическая описка стоила карабахским колхозам многих тысяч рублей, да и государству тоже...

Но я покривил бы душой, если б сделал вид, что после отмены вредного приказа наступило благоденствие для наших тутовых садов. Исчезли, правда, бульдозеры, успешно свалив в области чуть ли не треть тутовых деревьев, исчезла кладбищенская тишина в садах, но зато последовали новые указы незадачливых чинуш, предписывающие рубить ветви туты для кормления шелковичного червя. А ведь там, где свели туту, где хищнически обрубили ее ветви, уже обмелели, да и просто исчезли родники. Об этом ведь тоже надо думать.

В Нагорном Карабахе очень часто в разговоре о печальной судьбе шах-туты кивают на Министерство сельского хозяйства СССР. Да, министерство во многом виновато. Там до сих пор нет ясного представления о том, что такое шах-тута. Во всех официальных документах она числится как шелковица. Нет четкой границы между плодовым ее сортом и тем, что идет на корм шелковичным червям. А ведь следовало бы распространить эту культуру в других республиках. Разве в том, что Министерство сельского хозяйства СССР не знает, что шах-тута отличается от всех сортов шелковицы, не виноваты прежде всего руководители Министерства сельского хозяйства Азербайджана?

Разве не несут ответственности за это неведение, да и за состояние тутового хозяйства руководители области?

Но вернемся к нашему колхозу.

Другая весьма важная отрасль хозяйства укрупненного Норшенского колхоза — виноградарство. Его по праву доверили Саркису Атаяну — нестарому еще колхознику из села Гацы.

— Ну, если на то пошло,— сказал Атаян,— мы, виноградари, больше пострадали от всяких кампаний, чем туководы. Ведь тут не виноград. Посадил тутовое дерево — оно знай растет себе и плодоносит. А с виноградом так не пойдет, это деликатная культура. Поработаешь с ней честь по чести, позаботишься — она тебе сторицей отплатит. Нет — и косточки виноградной не увидишь. Всего несколько лет назад сидели мы, как и туководы, в графе «неплановых культур». А что это значит? А вот что: на такую культуру вам не выделят ни машин, ни удобрений, ни людей. Одним словом, пасынки... Вот хирели, засорялись сады и виноградники наши. И ведь от этого никому никакого проку, один вред. Вот ведь до чего додумается человек, когда он не народу, а бумажке служит!

Атаян пригласил меня на виноградник. По дороге навстречу одна за другой тянулись арбы с виноградом — везли к давальням.

— Сейчас сам увидишь, какой урожай мы вырастили. По моим подсчетам на трудодень нам одного только вина выдадут не меньше литра.— Он искоса взглянул на меня и добавил: — Тебе, правда, это не понравится, ты норшенец, но я все же скажу: благодарите нас, гацинцев. Не будь Гацы, вам такое и не снилось бы. Господи, что здесь было, когда мы сливались,— палки одни, а не виноградники. Теперь, слава богу, все зазеленело.

Я знал, что виноградники Гацы несколько лет назад тоже были не в лучшем состоянии, но я привык к этим взаимным щелчкам соседей и пропустил очередной без внимания.

— Я представляю, как наши садоводы честили нас, хлебобобов, как кости наши перемывали за то, что, мол, нам все внимание,— степенно начал свой рассказ о колхозных делах белый как лунь Бейбут Аванесян.

Старый хлебобоб в прошлом немало хлебнул горя на своем каменистом участке, который он обрабатывал, привязав себя к кусту.

— Был у нашего счетовода? Так потрудись поговори с ним. Он скажет тебе про наши делишки. Подумать только, одной пшеницы выдали уже авансом по восемьсот граммов на трудодень.

Последнюю фразу бригадир произнес с приличествующим его возрасту достоинством, рассчитывая, что столь высокая цифра должна ошеломить меня. Но я только что был у Героя Социалистического Труда Сурена Адамяна, в колхозе которого трудодень весит немногим меньше пяти килограммов одного только хлеба, и, разумеется, эту цифру принял без особого энтузиазма.

Старик заметил это.

— Да ты, я вижу, позабыл, как мы здесь горе мыкали. А ну-ка вспомни урожаи прежних лет. Шесть-семь центнеров с гектара, по двести граммов хлеба, бывало, нам на трудодень выдавали. А нынче сколько? Двенадцать центнеров с гектара — и тебе мало?!

Из осторожности, чтобы ненароком не бросить тень на родное село, истый норшенец Бейбут Аванесян не сказал, что столь внушительному количеству зерна на трудодень они обязаны прежде всего селению Гацы, земли которого получше. Гацинцы — исконные хлебобобы. Бейбут Аванесян тщательно обходил все подводные камни, связанные с полеводством в Норшене. Он не сказал, что в районном центре все чаще поговаривают о бесперспективности производства зерна в Норшене, где нет возможности механизировать полевые работы, что тракторы и комбайны у них больше стоят, чем работают, не рискуя забираться на норшенские кручи...

— Ну, а если нам, хлебобобам, сверху поблажки делают, так пусть другим это

не колет глаза. Больное дитя мать больше голубит,— под конец все-таки признался Аванесян.

С тех пор как в Норшенский колхоз влился колхоз села Гацы, оба они от этого только выиграли. Когда жили порознь — и в одном, и в другом колхозе людям приходилось трудно: постоянно только и разговору, что об аресте на счет в банке да о хроническом дояге, о заросших сорняками хлебах да о хилых овцах и тощих коровенках.

Я побывал не только в садах и виноградниках укрупненного колхоза, но обошел все колхозные службы. И всюду, где был, видел хорошо налаженное хозяйство. Меня предупредили: колхоз в этом году вышел на первое место в области по настригу и поставке высокосортной шерсти. По плану они должны были сдать три тысячи восьмьсот сорок один килограмм шерсти — сдали восемнадцать тысяч пятьсот. Мне показали напечатанную в районной газете фотографию заведующего овцеводческой фермой Аванеса Оганесяна и очень советовали заглянуть на ферму.

С десяток лохматых псов с лаем кинулись нам навстречу, едва мы приблизились к загонам.

— Алабаш! — крикнул мой спутник Арзо Арзуманян, председатель сельсовета.

Огромный пес, несшийся впереди, должно быть, узнал Арзо: он вдруг умерил бег, заюлил, ощерив желтые зубы. Остальные собаки тоже перестали лаять.

Овцеводческая ферма — гордость норшенских колхозников. В любом доме Мещена или Гацы, где вас угостят необычно вкусным, ароматным ноздреватым сыром, вам обязательно скажут, что сыр этот приготовлен по рецепту Аванеса Оганесяна. Не забудут при этом отметить и его необычную память: все пять тысяч своих овец Оганесян знает по имени.

Нет, право, Аванес отлично знает каждую овцу, ее привычки, повадки, с кем она дружит. Баран всегда с подругой. Только беда может их разлучить. Молодые пастухи глаз не сводят с главного чабана, когда тот по вечерам, став на пригорке у кошары, ведет счет вернувшемуся с пастбища стаду.

— Кара-гоюн, сары-гоюн,— быстро, как заклинание, шепчет Аванес, пропуская живой поток овец.

В ладони у него камушки — на тот случай, если кого-нибудь из пары недостает: каждый брошенный к ногам камень — недосчитанная овца.

Аванес невысок ростом, коренаст, лицо багрово-красное. Говорит громко — привычка старого чабана, выросшего среди альпийских лугов. Сколько лет прошло с тех пор, как он расстался с посохом, а все говорит так, словно его собеседник находится на соседней горе.

Слушая Аванеса, я вспомнил вдруг об одном эпизоде, происшедшем с ним как-то, и не мог удержаться от улыбки.

Однажды из его стада пропали два барана. Долго он искал, но так и не нашел. Прошло немало времени, и вот, уже будучи заведующим фермой, Аванес ехал куда-то на лошади и вдруг среди пасущегося на склоне чужого стада узнал пропавших баранов. Он подозвал чабана.

— Эти два барана мои. Как они попали к тебе? — спросил он.

— Чем ты докажешь, что они твои? — возразил чабан.

— На правой лопатке есть тавро «Н», — спокойно ответил Аванес.

Чабан лихо повалил одного за другим обоих баранов и, разгребая шерсть, к удивлению своему, увидел на указанном Аванесом месте метку. Так через четыре года бараны были найдены и возвращены в норшенское стадо.

Я с детских лет помню Аванеса. Мы поздоровались, поговорили немного, вспомнили старину, и вскоре он, извинившись, пошел встречать стадо: оно вот-вот должно вернуться с пастбища.

Мой спутник Арзо Арзуманян приехал сюда недавно. Жена его работает в Норшене врачом, вот он и погянулся за ней сюда. Арзуманян знает всех колхозников в лицо. Меня приятно поразило и то, что он одержим тем местным патриотизмом, каким издавна отличались и норшенцы и гацинцы. И я не удивился, когда Арзуманян, зна-

комя меня с хозяйством артели, оставил ферму Оганесяна на «закуску». Так поступил бы любой норшенец, а равно и гацинец! Это и в самом деле было справедливо — ведь именно за успехи овцеводов колхоз получил в подарок три машины. Теперь у него целый автомобильный парк — двенадцать машин!

Арзо Арзуманян — свой человек на ферме. Он познакомил меня с ее работниками — бригадирами Аритоваздом Оганесяном, Серо Мустафаевым, Израеелем Карапетяном, Султаном Калумовым и Исманлом Курбановым. С чабанами Сулейманом Касумовым, Мираланом Курбановым, Ширали Хызаровым, Ширали Кудбановым, Сафаром Сафаровым и другими. В колхозе, кроме армян, работают и азербайджанцы. Они из соседнего села Марзили — ведь в Карабахской автономной области живут и те и другие.

Арзо показал мне знаменитую аванесовскую сыроварню. Техники, конечно, никакой. Все делается очень примитивно, но сыр, приготовленный в специальных бурдюках из бараньей шкуры, вывернутой шерстью вовнутрь, был очень вкусным. Должно быть, оттого, что его готовят из не обезжиренного молока. Арзуманян угостил меня большим куском этого действительно отменного сыра, предварительно очистив его от волосков.

Затем Арзуманян повел меня смотреть ягнят. Около двух тысяч маток окотилось в этом году на ферме. Ягнята были тут же, на поляне, обнесенной со всех сторон невысокой изгородью. Арзо прошел в загородку и вышел, прижимая к груди огненно-рыжую ярку. До чего же прелестны маленькие барашки! Поцеловав в мордочку, Арзо пустил ярку в кошару. Со всех сторон неслось тонкое бляенье, пахло жженой шерстью — новорожденных ягнят испытывали огнем: накладывали клеймо.

Про Аванеса говорили: раз он в кошаре — зоотехнику нечего делать. Он знает способы, как лечить овец от ящура и от разных других болезней, даже от малярии, перед которой пасует ветеринарный врач, время от времени объезжающий фермы.

В довершение всего Арзуманян потащил меня на пригорок, откуда хорошо обозревать хозяйство Аванеса. Кошары для ягнят, кошары для маток, небольшая пристройка под сыроварню, круглые, похожие на грибы юрты для чабанов.

Арзо, толкая меня локтем, показал на склон, по которому спускалась баранта. Впереди, царственно неся голову, шел вожак — огромный баран. Косые лучи закатного солнца играли на его закрученных рогах. Вожак подошел к кошаре и скрылся в ней. За ним живым потоком устремились остальные. Аванес стоял у входа и выкрикивал: — Кара-гоюн, сары-гоюн!

Один из мохнатых псов, отделившись от остальных, виляя хвостом, подошел к Арзо и лег у его ног. Это был Алабаш. Арзо нагнулся и ласково потрепал его по кудлатой голове. В ответ Алабаш лизнул ему руку, словно прося прощения за неучтивый прием.

Мы покинули ферму поздно вечером. Овцы, сбившись в тесную кучу и опустив головы, спали.

Много разных поговорок да пословиц сложено вроде бы о моем селе. И все про его бедность. Знаете такую? «На животе шелк, а в животе — шелк». Держу пари, что это про наше село. Или такую: «Живут на горке, а хлеба ни корки». Эта тоже наверняка про нас. Но я не спешу ни оспаривать, ни опровергать. Кому это нужно: опровергать опровергнутое. Если вы думаете, что я хочу скрыть недостатки, которые непременно есть у моих земляков, то просто ошибаетесь. Приезжайте в наше село и попробуйте уличить меня во лжи. Это вам нелегко сделать. Даже если под чьей-нибудь крышей и задержалась еще бедность, то не ждите, что норшенец покажет вам карас без вина или пустой мешок из-под пшеничной муки. Таковы норшенцы. Да и гацинцы тоже.

На этот раз я приехал к себе в село не прямо, а заехав прежде в райцентр. У меня там были кой-какие дела. Секретарь райкома Гайк Саркисян, еще совсем молодой человек, принимая посетителей, все время поглядывал на часы.

— Черт возьми, — улучив минуту, пожаловался он мне, — надо спешить в Норшен, сегодня там свадьба. Обидятся, если я не погуляю с ними. Жених очень уж хороший парень, нельзя обижать.

Я недоверчиво посмотрел на Саркисяна: не хочет ли поддеть меня секретарь райкома?

— Да, кстати, вы ведь норшенец,— продолжал он.— Поедьте вместе.

Через час, покончив с делами, мы выехали на машине из райцентра. По дороге завернули в Ашан — секретарю райкома надо было там кого-то повидать. Воспользовавшись остановкой, я попросил найти мне Серо Абрамяна, молодого колхозного поэта. О нем я слышал еще в Степанакерте, читал его стихи, напечатанные в областной газете, и мне хотелось познакомиться с ним. Пожилой колхозник, к которому я обратился, ответил мне, лукаво улыбаясь:

— Где ж его искать: вся молодежь подалась в Норшен — ведь там свадьба!

Когда мы приехали в Норшен, свадебное гулянье было в разгаре. Нас прямо-таки вытащили из машины и увели к дому невесты. Оказалось, что невеста была мне родней. Не так легко в Норшене даже чужому отсидеться дома, когда у соседа радость, а тут — родич...

Через минуту я уже сидел за длинным-предлинным свадебным столом, уставленным нашей национальной снедью, среди слегка подвыпивших веселых норшенцев.

Это был «головной» стол. Примерно такие же столы были накрыты прямо на улице или во дворах других норшенцев. У невесты или жениха свои родственники, а у родственников в свою очередь тоже родственники, и каждый считает своим долгом в честь молодоженов накрыть стол — меньшей брат головного стола. Как бы ни было весело за головным столом, свадебный поезд не вправе обойти ни одного из этих столов, пренебречь им! Веселятся здесь, веселятся там — вот и получается, будто весь Норшен пирует на радостях.

А вот и виновники торжества — жених и невеста. Если бы я не знаком был с Арев раньше, вряд ли признал бы в этой разодетой шеголихе с намертво сжатыми губами и застывшей, едва приметной улыбкой на красивом лице (невеста не должна на своей свадьбе разговаривать и быть излишне веселой — это может оскорбить родителей, от которых она уходит) ту живую, искрометную Арев, которую я знал. И Шаэн в своем новом костюме немного не по росту был не таким, каким я видел его прежде. Куда девалась его общительность, добрые смешинки в глазах, его готовность скаламбурировать: норшенцы любят шутки-прибаутки, а Шаэн — коренной норшенец. Был он сейчас то застенчив до смешного, то до смешного строг и важен.

А музыканты, музыканты! Молодой бубнист, надвинув на глаза папаху, ловко орудовал пальцами. То запустит их мелким горошком, то хватит что есть силы по тугой, звонкой коже, то пойдет частить гулкой дробью.

Я ловлю на себе укоризненный взгляд главного музыканта — тариста Макара Даниеляна и виновато киваю ему. Это опытный садовод и по совместительству не менее опытный музыкант, сыгравший на своем веку не одну сотню свадеб. Макар Даниелян бел как лунь. Ему много лет. Когда-то он обхаживал меня, уговаривал жениться, но это ему не удалось. А теперь он корит меня своим притворно сердитым взглядом.

— Шабаш, ай, шабаш!

По кругу, мелко перебирая ногами, вытянув руку с отставленным мизинцем, плавно несется немолодая женщина, мать Арев. Она приглашает на танец мать Шаэна. Ну как не стараться тут музыкантам, да и тебе, сидящему за столом! Хотя и до этого танцевала не менее важная пара и твои ладони горят от хлопков, но ты бьешь в ладоши, помогая музыкантам, а вернее, выказывая уважение танцующим. А если танцующие — матери жениха и невесты... Как тут не разойтись!

Женщины кончили свой танец и, покрасневшие от возбуждения и радости, одна за другой подойдя к музыкантам, как это делали испокон веков, прилепили каждому к вспотевшему лбу по рублевке. Все засмеялись этому старинному обычаю, в том числе и музыканты. А потом плясали девушки, парни и солидные мужчины, плясали без усталости, не ведая счета времени.

Такое же веселье ждало нас и за столами-братьями во дворах родственников! И когда через три дня я покидал Норшен, там люди все еще продолжали веселиться. Что ж, они могут себе это разрешить, потому что честно трудились, да и случай для веселья подходящий.

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Если Карабах начинается с моего родного Норшена, то это обстоятельство, скажем прямо, чисто географическое, от нас не зависящее. Но вот то, что делает Карабаху славу, все же, между нами будь сказано, связано с совсем другим селом. Да востоят мне мои односельчане, если, отдавая должное их трудолюбивым рукам, их добрым делам и, конечно, веселому нраву, пирушкам и громким свадьбам, если я первый поклон отвешу Чартару, селу, принесшему всему нашему Карабаху славу.

Вы уже догадываетесь? Да, я веду вас в колхоз шести Героев Социалистического Труда. Вот уже более десяти лет светит этот маяк всей нашей области. Как же не поклониться Чартару, его людям! Как не отметить его добротные, совсем городские дома, его налаженное хозяйство и вполне сносную жизнь!

Мне показывал хозяйство артели ее председатель Адамян. Он делал это с явным удовольствием. Должно быть, очень приятно вот так, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, рассказывать: здесь были сплошные коряги и выворотни, а теперь виноградники, вот там торчали валуны, а теперь зеленеют молодые деревья шах-туты.

Сурен Адамян возглавляет прославленный в Карабахе колхоз. Он — герой труда, депутат. Если вы, попав в Нагорный Карабах, станете интересоваться делами области, вас непременно направят к нему.

Адамяну есть что показывать! Доход артели только от садоводства уже несколько лет достигает ежегодно почти семи миллионов рублей (в старых деньгах). Даже новый масштаб цен не выбил его из миллионеров.

Мы разъезжаем по колхозным усадьбам на машине, которой управляет сам председатель.

Название этого села знакомо мне с детства. Первый раз услышал его я, когда к нам в Карабах пришли турки. Они прошли через наше село, через многие другие селения, предавая все на своем пуги огню и мечу. Но где-то они уперлись в стену, были остановлены. Три дня шли бои, до нашего села доносились глухие отзвуки винтовочных выстрелов, а на четвертый день все стихло. Говорили, что турок разбили; остатки разгромленного экспедиционного корпуса Нури-паши еле унесли ноги из Карабаха. Это храбрые чартарцы в рукопашной схватке обратили в бегство хваленого турецкого пашу.

Второй раз я услышал название этого села спустя три года, когда по нашим местам прошел голод.

Дед сказал:

— Надо ехать за хлебом в Чартар.

Перекинув через спину осла пустые мешки, он сел поверх них и отправился в Чартар. Через три дня дед вернулся с хлебом.

Однако на какое-то время чартарцы утратили свою славу хлеборобов. Многие чартарские землепашы ушли из села, а те, кто остался, в самую страду, обернув тряпкой кривые серпы, уходили в другие селения, предлагая свои умелые руки. Доходило даже до того, что чартарцы снимали железо с крыш и продавали его на базаре, чтобы как-нибудь прокормить себя. В те дни и был избран председателем колхоза учитель Сурен Адамян. Это был пятый или шестой по счету председатель, и чартарцы, много бед хлебнувшие от прежних, и от этого не ждали ничего хорошего.

Все прежние председатели также были чартарцы, и Адамян хорошо знал их. В большинстве это были хорошие труженики, знавшие землю, людей, но ни у одного из них не ладилось дело. И Адамян знал почему: председатели «слушали» не землю, а телефонные звонки, которые то и дело раздавались в конторе. Проходит год — глядишь, мало что сделано из того, что ты задумал, планы остались на бумаге. Дай бог выполнить то, что требовал настойчивый телефон. Надо к этому добавить, что менялись не только председатели, но и руководители района, от которых исходили звонки, а это в свою очередь означало, что вчерашний звонок потерял свою силу и жди новых.

Адамян не знал, за что примется, с чего начнет, но он решил твердо: не повторять предшественников, не быть слепым исполнителем.

Как и следовало ожидать, не успел Адамян приступить к делу, как началась у него перепалка с районом. Все помнят, как районный плановик возмущался, что Адамян «испортил» ему сводку: не посеял таких-то и таких-то культур, предусмотренных планом. К слову сказать, эти самые плановики вкупе со своим начальством уже успели в области наломать много дров.

Пять с лишним лет в Мардакертском районе, во многих его колхозах возделывали «спущенную» сверху гваюлу — каучуконос из Мексики. Мардакертский район, утверждали те, кому положено было спускать планы, именно тот район, который соответствует условиям, в каких эта заокеанская гостья — гваюла — растет у себя на родине. Был даже выстроен завод для обработки ожидаемого урожая. Техническая зрелость этого растения наступает на третий или на четвертый год. Три-четыре года мардакертцы трудились не покладая рук, забросив все другие дела, объявленные неплановыми, а стало быть, не достойными особого внимания, все силы отдавали гваюле, выполняя прихотливые ее требования, ожидая чуда, то есть рассчитывая сторицей покрыть убытки. Но чуда не свершилось. Мардакертский район, его колхозы, ставшие жертвой сего новшества, не оправдали высокие замыслы плановиков и руководителей. Растение то вымахало, раскустилось, но на поверку в нем не оказалось должного количества каучука. Вырастали, выходит, бурьян. Мардакерт оказался не Мексикой. Пришлось снять ее, эту гваюлу, которой так низко кланялись, как плановую культуру, а завод прикрыть. И все это было сделано с той же легкостью, с какой навязали эту бесплодную работу людям.

Но этим не закончились злоключения мардакертцев! Не успели они оправиться от удара, нанесенного им гваюлой, как на них обрушил свой удар арахис — земляной орех, также очень важный для народного хозяйства. Такой же высокий гость и такой же несговорчивый, не терпящий произвола со своей персоной. Он тоже взбунтовался, не прижился.

А то, что кормило людей до этого без обмана, без дураков — виноград, пшеница, пчелы, сады, объявленные внеплановыми культурами, то есть оставленные без призора, — хирело из года в год, приходило в упадок. А люди? Обескураженные бесплодностью своего труда, проникались неверием в то, что хозяйство их станет на ноги.

Должен сказать, что этому району, который по праву считается житницей Нагорного Карабаха, положительно не везет. Сейчас он почти полностью переведен на хлопок, который в общем хорошо прижился здесь, приносит немалый доход. Но вот беда! Не все колхозы способны принять его. Ведь по рельефу, по климату область очень неоднородна, и, разумеется, это не может не сказаться на урожае любящего тепло и влагу хлопка. От такой уравниловки особенно сильно пострадал Талишский колхоз, который постоянно недобирает половины плана. Хлопок здесь по-настоящему не прижился, его часто поражают вредители. Таких колхозов в районе немало. Но руководство области и не думает пересмотреть профиль этих колхозов. Но это так, к слову. О подобных нелепостях, которые причудливо уживаются с тем большим, новым, которое, несомненно, есть, развивается и больше бы развивалось, если б не эти нелепости, мы поговорим еще. А пока вернемся к Адамяну.

— Но ведь это у нас не идет! — возмущался он, когда ему «спускали» очередной план. — Зачем сеять то, что не идет, тратить на это время и труд, если от него пользы на грош. У меня здесь не опытная станция. Хватит одного Мардакертского района!..

— А по-твоему, в сельском хозяйстве полная анархия? Захотел посеять пшеницу — посеял, — горячился районный плановик. — Захотел ячмень — посеял ячмень. Что ж, нет у нас в стране централизованного планирования? Каждый председатель может делать то, что взбредет ему в голову?

И много таких демагогических слов, против которых, особенно тогда, в те печальной памяти времена культа Сталина и вообще «культов» (в Азербайджане был еще свой, республиканский культ — Багиров), не так легко было возразить.

Но Адамян не особенно вежливо разговаривал с такими ораторами. Он их просто выпроваживал из колхоза.

О непокладистом, колючем новом председателе, делавшем все по-своему, сразу заговорили в районе.

Вопрос об Адамяне ставился на бюро райкома.

Но Адамян не сдался.

— Хотите снимать с председателей — снимайте. А выполнять решения, лишённые здравого смысла, от кого бы они ни исходили, не буду. Все!

Пока в районе судили да рядили, как поступить с непокорным Адамяном, он выдал колхозникам такой полновесный трудовень, что у самых завязятых противников отпала охота с ним спорить.

— Я не знаю большего зла, чем линия, за которую нельзя выйти, хотя бы даже для пользы дела, — сказал нам Адамян, рассказывая о новых неприятностях с начальством.

Как известно, Чартар славится по Карабаху своим хлебом. Эту славу колхоз закрепил еще в 1947 году, когда шестерым колхозникам Чартара было присвоено звание Героев Социалистического Труда. Именно за хлеб получили они золотые звезды.

Вдохновившись этим обстоятельством, районные организации только и делали, что разрабатывали новые планы, в которых Чартар, равно как и многие другие колхозы района, сидел в графе «зерновиков».

— А я, председатель этого колхоза, грешным делом, думаю, что наша звезда не в хлебе, — продолжал Адамян. — Правда, и хлеба у нас хороши, и животноводство приносит немало дохода, но если глазом экономиста посмотреть на наше хозяйство, хорошенько взвесить каждую его отрасль, то увидишь — все же перевешивает виноград.

Сурену Адамяну нет и пятидесяти, по здешним возрастным меркам он просто молод. Это коренастый, крепко сбитый человек. Лицо у него строгое, сосредоточенное. Особенно когда он говорит о недостатках.

— Я знаю колхоз, который весь доход от винограда и туты тратит на содержание стада. Кому это нужно? Не разумнее ли было бы сеять пшеницу там, где не может расти виноград? А скот разводить в местах, где в изобилии корма? Теперь, слава богу, с каждым днем права колхозников расширяются — сами уже начинаем планировать...

Адамян поделился ближайшими планами:

— Все же яснее ясного: главный упор мы должны делать на виноград. Посмотрите наши бухгалтерские книги. Самый захудалый виноградник на богаре дает с гектара по семьдесят — восемьдесят центнеров винограда, а пшеницы мы собираем на лучших участках не больше двадцати центнеров. Я уже не говорю о ста тридцати пяти и двухстах центнерах винограда с гектара на поливных участках... И дело даже не в центнерах — производство винограда у нас рентабельнее всех других отраслей. Правда, выращивать виноград — это не то что растить пшеницу, виноград требует большего ухода. Но по сравнению с тем, что делают наши соседи, виноградари Армении, это сущий пустяк. Ведь наши климатические условия позволяют не прикапывать лоз на зиму. А вы представляете, что это означает! Я подсчитал, что если мы будем каждый год закладывать по пятьдесят гектаров новых виноградников, то в конце семилетки мы увеличим наши доходы если не вдвое, то ни мало, ни много на добрую треть.

В правлении колхоза мы записали цифры: доход от всех отраслей хозяйства составил в прошлом году миллион двести тысяч рублей (в новых масштабах цен). В колхозе пять агрономов, пять школ — две средние, две неполные средние, одна начальная школа, семьдесят пять учителей. Из них семьдесят — свои, чартарцы. Свой архитектор на зарплате. На трудовень в прошлом году выдавали четыре килограмма зерна, рубль пятьдесят копеек деньгами, два литра вина.

Мой спутник Израел Петросян — автор популярных в нашем крае басен — едва успеваеет заносить в свой пухлый блокнот все услышанное и увиденное. Петросян живет в Степанакерте, но он не первый раз в этом колхозе, хорошо знает хозяйство и почти каждого колхозника называет по имени, но все же подолгу останавливается возле **громдных** бутов, вмещающих в себе по три тысячи и более декалитров вина, возле **давильных** агрегатов и механизированных ферм и все записывает, записывает...

А мне думается, что все это он делает нарочно, чтобы придать больше значительности нашему посещению. Петросян — карабахец истый и, как всякий карабахец, гордится достижениями Чартарского колхоза. Ему льстит, когда гости, делясь своими впечатлениями, обычно говорят: «Пожалуй, во всем Карабахе другого такого богатого колхоза не найти...»

Мы отправляемся на виноградники. Адамян вдруг свернул с проселочной дороги и повел свою машину прямо по пашне, к трактору, что стоял среди поля.

— Что тут у вас? Чего стоите? — спросил он, вылезая из машины.

— Да мотор барахлит, а что с ним, никак не пойму, — ответил тракторист.

Адамян сбросил пиджак и, засучив рукава рубашки, принялся за дело. Я знаю Адамяна давно, и поэтому меня ничуть не удивило, когда через несколько минут трактор покачнулся, залягал гусеницами и с места в карьер всеми лемехами врезался в землю.

В этом колхозе и я не впервые, но каждый раз чартарцы ошарашивают меня какой-нибудь новинкой.

Должен признаться, в некоторых своих качествах они очень схожи с моими односельчанами, с норшенцами. Любят выставлять свой недостаток, достижения. Я должен признаться и в другом: этого достатка и достижений здесь, конечно, больше, куда больше, чем у моих норшенцев, как ни старайся они, как ни тужай, как ни закатывай громкие свадьбы! Что и говорить — самый богатый в Нагорном Карабахе колхоз!

— Знаете, у нас строят комбинат бытового обслуживания, — сообщает мне первый попавшийся чартарец. — Приезжайте через год, еще не то увидите.

И я знаю, здесь слова на ветер не бросают. Хотели построить Дом культуры. Любуйтесь. Вот он, перед вами: двухэтажное красивое здание из розового туфа.

— На семьсот мест, — как бы между прочим сообщают вам.

Или баня. Захотели иметь баню. Уже есть. Теперь строят вторую. Столовая? Есть. Водопровод в домах? В половине домов он уже действует. Я уже не говорю об электричестве, в котором колхоз буквально купается. Щедрый свет вы видите не только в домах, но на фермах, на мельнице, на току, во всем хозяйстве артели.

Запланированы к постройке десятилетняя школа-интернат на четыреста мест, кино-театр, детский сад и ясли, вторая баня, дороги и прочее и прочее. И я знаю: все это будет.

Здесь не любят пустых слов и обещаний. Порукою тому трудолюбивые и — что скрывать — желающие жить благоустроенно, даже комфортабельно, если хотите — в какой-то степени и любящие парадность, чартарцы, да и их председатель — требовательный, инициативный, умелый руководитель.

Мы все едем и едем по владениям колхоза, любуясь, и с удовольствием отмечаем какое-нибудь новое достижение: новое хозяйственное строение или новые добротные дома членов артели.

### ЭЛЕКТРИК ХАЧАТУР ПОГОСБЕКЯН

В стороне от проселочной дороги, на солнцепеке человек с широкой лысиной на круглой, почти голый голове шагал по стерне, меряя землю. За ним шли другие и тыкали колья в тех местах, куда он указывал. Здесь будет воздушная электротрасса, по которой через месяц-другой побежит ток.

— Наш москвич, Хачатур Погосбекян, — пояснил шофер, показывая на лысого человека. — Любопытная личность. Поговорите с ним непременно. Взятся провести электричество в колхозе. Три года мотается на свои деньги то в Баку, то в Степанакерт и ни копейки у колхозов не берет.

Я промолчал. Хачатура Артемовича Погосбекяна я-то знаю отлично. Он тоже норшенец, но знаю я его больше по Москве, где он живет чуть ли не с первых дней советской власти...

Я вижу улыбку на вашем лице, читатель. Дескать, опять Норшен. Будто на этом Норшене свет клином сошелся. Не спорю, Норшен ничем особенным от своих соседей не отличается. И если я часто возвращаюсь к нему, то не потому, что село это лучше

других, а по простой причине — свое село, несомненно, больше любишь, лучше знаешь его людей. Будь я родом из другого села, хороших людей и там оказалось бы не меньше. Чего-чего, а достойных, даже, я бы сказал, именитых людей в Карабахе немало. Замечу, так сказать, в скобках: в Степанакерте заведует центральной библиотекой Сурен Карапетян — он ревностный собиратель знаменитостей Карабаха, живущих там и за его пределами. Их фотопортреты и краткий перечень содеянного ими не поместились бы и в трех больших альбомах.

Все достойные уроженцы нашего края — от замечательных сельских умельцев, доярок, хлеборобов, председателей колхозов, бригадиров до генералов, маршалов и даже адмирала — нашли свое место в этом собрании. Вот, скажем, маршал авиации Сергей Александрович Худяков, или адмирал Иван Степанович Исаков, или писатель и историк Лео Мурациан, автор знаменитого армянского романа «Геворк Марзпетуни», и другие.

Тем не менее я отважусь рассказать о своем земляке Хачатуре Погосбекяне, который, к слову сказать, тоже попал в этот альбом. И не зазря. Еще подростком он принимал активное участие в революционном движении в Баку, сражался в отряде Петрова, защищая Бакинскую коммуну, был в подполье, в партию вступил в 1917 году. После установления советской власти в Баку по инициативе Левона Мирзояна, одного из руководителей Коммунистической партии Азербайджана, молодой коммунист Хачатур Погосбекян был отправлен на учебу в Москву, где он, уже бывалым человеком, прошедшим огонь и воду, засел за парту, окончил рабфак, затем институт. Со дня окончания института вплоть до перехода на персональную пенсию он работал в самых разных концах нашей родины, электрифицируя страну. Но Погосбекян знаменит не только своей безупречной работой по служебной линии. Еще будучи студентом, он по собственной инициативе создал радиовещательную станцию в Степанакерте и радиоузел в Норшене.

Секретарем ЦК Азербайджана тогда был Сергей Миронович Киров. Узнав об установке радиовещательной станции в Степанакерте, он попросил Погосбекяна зайти в ЦК. Киров поблагодарил его за инициативу и премирова.

Долгие годы, занимаясь своими инженерными делами, Погосбекян одновременно руководил московским Домом культуры Армении. Работал он безвозмездно, хотя ему полагалась зарплата.

В 1928 году в Норшене и Глафли — соседнем азербайджанском селе — возник интернациональный колхоз «Светлый путь». Погосбекян передал молодому колхозу полный комплект сельскохозяйственных машин — тут были сеялка, веялка, сноповязалка, косилка, молотилка, триер, инкубатор, сепараторы. Все это приобретено было на средства от сборов в Доме культуры. Но люди говорили, что к этим средствам Хачатур прибавил немало и своих сбережений. И это было похоже на правду. Инженер Погосбекян жил слишком уж скромно, я бы сказал, аскетически.

Жители этих селений впервые увидели работу машин, облегчавших тяжелый крестьянский труд. Многие из них тут же подали заявления в правление, просились в колхоз.

Биография Хачатура Погосбекяна полна многими другими примерами бескорыстного служения народу и родине.

В 1959 году ЦК КПСС призвал инженеров и техников ехать в деревню, чтоб оказать колхозам техническую помощь.

— Тогда я уже был на пенсии, — рассказывает Хачатур Артемович. — Прочитал в «Правде» призыв и подумал: я здоровый человек, обеспеченный. Почему бы мне не поехать. Вот и приехал в Норшен.

С улыбкой вспоминает Погосбекян и такой случай. Восемь месяцев бился он, работая и за топографа, и за монтажника, составил проект, пешком прошел двести пятьдесят километров для определения трассы высоковольтной линии, и когда наконец в домах, на улицах, в клубе вспыхнул электрический свет — его называют в селе «светом Хачатура», — председатель колхоза Егише Антонян, тронутый бескорыстием инженера, предложил ему пятнадцать тысяч рублей за его труды. Но Погосбекян не взял у колхоза ни копейки.

Из соседних селений приходили в Норшен, любовались электрическим светом, просили инженера помочь и им. И «свет Хачатура» вскоре загорелся в селе Каракенд, затем в Ашане, потом Сиптакшене и Чартаре.

Позвонил тогда секретарь райкома Мелкумян, попросил Погосбекяна подумать о подстанции в Мартуни — районном центре. А того и просить не надо. Он всегда в походе, всегда готов оказать людям помощь.

Председатели жалуются на инженера:

— Не знаем, как отблагодарить его. Ничего не берет. Ни денег, ни подарков.

И не возьмет. Не из тех! Ну как не крикнуть ему во всеуслышание:

— Спасибо тебе, дорогой Хачатур, ты настоящий норшенец!

### СОБЫТИЕ В СТАРОМ ТАГЛАРЕ

Летом 1957 года в Старом Тагларе произошло событие. В село приехала Варвара Петровна Худякова, вдова маршала авиации Худякова, с четырнадцатилетним сыном Сережей, чтобы познакомить сына маршала с родиной отца. Это было завещание отца.

Семью прославленного героя Великой Отечественной войны вышли встречать не только жители Старого Таглара, но и вся общественность области.

Приезд семьи маршала был одновременно и радостным и печальным событием. От Варвары Петровны впервые в Тагларе узнали, что маршал авиации Сергей Александрович Худяков — их односельчанин Арменак Артемович Ханферянц, которого многие жители села знали еще мальчишкой. И вот этот карабахский деревенский мальчуган стал маршалом авиации Советского Союза, стал народным героем. Разве это не радостно?! Но всем было горько оттого, что его уже нет в живых, что по ложному доносу он погиб в период культа Сталина уже после войны. Это его Никита Сергеевич Хрущев назвал в числе замечательных людей Армении.

Когда-нибудь я напишу подробно о жизни и делах этого замечательного человека и военачальника. Пока же расскажу о нем очень кратко. Он родился и рос в Старом Тагларе. Когда началась борьба за советскую власть, он ушел сражаться в отряд Красной гвардии.

Сергей Александрович Худяков — не псевдоним, не произвольно присвоенные Арменак Ханферянцем имя и фамилия. Так звали командира красногвардейского полка, который защищал Бакинскую коммуну. После поражения коммуны, отступая, отряд Худякова погрузился в рыбацкую шхуну и попытался перебраться через Каспий в Среднюю Азию. Но англичане пустили шхуну ко дну. Немногим из отряда Худякова удалось спастись. Среди них был и шестнадцатилетний Арменак Ханферянц, также сражавшийся за коммуну. Сергей Худяков был отличным пловцом, он не только сам добрался до берега, но и помог спастись своему юному бойцу и другу. В то время за Каспием шла ожесточенная борьба за установление советской власти. Худяков, собрав остатки своего отряда, ринулся в бой с басмачами. За короткое время боевая слава отряда прогремела по всей Средней Азии. Враги как огня боялись Худякова. В этом прославленном отряде сражался политрук Арменак Ханферянц. В одном бою Худяков был смертельно ранен. Когда Ханферянц подбежал к нему, умирающий командир передал ему свою шашку и сказал: «Худяков жив. Ты теперь Худяков!»

Так юный Ханферянц в память о своем погибшем русском друге и бесстрашном командире Худякове пронес его имя через всю свою жизнь, прославив его на полях сражений Великой Отечественной войны...

Имя славного героя гражданской войны носит и сын маршала, Сергей, чье восемнадцатилетие в позапрошлом лето справляли в Старом Тагларе.

### ПРОБЛЕМА ОСЛА

Я не из тех, кто, споткнувшись о кочку, бранит весь мир. Но и не из тех, кто отворачивается от малых и больших просчетов, от заведомой глупости. Знаю, научен горьким опытом, во что это обходится.

Мы так притерпелись к бездумному исполнительству, к тем, кто закрывает на такие вешки глаза, что иному они даже кажутся безвредными. Но это далеко не так. Они очень вредны, эти бездумные исполнители. Вредны силою инертности, молчаливого потверства, силою ничегонеделания.

Посудите сами, вот что, например, увидел я сам в родном краю. Вы живете в горах, у вас во дворе среди другой живности — осел, обыкновенный маленький ослик. Он вам не в тягость. Он вообще никому не в тягость. Живет себе это неприхотливое животное, ест колючки — так оно приучено — и работает без усталости, тащит, сколько на него навалишь. И бегаёт, семеня крохотными копытцами, по таким горным тропкам, на которые не взберется ни одна машина. Если вы стары, ослик доставляет вас далеко в горы, он — большое подспорье в личном хозяйстве: на нем вы подвозите из лесу дрова, воду из родника, зерно на мельницу. Он — незаменимый в горных условиях вид транспорта! Притом транспорт, не требующий ни горючего, ни иного расхода. Разве только колючки и горсть соли, в которой он все-таки испытывает нужду. Вот, пожалуй, все, что потребляет осел.

Мотаясь по колхозам Карабаха, я заехал к своему старому приятелю — сельскому врачу. Я застал его за вечерним чаем, с ним за столом сидел пожилой человек. Он был явно удручен. После короткого разговора, весь преобразившись, как-то просветлев, человек ушел. Я спросил приятеля, кто этот посетитель и чем он его так обрадовал.

Оказывается, у этого колхозника на днях ослица принесла осленка. А это вовсе не радость — прибавилась сверхнормативная голова в личном хозяйстве, и вот он пришел просить врача, чтобы тот записал в сельсовете новорожденного на себя. Врач пообещал, и владелец осленка ушел, повеселел.

Но история с незаконным осленком — еще полбеды. Настоящая беда обрушилась на ослиное племя лишь вскоре после этого.

Их вообще объявили в колхозах вне закона! Отказаться же от ослов горцам почти невозможно. Поэтому колхозники на них работали в горах, а домой не брали. Но ослы не могут жить без людей. Во-первых, им нужна та горстка соли, за которой они и приходят вечером в село. Во-вторых, они боятся волков. Хозяин выносит горсть соли, дает ослику с ладони лизать и грустно выпроваживает, приговаривая: «Иди, иди, не велено тебя пускать во двор». И бедные животные, которые не читают распоряжений и рапортов, ничего не понимая, всю ночь бродят по селам, тычась мордами в закрытые калитки, а утром снова уходят в горы нести свою бескорыстную службу.

Была такая пора в Карабахе, когда, опережая события, во многих колхозах отказались от приусадебных участков и от всякого рода живности, так сказать, личного пользования колхозников. Когда это происходило в передовых, экономически крепких колхозах, это шло на пользу, но в маломощных без личного хозяйства и тем более без живности жить стало невозможно. Затем началась возня с ослами. От них предложено было избавиться, дабы не портить вид села. Мотив, как видите, веский. Колхозы, дескать, наши выросли, у них завелось много машин, мотоциклов, и эти вислюхкие существа теперь ни к чему.

Что верно, то верно: в колхозах у нас теперь немало машин и мотоциклов. Но верно и то, что так могут рассуждать либо лишенные здравого смысла, вздорные люди, либо очковтиратели, любящие пускать пыль в глаза.

Машины-то пока у нас не в таком количестве, чтобы удовлетворить все потребности всех колхозников, да и не всякая машина способна делать то, что делает осел.

Больно сознавать, что эта вздорная затея родилась в чьей-то голове, что кто-то, не задумываясь, поддержал ее, что нашлись ретивые исполнители, оперативно претворившие ее в жизнь, несколько не вдумываясь в смысл этого директивного указания, не заботясь о его последствиях.

## ОБ ЭСПАРЦЕТЕ И ПРОЧЕМ

Если бы вы были в Степанакерте, я мог бы повести вас на ссыпной пункт, где в этот день в государственные закрома принимают в счет хлебопоставок первую партию пшеницы из колхозов. Вы бы увидели нескончаемый поток машин и арб, груженых полновесным зерном. Машинами и арбами забиты и все магистрали и проселочные дороги, и все они с тем же грузом чистой пшеницы, выращенной в наших горах. И это в Карабахе, где раньше своего хлеба не хватало!

А если бы я повез вас в высокогорное селение Сос, где председателем колхоза Арсен Айрапетович Муканян, бывший командир пехотной роты, герой Отечественной войны, вы бы увидели жизнь, мало чем отличающуюся от жизни колхозников села Чартар. Их хозяйство мало в чем уступает прославленному колхозу — и вес трудодня, и многие культурные достижения. Я мог бы повести вас наконец в села Туг, Гергер, Ханбад и многие другие, где такие же образцовые колхозы. Но я нарушу правила гостеприимства и покажу гостю не только хорошее, приятное глазу, а поведу по тем местам, где глупость мирно уживается с разумным. И в роли носителей и покровителей глупости зачастую выступают даже умные и умудренные опытом люди. На них, очевидно, давит многолетняя инерция.

В Карабахе с давних пор сеют такую кормовую культуру — эспарцет. Многолетняя трава: один раз сеют — семь лет собирают урожай. Эспарцет дает с гектара шестьдесят — семьдесят центнеров сухого корма. Если перевести на зеленую массу — это двести пятьдесят — триста центнеров. Сеют его всюду, он не боится ни засухи, ни каменистой почвы. Эспарцет предохраняет почву от эрозии, да еще к тому же он и медонос, весьма нужный для пчеловодства.

Я разговаривал со многими районными и областными работниками. Никто не отрицает полезности эспарцета, но во многих колхозах упорно сокращаются посевы этой замечательной культуры и заменяются кукурузой, которая в большинстве случаев не оправдывает себя в условиях низменных районов Карабаха. А все дело в том, что кукурузу сеют весной, а эспарцет — осенью. В Карабахе же наименьшее количество осадков выпадает именно в ту пору, когда сеют кукурузу. Потому она и дает небольшие урожаи. И тут дело доходит до абсурда: естественные травы безо всякого ухода дают семьдесят центнеров зеленой массы, а кукуруза, поглотив огромное количество трудодней, много энергии и труда, всего лишь десять — пятнадцать центнеров.

Такие вещи происходят, например, в Каракенде, где председателем Симон Согомонян. Вообще-то он, как говорят, зоотехник, человек толковый, хорошо разбирается в сельском хозяйстве. В позапрошлом году взял обязательство посеять кукурузу на площади шестьсот гектаров. На богаре, без полива. Посеял. А урожай собрал такой, что он не только намного уступал эспарцету, но даже естественным травам. В минувшем году он посеял кукурузу на семистах гектарах — отдал ей почти три четверти свободной земли — и не снял ничего. Год был засушливый, и урожай почти полностью погиб.

То же самое с хлопком. В Мардакертском районе сеют хлопок. В колхозах самого Мардакерта, в Сейсулане, Лениноване, Чайлуахе, в Нижнем Оратаге хлопок идет хорошо, но в Талише, ввиду особых его природных условий, урожай регулярно гибнет. Сколько раз специалисты выступали по этому поводу. Но безрезультатно.

В Туми рельеф не позволяет механизировать многие виды сельскохозяйственных работ. Таких селений в Карабахе немало. Почему бы в них не отказаться от многоотраслевого хозяйства, не заняться тем, что с наименьшей тратой энергии и времени больше приносит пользы. В Туми, например, весьма рентабельно животноводство, особенно свиноводство — здесь ведь в изобилии естественный дармовой корм — желудь и тут.

Интересно, какого рода инерция действует в данном случае?

## БРАТСТВО И ДРУЖБА

Хлебом здесь встречают, хлебом провожают, хлебом клянутся, хлебом проклинают. Это благоговейное отношение к хлебу народ вложил в мудрые изречения. «Преломив с человеком хлеб, делаешься его молочным братом» — говорит одно из них.

Как дорог был в Карабахе хлеб, если народ, умевший еще во времена седой древности давить виноград и скрещивать плодовые деревья, создал такие изречения о хлебе!..

Через наш край проходили торговые пути. По ним приходили к нам предприимчивые люди, желавшие испытать свое счастье на нашей земле. Они привозили с собой семена отборных злаков, но обманчиво податливая земля их не принимала, отборные злаки быстро вырождались, а те, кто их привозил, разорялись.

— Знаете, какая пшеница принялась у нас? — сказал мне Самсон Барсеян, известный в республике агроном. — Русская пшеница. «Гюргяни», «зарда» и многие, многие другие наши сорта — это ведь далекие потомки русской «горновки», «самарки», «голоколоски», «кубанки».

В наше время пшеничный хлеб уже перестал быть диковиной в Карабахе. Земля дает щедрые урожаи, и выполнение государственных хлебопоставок стало здесь, как и в черноземных районах нашей страны, первой заповедью колхозника.

Сдача зерна! Нескончаемым потоком идут машины и арбы. Они украшены цветами и кумачовыми полотнищами, на которых крупными буквами выведены лозунги и названия колхозов. Воздух напоен запахом пшеницы и полевых цветов. Весело гремит оркестр — Степанакерт встречает мастеров земли.

Вот к ссыпному пункту подходит первая машина. На борту ее крупно выведено: Шехер. Кто в Карабахе не знает этого села! Его колхозники сняли небывалый для здешних мест урожай пшеницы: тридцать шесть центнеров с гектара!

Вот приближаются машины чартарцев: одна, другая, третья. В этом году они достигли новых успехов не только в полеводстве, но и в виноградарстве. Ждут новых Героев Социалистического Труда.

А вот колонна села Гаров, где работает прославленный агроном-опытник Георгий Трофимович Ильенко. В былые времена здесь, как и всюду в высокогорных районах Карабаха, снимали скудные урожаи. Радостны лица людей, сопровождающих машины. Еще бы не радоваться! Двадцать пять центнеров с гектара сняли гаровцы. Правда, двадцать пять центнеров еще не тридцать шесть. Но ведь совсем недавно восемь центнеров было для них пределом желаний. Собрали двадцать пять, соберут и больше. А как же иначе? Ведь получил же агроном Ильенко на своем участке сорок пять центнеров пшеницы «мимоза»! Эту пшеницу называют пшеницей будущего. Гаровцы, да и многие другие колхозы области надеются, что в будущем году они засеют свои поля этим новым высокоурожайным сортом. Этот сорт, как и многие другие сорта пшеницы, хорошо прижившиеся в Карабахе, создан и взлелеен агрономом Ильенко — человеком с беспокойным сердцем, сортоучасток которого справедливо называют в Карабахе мастерской высоких урожаев.

Одна за другой подходят машины к хлебным амбарам. Течет в государственные закрома поток пшеницы, получившей нескудеющую силу плодородия от русской «горновки», «самарки», «кубанки». Русская пшеница когда-то спасла моих предков от голодной смерти, ныне она несет моему народу счастье и изобилие. Пусть не оскудеет в веках шедрая рука русского народа!

Сколько светлых воспоминаний связано с этими волнующими словами: Россия, русский!

Мой народ до сих пор помнит Сергея Мироновича Кирова, оказавшего щедрую помощь Карабаху в его труднейшие годы.

До сих пор живет в Карабахе легенда о беседе Кирова с одним деревенским старцем. «Как думаешь, отец, — спросил будто бы Киров. — По какой дороге сподручнее нам идти?» Старец взял кувшин, опрокинул его и спросил: «Куда бежит вода?» Киров посмотрел по направлению струйки и сказал: «В сторону России». — «Ну, и нам туда! — торжественно объявил старик. — Вся наша жизнь, как эта вода, стремится к России».

У въезда в село Красны, если ехать со стороны Степанакерта, стоит небольшой памятник из светлого камня. Мы остановили машину, чтоб разглядеть скромное изваяние. С обломка скалы, заменявшего пьедестал, на нас смотрело простое крестьянское лицо.

Шофер, еще очень молодой человек, приняв меня за стороннего человека, пояснил: — Это наш Гайк Арустамян, известный революционер, уроженец Красны.

Он вышел из машины, поправил покосившуюся перекладину на ограде, которой был обнесен памятник, снял шапку.

— А вон там,— вернувшись, сказал он и показал рукой в сторону ореховой рощи, видневшейся неподалеку,— родник Гайк-булаг. Это в честь Арустамяна назвали его жители азербайджанского села Малибайли и армянского Красны. Они когда-то по призыву Гайка Арустамяна побратались и избежали кровопролития...

Я знал Гайка Арустамяна, знал кипучую натуру этого крестьянского парня. В огне многих сражений он закалился и вырос в крупного партийного работника, одного из руководителей области. Знаю и подвиг, о котором напомнил шофер.

Когда в двадцатом году эти села-соседи, натравленные друг на друга дашнаками и мусаватистами, вынуждены были открыть огонь, в решающую минуту краснинцы увидели вдруг среди азербайджанцев Гайка Арустамяна. Еще вчера дашнаки избили его в кровь за агитацию против резни азербайджанцев. Гайк шел впереди малибайлийцев во весь рост и, разорвав на груди рубаху, кричал: «Стреляйте же, мои краснинцы! Первую вашу пулю приму я!» Выстрелы прекратились. Краснинцы любили Гайка. Одна пуля все-таки ранила его в руку. Гайк не дрогнул. Подняв окровавленную кисть над головой, он продолжал идти вперед, неистово крича: «Стреляйте же прямо в сердце, если вы бабы, а не мужчины! Ну?» И здесь в обоих лагерях произошло нечто невероятное: перебив своих вожakov-националистов, бросив оружие, армяне и азербайджанцы кинулись друг другу навстречу. Так произошло это братанье, спасшее вековых соседей от кровопролития.

Давно уже нет в живых Гайка Арустамяна, нет и других славных деятелей Карабаха, выросших в крупных партийных работников, таких, как Арменак Каракозов, Мукуч Арзаян, председатель облисполкома Бадамян, и еще многих. Все они стали жертвой культа личности.

Только одному из них удалось выжить, вынести все муки лагерей и вернуться домой. Но и он погиб в годы Отечественной войны в ополчении, рядовым солдатом. Это любимец Карабаха — Шаген Саркисович Погосбекян...

В Гадруте мне показали дом, где в январе 1919 года состоялось первое учредительное собрание коммунистов. Это была первая партийная организация в Нагорном Карабахе. Она была интернациональной.

Артем Татевосович Арзуманян, заведующий кабинетом политического просвещения Гадрутского райкома партии, еще не очень старый человек, не заглядывая ни в какие справочники, называет депутатов первого учредительного собрания, членов подпольной партийной организации Дизака — так тогда именовался Гадрутский район, — которым и суждено было стать первой ячейкой коммунистической партии в Нагорном Карабахе.

Я едва успеваю за ним записывать. Сергей Хубларов — первый секретарь первого райкома в Дизаке. Жив, на пенсии. Шмавон Давдян — погиб в борьбе с Теваном, был такой в Карабахе дашнакский выкормыш, поднявший в первые годы советской власти восстание против Советов; ему даже удалось на короткое время захватить власть в двух больших районах. Мамедханов Мамедхан — рабочий-нефтяник, член партии с 1917 года, член подпольного бакинского ревкома, защитник Бакинской коммуны; бежал из Баку после разгрома коммуны. Ганджали Сафаралиев — на пенсии. Арменак Каракозов — погиб в 1937 году. Артавазд Саакян — погиб в 1937 году...

В селении Блутан осенью 1919 года была создана первая интернациональная конференция коммунистов Дизака и Карягино, где членов партийной организации уже насчитывалось несколько сот человек.

Дружбу армян и азербайджанцев, которые давно живут бок о бок в Нагорном Карабахе, скрепляла общая борьба и Коммунистическая партия.

Дружба! Какое емкое и высокое слово! Когда я произношу это слово, в памяти встают картины, эпизоды, люди, в которых как бы заключается его крылатая сила.

— В моих жилах течет кровь двух наций,— с улыбкой сказал мне совсем недавно житель села Туми, заведующий сельским магазином, инвалид Отечественной войны Оганес Оганян: Мария Пинкус из Литвы отдала ему пол-литра своей крови, спасая жизнь после тяжелого ранения.

А вот другой случай, рассказанный мне в Риге. Здесь на улице встретились два человека, остановились, всматриваясь друг в друга, и вдруг широко раскрыли руки для объятий. Это Тигран Амирханян, житель далекой Армении, через двадцать лет встретился с латышским крестьянином Освальдом Ванаги, спасшим его и его друга Хорена Асояна от неминуемой гибели в годы Отечественной войны,— рискуя собственной жизнью, спрятал он их в подполье своего дома.

Да разве перечислишь все, если дружбой и братством наполнена вся наша жизнь!

В Нагорном Карабахе сейчас деятельно готовятся к сорокалетию со дня образования автономной области. Мы не Иваны, не помнящие родства. За праздничным столом, я знаю, рядом с живыми героями, творцами нашей жизни, незримо будут и те, которые положили первый камень, строя эту жизнь, те, память о которых нетленна, как нетленна справедливость, вернувшая им их доброе имя.

Об одном таком человеке я и хочу рассказать. Имя его я уже упоминал: Шаген Погосбекян. Он занимал пост наркома внутренних дел, потом окончил высшую партийную школу, был секретарем Семипалатинского обкома партии, ближайшим соратником одного из видных деятелей Коммунистической партии Левона Мирзояна, уроженца села Ашан в Нагорном Карабахе, также безвинно погибшего в годы культа личности Сталина.

Было это в первые годы после установления советской власти. В то время в Нагорном Карабахе, как и в других окраинах молодого социалистического государства, свирепствовал бандитизм. В одном только Карабахе насчитывалось около десяти крупных банд. Особенно докучала банда Нагапета.

Погосбекяну сообщили: в селе, находящемся далеко от Ханкенды — прежнее название Степанакерта, — какое-то должностное лицо взяло у крестьянина взятку. Это было для тех лет чрезвычайным событием, нарком немедленно отправился в это село расследовать жалобу. Он выехал ночью, верхом на коне и сознательно без охраны — два-три человека при столкновении с бандитами все равно не защита, он не хотел рисковать их жизнью.

В лесу Погосбекяна подстерегли бандиты.

— Кто едет? — окликнули его.

— Нарком. Кто осмеливается преградить мне путь? — крикнул он в ответ и схватил маузер.

— Ого! Я вижу, с мужчиной имею дело. Спрячь свою игрушку, я еду к тебе.

С этими словами на гарцующем жеребце на середину дороги выехал человек в высокой папахе и небрежно накинутой на плечи бурке. Он подъехал вплотную, положил тяжелую руку на плечо наркома, заглянул ему в глаза. Луна светила сквозь верхушки деревьев, и человек в бурке мог увидеть спокойный взгляд наркома, готового вступить в бой.

— Шаген? Ну и птица. Вот не думал, что у большевиков такие наркомы!

Человек в бурке уже смотрел на Погосбекяна, не скрывая своего восхищения.

— Вот что, — сказал он в заключение. — Поезжай своей дорогой. Я тебя не трону. Но чтобы в пути не тревожили другие, дам тебе своих ребят. Нас здесь каждая собака знает. Никто не посмеет близко подойти к тебе. Ну, с богом!

Погосбекян спрятал маузер.

Не успел он со своей странной свитой двинуться в путь, как его остановил новый окрик:

— Стой, нарком! Что это за кляча под тобой! Такому герою она не к лицу. Пересядь на моего коня, на обратном пути я верну тебе твоего.

На обратном пути на том же месте, где они встретились, атаман вернул Погосбекяну лошадь и сказал:

— Поезжай, нарком! До новой встречи. На всякий случай запомни мое имя — Нагапет.

— Так вот каков ты, грозный хозяин лесов! — усмехнулся Погосбекян.

Эта встреча в лесу произвела на Шагена Погосбекяна неизгладимое впечатление, но он ни с кем не поделился этим.

Однажды Погосбекян работал ночью в своем кабинете, как вдруг снаружи раздался шорох, затем створки окна распахнулись, и через окно влез в комнату здоровенный детина с двумя пистолетами за поясом.

— Узнаешь? — спросил он.

— Узнаю, — ответил Погосбекян и улыбнулся. — Я даже ждал тебя. Такие, как ты, Нагапет, должны быть с нами.

— Спасибо, нарком. Я тебе верю. Но я пришел не свою шкуру спасать. Если ты обещаешь никого из моих ребят не трогать, отпустить их по-хорошему домой, все сорок моих джигитов сегодня придут, сложат свое оружие. Обещаешь?

— Обещаю! Слово коммуниста!

— Хорошо, я верю твоему слову!

И Нагапет положил на стол свои пистолеты. Следом за ним пришли все до единого сорок его сподвижников. Когда оружие было сложено, Нагапет сказал, тревожно глядяваясь в Погосбекяна:

— Теперь слово за тобой, нарком. Скажи моим людям, что ты им обещал. Свои условия!

Погосбекян прошел по рядам, посмотрел каждому в глаза, сказал:

— Теперь берите свое оружие. Помогите мне очистить нашу область от бандитов, установить мир. Вот мои условия.

Нагапет опешил.

— Ты возвращаешь оружие бандитам? — вырвалось у него.

— Забудьте навсегда, кем вы были вчера. Сегодня и отныне вы ополченцы народной милиции. Очистите Карабах от мрази, а затем — по домам. Принимаете мои условия?

В ответ сорок джигитов подбросили вверх шапки.

Очень скоро в Карабахе был уничтожен бандитизм. В разгроме банд большую роль сыграл Нагапет со своими джигитами. Всех затем отпустили по домам. Только Нагапет по собственному желанию остался в охране наркома и очень подружился с ним.

Через много лет честного служения революции, народу и большой дружбы с Погосбекяном один из выкорышей Берии, занимавший высокий пост в области, где продолжал работать Нагапет, попрекнул его прошлым. Нагапет тут же, едва выйдя из кабинета оскорбителя, застрелился.

Не только Шагена Погосбекяна, но и Нагапета помнят в Карабахе, потому что и этот человек оставил после себя добрые дела.

Мой дед, хромой и добрый старик, сперва обучавший меня премудрости букваря, а затем высокому искусству обрезки виноградных лоз, говаривал, вразумляя меня:

— Ты же взрослый, должен понять: падает спелый плод — остается зеленая ветка, умирает человек — остается его доброе имя. Надо прожить свою жизнь так, чтобы не оскудела ветка, с которой падает плод.

Эту свою туманную речь дед однажды перевел на более понятный для меня язык. Тогда выяснилось, что дед встревожен моей судьбой. Он боялся, что я окажусь плохим карабахцем.

В другой раз дед сказал:

— Кто под добрым станет деревом, доброй осенится тенью! Повтори, мой мальчик, три раза подряд: «Карабах» — и ты поймешь, как счастлив тот, кто родился карабахцем.

Я повторил три раза слово «Карабах» и поверил в свое счастье.

Дед, так много говоривший о счастье, умер в нищете, ни разу не узрев на своем долгом жизненном пути его лучезарной улыбки. Но теперь, когда я сам гождусь в деды, я, поучая своего сына, с большой охотой говорю:

— Повтори, мой мальчик, три раза Карабах — и ты поймешь, как ты счастлив!

Предки мои, добрые, милые тени прошлого! Мы не забыли ваши заветы! Мы любим Карабах. Эту наивную веру в исключительность родного края мы пронесем через все свои годы.

Мы гордимся Карабахом. Я мог бы без конца перечислять наши успехи, но самый пространный перечень не в состоянии вскружить мне голову. Спросите меня, всем ли я доволен? Я отвечаю: «Нет». Я хочу, чтобы в родном Карабахе был свой университет, чтобы на улицах его столицы — Степанакерга — звенели трамваи... Я многое хочу видеть в горах Карабаха, чего еще пока нет...

Я отлично знаю, каким он был, каким стал и каким будет.

Ереван — Степанакерт.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. ЭПШТЕЙН

★

## ТРАГЕДИЯ ОБМАНУТОГО НАРОДА

**М**ы начинаем вести себя, как ожиревшие старые леди, которые усиленно наводят красоту перед зеркалом», — с вынужденной откровенностью писал недавно американский журнал «Гарвард бизнес ревью». Чем дряхлее капитализм, тем выше спрос на косметику. Буржуазная публицистика изыскивает все новые средства, как бы подмалевать и приукрасить госпожу Капиталистическую Систему, чтобы ее безобразный лик не отталкивал, а вызывал симпатии к «свободному предпринимательству» и к американской «свободной демократии». Для капитализма это вопрос самосохранения.

Никогда еще американская буржуазия не вела политическую пропаганду с таким размахом и такими техническими средствами, никогда еще не было такого мощного аппарата для рекламы капитализма. «Психологическая война» ведется и в мирное время — она составная часть холодной войны против стран социализма. Учреждения военные и гражданские, официальные и частные, деловые корпорации и «благотворительные» фонды, научные институты и церкви всех вероисповеданий, школы и пресса — все они действуют по директивам Пентагона, Информационного агентства США, Центрального разведывательного управления. Специальный мозговой трест разрабатывает приемы, аргументы, лозунги, способы провокаций. В специальных учебниках и инструкциях для узкого круга лиц, которым положено заниматься этим, предусмотрены все детали, вплоть до использования музыки и методов распространения ложных слухов.

Но возносить империалистическую Америку становится все труднее. И не потому, что для этого не хватает средств или ума. Уязвимость буржуазной пропаганды состоит в том, что она опровергается самой жизнью. Никакая пропагандистская косметика не может скрыть рост безработицы, превратившийся в «проблему номер один» для американской экономики. Никакие усилия не могут оживить старый миф о непреодолимом отставании Советского Союза, если его выдающиеся достижения вынудили руководящих деятелей США признать их. Именно потому и перестраивается ныне антисоветская пропаганда — она переносит упор из области экономической на так называемые духовные ценности.

Империалистическая пресса и радио усиленно пытаются доказать, в частности, преимущества «свободной демократии». Специалист по «психологической войне» М. Дайер (он подвизается ныне в отделе по изучению боевых операций университета Джона Гопкинса), анализируя в своей книге «Пересмотр содержания психологической войны» прежние провалы американской пропаганды, рекомендует прежде всего играть на лозунгах демократии. «Чтобы выиграть войну за наследие Запада, — пишет он, — мы должны овладеть умами людей... Мы явно не создаем идей, которые нужны для этого. Между тем идеи коммунизма и национализма (то есть национального освобождения. — С. Э.) распространяются сегодня, как пламя в сухой траве. Идеи, которые поддерживают и развивают концепцию демократического свободного мира, обладают силой и должны стать главной темой и фокусом стратегической политической пропаганды.

Но поможет ли это?

Что представляет собой сегодняшнее американское общество? Во что оно верит, какими идеалами живет?

На последний вопрос совершенно недвусмысленно дает ответ последняя книга известного американского социолога и публициста Стюарта Чейза. Она так и называется: «Во что веруют американцы»<sup>1</sup>.

Это свод самых свежих документальных материалов и фактов, камня на камне не оставляющих от идиллии «свободного мира». А ведь Чейза никто не станет подозревать в прокоммунистической тенденциозности, он постоянно подчеркивает свою неприязнь к коммунизму. «Пусть американцы говорят сами за себя,—предупреждает Чейз.— В этой книге, если не считать нескольких частных замечаний, я попытаюсь не высказывать своих мнений». Он просто показывает, о чем думают американцы, как они реагируют на политические события, как относятся к своим лидерам, на что надеются, чего боятся. Как и полагается «независимому либералу» — Чейз так себя называет сам, — он многого не договаривает, избегает резких определений и смягчает выводы. Но каковы бы ни были взгляды Чейза, собранные им материалы наносят чувствительный удар по буржуазной пропаганде, прибегающей к новым стратегическим маневрам.

### ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ — БИЗНЕС

Чейз опирается не на случайные факты, а на статистику. Он использовал данные сотен опросов, проведенных среди американцев за последние несколько лет. В Америке существует целая отрасль предпринимательства, занимающаяся изучением общественного мнения, — род социальной сейсмографии. «Мнение масс,— писал Уолтер Липпман в книге «Общественная философия», — приобретает в наш век все возрастающую власть. Оно проявляет себя опасной силой, определяющей решения, от которых зависит жизнь и смерть».

Общественное мнение в США и за их пределами изучают такие фирмы, как «Институт Джорджа Гэллага», «Э. Роппер энд Ассошиэйтес» (ее глава — Э. Роппер — одновременно главный редактор журнала «Сатердэй ревью», он выпускает по особой подписке бюллетень «Общественный пульс»), некоторые университеты, газеты, государственные учреждения. Информационное агентство США внимательно следит, как реагируют на американскую политику за границей. На опросах построена официальная статистика безработицы. Изучается реакция радиослушателей и телезрителей на программы передач. По заказу крупных корпораций прощупывают настроения рабочих.

Особенно возрастает спрос на услуги такого рода перед выборами. Нельсон Рокфеллер снял свою кандидатуру, когда узнал из опросов, что шансы его слабы. Победа Кеннеди над Никсоном (перевес менее одного процента) точно совпала с результатами пробного опроса. Опрашивают, конечно, не все население, а определенные группы — от 1500 до 50 тысяч человек, по выборочному методу. В опросах участвуют экономисты, социологи, статистики, а также целые батальоны интервьюеров, главным образом женщин.

«Тенденция сквозит на заднем плане каждого опроса», — приводит Чейз признание одного специалиста по изучению общественного мнения. Эта тенденция выступает особенно ярко, когда результаты опроса предназначены для опубликования.

Давно замечено, что ответы зависят от того, кому, когда, где, при каких обстоятельствах, как сформулированы и даже каким тоном заданы вопросы. В 1940 году, например, на вопрос: «Считаете ли вы, что США должны сделать все, что в силах, чтобы помочь Англии и Франции в их войне с Гитлером?» — всеобщим ответ: «Да!» В это же самое время на вопрос: «Считаете ли вы, что США должны втянуться в какой-либо план, чтобы помочь Англии и Франции в их войне с Гитлером?» — ответ «да» было гораздо меньше. Ловко организованный опрос может исказить подлинную карти-

<sup>1</sup> Stuart Chase. American Credos. New-York. 1962, 218 p.

ну общественных настроений в нужную заказчику сторону. Фирмы очень часто обвиняют друг друга в нечистоплотности, особенно когда дело касается пробных голосований перед выборами.

Естественно, что, когда речь идет о престиже буржуазной Америки, классовая тенденция направлена прежде всего на приукрашивание действительности. Чейз, пользуясь материалами опросов, отнюдь не сгущает краски в отрицательном для нее плане. Он объективен. Так о чем же говорят статистика и факты?

### ДУХ «ПРИВАТИЗМА»

Кажется, нигде так не проявляются особенности общественного строя, как в настроениях молодежи. Чейз сравнивает результаты опроса студентов Индии и США. Сто шестьдесят студентов из шести университетов «отсталой» Индии так ответили на вопрос: «Ваш жизненный идеал?»<sup>1</sup>:

Посвятить жизнь стране и народу (таких ответов больше половины).  
Найти работу по душе.  
Согласная семейная жизнь, любовь, дети.  
Сделать выдающуюся работу по специальности.  
Экономическая обеспеченность.

А вот как ответили на этот же вопрос студенты «высокоцивилизованной» Америки (более 1600 студентов из четырнадцати университетов США):

Согласная семейная жизнь.  
Работа по душе.  
Экономическая обеспеченность.  
Быть любимым и уважаемым в своей среде.  
Вдоволь отдыха и досуга.

«Внимательное изучение идеалов студентов,— писал по этому поводу журнал «Сатердэй ревью»,— показывает, что их жизненные цели сводятся исключительно к самоудовлетворению: собственному увеселению, потреблению, развлечению. Даже среди первокурсников только три процента считают своим идеалом «приносить пользу другим людям». Для большинства американских студентов благо общества — пустой звук. Один ученый из Гарварда подобрал научный термин для определения этих взглядов: «приватизм» (от слова «приватный» — частный), в нем проявляется дух частного предпринимательства.

Такой образ мыслей рождается не в университетах, его всасывают с молоком матери. Он сказывается и в ответах молодежи на вопрос: «Для чего вам нужен колледж?»:

Развлекаться.  
Играть в футбол.  
Завязать деловые связи.  
Встретить хороших девушек (соответственно мальчиков).  
Научиться чему-нибудь.

Сопоставим с этими характерными результатами опроса, который провел Институт общественного мнения при «Комсомольской правде» (Чейз упоминает о возникновении такого института в СССР и ждет его исследований). Было опрошено 17 446 советских молодых людей обоего пола. На вопрос, есть ли у них цель в жизни, 16 674 человека — 95,6 процента — заявили: «Да». Из этих 16 674 поклонники денежного идола и любители мелких удовольствий составили самую ничтожную часть — менее пяти процентов. Десятью пятью процентам стремятся служить народу, принести пользу родине. Нашлось лишь шестьдесят три человека, которые на вопрос: «Что вы должны сделать для достижения своей цели?» — ответили: «Копить деньги».

<sup>1</sup> Ответы даются в порядке, соответствующем их числу.

«Чтение книг не в большом почете в США,— пишет Э. Роппер,— если оно не связано с заработком». Лишь один из пяти американцев читает какую-либо книгу, при этом книгой считается и более или менее толстый журнал, и даже поварской справочник. Треть опрошенных школьников и студентов не читала ни одной книги за предшествовавшие четыре месяца, половина подростков вообще не читала книг. Среди развитых буржуазных стран США по чтению книг стоят на последнем месте. Чейз приводит процент населения, читающего книги:

Англия	— 55
Западная Германия	— 34
Австралия	— 33
Канада	— 31
США	— 17

Зато комиксы читают сорок шесть процентов населения США.

Люди, погруженные в чтение, подозрительны. Хотя американцы обязаны науке многими материальными благами, на ученых они глядят косо. Отвечая на анкету журнала «Лайф», третья часть жителей страны усомнилась, «можно ли доверять ученым секреты новых изобретений», а одна десятая уверена, что ученые «связаны с Москвой». Тридцать процентов учащихся средних школ полагают, что ученые — это «полусумасшедшие, даже опасные чудаки», и что «ученый не может вырастить нормальную семью». А все дело в том, что труд ученого невысоко ценится в Америке — ведь о человеке здесь судят по его кошельку. Правда, после запуска советского спутника, отмечает Чейз, произошла некоторая перемена. Удельный вес ученого в глазах американского обывателя несколько повысился, и, главное, в корне изменилась оценка образования в СССР. В декабре 1961 года сорок процентов молодежи считали, что советское образование лучше американского.

Американцы не читают книг и всячески подчеркивают свою богобоязненность. Верующими считают себя девяносто семь процентов. Три четверти из них регулярно ходят в церковь. Большинство верит в загробную жизнь, в ангелов и чертей. Однако, как показали те же опросы, по-настоящему боятся ада всего лишь пять процентов. На одну из анкет практичные американцы ответили, что они гораздо больше озабочены, как бы получше устроиться на этом свете, а не тем, как бы подготовить себя к жизни в мире ином.

### КОГДА РЕБЯТА КРИЧАТ «УРА»

В стране, навязывающей всему миру «свободное предпринимательство», большинство граждан, оказывается, не имеет даже слабого представления, что означает этот набивший оскомину термин.

«Для многих американцев из высшего круга,— пишет Чейз,— наша экономика известна как «наша система свободного предпринимательства». Но когда по всей стране попросили взрослых жителей ответить, что же такое «свободное предпринимательство», то лишь менее одной трети смогло дать хоть какой-то ответ. Многие говорили интервьюеру, что это, видимо, какая-то бесплатная премия, выдаваемая при покупке» (слово free — «свободный» — означает в то же время и «бесплатный»).

Из четырех рабочих только один смог ответить, что такое «капитализм». Подавляющее большинство не могло сказать, что такое «социализм», «технология», «производительность», «амортизация», «дивиденд». Опрос в 1961 году показал, что американская молодежь не может объяснить, в чем состоит разница между капитализмом и коммунизмом. «Они против коммунизма, но сорок процентов не могут сказать, чем же он плох!» Чейз полагает, что свое крайнее невежество в экономике американцы перекрывают деловым нюхом и здоровым инстинктом. Так, например, вопреки рекламе они не очень-то гонятся за «рискованными» акциями, с которыми легко прогореть (акциями в США владеют четырнадцать процентов семейств).

Средний американец благоговейно относится к крупным корпорациям, но продолжает мечтать о собственном хоть и маленьком «деле». Он не принимает в расчет статистики банкротств, которая показывает, что ежегодно десятки тысяч мелких предприятий вылетают в трубу. Он верит газетам, внушающим, что крупный бизнес — уже не такое чудовище, как прежде, а «злоупотребления будут исправлены» (к слову сказать, и сам Чейз не так уж далек от этой веры). Сказывается то, что за последние годы США не знали таких грозных кризисов, каким был кризис 1929—1933 годов. Хотя ползучая инфляция имеет место уже давно и розничные цены повышаются, масса американцев еще верит в устойчивость доллара. Одна треть населения обвиняет в повышении цен профсоюзы — вслед за капиталистической прессой. Впрочем, некапиталистической прессы в Америке почти и нет.

Но ни заклинания газет и телевидения, ни обладание купленными в рассрочку стиральными машинами, домиками и автомашинами не излечивают от страха перед завтрашним днем. В любую минуту относительное благополучие может лопнуть, и обладателю упомянутых благ придется рассчитывать в лучшем случае на временное пособие по безработице. Министр труда Уиртц в марте нынешнего года предупредил, что снижения безработицы не предвидится, поскольку «наша экономика сегодня просто не развивается достаточно быстро». Безработица грозит всем, но в первую очередь она бьет по низкооплачиваемым, малоквалифицированным рабочим. Вот данные одного из опросов. Во время кризиса 1958 года (одного из четырех кризисов, поразивших США после войны) потеряли работу:

четверо из десяти неквалифицированных рабочих,  
трое из десяти квалифицированных рабочих,  
двое из десяти, занятых в обслуживающих отраслях,  
один из десяти служащих.

Но безработица растет и в промежутках между кризисами, а автоматизация все больше вытесняет не только рабочих, но и служащих.

А несчастные случаи? А болезни? В Америке нет государственного медицинского страхования. Поэтому американцы копят на черный день.

«Для чего вы делаете сбережения?»

Застраховаться на случай несчастья и неожиданностей (наибольшее число ответов).

Дать детям образование.  
Уйти с работы.  
Купить когда-нибудь домик.  
Открыть маленький бизнес.

Большинство американцев высказывается против «шагов к социализму». И в то же время они были за:

Введение пенсий для всех стариков свыше шестидесяти пяти лет.  
Бесплатную медицинскую помощь.  
Общественные работы для безработных.  
Страхование от безработицы.  
Регулирование банков.

Как показывают опросы, свою работу большинство американцев, особенно рабочие, не любят. Когда их спрашивали: «Выбрали бы вы снова, если бы могли, свое теперешнее занятие?» — утвердительно ответили:

Лица свободных профессий	— 72 процента
Служащие («белые воротнички»)	— 51 »
Мелкие бизнесмены	— 50 »
Фермеры	— 50 »
Рабочие (не на заводах)	— 37 »
Рабочие заводские	— 30 »

Чейз приводит данные из книги «Человек на конвейере», изданной Гарвардским университетом. Авторы опросили тысячу восьмьсот рабочих автомобильного завода. Выяснилось, что только десять процентов довольны своей работой или хотя бы безразличны к ней. Девять из десяти ее ненавидят. Работа монотонная, тяжелая, изматывающая. «Ребята кричат «ура» каждый раз, как только конвейер ломается и останавливается, и так по всему заводу... Это ночной кошмар. Они работают как бы в состоянии умственного помрачения», — сообщают авторы исследования. На другом заводе (уже по другому источнику) «более высокая заработная плата рассматривается не как вознаграждение за труд, а как цена, уплачиваемая за скуку и опустошенность». «Одно утешение, док, это — старина доллар». Они ненавидят свою работу, но в то же время боятся потерять ее — ведь это для них катастрофа!

### ЛЕГЕНДА О СУВЕРЕННОМ ГРАЖДАНИНЕ

Отцы буржуазной демократии придумали некогда легенду о просвещенном народе, который, превосходно разбираясь в делах, разумно правит государством, как верховный владыка, как суверен. Буржуазные идеологи цепко держатся за эту легенду.

Одну из глав своей книги Чейз назвал «Политика». «В этой области, — пишет Чейз, — мы обнаруживаем такую степень невежества и апатии со стороны суверенного гражданина, которые внушают тревогу. Как бы ни угнетали нас эти факты, мы обязаны взглянуть им в лицо, если хотим понять, во что верят американцы. Множество глубоких обследований показало, что между демократией в теории и политическим поведением большинства американцев существует глубокая и постоянная пропасть».

Подавляющее большинство американцев мало интересуется политической жизнью, предоставляя управлять страной политикам («Я плачу налоги, чтобы политики думали»). Избиратели меньше всего руководствуются разумом и логикой, жалуется Чейз. Так, во время избирательной кампании 1948 года две трети избирателей не имели даже отдаленного представления о платформах тогдашних кандидатов в президенты, а одна десятая не знала, кто баллотируется в президенты. Картина не изменилась в 1958 и 1960 годах, когда половина избирателей не могла назвать хотя бы одного кандидата в конгресс — и это в разгар избирательной кампании.

На вопрос, что такое государственный департамент и чем он занимается, ответила только одна треть «суверенных граждан». Только семь процентов граждан посещают предвыборные митинги. В 1948 году семьдесят процентов американцев не имели понятия о только что принятом законе Тафта — Хартли, который ограничивал право на забастовки и взял под защиту штрейкбрехеров.

В школах США изучают билль о правах. Этому документу более полутора лет, и в нем записаны такие демократические свободы, как свобода вероисповедания, слова, печати, собраний. Билль состоит из десяти поправок к конституции (среди них знаменитая пятая поправка, охраняющая американских граждан от дачи показаний против самих себя на суде), он был принят вскоре после самой конституции. Практически американская буржуазия давно растоптала его, но формально он все еще остается краеугольным камнем демократии. Тем более поразительно, что тридцать один процент взрослых жителей никогда не слышал об этом билле, тридцать шесть процентов слышали, но не знают, что в нем сказано, а двенадцать процентов объясняют его неправильно. Иными словами: четыре пятых американцев не знают сего основополагающего документа американской демократии. С другой стороны, среди двадцати одного процента знакомых с его содержанием многие готовы отказаться от него. Так, тридцать семь процентов из них заявили, что они не разрешат никакой газете критиковать американскую форму правления, а двадцать пять процентов — не дадут социалистам издавать газету. На вопрос, можно ли дозволить русским журналистам свободу описывать в своих газетах то, что они видят в США, только тридцать пять процентов ответили «да»... На этой же позиции, видимо, стоит и государственный департамент, который недавно запретил группе советских журналистов поездку по южным штатам.

«Нормо Americanus», — пишут авторы книги «Американский избиратель», изданной

в Нью-Йорке в 1960 году,— животное не политическое. Его интерес во время выборов сводится в основном к тому, кто кого положит на лопатки — как это происходит на футболе, бейсболе и других состязаниях». Выборы для него — зрелище, и притом не самое интересное. Диалог клоунов на политической арене мало отличается от того, что ему показывают изо дня в день на экранах кино, телевизоров и пр. Чейз находит оригинальное утешение: если бы американцы больше интересовались политикой, выборы превратились бы в побойше. Но что общего все это имеет с самоуправлением народа?

«Многие и многие люди в США,— заявляет Э. Роппер в «Сатердэй рвью» 3 ноября 1962 года,— голосуют за кандидатов, с которыми они не согласны почти по всем вопросам, иногда из слепой верности политической партии своих отцов, а иногда, как показали опросы, потому, что у них нет ни малейшего представления, за что выступает кандидат». По традиции, вслед за отцами и дедами, голосуют три четверти избирателей, и лишь четвертая часть перебегает от одной партии к другой, руководствуясь весьма туманными мотивами. Кроме силы привычки, решают реклама, избирательные расходы, состязание в демагогии. Многим рядовым американцам кажется — не зря ведь это им внушают изо дня в день,— что они свободно выбирают президента. Они не замечают и не понимают, что периодическая сменяемость людей в Белом доме и в Капитолии прикрывает собой бессменность власти монополистического капитала, который ведет беспроигрышную игру. Ничто не меняется от победы той или иной партии (поскольку обе партии ни в чем существенно не отличаются друг от друга), как ничто не меняется от результатов футбольного матча. Зато инсценировка поединков отвлекает от классовой борьбы. Недаром крупные монополии субсидируют одновременно и демократов и республиканцев. И все же в последние годы здравый смысл американцев проявляется в том, что семьдесят один процент опрошенных избирателей почти не видит разницы между тем, какая партия стоит у власти. Тот же здравый смысл и многолетний опыт привели к тому, что очень значительная часть избирателей заранее знает, что никому из кандидатов верить нельзя.

Перед выборами 1960 года институт Гэллала провел опрос на тему: «Рассчитываете ли вы, что партии выполнят свои обещания?»

	Демократы	Республиканцы
Да, выполнят	44 процента	47 процентов
Нет, не выполнят	34 »	32 »
Не знаю	22 »	21 »

Вот несколько высказываний избирателей из числа приведенных Чейзом.

«Не верьте тому, что они говорят в своих речах,— заявил буфетчик.— Они засоряют мозги, чтобы завлечь избирателя, а потом делают, что хотят».

«Все это банда плутов, из кого бы она ни состояла. Народ по-прежнему облапошивают».

На вопрос: «Хотели бы вы, чтобы ваш сын занялся политической деятельностью?»-- две трети ответили: «Нет!» Половина опрошенных считает, что никак нельзя заниматься политикой, оставаясь при этом честным человеком.

На этом мрачном фоне Чейз находит светлые пятна: прямой подкуп избирателей «почти исчез»; местные партийные боссы теряют прежнюю силу; ради получения помощи люди уже не обязаны обещать свои голоса тем или иным политикам...

Чейз уповает, что, получив все эти сигналы, правительство примет меры и паразитное политическое невежество американцев будет искоренено. Он не хочет видеть, что в поддержании политической апатии американского населения, в его невежестве непосредственно заинтересованы те, кто управляет государством.

### НАРОД НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ

Осенью прошлого года, в дни карибского кризиса, газеты многих стран обошла фотография — группа американцев у экрана телевизора. На снимке люди разных возрастов, возможно, члены одной семьи, застыли в глубокой тревоге. Население в ужасе перед ядерной войной. Это подтверждают все опросы.

Уже в 1958 году большинство было уверено, что семеро из десяти американцев не переживут термоядерной войны. Но только двенадцать процентов имели в то время хоть какое-нибудь понятие о радиоактивных отходах. Около одной трети вообще не слыхало о них.

На вопрос института Гэллага в марте 1961 года: «Что вы считаете сегодня самой важной проблемой для страны?» — поступили ответы:

Сохранение мира	55 процентов
Безработица	25 >
Дороговизна жизни	11 >
Расовая интеграция	6 >
Не знаю	3 >

Поджигатели войны сумели внушить определенным кругам американцев, что для экономического процветания необходимо побольше расходовать на вооружения (действительность давно опровергла эту выдумку). С помощью шестидесяти миллиардов долларов, ассигнованных на военные расходы, капиталисты Америки подкупают и развращают одну часть населения. Люди боятся войны, но в то же время боятся оказаться на мостовой. Что будет, если «разразится мир»? Моррис Рубин, редактор журнала «Прогрессив», совершивший лекционное турне по стране, рассказывал, как вытягивались лица в некоторых аудиториях, когда заходила речь о разоружении. «Что будет, с работой, с платежами по закладным, с детишками?..» Один из разделов своей книги «Живи и жить давай другим», вышедшей в 1960 году, Чейз озаглавил «Скрытый страх». Он имеет в виду страх перед разоружением. Отрава действует.

Преступные маньяки приучают население к неизбежности ядерной войны. В декабре 1961 года две трети американской молодежи были уверены, что ядерная война разразится на их веку (в это же самое время девяносто семь процентов советской молодежи на вопрос: «Удастся ли человечеству предотвратить войну?» — ответили: «Да, удастся»), по данным московского Института общественного мнения).

Люди отгоняют мысль о ядерной войне. «Эта мысль заставляет их рисовать в воображении детали собственной смерти, что, по мнению психологов, претит всякому здоровому существу», — замечает Чейз.

«Реальной картины ядерной войны многие не могут себе вообразить, — писал журнал «Лук». — Некоторые матери больше расстроены тем, что их сыновьям придется уехать за океан, чем тем, что их родной город может быть сметен одной ослепительной вспышкой. Мы довольно-таки далеки от космоса здесь, на 77-й улице».

Психологию современных американцев, их фатализм и беззаботность Чейз считает серьезной помехой на пути к разоружению. «Привычки мысли и поведения, внушенные культурой, взрастившей нас в доатомную эпоху, достаточно сильны, чтобы увлечь нас к гибели», — пишет он.

Кто же виноват в угрозе термоядерной войны? Жертвы империалистической пропаганды этого, конечно, не знают. Насколько далеки они от понимания, показывают данные исследовательского центра Мичиганского университета, относящиеся к 1959 году: четырнадцать процентов жителей обвиняют в этом ученых, двенадцать процентов — политиков, шесть процентов — «иностранцев», три процента — Пентагон, и два процента — крупный бизнес.

Две трети вообще не могут ответить на этот вопрос и, возможно, видят в термоядерной катастрофе божью кару.

Чейз не из тех американских ученых, которые оправдывают каждый агрессивный шаг своего правительства. Он против холодной войны, он за разоружение и мирное урегулирование спорных вопросов. Он критикует «отца атомной бомбы» Э. Теллера и «стратега» атомной войны Герберта Кана — автора человеконенавистнической книги «Мысли о немислимом». В книге «Живи и жить давай другим» он выдвигает программу немедленных мер для предотвращения катастрофы. В 1961 году Чейз был на встрече советских и американских общественных деятелей в Крыму, посвященной международным проблемам. В одной из своих последних статей он цитирует генерала Макартура:

«Как бы ни было велико военное могущество нации, она не может пустить его сегодня в ход, не навлекая собственной гибели». Чейз далек от понимания, почему возникают войны при империализме, как и от понимания причин холодной войны против стран социализма. Но пример Чейза показывает, что американские ученые состоят не только из «атоманьяков». Это же подтверждают тревожные обращения к правительству и общественному мнению крупнейших американских ученых, и в том числе физиков.

### «УПРАВЛЕНИЕ СОГЛАСИЕМ»

Опираясь на статистику, Чейз доказывает, что американцы в массе своей добродетельны. Даже эту психологическую черту организаторы опросов засекали и выразили в цифрах. Но сознание американцев определяется не их характером. Американец знает о мире, об атомной бомбе, о разоружении, о коммунизме, о Советском Союзе то, что ему внушали с детских лет и продолжают внушать сегодня.

Правда, в США нет политической цензуры и билль о правах формально пока не отменен. Но монополия капитала, сплоченного и целеустремленного, на средства массовой информации сильнее всякой цензуры. Поток лживой пропаганды, наступающей обывателя всюду, мало что противостоит. Коммунистическая партия, которая мужественно говорит народу правду и защищает демократические права, терроризована.

Споры между политическими деятелями, препирательства в газетах создают видимость борьбы и разногласий, но по всем коренным вопросам буржуазные деятели бьют в одну точку. Поразительное политическое невежество и апатия, о которых с такой тревогой сообщает Чейз, поддерживаются искусственно. Американский писатель У. Ледерер в книге «Нация баранов», изданной в 1961 году (он же соавтор бестселлера «Безобразный американец»), называет правительство США «правительством с помощью дезинформации и рекламы».

Американский капитализм до сих пор не может оправиться от моральных последствий кризиса 1929—1933 годов, который потряс не только экономику, но и веру в частное предпринимательство. Международная классовая борьба, антиколониальная борьба и движение народных масс пораженных стран за национальную независимость подрывают капитализм во всем мире, приводят к тому, что буржуазия уже не может положиться на стихийное распространение ее идеологии. Обработка общественного мнения ведется организованно, с использованием государственной машины, методами, испытанными на коммерческой рекламе и в «психологической войне». Возник специальный пропагандистский бизнес — «паблик рилейшнз». В нем занято более ста тысяч профессионалов. Его задача — переключить внимание рядовых граждан на несущественное, сбить с толку, дезориентировать, усыпить сознание.

Тут не брезгают самой низкопробной демагогией. Основоположник науки о манипулировании общественным мнением — в США есть и такая наука: как говорится, спрото вызывает предложение! — Э. Берназ, деятель рекламы, социолог и фрейдист, в статье «Управление согласием» (она была опубликована в «Анналах Американской академии политических и социальных наук») доказывает, что, овладев техникой массовых средств информации, умные лидеры могут по собственному произволу управлять сознанием людей. Глава известной фирмы «Уитекер энд Бакстер», занимающейся устройством (по заказу политических партий и союзов капиталистов) политических кампаний. Уитекер поделился секретами успеха. «Чем больше вы объясняете, тем труднее вам добиться поддержки», — заявил он. Надо не разъяснять, а вдалбливать, бесконечно повторять одно и то же. «Средний американец, — говорит далее Уитекер, — когда вы его настигаете после работы, как это приходится делать нам, не хочет развивать свой интеллект... Но почти каждый американец любит драку, и вы заинтересуете его, если устроите драку! Не важно, из-за чего драку. Кроме того, каждый американец любит, чтобы его развлекали. Он любит кино, всякого рода тайны, фейерверки и парады. Поэтому если не драку, то дайте зрелище!» Зрелище должно быть «попроще по теме и поагрессивнее». Профессор Иллинойского университета У. Олбиг пишет в учебнике «Современное общественное мнение»: «Пропагандист ни во что не ставит человеческий

ум. Он старается лишить человека способности рассуждать логически». Этому искусству обучают теперь будущих пропагандистов в сотнях американских университетов на специально созданных кафедрах.

Рецепты, проверенные на подопытных американцах, экспортируются в другие страны «свободного мира». В марте нынешнего года правящая в Италии партия христианских демократов пригласила из США на гастроли (на время избирательной кампании) за сто тысяч долларов Э. Дичтера, который считается корифеем по обольщению публики.

Кто он — этот Дичтер? Он президент Института по изучению мотивации и даже изобрел особую науку — «мотивация поведения покупателей». «Мистер Дичтер, — писал журнал «Нью-Йорк таймс бук ревью» по поводу книги Дичтера «Стратегия желаний», — дает советы, как приспособляться к предрассудкам, создавать иллюзии и играть на страхах с тем, чтобы извлекать выгоду из слабостей своих ближних. Автор статьи предлагает государственному департаменту продавать Америку миру точно так же, как м-р Дичтер продавал бы спиртные напитки, помаду для волос, автомашины, средства от насекомых — словом, все, что угодно, — приемами рекламы. Достаточно лишь, воздействуя на подсознание людей, убедить мир, что Америка щедра, великодушна, вышена... В этом, — иронизирует журнал, — по сути и состоит его вклад в западную научную мысль нашего времени».

Итак, массовые средства информации принадлежат монополиям, которым предоставлена полная свобода отравлять сознание масс. Новейшие достижения науки в области радио, телевидения и прочего используются для насаждения невежества. «Потенциал этих средств для распространения полезных знаний, — пишет Чейз (в книге «Живи и жить давай другим»), — огромен, но чистый эффект, боюсь, состоит в усилении антинауки, полуправды и прямой лжи». Сегодня Чейз мог бы дополнить «Трагедию расточительства», книгу, которая принесла ему мировую славу (она была издана и в СССР), еще более разительными примерами.

### «НАЦИЯ БАРАНОВ?»

«Огромное большинство граждан, — восклицал известный американский радиокомментатор во время берлинского кризиса 1961 года, — решило не уступать коммунистическому давлению ни на дюйм!»

«Откуда это ему известно?» — спрашивает Чейз. В то же самое время опрос Гэллага по всей стране на тему: «Думаете ли вы, что США должны попытаться прийти к разрешению берлинской проблемы?» — дал восемьдесят один процент утвердительных ответов, что довольно-таки далеко от «не уступать ни на дюйм», замечает Чейз.

Удивляться надо не столько невежеству и дезинформации рядового американца, сколько тому, как здравый смысл американского народа сопротивляется нажиму. Не всегда правящим классам удается навязать свои взгляды. Народ, многократно обманываемый, перестает доверять прессе. Оказывается, пишет Чейз, рядовые люди очень часто придерживаются гораздо более передовых взглядов, чем их лидеры. Это относится к таким вопросам, как мир, переговоры, соблюдение международного права, разоружение.

«Бессильны ли мы против милитаристской пропаганды?» — спрашивает Фрэд Кук, сотрудник журнала «Нэйшн», автор нашумевшей книги «Государство войны» (Нью-Йорк, 1962). «Нет, — отвечает он, — у нас есть основания для оптимизма. Провал кампании за постройку атомных убежищ показывает, что американцы еще не нация баранов... В стране развертывается подлинное движение за мир».

В 1955 году, в разгар антикоммунистической кампании сенатора Маккарти выяснилось, что широкие массы остались к ней глухи. Менее одного процента было обеспокоено «коммунистической угрозой». Очень многие даже не знали, кто такой Маккарти, хотя за рубежом он стал уже печально знаменит.

Опрос среди молодежи, проведенный институтом Гэллала в конце 1961 года, показал, что, по мнению двух третей опрошенных, «коммунизм становится сильнее и что Россия опередит Соединенные Штаты во многих важных областях».

После провала высадки кубинских контрреволюционеров на Плайя-Хирон в апреле 1961 года две трети американцев были также против вооруженной интервенции на Кубе, «несмотря на серьезный удар по американскому престижу», по выражению Чейза.

Вопреки истерической кампании в прессе, по радио, телевидению две трети американцев (по Гэллалу) в феврале 1963 года высказались против вторжения на Кубу, и лишь двадцать процентов голосовали «за». Как показали опросы, лишь незначительное меньшинство американцев допускает, что Чан Кай-ши когда-нибудь еще вернется на материк с Тайваня. Правящие круги не могут не считаться с этими настроениями масс.

Дело не только в том, что восприятие притупляется и специалисты по «психологической войне» вынуждены придумывать все более хитроумные трюки, чтоб овладеть вниманием. Народ нельзя обманывать бесконечно.

Управление сознанием имеет свой предел. Оно ограничено общественным бытием. «Гигантское большинство населения земли в конце концов обучается и воспитывается к борьбе самим капитализмом», — указывал Ленин. Система «свободного предпринимательства» по самой природе своей порождает недовольство и «подрывные идеи», которые вызывают тревогу у имущих классов. Народ, вечно обманываемый буржуазными политиками, накапливает опыт и постепенно перестает им верить.

Чейз намеревался показать миру современную Америку и сделал это добросовестно. Он предоставил слово цифрам и фактам. Комментарии действительно почти не нужны. Он мог бы сказать гораздо больше, если бы не был связан тенденциозностью, тематикой и характером проведенных опросов. Но достаточно и того, что он показал. Вряд ли организаторы «психологической войны» будут ему благодарны.

Со страниц книги Чейза на нас глядит отнюдь не тот свободный мир, который изображают на глянцевого бумажке крикливо-пестрые журналы. Нет никакого суверенного гражданина. Народ — в большинстве своем — погружен в глубокое невежество, он изо дня в день обманывается лидерами. Средства просвещения служат насаждению мракобесия и милитаризма, толкающего страну к катастрофе. Стратег «психологической войны» Дайер прав в одном: демократические идеи действительно обладают огромной силой. Но что общего имеет американская «демократия» с подлинными демократическими идеями? Новая «демократическая» карта, на которую ставят господа дайеры, столь же ненадежна, как и карта экономическая. Правда, показатели демократизма не столь осязаемы, как экономические, их труднее выразить в цифрах. Тем более ценна попытка Чейза раскрыть с их помощью истинное состояние американской демократии.

Смешно думать, что, получив новые сигналы о «районах невежества», американский президент бросится их ликвидировать. Империализм порождает политическое невежество, как и реакцию, и притом не только в отсталых странах, но и в самых «передовых» метрополиях. Если бы не было этого невежества, не было бы и царства монополий. Чейз не видит необходимости мракобесия для господства капитала, как не понимает необходимости расточительства для экономики, основанной на анархии производства. Но факты, представленные Чейзом, независимо от его личных взглядов и наивных рецептов, направлены против капитализма. Он как бы продолжает «Трагедию расточительства», но теперь он рисует трагедию обманутого народа.



---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. ТУРАЕВ

★

## ВСЕСИЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО ВЕРНО

**С**реди незавершенных работ Бертольта Брехта сохранился большой фрагмент стихотворного переложения «Манифеста Коммунистической партии». Не совсем привычно читать классически точные формулы гениального программного документа как бы в другой редакции — в ритме медлительных дактилей. В поэтическом тексте — по ассоциации — появились новые слова и образы, но все они подчинены единому мощному потоку мысли...

Едва ли критики будут вправе придиричливо оценивать поэтический текст Брехта. Мы знаем, что Брехт не только преклонялся перед великим смыслом «Манифеста» — он умел ценить и его художественные достоинства, видел в нем высокий образец памфлета.

Переложение в стихах было своеобразным лабораторным опытом, студией, одним из способов проникнуть в тайны Марксовой мысли. Один из самых думающих поэтов XX века, Брехт умел глубоко проникнуть в сложный процесс борьбы идей. Но именно как поэту ему важно было представить эту борьбу в образах.

Поэтическое переложение «Манифеста» не претендует на самостоятельное художественное значение. Это дань уважения поэту, знаменательный факт его творческой биографии, а еще больше — примета времени.

Двадцатый век называют веком атома и нейлона, кибернетики и полупроводников. Но не техника прежде всего определяет его социальный облик, а триумфальное шествие идей Маркса, осуществление предвидений «Манифеста» на огромном пространстве нашей земли. Энгельс назвал мировую историю величайшей поэссой. Поэзия революционной мысли, которая прозвучала со страниц тоненькой книжки, вышедшей в фев-

рале 1848 года, стала поэзией самой действительности, поэзией борьбы и труда миллионов. Поэтическое переложение «Манифеста» Брехта — пример редкий, но выступающий в символ. Идеи Маркса ныне переложены на поэтический язык самой истории и стали плотью и кровью нового искусства XX века.

Когда мы говорим об эстетике Маркса, мы часто ограничиваемся его и Энгельса отдельными суждениями на темы литературы и искусства.

Эти суждения составляют стройную систему взглядов, и без них мы теперь не мыслим ни нашей теории, ни истории литературы. Но еще совсем недавно, в годы догматизма, когда настоящая, живая мысль так часто подменялась цитатой, эти суждения дробились, нередко вырывались из контекста, превращались в ту самую застывшую, мертвую догму, которой не терпит вечно живой, насыщенный диалектикой дух марксизма. Так было, например, с известной цитатой из Маркса о романтизме как реакции на французскую революцию, которую слегка подгоняли к другой цитате — из Сталина, о классической немецкой философии как аристократической реакции на революцию...

Между тем эстетика Маркса стройно, органично, логически вытекает из всего комплекса его идей. Философское учение Маркса гениально раскрывало гносеологические корни искусства. Учение об исторической роли пролетариата как создателя социалистического общества определяет основную линию развития передового искусства.

И примечательно, что в советских исследованиях последних лет большое внимание уделяется, например, экономическим работам К. Маркса и Ф. Энгельса, которые со-

держат много ценного именно для разрешения эстетических проблем. Широта охвата материала, умелое и тонкое исследование всех основных работ основоположников марксизма, в том числе и таких, тематика которых внешне не связана с литературой и искусством, является одним из достоинств нового труда об эстетическом наследии Маркса и Энгельса — содержательной книги Г. М. Фридендера «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы»<sup>1</sup>.

Автор ведет нас от книги к книге и прослеживает процесс формирования эстетики марксизма. Главные эстетические проблемы решаются одновременно с коренными вопросами философии, экономики, политики.

Так, основополагающим для эстетики становится знаменитый одиннадцатый тезис о Фейербахе. Он позволяет и искусство рассматривать «не в отрыве от чувственной, практической деятельности человека, а в неразрывном единстве с трудом и общественно-революционной практикой, с процессом исторического освоения и изменения человеком окружающего мира и самого себя». Стоило бы при этом уточнить и добавить, что из одиннадцатого тезиса вытекает не столько общий взгляд на искусство, сколько взгляд на искусство будущего, искусство социалистическое. Как и перед философией революционного пролетариата, именно перед ним поставлена новая историческая задача — изменять мир.

Уже в анализе ранних работ Маркса и Энгельса автор подчеркивает боевой, революционный смысл их эстетических идей.

А ведь именно вокруг этих ранних работ в наши дни развернулась шумная полемика на Западе. Противникам марксизма хотелось бы использовать Маркса против Маркса.

Г. Фридендер справедливо останавливает внимание на словах Маркса и Энгельса, направленных против Макса Штирнера с его идеализмом и индивидуалистической самонадеянностью: «...из всех философов он меньше всего знаком с действительными отношениями, и... поэтому у него философские категории потеряли последний остаток связи с действительностью, а значит и последний остаток с м ы с л а»<sup>2</sup>. Есть все основания

<sup>1</sup> Г. Фридендер. К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы. Гослитиздат. М. 1962. 608 стр.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, т. 3, стр. 452.

отнести эти слова и к искусству. Произведение искусства теряет «последний остаток с м ы с л а», если его создатель утрачивает связь с жизнью. Такая простая, ясная, для всех нас бесспорная мысль! Но чтобы ее утвердить в сороковые годы XIX века, нужно было, продолжая материалистические учения просветителей, отстоять ее в борьбе против новых форм идеализма и развить дальше, раскрыть самое понятие жизни как жизни общественной.

Образ художника, одиноко противостоящего окружающей действительности, отнюдь не был чьей-то зловредной выдумкой. Именно буржуазное общество, побеждавшее в XIX веке, обнаруживало свою враждебность искусству. И романтики поистине пострадали образы трагических одиночек, не понятых и не принятых окружающим миром. Сколько бунтующей непокорности в героях Байрона, сколько трагического отчаяния в поэтических монологах Виньи!

Маркс видел эту трагедию и умел уважать тех, кто, говоря словами Гейне, был удостоен «мученического сана поэта». Но он беспощадно разрушал всякие иллюзии «идеального возвышения над миром», видя в них лишь «идеологическое выражение бесилия философов по отношению к миру»<sup>1</sup>.

«Немецкая идеология» написана свыше ста лет назад, но мировой идеализм за это время не нашел новых аргументов, чтобы опровергнуть эти четкие и ясные выводы Маркса и Энгельса.

Анализируя «Введение» к экономическим рукописям 1857—1858 годов, Г. Фридендер приходит к важной мысли, на которую, как нам кажется, до сих пор недостаточно обращали внимания.

Идеалистическая эстетика, настаивая на исключительности искусства и особом месте художника, отделяя их от жизненной повседневности, тем самым резко ограничивала роль художника в жизни, сужала сферу его деятельности, замыкая в узком кругу посвященных и избранных. Существовало и то, что в системе Гегеля искусству отведено подчиненное место в ряду других способов познания.

Для Маркса искусство — одна из форм освоения человеком внешнего, объективного мира, особая, но не низшая и второстепенная. Таким образом, материалистическая

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 377.

эстетика, отвергая выпренные претензии художника на исключительность, возвращая его на землю, утверждала в то же время подлинно высокое место искусства в жизни.

Этот вывод весьма важен и для нашего времени. Стремительное движение техники, ошеломляющие победы научного познания не могут поставить под сомнение важность и отнюдь не меньшую значимость познания художественного, даже если в сегодняшнем искусстве нет побед равновеликих, например, запуску космических кораблей. Успехи техники, помогающие создавать материальную базу коммунизма, конечно, не могут подменить собой духовный рост советских людей, воспитательных задач, в решении которых искусство, литература призваны выполнить благородную и весьма активную миссию, ясно очерченную Марксом.

Маркс и Энгельс никогда не ставили целью создать новую нормативную эстетику. Совершенно немисливо видеть в Марксе социалистического Буало. У нас обычно робко и неуверенно говорят о том, что взгляды Маркса и Энгельса на искусство не оставались неизменными, они менялись. На некоторые явления литературы точки зрения Маркса и Энгельса могли и не совпадать (так, например, сохранились неодинаковые оценки книги Гейне о Берне). Исследователи при этом забывают о важнейшей черте научного мышления основоположников марксизма — историзме. Если категорично требование близости искусства к жизни, то ведь не менее важно и другое: оценка искусства не может быть вневременной, абстрактной, метафизически неизменной.

Г. Фридлендер напоминает известные слова В. И. Ленина о том, что «различные исторические периоды выдвигают особенно вперед то одну, то другую сторону марксизма»<sup>1</sup>: до 1848 года — философию, в 1848 году — политические идеи, позднее — экономическое учение.

Вот почему ненаучно, субъективно всякое механическое цитирование.

Примером точного и тонкого анализа взглядов Маркса в их историческом развитии служит глава, посвященная Г. Фридлендером проблеме романтизма.

Автор тщательно исследует ту идеологическую обстановку, в которой Маркс и Эн-

гельс выступают со своими оценками романтизма, и приходит к выводу, что, хотя между их суждениями разных лет сохраняется связь и преемственность, существенны и различия. Больше всего о романтизме говорится в ранних, написанных до 1848 года, работах Маркса и Энгельса, и это естественно: после 1848 года романтизм уже утратил свое актуальное значение. Но в революционно-демократический период развития Маркса и Энгельса их борьба с наследием немецкого романтизма продиктована целиком задачами обличения феодальной реакции. Г. Фридлендер справедливо отмечает, что в это время характеристика романтизма не была еще полной и диалектической: «Связь между различными видами романтической идеологии и проблемами развития буржуазного общества Марксом и Энгельсом в это время еще не учитывалась».

Иначе — сложнее, богаче, в большей исторической перспективе — раскрывается то же явление в более позднем письме Маркса, где говорится о романтизме как реакции на французскую революцию.

Здесь Маркс говорит о романтизме как первой реакции: вторая реакция «соответствует социалистическому направлению, хотя эти ученые и не подозревают своей связи с ним...»<sup>1</sup>. В этом контексте слово «реакция», конечно, не совпадает с понятием аристократической реакции против революции. Маркс раскрывает сложный процесс развития идей в XIX веке, соотнося «романтизм как явление истории культуры не только с просветительством и с буржуазной революцией XVIII века, но и с позднейшим социалистическим движением»<sup>2</sup>.

Этот пример особенно убедительно доказывает, что эстетическую позицию Маркса нельзя правильно понять, если вырывать отдельные мысли из их контекста, контекста в широком смысле слова, имея в виду не только контекст данной статьи, но и контекст исторический, общественную и идейную атмосферу, в которой выступал Маркс.

Главу «Вопросы историко-литературной методологии» Г. Фридлендер не случайно начинает с комментария к известному письму Ф. Энгельса к П. Эрнсту. Именно здесь

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 4-е, т. 77, стр. 53.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 34.

<sup>2</sup> Там же.

прозвучало важное предостережение вулгаризаторам марксизма. Существенно напомнить, что для Энгельса догматическая фразеология, подмена научного исследования готовым шаблоном означает сползание к идеализму. «...наше понимание истории есть главным образом руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства»<sup>1</sup>.

Истина конкретна. Каждый вывод Маркса и Энгельса был итогом огромной, поистине титанической исследовательской работы, в ходе которой учитывались все факты, связи и отношения. И потому так весомо звучит упрек, сделанный Энгельсом Паулю Эрнсту: «Подобные вещи я предпочитаю основательно изучить, прежде чем высказывать о них свое суждение»<sup>2</sup>.

Когда сталкиваешься в современной литературе Запада с попытками поставить под сомнение основные положения Маркса, то бросается в глаза элементарная некомпетентность, поверхностность и теоретическая беспомощность критиков марксизма.

Редакция и авторы февральского номера популярного буржуазного ежесемейника «*Letter* нувель» за 1963 год претендуют на подведение некоторых итогов развития европейской цивилизации за последние годы. Автор вводной статьи Морис Надо не отвергает материалистического тезиса о зависимости человека от среды и о связи культуры с обществом, но полагает все же, что деятели культуры и искусства более независимы от общества, в котором они живут и приобщаются к некоему единому и всеобщему миру мысли, искусства, науки, возвышающемуся над «веками и континентами». Нетрудно заметить, что слова о «веках и континентах» нужны автору лишь для того, чтобы создать впечатление у читателя, что марксизм якобы не объясняет всей сложности общечеловеческого значения искусства. Между тем Маркс в свое время привлек внимание именно к этому вопросу, когда он говорил об античном искусстве, отмечая значение «нормы и недосягаемого образца», которое сохраняют до сих пор его творения. Таким образом, ссылаясь на Платона как на «продукт рабовладельческого общества» ничего не опровергает. То обстоятельство, что его идеи и образы были про-

дуктом этого строя, не противоречит другому факту, что в мире Надо еще немало сторонников идеализма, которым близок Платон. И можно понять, что многие из них не хотят видеть мир таким, каким он предстает в XX веке, в эпоху торжества учения Маркса, а вслед за Платоном им хочется представить окружающее как отражение их собственных, исторически отживших идеалов...

Надо цитирует слова Маркса: «Господствующими идеями данного времени являются идеи господствующего класса». По его мнению, эти слова не могут объяснить ни Сартра, ни Пикассо, даже если, как говорит Надо, сам Сартр называет себя «буржуазным мыслителем», а богачи скупают полотна Пикассо.

По-видимому, себя Надо не причисляет к «буржуазным писателям» и не считает, что как раз его статья могла бы служить иллюстрацией к приведенным словам Маркса. Но главный вопрос другой: когда же Маркс или Энгельс предлагали зачислять всех писателей в идеологов «господствующих идей»? Можно вспомнить отзывы классиков марксизма о Гёте, Гейне, Бальзаке. Творчество их оценивалось в сложном комплексе и господствующих идей, и борьбы против них, критики их и преодоления.

Испытанный прием противников марксизма — спорить не с Марксом, а некими схемами, которые Марксу приписываются. Именно это и имел в виду Энгельс, когда писал П. Эрнсту: «...материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном...»<sup>1</sup>

\* \* \*

Одна из центральных проблем в суждениях Маркса и Энгельса о литературе — проблема реализма. Деятельность Маркса и Энгельса началась в годы расцвета реалистического направления в литературах Англии и Франции, в годы напряженной борьбы реалистов за новое понимание задач искусства. Но в литературном движении тех лет понятие реализма еще не утвердилось окончательно. Критики спорили, в какой мере можно считать Бальзака романтиком. Сам Бальзак в статье о Бейле различал ли-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII, стр. 233.

<sup>2</sup> Там же, стр. 221.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII, стр. 220.

тературу образов и литературу идей, причисляя к первой Гюго, ко второй Стендаля, а себе приписывая соединение того и другого. Правда, он тут же уточнил: школа, к которой он принадлежит, «требуется изображения мира таким, каков он есть». В литературе побеждало искусство правды. Сложность, однако, состояла в том, что о правде и о верности «природе» говорили и раньше многие эстетика и художники. Среди них можно назвать и Буало, и Лессинга, и Гюго. Но в середине XIX века великие победы реализма в западноевропейских литературах не нашли конгенитального отражения в эстетической мысли.

И это не было случайностью.

Для решения сложных проблем искусства, поставленных жизнью, нужна была твердая гносеологическая основа, которой не могли дать ни Гегель, ни Фейербах, ни Кант, ни другие популярные философы этой эпохи. Нужна была новая философская концепция, снимающая односторонность и гегельянства, и механического материализма.

Таким образом, постановка и теоретическое решение проблемы реализма в суждениях Маркса и Энгельса были подготовлены самим развитием литературы, стали требованием эпохи.

И естественно, что если прежняя эстетика в своих объяснениях отставала от художественных завоеваний реализма, то эстетическая мысль Маркса и Энгельса обгоняла практику самого искусства.

Основные высказывания Маркса и Энгельса о реализме связаны с творчеством Бальзака и поэтому обычно истолковываются как относящиеся именно к кригическому реализму. Между тем внимательный анализ этих высказываний показывает, что основоположники марксизма все время озабочены мыслью о будущем искусстве, о перспективах его развития в свете задач социалистической революции. Эта перспективность концепции реализма особо подчеркнута в книге Фридендера.

В известном письме Ф. Энгельса к М. Гаркнесс упрек в недостатке реализма связан именно с тем, что в ее «Городской девушке» «рабочий класс фигурирует как пассивная масса...». Для Энгельса очевидно, что настало время реалистического изображения именно «революционного отпора рабочего класса угнетающей его среде...»<sup>1</sup>

Этот новый реализм предполагает у художника ясную идейную позицию, отчетливое представление о путях развития общества.

Г. Фридендер весьма уместно привлекает одно важное место из работы Ф. Энгельса «К жилищному вопросу»: «Там, где мы доказываем, там Прудон, а за ним и Мюльбергер проповедует и плачется»<sup>1</sup>.

Как видим, Энгельс резко критикует позицию Прудона, для которого критерием служит некое абстрактное представление о социальной справедливости. Здесь, как и в более позднем письме к М. Каутской, Энгельс глубоко раскрывает свое понимание тенденциозности в искусстве. Художник, как и мыслитель, должен исходить не из заданной идеи, как бы она ни была справедлива, а из самой действительности. Нужна не проповедь и не жалоба, а изображение самой жизни в ее историческом развитии. «Мы изображаем, — пишет Энгельс, — а всякое подлинное изображение, вопреки Мюльбергеру, есть в то же время объяснение предмета...»<sup>2</sup>

Энгельс строго различает понимание действительности и догматическое навязывание этого понимания, прудоновские попытки согласовать жизнь с «требованием». Художник, подобно Бальзаку, должен видеть «реальные отношения»<sup>3</sup>.

Это отнюдь не значит, что искусство должно быть бескрылым, лишено идеала. Но Маркс и Энгельс неустанно боролись против утопических иллюзий в социализме, социалистический идеал для них был научно обоснован, исторически конкретен. Впервые в истории человеческой мысли была разрешена трудная философская коллизия, терзавшая и гётевского Фауста, и Шиллера — «идеал и жизнь». Критерий истины — практика истории — был применен и к идеалу.

Глубокого смысла исполнены слова Маркса: «Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого»<sup>4</sup>. Эти слова звучат программой для будущего искусства социалистического реализма. Именно реализма! В заключительных словах абзаца подчерк-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, стр. 269.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, стр. 122.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. Госполитиздат. 1947, стр. 405.

нудо, что это искусство будет не просто исходить из некоего идеала (как можно было бы истолковать слова «черпать... из будущего»), а из самой жизни: «Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы»<sup>1</sup>.

Во времена Маркса буржуазная идеология еще сочеталась с какими-то иллюзиями, еще умела обманывать себя и других насчет своего собственного содержания. В середине XX века от этих иллюзий мало что осталось.

Несколько лет тому назад один западно-германский писатель, выступая на встрече литераторов во Франции, признался: «Во всех высказанных здесь мнениях предполагается, что мы знаем, что такое действительность. Я должен сказать, что я этого не знаю... Мои чувства сомнительны; и я должен сознаться, что ненадежно и мышление».

Таков итог буржуазной мысли. В XVIII веке не знали, как примирить идеал и жизнь. Потом был утрачен идеал. И наконец рождается новый агностицизм — сомнение в самой действительности. Стоит ли после этого удивляться, что на Западе ставится под сомнение возможность реализма!

Богатство эстетической мысли Маркса неисчерпаемо, и, вероятно, будут еще написаны новые и новые книги о различных ее аспектах. Книга Г. Фридендера раскрывает важнейшие, узловые моменты эстетической концепции Маркса, но автору рассматриваемой работы необходимо сделать и ряд упреков. Приходится пожалеть, например, что не получили полного освещения новые материалы переписки Энгельса с Лафаргами. Недостаточно объективно проанализирована переписка с Лассалем. Автор не учитывает, что Ф. Энгельс, как он сам об этом пишет, предъявляет к драме Лассалья

«наивысшие требования». Поэтому совершенно несостоятельно то противопоставление Гёте и Лассалья, которое делает Фридендер. Гёте отнюдь не изобразил Геца «жалким субъектом». К тому же нелогично сопоставлять политические позиции Гёте и Лассалья, живших в разные эпохи: Лассаль хоть и недолго и непоследовательно, но был все же единомышленником Маркса.

Наконец глава, посвященная литературе 1848 года, на наш взгляд, несколько описательная, недостаточно раскрывает теоретические позиции Маркса в его отношениях с поэтами этой эпохи.

\* \* \*

В нашем движении вперед, в нашей борьбе за искусство большой социалистической правды мы вновь и вновь обращаемся к наследию основоположников марксизма, обогащаемся большой мыслью, получаем надежные, проверенные временем ориентиры.

В XIX веке невозможно было представить реально и конкретно, какими будут книги писателей — современников социалистической революции. Но Маркс и Энгельс верили, что грядущее искусство будет сочетать Шекспира и Шиллера — «полное слияние большой идейной глубины, осознанного исторического смысла... с шекспировской живостью и действенностью...»<sup>1</sup>

Признавая высокую миссию художника, Шиллер торжественно заявлял в прологе к «Валленштейну», что только «великий предмет» способен вызвать волнение в глубинах человечества. Он убежденно писал, что сам человек растет, когда перед ним стоят высокие цели...

Эти слова — только один пример того, как мысль о высоком призвании искусства была подготовлена всем художественным развитием человечества.

Ныне, спустя сто сорок пять лет со дня его рождения, правда идей Маркса стала материальной силой и вдохнула новую жизнь в культуру нашего века. А передовые художники мира научились, говоря словами Брехта, «превращать правду в боевое оружие».

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8, стр. 122.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXV, стр. 258—260.



И. САЦ

★

## О ВЗГЛЯДАХ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1

**Н**ельзя быть настоящим ботаником, не любя растений, говорил Луначарский. Он повторял эту мысль, иногда ее поясняя: ученый, любящий больше всего библиотеку и лабораторию, конечно, может быть полезен науке — он возьмет на учет и проверит добытое другими, выработает собственные методы и т. д.; но значительных новых наблюдений он не сделает, новых истин не откроет.

Читая сочинения Луначарского об искусстве, нетрудно понять, как эта мысль была ему дорога. Он был человеком широко образованным и анализировал художественные явления с помощью научного марксистского метода, но ученость не сковывала его ум, не иссушала его чувство и воображение; свободой и гибкостью суждения он превосходил тех критиков и эстетиков, которым теории искусства важнее самого искусства, и тех, которые боятся науки, будто бы отнимающей непосредственность восприятия.

Именно в этом органичном единстве любви к искусству, открытости к художественным впечатлениям и способности трезво и научно об искусстве судить заключается, пожалуй, первое отличие Луначарского, сразу выделившее его среди критиков начала века. Не меньшее значение имеют эти качества и для критики нашего времени.

Благодаря своей личной одаренности Луначарский выразил могучую тягу к обновлению культуры, сопровождавшую с первых

же лет рабочее социалистическое движение, идущее под знаменем революционного марксизма. Один из первых деятелей этого движения в России, Луначарский пропагандировал понимание художественности, соответствующее тому мировоззрению, которое он принял еще семнадцатилетним юношей, вступив в социал-демократический кружок железнодорожных рабочих. Подлинная художественность возможна лишь тогда, утверждал Луначарский, когда искусство передает жизненную правду правдивыми средствами, когда искусство проникнуто идеей и идея эта человечна, то есть ведет к освобождению от социального гнета.

Но что такое «жизненная правда»? На этот вопрос есть много противоречивых, часто скептических ответов. Есть и такой взгляд на дело, что истина может быть результатом чьих-то желаний или приговора. Щедрин, помнится, кратко выразил всю суть такого взгляда: «Что есть истина? — Истина есть результат судебного разбирательства...»

Революционный марксизм усвоил наследие революционной демократии. Одним из великих преимуществ революционных демократов, идеология которых выросла из массового крестьянского движения, было недоверие к софизмам, посредством которых ложь перекрашивается в какую-то особую, «высшую» правду. Это качество есть во всей классической русской литературе середины XIX века. Оно есть не только у сознательных революционеров, но также у писателей, не сознававших социального источника своих идей и тем не менее отражавших в своем творчестве массовый протест, нарастающую в России революцию. Примеры слишком известны, чтобы их здесь

В основу статьи положено предисловие к сборнику статей Луначарского, выпускаемому издательством «Советский художник».

повторять — от безжалостных разоблачений лжи и фальши у Льва Толстого, утверждавшего, что главным его героем является правда — правда народной жизни, — до горьких насмешек Достоевского над попытками истолковать «в высшем смысле» заурядные житейские вождения. «Плебейское» обращение к непосредственной жизненной правде, которую можно лишь затуманить, но нельзя уничтожить никакими ухищрениями, как нельзя, по крайней мере надолго, убедить голодного человека в том, что он сыт, — постоянно присутствует в речах, статьях, агитационных листовках Ленина. Конечно, там есть не одно лишь чувство правды — одного его еще недостаточно; научный марксистский метод служит добыванию, вскрытию истин, нелегко различимых в путанице жизни и погребенных под горами ложных теорий и предубеждений. Однако не только в конце, но и в начале в основе всякой подлинной научности находятся простые, в общественной практике сами себя утверждающие истины.

Для искусства — в особенности, может быть, для искусства изобразительного — простое чувство правды необходимо. Луначарский был в этом твердо убежден. Он мог понять и мог разъяснить суть сложных словесных самооправданий декадентских «школ»; но уже в самой основе его подхода к произведениям мы явственно ощущаем твердое нежелание его не только как критика, но прежде всего как зрителя примириться с неправдой. Я могу понять, как бы говорил Луначарский, зачем ты, автор картины, изобразил человека о двух носах, и твои теоретические доводы не так уж недоступны мне, привыкшему иметь дело с книгой; но все равно, как ни рассуждай, я вижу, что это неправда, и не соглашусь признать ее за правду.

Конечно, одних самоочевидных истин недостаточно и в искусстве для постижения действительности, и не только наука, но также искусство состоит отнюдь не из них одних. Но неумение их ценить закрывает понимание и жизни и искусства, разоружает перед софизмами

Сторонники «левых» направлений обычно называют такое отношение к искусству отсталым взглядом на художественную форму, приверженностью к внешней оболочке «вещей», неспособностью проникать в их внутреннюю сущность и т. д. Однако прав был Гёте, высмеивая тех, кто противополо-

ставляет «оболочку» природы «ядру, которое она от нас скрывает». «О, филлистер, — издевался Гёте, — ты лучше подумал бы, есть ли в тебе самом ядро или весь ты шелуха». Презрение к естественной форме явлений, непонимание содержательности природной формы есть одна из худших пошлостей.

Любовь к искусству была у Луначарского неотделима от любви к жизни, его вкус был в согласии с его взглядами на художественность и с его общим мировоззрением.

В силу этого мировоззрения реализм — не «одно из направлений в искусстве» (как принято его трактовать по сей день в концепциях буржуазных или псевдомарксистских критиков). Такой взгляд так же невозможен был для Луначарского, последователя Ленина, как признание буржуазно-философского учения о множественности истин. «Плюрализма», тоже, как ни странно, проникающего иногда (конечно, без упоминания этого термина) и в наши литературно-критические статьи. «Это истина, но не наша» — такое рассуждение от времени до времени повторяют некоторые наши критики начиная с тридцатых годов. Иногда при этом ссылаются на Ленина, на то, что он призывал учитывать правду классового врага; однако эта ссылка — злоупотребление, потому что совет Ленина означал лишь одно: не закрывать глаза на правду, если даже ее высказал и классовый враг. Но правда одна, и нельзя найти у Ленина мысли, которая противоречила бы этому взгляду, неизбежно вытекающему из материалистического принципа. Историческое развитие открывает новые стороны действительности; в каждой предыдущей ступени познания ценно то, что содержало правду, что было частью абсолютной истины, приближением к ней.

Это отношение к миру связывает все события за многие тысячи лет в единую историю человечества и все этапы противоречивого развития мысли — в единую историю познания. Художественное познание подлежит тому же закону — закону единства объективного мира. Поэтому реализм, исторически изменяя свое конкретное содержание и форму, представляет собой существеннейший признак подлинной художественности и объединяет достижения всех эпох в единое человеческое искусство.

Мир бесконечно богат и многообразен — бесконечно способно к развитию, бесконечно

разнообразно реалистическое искусство. «Направления» же и «школы», во множестве возникшие с конца XIX века, сразу начали требовать себе права на всякого рода ограничения в отношении к объективному миру, как будто познающий субъект может быть богаче и шире его.

Наиболее распространенным был на первых порах отказ от «предвзятости»; к ней относили идеологию, представления и воззрения, выработанные в процессе культурного развития. Читатель найдет у Луначарского критику такого рода склонения мысли еще в «наивном натурализме» импрессионистов. Позднее кубизм, сюрреализм и прочие новейшие «школы» открыто провозгласили намерение насильственно деформировать природу, навязать ей, от щедрот своих, нечто, чего ей самой по себе не хватает. Вариантов здесь выработалось и вырабатывается великое множество, но в конце концов все сводится к одному принципу. Думают ли обмануть природу, притворяясь простаком, вкрадываясь к ней в доверие, или хотят грубым насилием ее сломить, чтобы ею овладеть,— основой таких тенденций является недоверие к реальности, порожденное бессилием перед ней. Неизбежное следствие — обеднение искусства, его расщепленность, утрата цельности, раздувание частностей за пределы их действительных границ.

Говорят: импрессионисты впервые открыли свет. Луначарский часто вполне благожелательно относится к картинам художников-импрессионистов «старшего поколения», в особенности дорог ему своей жизнерадостностью Ренуар. Он признает законность отращения импрессионистов к измучившему «жанру», к бездушному академизму — рутинной, школьной пародии на великую традицию. Луначарскому понятно желание вывести живопись из темной и душной мастерской на воздух, под солнечные лучи. Но разве «воздух» и «свет» в импрессионизме не рассудочные категории, дающие простор предвзятым «технологическим» операциям над природой?

«...Импрессионист хотел учиться у самих вещей, он хотел наблюдать их, схватывать глазом объективного исследователя, без предрассудков, без предвзятости, непосредственно отдаваясь впечатлениям — импресси... Напряженно ловя тончайшие оттенки импрессии, художник, быть может неожиданно для себя, убедился, что он мало-

помалу далеко отошел от объективности... Какое дело художнику до того, каков предмет... художник-импрессионист изображает мир кажущегося... Так, естественно, художественный реализм шел к импрессионистскому субъективизму. Явление, параллельное переходу философского реализма к эмпириокритическому монизму».

Силой таланта лучшим художникам-импрессионистам иногда удается писать живые, привлекательные для глаза натюрморты, пейзажи, фигуры (реже — портреты), улавливая какие-то стороны реальной красоты природы. Но это не оправдывает их исходного принципа.

Ценность художественных принципов проверяется практическим применением. Поднялось ли с импрессионизмом впадение в академическую косность искусство до старого великого реализма? Создал ли импрессионизм ценности, возвращающие искусству общественную роль? «В этом направлении (в направлении импрессионизма.— И. С.) можно, казалось бы, художникам идти до бесконечности: открыта новая техника и при помощи ее можно передавать весь мир, который ведь бесконечен». Но — тянутся перед вами бесконечные пейзажи, написанные сочно, смело; в иных много настроения, — но какого? Что нового дает оно вам? расширяет ли душу? — Ничуть. Вот радостная рошица, вот угрюмая скала и т. д. и т. д. И все вместе очень надоедает и дает бесконечно меньше, чем сама природа... Нет, нельзя делать средство целью, технику сущностью!» «Мы отнюдь не требуем от живописца фабулы, повествовательного содержания, как и от музыки не требуем слов; но, если певец начнет петь этюды, мы можем восхищаться четверть часа обработанностью его голоса, а потом готовы будем убежать куда-нибудь».

И как можно говорить, что импрессионизм открыл свет? Разве его не было у Корреджо, у Рембрандта?

Правда, у импрессионистов свет играет другую роль — он сам становится одним из главных предметов изображения. Однако это абстрагирование одного качества, выделенного из реальности, поглощение им многих других существенных качеств зримого мира не обогащает, а сужает возможности искусства.

В период буржуазного декаданса встречаются, конечно, удачи, но частичные, бывает порою и поэзия, но гораздо чаще

остроумие. Остроумие без ума, отмечает Луначарский.

Говорят, постимпрессионист Гоген открыл цвет... Луначарский признает «первостепенный талант» Гогена и говорит о том, что интересно и значительно в этом художнике. Он только не понимает людей, забывающих, что цвет — и какой цвет! — был у Тициана; ему кажется попросту смешным считать «осознание цвета» первооткрытием живописцев XX века. Все дело в том, что великие реалисты изображали действительный предмет, выделяя в нем главное для поэтической мысли картины, но сохраняя все его другие качества, относясь к предмету как к цельности, единству. Искусство времен упадка буржуазной культуры эту целостность утратило, а потом стало и намеренно от понсков ее отказываться.

Нет подлинной живописи без поэзии. В одном лепестке цветка может заключаться весь мир, в одной строке поэта находим всю полноту жизни, цельный образ действительности. Когда же художник экстрагирует из цветка его «геометрическую идею», или его «цвет», или «световые рефлексы на его поверхности» и т. д. — здесь поэзия ютится кое-как, теснимая «интересной точкой зрения», «приемом», то есть рассудочностью. Но рассудок, слобренный «ощущением», — это совсем не то, что поэтическая мысль, где чувство и разум неразлучны в едином движении. Отказ «левых» от традиции был отказом от единства художественного мышления.

Луначарский внимательно и с уважением анализирует усилия Пювиса де Шаванна возратить монументальной живописи глубокую идею старинной фрески, преодолевая и тенденцию к чисто внешней, бессодержательной «декоративности красочного пятна», и простое перенесение картины с полотна на стену здания, без учета особенностей иной эстетической задачи; но он более всего ценил в этом художнике то, что он в период модернистской безыдейности обращался к великой традиции и создавал «подлинные философские поэмы в красках». Перед этой заслугой Пювиса де Шаванна Луначарский считал малозначимым такой его недостаток, как искусственная наивность, сердившая в его картинах Л. Толстого.

Перерыв традиции, желание выдумать нечто «абсолютно новое», стремление прежде всего к тому, чтобы отличаться от предше-

ственников, характерны для декаданса и в искусстве, и в философии, и в жизненных взглядах, и в политике. По существу это крайнее выражение буржуазной прозячности, самодовольства, чванного презрения к истории, самоуверенности рассудка, не знающего своих границ — и потому постоянно попадающего впросак. Один замечательный английский писатель начала нашего века так определил умонастроение интеллигентов того времени: они не принимают ничего, что опирается на традицию и авторитет, но принимают на веру все что угодно, если оно не имеет опоры ни в традиции, ни в авторитете; они готовы проглотить любое порождение поверхностного скептицизма, видя в этом нечто современное и разумное, не думая о том, выдерживает ли «новизна» проверку разумом и имеет ли отношение к современности.

Трудно найти лучшую характеристику для «новых» художественных направлений последнего столетия. «Новые открытия» этого периода представляют собой (когда они не просто эффектный трюк или странная и бесплодная игра ума) лишь одностороннюю разработку какой-то стороны, вхолившей некогда как часть в единое целое реалистического художественного мышления.

Для понимания взглядов Луначарского на этот вопрос очень важно знать то, что он пишет о Сезанне. Этого художника все представители постимпрессионистских школ, вплоть до нашего времени, так или иначе признают своим предтечей. Но Луначарский защищает Сезанна от тех, кто называет себя его последователями. Считая его не очень одаренным художником (что, с нашей точки зрения, спорно), он отдает должное глубине и честности его воззрений на современное искусство.

Импрессионизм, думал Сезанн, как все вообще современное искусство, заражен рефлексией, и это упадок. Но как одолеть рефлексию, раз она уже отравила художественное мышление? Надо победить непривольную рефлексию рефлексией осознанной, восстановить уграченную способность цельного воззрения на природу посредством сознательного анализа элементов, чтобы затем привести их к естественному единству в синтезе. Другого пути Сезанн не видел.

В такой логико-химический способ врата к великому реализму Луначарский не

верил. Он разъяснял, что и Сезанн, на свой лад, остается в плену тех же рассудочно-позитивистских представлений, что и отвергаемые им современники. Но он восхищался мужеством Сезанна, осмелившегося вопреки предрассудкам окружающей среды заявить, что все, что он делает, — лишь подсобные работы, а истинное желание его заключается в том, чтобы писать, как художники кватроченто. Последователи Сезанна не удержались на этой его позиции: то, что сам Сезанн у себя считал временным, промежуточным, они прославили как абсолютные достижения, превосходящие «устарелый реализм». Но потому-то они и оказались способными лишь на создание «направлений» — сюда их увлекал весь ход разложения буржуазной культуры — и на то вымирание, о котором еще в 1907 году крупнейший русский поэт того времени Александр Блок сказал. «...литература наша вступает в период «комментариев» (или проще: количество критических разговоров несравненно превышает количество литературных произведений)..»

Нельзя быть подлинным художником, больше любя препарирование действительности, чем действительность. По убеждению Луначарского, если глубже, вернее, значительней для науки будут труды того ботаника, который любит живые растения, то о несравненном превосходстве искусства, обращенного к действительности, над искусством, поглощенным цеховыми художественными интересами, и говорить нечего.

## 2

Современность и новизна были (и остались) главными лозунгами так называемого «левого» искусства. Луначарский тоже хотел, чтобы искусство было современным, он считал, что претензии «левых» на выражение духа нового и будущего времени как же безосновательны, как претензии их противников, «академистов» и «традиционалистов», на хранение наследия прошлых веков. Последние утратили идеи, некогда родившие великое реалистическое искусство, не обрели новых идей и стали формалистами-рутинерами; «левые», думая опередить свое время, «гонятся пешком за поездом и безнадежно отстают от века» — потому что главное содержание современного периода состоит в неуклонно назревающем социалистическом перевороте, в приближении эпо-

хи, когда культура станет всенародной, а «левые» художники застряли в «специфике», в мелочных, мнимых проблемах искусства, порожденных отрывом культуры от народной жизни, то есть, исторически, «вчерашним днем».

Мы уже сказали, что рассудочно-формальное экспериментаторство Луначарский не считал путем, который может привести к возрождению искусства.

Культуре и искусству принесет спасение свержение капитализма — иначе и не могло мыслить коммунист Луначарский еще в то время, когда никто не мог предсказать, насколько близка победа социализма. Он верил также в то, что близость к народу и особенно к социалистической борьбе рабочего класса позволяет талантливым и честным художникам подготавливать новую художественную эпоху еще до победы над буржуазным строем. Этому убеждению Луначарский оставался верен всю жизнь. Поэтому после Октября, когда по-иному встали практические вопросы «художественной политики», глубокое изменение общественно-политических условий (помогшее ему избавиться от остатков махизма в эстетической теории) потребовало в главном приложения, проверки и развития выработанных еще до революции марксистских взглядов на культуру и искусство.

Дореволюционные статьи Луначарского интересны и с точки зрения освещаемых в них явлений, и как блестящие образцы художественной критики. Вместе с тем они имеют особое значение для истории советской культуры, вводя читателя в те отношения, которые складывались у нас в сфере изобразительного искусства. Большая часть этих статей посвящена западным художникам (или русским художникам, ставшим «парижанами») — потому что Луначарский редко писал о картинах по памяти, а жил он в те годы за границей. Но это не меняет дела: основные вопросы современного состояния искусства и желательного направления его развития могли быть поставлены и на разборе тех примеров, которые были тогда у Луначарского перед глазами.

Мы хотим здесь сказать об одной из сторон этой его критической деятельности, существенной для дальнейшего.

Положение живописи в России начала века было лучшим, чем на Западе: в ней были Серов, Репин, Поленов, Кустодиев, Юон,

Добужинский, целая плеяда выдающихся художников-реалистов; жива была традиция Сурикова и «передвижников». И вряд ли кто-либо, судящий не догматически, а на основе конкретного отношения к произведениям, станет отрицать, что, например, у сильно захваченных символизмом Врубеля, Бенуа или даже у самых «эстетских» из художников «Мира искусства» сохранялось больше цельности в видении мира, в мышлении, чем у западных собратьев; разрушительной рефлексии и «иронии»<sup>1</sup> в их работах было меньше, идеи, одухотворяющие их искусство, были гораздо значительнее (хотя бы это были и декоративные художественные идеи Бакста, более широкие по масштабу и больше опирающиеся на фольклор). Причина этого различия ясна: со второй половины XIX века — то разгораясь, то угасая, но никогда не прекращаясь — в России шло массовое, мощное народное движение. Правда, прямых и сознательных выражений революционного протеста и в русской живописи было немного, но косвенно, подспудно приближение революции сказывалось на всем лучшем, что давала русская живопись. В таких условиях реалистическая традиция не могла прерваться. Жизнь тревожила, заставляла художников, хотя бы они и не имели сознательного мировоззрения, ощущать свою связь с судьбами народа, не давала замкнуться в мелочных специфических интересах.

Тем не менее и в самой России вместе с развитием империализма, и еще больше у русских «парижан» возрастало влияние «новейших направлений». Поэтому, разбираясь в работах заграничных художников, Луначарский обращался тем самым к одному из больших вопросов отечественного искусства. И здесь обозначилась несколько особая позиция Луначарского среди критиков его времени.

Большинство русских критиков 1900—1917 годов и еще больше критиков западных были увлечены разного рода модернизмом, считая его достижением новой эпохи, художественно высшей, чем все прежние; не было недостатка в таких «ученых», которые свои сведения из истории использовали для поддержки любых модных чудачеств. Более трезвые (или стыдли-

вые) сторонники модернизма журили его за «крайности», но признавали ценными его «технические завоевания». (От взглядов таких буржуазных критиков мало отличалась и критика из правой социал-демократической прессы Германии.) Противники же модернизма чаще всего выступали как «староверы», начисто отрицали серьезность всех современных исканий и делали исключение лишь для натуралистических или антикизирующих эпитонов — безжизненных подражателей живописи прошлому. С точки зрения таких «староверов» импрессионизм и, уж конечно, постимпрессионизм были бредом сумасшедших или просто обманом.

Луначарский не считал хорошим новое только потому, что оно ново, и старое только потому, что оно старо. Ему были смешны «доказательства от давности» — такие, например, как встречающееся сейчас в нашей критике наивное удивление: зачем критиковать импрессионизм, да еще причисляя его при этом к «новейшим школам», если он существует уже сто лет? Дело не в счете годов, писал Луначарский, а в том, что было в течение их прожито, в характере исторического периода, к которому они относятся, а столетие с семидесятих годов XIX века шло под знаком перерастания старого капитализма в империализм со всеми сопутствующими этому процессу явлениями в области культуры.

Дурного вкуса, иногда и жульничества Луначарский видел достаточно в полотнах обоих — и «правого» и «левого» — враждующих лагерей, принадлежащих в конце концов к одной стадии художественного упадка. Но он был убежден, что распад культуры, как бы он далеко ни зашел, не может быть абсолютным. В самых пагубных исторических условиях продолжается жизнь, и, как ни извращается ее отражение предрассудками, суевериями и мелочностью художников, не видящих трагизма и величия исторического момента, — живая жизнь не может совсем прорываться в искусство, не может совсем из него исчезнуть. Правда одна. Но она может быть постигнута в относительно большей или меньшей полноте, она знает ступени. И хотя ложные художественные принципы наносят искусству большой ущерб, они все же не убивают его в целом. Живопись сеицентов, конечно, упадок в сравнении с живописью предшествующих двух веков, но разве нет и в ней ни одного замечательного произведения? Доказывая

<sup>1</sup> Стоило бы сейчас вспомнить статью А. Влока об иронии в декадентском искусстве.

свою мысль, Луначарский прибегает и к литературному сравнению: мало ли болезненного и ложного в Эдгаре По, но кто вычеркнет его из литературы?

Отбрасывая все пустое и ничтожное, Луначарский старался уловить и поддержать хотя бы частичные отражения жизни везде, где он видел в художнике талант и искреннее стремление найти правду, решая какую-то серьезную этическую и эстетическую задачу. Другими словами, хотя основная тенденция буржуазного искусства времен упадка — это тенденция к ирреализму, Луначарский судил и оценивал конкретные художественные произведения с точки зрения реализма. Иначе и не могло быть у критика, понимающего, что реализм не «одно из направлений» в искусстве, но самая душа его, условие художественности.

Такой подход к искусству труден, он требует чуткости и проницательности, запаса живых исторических знаний и исторического понимания современной жизни — и он требует ясности и твердости общественно-политических и эстетических взглядов, ибо иначе невозможно разобраться в пестроте и запутанности современных явлений. Модернистские теоретики часто утверждают, что нельзя сравнивать искусство различных эпох: ведь каждое принадлежит своему времени. Но это не более как софизм, потому что если нельзя сравнивать, то и не сравнивать невозможно. Хотя бы против своего намерения, сравнивают все. Вопрос лишь в том, насколько сравнение случайно или сознательно, есть ли в нем действительное содержание или это просто игра.

Пристальноеглядывание в сомнительные образцы опасно: ставя себе задачу отыскивать зачатки, элементы, способные к развитию, можно незаметно впасть в преувеличение их. Позднее, в советский период, часть нашей критики упрекала Луначарского в том, что он сторонник «левых». (Некоторые из этих критиков, чтобы подтвердить свои обвинения, не останавливались перед тем, чтобы использовать шуточную записку Ленина, переданную им самим Луначарскому во время заседания, хотя ясно, что Ленин был недоволен тем, что Луначарский как нарком просвещения недостаточно обуздывал стремление «левых» использовать государственно-административные и денежные ресурсы, а вовсе не тем, что Луначарский якобы сам, по своим взглядам, сочувствовал «футуристам».)

«Левые» же критики (из Пролеткульта, Лефа и пр.), наоборот, попрекали его «пассензмом», то есть были недовольны тем, что он отстаивает реалистическую традицию. Последнее, конечно, — одна из самых крупных заслуг Луначарского перед советской культурой: умножение государственных художественных собраний, сохранение памятников старины, пропаганда великих завоеваний культуры прошлого — все это было далеко не легким делом, когда приходилось выступать не только против художественной, но и политической «левизны», выдающей себя за революционность и грозящей серьезными бедами. Склонности же к модернизму у Луначарского читатель его работ, мы полагаем, не найдет. Нельзя же считать, скажем, защитой футуризма его мнение, что среди сумеречных, меланхолических салонных художников и «комфуты» кажутся более привлекательными своей бодростью; это сравнение скорее психологическое, чем эстетическое.

Повторим: метод конкретного анализа, не ограничиваемый классификацией общих признаков, но используемый для открытия иногда трудноразличимых жизненных элементов в относительных художественных достижениях, включает в себе опасность преувеличения относительных достоинств тех или иных произведений и снисходительного суждения об их недостатках. В статьях Луначарского можно найти спорные оценки, которые теперь следует рассматривать с исторической точки зрения: например, одно время Луначарский думал, что впоследствии может перерasti в реализм такая «школа», как синтетизм; отыскивая в современной живописи стремление к «философским поэмам», он закрывал глаза на очевидные слабости Беклина. (Такие ошибки преувеличения встречаются в истории критики нередко: даже Салтыков-Щедрин, обладавший верным и взыскательным вкусом, писал, что с романов Шпильгагена начинается новая эра в литературе.)

Однако метод в целом себя оправдал. Это особенно доказывает практика после-революционных лет: стало ясно, что только принципиальная, ориентирующая на реализм, не идущая на эклектические концессии с декадансом, но внимательная и терпеливая критика, поддерживающая все жизнеспособное и хотя бы частично интересное, может помочь объединению советских художников и облегчить развитие их

кусства в сторону повышения художественно-реалистического качества.

## 3

Мы, конечно, не ставим себе задачу всесторонне рассмотреть множество вопросов, поднятых Луначарским в течение тридцатилетней художественно-критической деятельности. Такая задача выполнима в монографии или в ряде статей, которые, мы надеемся, в сравнительно недолгом времени будут написаны, ибо интерес к изучению наследия Луначарского, несомненно, возрос, а помехи со стороны догматических противников одного из виднейших наших деятелей отпали. Следуя нашему намерению — подчеркнуть наиболее важные сейчас положения его критики, — мы остановимся на предложенном им принципе разделения живописи и скульптуры на два больших отдела.

Мы уже сказали, что Луначарский, как большинство русских марксистов, особенно выделял в эстетическом наследии взгляды ближайших предшественников марксизма в России — революционных демократов. Добролюбов писал о критерии, на основании которого можно судить о ценности произведения искусства: о достоинстве мы судим по широте взгляда автора, верности понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся. Условием же, необходимым для того, чтобы в художественном произведении могло проявиться это главное достоинство, Добролюбов считал воспроизведение реальных форм. Эта мысль Добролюбова в обеих своих частях была развита русскими критиками-марксистами. Верность картины, правдивость, знание жизни масс, способность автора широко охватить и понять движение действительности — это качества, без которых нет подлинного искусства, нужного народу. Это отношение к искусству разделял Ленин. Известно, что Ленин с большим сомнением и с нелюбовью относился к искусству, пренебрегающему естественностью форм, сходством с натурой.

Луначарский рассматривает на конкретных примерах отход от реальности, обозначаемый терминами «декоративность» и «деформация», которыми в большой мере характеризуются «левые» теории. Он отказывается признать в них принципы художест-

венности, обязательные для всей живописи.

Есть искусство декоративное по самому своему заданию, но оно не может считаться открытием последнего столетия, так как существует, вероятней всего, с того времени, как существует искусство вообще. Это искусство украшения быта, орнаментальное (или «промышленное», как часто говорит Луначарский в применении к XIX—XX векам). Его значение всегда было велико, а для социалистической культуры будет еще больше, потому что в обществе свободных людей, победивших нужду, можно будет гораздо полнее, чем в прошлом, удовлетворять потребность в красивом и радостном быте. Вопросу о судьбе декоративного искусства, о развитии художественной промышленности и об участии художников в производстве бытовых предметов, транспортных машин и т. д. Луначарский уделял много внимания.

По-другому понимается декоративность, когда речь идет о стенной живописи, о фреске, о сочетании живописи с архитектурой; здесь искусство не исчерпывается заботой о формальной (цветовой, пространственной) гармонии — в высоких образцах стенной живописи всегда был силен элемент содержательный, повествовательный, идейный. Эта область изобразительного искусства принадлежит уже по главной сути к самой важной его ветви — к искусству, по термину Луначарского, идеологическому, в котором непосредственное воздействие красоты линий, цвета, композиции является средством для наиболее полного и впечатляющего выражения идей.

Об этом искусстве по преимуществу и думают люди, когда говорят о живописи. Это искусство картины, «поэмы в красках». Слово «поэма» означает здесь у Луначарского значительное содержание, переданное в форме, будящей в зрителе потребность следовать от одной детали к другой, как этого хотел автор, — таким образом, чтобы общая мысль («сюжет», как иногда говорит Луначарский) картины выступила, несмотря на «статичность» изобразительного искусства, в развитии и в сложном взаимодействии частей. Луначарский говорил о великом пропагандистском значении такого искусства, понимая здесь под этим словом «пропаганду» в широком смысле — как воздействие на мировоззрение в целом, на весь эмоциональный строй и мыш-

ление человека. Создание реалистической картины Луначарский считал высшей целью художника-социалиста.

Едва ли не самым большим пороком модернистского, декадентского искусства в глазах Луначарского было смешение различных задач — декоративной и идеологической. Речь идет, конечно, не о декоративном элементе картины, который всегда был и будет важной стороной живописи, а о том предрассудке, что всякая картина может лишь тогда считаться «живописью», если она прежде всего декоративна. На практике — да и в теории — этот взгляд на живопись фактически привел к отступлению содержательности перед декоративностью. Дело дошло до того, что картина потеряла изобразительность; «левые» теоретики обычно противопоставляют ей «выразительность», которая означает у них лишь способность вызвать по ассоциации какое-нибудь настроение (состояние, а не движение чувства и не мысль), а то и просто заинтересовать своей броскостью или элегантностью. Картина перестает быть поэмой, она становится «вещью» (это слово особенно любили наши футуристы, кокетничая своей «производительностью»), предметом обстановки, красочным пятном на стене. Поборники модернистской «декоративности» не удовлетворяются существованием орнаментирующего искусства наряду с идеологическим, они свысока смотрят на реалистическую картину, отвергая ее за «литературность», «неживописность». Луначарский мастерски вскрывает не только безыдейность, но и формальную бедность этой эстетики.

Зритель, живущий серьезной жизнью, или художник, ставящий себе жизненные цели, общие с целями людей труда, не может удовлетвориться одной декоративной живописью, будь она «беспредметной» или «предметной»; если она и по-настоящему красива, то отвечает лишь одной, притом более примитивной потребности. Там же, где декоративность возводится в «философский принцип» и осуществляется заодно с внедрением рассудочных, вымышленных деформаций, почти всегда получаются гибриды и бессмысленные и уродливые; они могут быть интересны лишь как симптомы культурной болезни и примеры бессильных попыток больного искусства «заговорить» свою болезнь.

Луначарский находит в теоретических

основах кубизма усилие выработать среди хаоса буржуазного строя некий конструктивный принцип; как социально-идеологическая тенденция такое течение представляет известный интерес. Но кубистические положения противоречат не только реальности и цельности мышления о мире, но также программе самих кубистов — это не образ более глубоко понятой, упорядоченной действительности, не изображение пространственно-геометрических и цветовых закономерностей, а царство произвола, хаос расчлененных, упрощенных и перемешанных форм.

С интересом изучал Луначарский и теории пуристов, находя у этих «левых» критиков кубизма стремление обрести более объективную основу для искусства; недаром художники, объединенные в двадцатых годах вокруг журнала «Esprit pocheau» («Новый дух»), были в тесном содружестве с знаменитым архитектором-конструктивистом Корбюзье. Но и у этой группы французских живописцев не было значительной жизненной идеи, они замкнулись в цеховых интересах, отчего и зачатки чисто художественной мысли у них тотчас захирели, превратились в логизирование. «Цельность объективной формы», которой они искали, не привела их ни к чему, кроме бесконечного варьирования ничего не говорящих зрителю тем. Пуристы только и дали, что десятки натюрмортных этюдов, в которых центральное место занимает бутылка как воплощение совершенной, тысячелетиями отстоявшейся формы. Никакие изощрения в технических приемах не могут придать таким этюдам сколько-нибудь значительного интереса и с формальной стороны, ибо здесь нет мастерства, а есть лишь набор технических («левые» обычно говорят: «технологических») частных. Вместе с оскудением содержания оскудевает и форма.

Ни об одной разновидности «левизны» в искусстве Луначарский не пишет с такой резкостью, как об «абстракционизме».

Абстракционизм — не новость в искусстве, хотя модным он стал на Западе после второй мировой войны, а раньше имел лишь кучку адептов. Появился он еще до первой мировой войны, и, что нам мало льстит, родиной его была Россия. Интересно, что один из его главных зачинателей — Малевич — в советских условиях перенес свои искания в область производственного искус-

ства (под названием «супрематизма») и делал оригинальные, свежие и приятные фарфоровые сервизы. Глава же этой «школы», состоявшей из пятка художников, — Кандинский, быть может, превосходящий Малевича талантом, пока он оставался «абстракционистом» в современном понимании, продуцировал вместо картин причудливые и произвольные сочетания отвлеченных зрительных элементов, за которыми будто бы угадывается не передаваемая никакими средствами идея. Даже такой доброжелательный критик, как Луначарский, ничего, кроме симптома окончательного упадка, за такой «живописью» не признает<sup>1</sup>.

Нет большей ошибки, чем отождествление или хотя бы сближение абстракционизма с орнаментальным искусством. Орнамент использовал отвлеченно-геометрические фигуры и стилизованные формы живой природы, всегда комбинируя их так, чтобы в их чередовании и связи выражались реальные закономерности; в самой форме орнамента заключались уже непосредственно, чувственно воспринимаемые качества действительного мира и прежде всего какая-либо из бесчисленных ритмических комбинаций. Абстракционистам нет дела до чувственного, материального мира. Конечно, и они не могут совсем уйти от заимствования из действительности, но препарируют ее элементы так, чтобы они имели как можно меньше сходства с жизнью и воспринимались как некая независимая, произвольная («творческая») форма. Когда говорят, что работы абстракциониста, конечно, не выражают того, что приписывают им авторы в словесном объяснении, что, скажем, в них нет ни «моря», ни «вечности», ни «войны», но зато есть нечто приятное для глаза в орнаментально-ковровом смысле, — это ни в малой мере не аргумент в пользу абстракционизма, а просто указание на то, что среди художников, называющих себя его приверженцами, есть люди, обладающие орнаментальным вкусом, но не умеющие ценить свое призвание; они насилуют свои способности и, по недостатку подлинной художественной культуры, берутся за пустое дело.

<sup>1</sup> В годы первой мировой войны Кандинский стал одним из ярких представителей экспрессионизма. В первые годы после революции Малевич и другие «супрематисты» осуждали его за стремление к психологически содержательному искусству.

Не только абстракционистам, но всем художникам, не имеющим склонности или данных к тому, чтобы создать картину, Луначарский рекомендовал пойти в художественную промышленность, на производство, с пользой для общества и для них самих и оставить нелепые потуги на создание какого-то «абсолютно нового» искусства, будто бы отменяющего реализм — изображение жизненной правды в жизненно-правдивых формах.

Не защищает ли этим Луначарский «фотографическую точность» в искусстве?

Называя создание картины делом художника-идеолога, Луначарский тем самым отделяет от реалистической живописи рабское копирование, которое принято называть «натурализмом» по сходству с «протокольным», «объективным» натуралистическим методом в литературе, провозглашенным Золя и его школой. Правда, это несколько одностороннее сравнение, потому что была ведь также у Золя связь с натурализмом в его субъективистско-импрессионистической разновидности — со второй стороны того искусства, которое возникло в результате распада великого реализма, где «объективное» и «субъективное» являлись в единстве. Но импрессионизм мало кто из критиков причисляет, как это правильно делает Луначарский, к разновидностям натурализма, и наименование это закрепилось за тем направлением, которое Шедрин, имея в виду Золя и Гонкуров, характеризовал так: «Вижу забор — говорю: забор; вижу поясницу — говорю: поясница. И никто их «не может ни обуздать, ни усосветить». Этому натуралистическому направлению («не без наглости поднято знамя реализма») Шедрин противопоставлял реализм, который мы в России знаем «едва ли не раньше, нежели во Франции», имеющий предметом «всего человека, со всем разнообразием его определений» (см. «За рубежом», гл. IV).

Луначарский пишет, что если бывает трудно, иногда и невозможно отличить «изысканно кувыркаящийся талант» от «наглой бездарности» в самых безудержных проявлениях «левизны», то и среди натуралистически-объективистских полотен много таких, где не различишь, есть ли у автора талант, придушенный некультурностью, безмыслием, или это просто бездарно. Что касается «добросовестного мастерства», то и оно оказывается недостижимым на чисто школьной основе. Сколько ни рисуй «гип-

сов». сколько ни пиши натурщиков — при отсутствии идеи, то есть живого мышления о действительности, нельзя полагаться не только до мастерства (то есть высшей артистичности), но даже овладеть достаточно непринужденным, гибким настоящим ремеслом. Луначарский сочувственно цитирует слова одного из знаменитейших французских академиков, утверждавшего, что среди его собратьев нет ни одного, кто мог бы грамотно нарисовать нагое человеческое тело.

Познание мира — процесс активный, творческий в любом виде деятельности и, конечно, в искусстве. Нетворческая, безыдейная «натуралистическая» живопись — вообще не искусство и не может выдержать сравнения с хорошей фотографией. Отказ от «левых деформаций» еще не спасает от прегрешения против жизненной правды.

Намеренной «деформацией» пользуется и реалистическое изобразительное искусство — главным образом искусство сатирическое, карикатура. Ясно, однако, что, во-первых, и в этой области художник не столько интересуется остроумной игрой форм, сколько выявляет дисгармонию самой природы, не порывая с ее действительными качествами; во-вторых, карикатура — очень важная, но специальная область, из которой живопись другого рода может заимствовать гораздо меньше, чем, например, не сатирическая литература из сатирической, потому что живопись не имеет описательных возможностей, которые неограниченно велики в литературе.

Декаденты наших дней не прочь выискать себе предков среди великих художников прошлого. Быть может, больше всего они ссылаются на Греко как на «деформатора», не доведшего, однако, в отличие от них, его преемников и продолжателей. свои «приемы» до логического конца. Однако в этом «недоведении» и заключается принципиальное различие между реализмом — использованием лишь тех средств художественного подчеркивания, которые выявляют характер предмета, — и нарочитым искажением природы, нужным, чтобы художник мог выявить оригинальность своих «технических приемов» (а не индивидуальность самого изображаемого явления и порожденную им художественную мысль).

Трудно себе представить дальше абстракционизма заходящее религиозное поклонение «принципу деформации». Впрочем, мо-

жет быть, модернизм найдет еще какой-нибудь трюк, если буржуазный мир просуществовал достаточно долго. Сейчас, например, уже появилась «абсолютно новая» догадка, что искусство должно в себя принять новейшие достижения физики, химии, математики, новые представления о материи и энергии, о космосе. Гонящихся за модой «эстетов» не смущает, что это, скажем, так же нелепо и невозможно, как, например, попытка применить в живописи давно открытые части спектра — ультрафиолетовую и инфракрасную, которые не воспринимаются глазом, а распознаются приборами; что это такая же дичь, как попытка ввести в музыку не воспринимаемые слухом звуки.

Всякие затеи этого рода — разновидности позитивистско-дилетантского невежества наподобие футуристического «машиномолайства», высмеиваемого Луначарским. Ни один ученый (если он серьезно думал об искусстве и сам не слишком падал до моды) не может поддерживать таких увлечений; недаром Гейзенберг настаивает на том, что попытки построить модель, изображающую движение ядерных частиц, приведет к неизбежной вульгаризации, мешающей постигнуть тот вид материи и те процессы, которые лежат за пределами непосредственного восприятия и могут мыслиться лишь математически.

Изобретение паровоза дало искусству «Железную дорогу» Некрасова, встречу Анны Карениной с Вронским и ее смерть на железной дороге, «Всюду жизнь» Ярошенко, «Злоумышленника» Чехова, «Под насыпью, во рву некошеном...» А. Блока, пейзажи с уходящими вдаль рельсами, вагонами, семафорами, но не картину движения молекул пара, не поэму о процессе превращения тепловой энергии в механическую и т. д. Радиотехника, ракетная техника, полеты в космос, исследование невесомости могут дать живописи картины подготовки полета, портреты ученых и космонавтов, возможно — кое-что из «экзотики космического пейзажа». Но пресловутое «соединение искусства с наукой», пророчества, что новые теоретические представления о массе, времени, энергии изменят суть живописного мышления, — это очередной блеф вроде «интеллектуализма», «анализма», «динамизма» и прочих псевдонаучных суррогатов, которые известны уже давно (вспомним пролеткультовских поэтов-«космистов») и добра не

принесли. (Заметим, между прочим, странную подмену, к которой прибегают проповедники «нового космического искусства». У них получается, будто люди живут, чтобы завоевывать космос, а не для того они проникают в космос, чтобы улучшить жизнь на земле.)

Борьбу Луначарского против прожектеров-«обновителей» не следует забывать. То, что он делал тридцать лет назад, актуально и сейчас.

## 4

Для художника никогда не зазорно выражать дух своего времени, писал Луначарский и добавлял: если это действительно дух его времени.

Все «новейшие школы» вместе с рутинерски-эпигонским натурализмом — это мертвечина, вчерашний день. Но это искусство продолжает существовать, и с его существованием и влиянием приходится считаться и нам, вырабатывая свою культуру.

Какой путь видел Луначарский к великому повороту в искусстве?

Общие и необходимые условия — новая, социалистическая государственность и общечеловечность, подъем экономики, повышение грамотности и образовательного уровня, политическое просвещение не только художников, но всего народа. Но на этой основе должна проводиться еще и «художественная политика». Она никоим образом не может выливаться в предписание обязательных «рецептов».

Луначарский был здесь верен принципам классиков марксизма и традициям большевистской политики в области культуры. Недавнее совещание руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства еще раз со всей убедительностью подтверждает, что руководство огромным и сложным коллективным делом искусства должно заключаться главным образом в критике, проводящей марксистские, коммунистические взгляды.

Негативные задачи «художественной политики» вытекают из того, что социалистическое общество начинает строить свою культуру не на чистом месте. Сожалеть об этом было бы смешно: если бы общество не было доведено капитализмом до такого состояния, когда революция необходима, ее и не могло бы быть, — еще никогда ни один большой переворот, требующий от масс ге-

роизма и жертв, не совершался в силу одних лишь теоретических убеждений. О необходимости свержения капитализма свидетельствуют не только социально-экономические факторы, угнетение масс, войны; состояние культуры, в том числе искусства, показывает, что выйти из тупика без коренного переустройства всего общества нельзя. Но Луначарский знал, что период «очищения от старой скверны» будет долгим, что работа будет трудна.

Положительная работа включает в себя прежде всего привлечение художников к участию в строительстве общественной культуры. Здесь деятельность Луначарского была чрезвычайно многообразной: от руководства организацией самих художников и обеспечения им регулярных профессиональных занятий, сносных материальных условий — до привлечения художников в устройство тематических выставок и распределения между ними государственных заказов (что также включает их в широкие общественные интересы). Но это хотя и важная, но все же одна сторона дела. В критических статьях Луначарский после 1917 года еще больше, чем до революции, обращался к «потребителю искусства», полагаясь, по отношению к художникам, не столько на убедительность для них эстетических суждений литераторов-специалистов, сколько на то, что, когда вокруг искусства образуется новая, подлинно демократическая среда, ждущая ответа на свои запросы, художникам легче будет постичь во многом еще не понятную «душу времени». Он учил массы любить и понимать искусство, уважать труд художника. Луначарский считал для себя самого наиболее полезной роль посредника, способствующего устранению разрыва между народом и культурой — достижения общей цели коммунистического культурного строительства.

Большая роль, по его мнению, принадлежит в этом деле пропаганде великих образцов, развитию вкуса, умения отличать подлинные ценности от мнимых. Луначарский считал такую работу невыполнимой путем «навязчивой педагогики» или «цензуры» над массами, «установления над ними ферулы», навязывания массам мнений, принятых тем или иным кругом художников или «чиновниками от искусства». Ничто не было так чуждо Луначарскому, как недоверие к народу, обращение со взрослыми людьми как с неразумными детьми. Конечно, он —

комиссар по просвещению и пропагандист — знал культурную малоопытность масс. Но он был убежден, что без собственного опыта, по указке и под докучной опекой, самостоятельность взглядов вырабатывается труднее всего. Процесс повышения художественной культуры в обществе не может быть, конечно, лишь стихийным, не может идти без помощи и руководства: дело, однако, в характере и способах руководства.

Постоянно помня об идеологическом значении искусства, Луначарский решительно противился вулгаризаторскому «подведению социальной базы» под любое произведение. «Так можно ставить задачу, когда речь идет о целых эпохах, о целых больших сменах в искусстве; когда же говорится об отдельных направлениях в собственном смысле этого слова, которых бывает по дюжине одновременно, которые иногда живут даже не по несколько лет, а только по несколько месяцев, то было бы смешно искать за такими поверхностными изменениями таких глубинных причин» («Искусство и его новейшие формы»).

Мало того, характеризуя импрессионизм в целом как течение, характерное для начавшегося после разгрома Парижской коммуны периода упадка буржуазной культуры, Луначарский отмечает: «Лучшие художники-импрессионисты... не были представители господствующей буржуазии. Большинство из них терпеть ее не могло: они ненавидели и презирали ее вкусы и обслуживавших ее художников. Их талант, их манеры определялись, когда они жили по мансардам, спорили, как сумасшедшие, в грязных рестораниках и кафе, мечтали и работали, как черти, и ничего не продавали. Многие погибли. Иных слава спасала после смерти». В статье, посвященной Ренуару, он пишет даже: «Нет, он не буржуазный художник. Но он и не революционер».

Это стремление противопоставить Ренуара как «живописца счастья» преобладающим в современном буржуазном искусстве настроениям не содержит в себе апологии импрессионистских живописных принципов. Но приводимые здесь суждения Луначарского ха-

рактерны для его собственного художественно-критического принципа: никогда не довольствуясь общей классификацией, он рассматривает и оценивает каждого художника и даже каждую его работу по их индивидуальным качествам. Поэтому, оставаясь на почве своих общих определений, он анализирует иногда очень сложное и противоречивое скрещение различных социально-культурных тенденций, которые в данном художественном явлении отразились.

Луначарский считал, что массовому зрителю должны быть доступны все значительные или интересные своей характерностью произведения, в том числе и далекие нам; лишь политически враждебная агитация средствами искусства или порнография должны подвергаться запрету. В нашей стране Коммунистическая партия и государственная власть, писал Луначарский, имеют достаточно средств, чтобы благоприятствовать наиболее близкому искусству, не исключая все другое административным способом, а партийная марксистская критика способна разъяснить преимущества передовых художественных явлений.

Основой этого подхода Луначарского к художественному воспитанию была непоколебимая вера в то, что «ветер истории дует в паруса коммунизма» и что освободенный социалистической революцией народ, как только он получит возможность использовать преимущества, открываемые бесклассовым обществом, исполнит свою историческую культурную миссию.

Постоянная память о том, что искусство принадлежит народу, возвышала Луначарского над большинством его современников-критиков из «правого» и из «левого» художественного лагеря, слишком узко, с «направленческой» точки зрения смотревших на то, что по сути является общенародным делом.

В этом состоит одна из больших заслуг Луначарского как художественного критика и деятеля, особенно понятная теперь, когда партия стремится развить в массах наибольшую инициативу и самостоятельность.



---

---

### 3. ПАПЕРНЫЙ



## РОМАНТИКА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

*(К 60-летию со дня рождения М. А. Светлова)*

**К**оммунистическая аудитория. Студенты Московского университета собрались на вечер Михаила Светлова.

Он шел по сцене к столику так, как шел бы у себя дома — взять папиросы или выключить чайник. На своем творческом вечере он выглядел буднично, был самым собой — ежедневным Светловым.

Сел за стол, надел очки — старенькая оправка, не модная, не массивная, — посмотрел на высокую, круто поднимающуюся аудиторию и сказал:

— Ну, так я буду читать стихи. А что мне еще остается делать?

Все рассмеялись и почувствовали себя свободно.

Он читал стихи просто, не так, как читают себя некоторые поэты: без авторского «напева», голосового курсива, без нагнетения. Как будто даже и не он это написал, а кто-то другой, попросивший его прочитать вместо себя.

Буднично начался этот вечер. Но вот зазвучали стихи о Гренаде, о рабфаковке, о «двух ангелах на двух велосипедах» — о любви и молодости. И казалось, сама поэзия тихо вошла в аудиторию.

У Светлова редкая способность чувствовать себя в поэзии как дома. Он и в литературу вошел просто — как будто зашел, забежал на минутку и остался на долгие, долгие годы.

Имя Светлова — одно из самых любимых и бесспорных имен нашей поэзии.

Недавно, накануне совещания молодых, Светлов писал «собратьям-поэтам»: «Самое главное в искусстве, в любом его виде — это судьба человека. Беда многих молодых поэтов в том, что они об этом забывают и во что бы то ни стало хотят быть интересными. И тогда получается так, что они, убегая от банальности, банальны в своем оригинальничании».

Есть поэты, у которых главные силы уходят на то, чтобы все было «не как у людей». И уже почти не остается сил, чтобы быть собою.

Банальность бросается на тех, кто от нее бежит.

У Светлова в этом смысле удивительное самообладание. Мне кажется, что, встретившись с банальностью, он не теряется, не уступает ей дороги, а подходит вплотную и, прищурившись, спрашивает: «Ну, как дела, старуха?» Спокойно шагает дальше, идет и по дорожкам, где она раньше ступала. Ее следы уже не видны. Остались только поэтические следы его, Михаила Светлова.

В литературе у него — свое место. Талантливый поэт всегда сидит на своем стуле, а не на чужом и не между двух стульев. Вот почему в настоящей поэзии не бывает толкотни и давки.

В нынешнем году Светлов отмечает свое «столетие»: шестьдесят лет жизни и сорок лет творчества.

Первый сборник «Рельсы» он издал двадцатилетним комсомольцем на родной Украине, в Харькове.

Первые сборники его стихов — «Рельсы» (1923), «Стихи» (1924), «Корни» (1925) — интересны теперь скорее для историка литературы. Светлов для читателей — вчерашних, сегодняшних, завтрашних — начинается со стихотворений «Двое» (1924), «Гренада» (1926), «В разведке» (1927).

«Двое» — своего рода поэтическая увертюра к книге героической лирики Светлова. Это рассказ о двух пулеметчиках. Он открывается описанием их гибели, то есть с того момента, когда повествование как будто должно уже завершиться.

Для Светлова это не конец. Стихотворение кончается «жутким», прорывающимся сквозь смерть счастьем; двое засыпаны снегом, их руки обледнели, а холодно стало их врагу.

Перед нами возникает образ безымянных, но не безликих героев, страшных для врага и после гибели. Это не эпитафия. Но и не ода. Поэт славит своих героев, внешне никак их не прославляя, не награждая высокими, хвалебными эпитетами. Мы не найдем здесь риторической восклицательности. Да и вообще не встретим ни одного восклицательного знака. Сила здесь — в сдержанности. Речь поэта звучит негромко, даже чуть глухо, отрывисто.

Героинка соединилась с простотой и скромностью средств выражения.

В «Гренаде» совсем иной строй и напев. Это не суровый рассказ, а песня, которая, кажется, звучит в лад с ритмически покачивающимися седлами всадников. Но ведь и тут тесно переплелись песенность, крылатость — с будничностью, породнились песни о далекой Гренаде и простое «Яблочко», «красивое имя, высокая честь» и молоденький украинский «братишка».

Что может быть проще, спокойней, неприязнательней:

Мы ехали шагом...

Но сразу, начинаясь с того же слова, набегают вторая строка:

Мы мчались в боях...

Строки подхватывают друг друга, их невозможно разорвать. Это уже и не стихи, и не просто песня, но особая песенная поэзия — раздольная и стремительная. Она не положена на музыку — музыка в ней самой.

Светлов как-то сказал: «Любить родину — не твоя идея. А вот как ее любить, ты должен сообщить людям. Ты должен не повторять патриотизм, а продолжать его».

Любовь к родине, мысль о революционном братстве людей разных стран — все это в «Гренаде» не просто повторено, а поэтически продолжено. Готовность погибнуть за «родные края» и за «дальнюю землю» стала для поэта своей, личной идеей, как будто заново рожденной; стала образом хлопчика с его «испанской грустью», стала напевом, стихом-мелодией, поэтическим рассказом о песне, оборванной пулей и продолжающей звучать: «Гренада, Гренада, Гренада моя!»

Мы часто слишком резко, бестрепетно исследовательской рукой режем творческий путь писателя на отрезки.

Вот ранний Чехов, юморист, до такого-то года. А это — мрачный. До такого-то года. Это Чехов предреволюционных предчувствий.

Или — это вот ранний Маяковский. К последующему отношения не имеет. И т. д.

Но творческий путь — не просто смена отрезков, не просто отказ от того-то и того-то. Писатель не вовсе отбрасывает пройденное, поэтическое развитие больше походит на некое «наслаивание», образование новых колец у растущего дерева.

И зрелый Чехов не расстанется с юмором вовсе. И ранний Маяковский подготавливает свою будущую «Оду революции».

Обо всем этом вспоминаешь потому, что и в статьях о Светлове много писалось о том, куда поэт шел после «Гренады», и недостаточно учитывалось, как сама «Гренада» осталась в нем, как она помогала ему в последующие годы связывать воедино высокое и будничное, романтическое и земное.

Он медлит с ответом,  
Мечтатель-хохол:  
— Братишка! Гренаду  
Я в книге нашел...

Светловская романтика — не то, что найдено «в книге», это — книжное, но переведенное на язык жизни и повседневности. Не просто «мечтатель», но — «мечтатель-хохол». Не просто «Гренада», но — «Гренадская волость».

Для одного романтика — это паруса, полные ветром, первые капли шторма, гребни волн, капитанская трубка, трепещущие ленточки бескозырок.

У Светлова тоже есть стихи о море, и там тоже прибой и «мокрый ветер». Но все-таки его романтика сухопутная: она любит небо, но прописана на земле и предпочитает точные адреса. Она возвышена, но то и дело снижается и приземляется. Когда она растрогана до слез — не плачет, а улыбается. Она родилась не на небесах и не совсем на земле, а «там, где небо встретилось с землей», на неуловимой линии поэтического горизонта, где соединились мечта и будни, лирика и улыбка, высокое и земное.

Светлов не просто «склонен к романтике» — он ее выстрадал. Не так-то легко и просто было после «грамматики боя» постигать язык «государственных будней», переходить от «Двоих» к покорным листам «завоеванного зачета», к серенькому платью рабфаковки; идти не в разведку, а настороженно следить за потным нэпманом в ресторане, где «в пещере незримо живет молчаливая тварь Антрекот».

В 1927 году вышел сборник стихов Михаила Светлова «Ночные встречи». Это грустная книга. «Ночные встречи» — свиданья и тихие разговоры с тенью прошлого. Поэт вспоминает недавно погибших Сергея Есенина и молодого поэта Николая Кузнецова; встречается с тенью бывшего взводного, который говорит ему:

Ты все еще носишь в своих глазах  
Вспышки прошлых дней,  
Когда в крадущихся степях  
Шел под командой моей...

К нему приходит в гости Генрих Гейне, «умерший романтик». Пожалуй, самая печальная встреча — с «призраком»: он явился к поэту, «по убеждениям материалисту и комсомольцу к тому же». Это гонимое существо — оно вышло из загробного мира с традиционной косою и покрывалом. Косу у него отобрали «и отослали в деревню», а вместо покрывала выдали френч, потертые брюки и пенсне. Напрасно ломится бедный мертвец в студенческое общежитие — все боится иметь дело с привидениями. Да и сам поэт не очень-то рад этой встрече. Он тоже боится за свою репутацию:

Знакомство вести с мертвецами — давно  
Для нас подозрительный признак,  
Поэтам теперешним запрещено  
Иметь хоть малюсенький призрак.

Небо и земля как будто расходились в некоторых стихах этой книги.

Стихотворение, символически озаглавленное «Похороны русалки», полное грустного юмора, заканчивалось словами:

Светлая русалка  
Давно погребена,

По морю дельфин  
Влуждает сиротливо...  
И море бушует,  
И хочет волна  
Доплеснуть  
До прибрежного  
Кооператива.

Доплеснуть до кооператива — вместо лермонтовского «до луны»...

Может показаться, что самое характерное в светловской манере — неожиданное соединение поэтической «волны» и прозаического «кооператива», ирония снижения высоких понятий. Это и так и не так. Не один он перебивает поэзию прозой. Вспомним стихи М. Исаковского тех лет — конца двадцатых годов: «Ой, понравилась ты мне целиком и полностью» или «Говорили меж собой речи популярные». Суть не в самом приеме, а в той окраске, какую он обретает у этого поэта, в интонации, присущей только ему, Светлову, — доброй, с веселой и чуть печальной усмешкой, с иронией, чаще всего направленной на самого себя.

Светлов — скромный поэт, начисто свободный от претензии, стремления вызывать восторг: «Смотрите, вот я какой!» — от явной или тайной лирической само-рекламы.

И его стихи о любви обращены к любимой женщине, а не к самому себе; нет в них душевной пресыщенности, самодовольства, демонстрации своих достоинств и утомленности лобзаниями.

Поэтическая биография Светлова — история роста и мужания романтики, которая освобождалась от юношеской наивности, не становясь от этого уныло-трезвой, училась видеть грозное и необыкновенное в мирных буднях.

Песенное начало по-прежнему живет в его стихе, и это, конечно, не только особенность жанра.

Есть у Светлова стихотворение «Утро», оно написано тридцать лет назад — в 1933 году. В нем рассказывается о рождении песни:

Облако плавает  
Без толку, зря...  
Это еще не песня.

Все в природе цветет, летают стрекозы — но это еще не песня.

Но трубы затрубят  
Издалика —  
Мы входим в колонну,  
Как в песню строка.  
Но там, где товарищ  
Товарища ждет,  
Но там, где мы вместе, —  
Там песня живет.

Так одолевал поэт тоску о романтике былых боев. Песня для него — не только излияние. Это созвучие сердец. Поэзия — строй слов, объединенных пафосом и ритмом. Она в представлении Светлова похожа на колонну бойцов.

Прочитайте вслух это стихотворение — слова, сначала неслаженные и разоб-щенные, собираются в стихи и создают

Песню,  
Помноженную на огонь  
И разделенную  
На эскадры!

А потом Светлов написал «Песню о Каховке». Это не только воспоминание об «этапах большого пути». Песня полна мужества, готовности встретить новую грозу:

Мы мирные люди, но наш бронепоезд  
Стоит на запасном пути!

Такая, казалось бы, простая песня: ну что там в самом деле особенного? «Ровно строчил пулемет», «юность боевая», «ее голубые глаза». Почти романс! А «Каховка» стала родной песней народа, ее пели и в предвоенные дни, и на фронте. И сейчас, когда слышится эта песня, тревожно становится на душе.

Потом стихи Светлова об Испании, не о далекой Гренаде, а о живой, близкой, борющейся с франкистами, военная «Песня о фонариках», стихотворение «Итальянец», написанное двадцать лет назад, в 1943 году.

У Светлова были свои спады и долгие поэтические «простои». Однако со второй половины пятидесятых годов в «Литературной газете», в «Новом мире», «Октябре» стали появляться новые стихи Светлова. Мы узнавали знакомый голос, облик поэта и чувствовали, что это он, но не совсем прежний, а какой-то иной.

Стихотворение «Моя поэзия» (напечатано в «Литературной газете» 26 декабря 1957 года) — по-своему программное стихотворение Светлова зрелых, сегодняшних лет:

Нет! Жизнь моя не стала ржавой,  
Не оскудело бытие...  
Поэзия — моя держава,  
Я вечный подданный ее.

Стихотворение начинается громко, даже почти торжественно — но, может быть, в этом «почти» все дело. Светлов редко впадает в велеречивость.

О, сколько мной уже забыто,  
Пока я шел издалека!  
Уже на юности прибита  
Мемориальная доска.

Сотни поэтов вспоминали об ушедшей юности, но этот светловский образ не спутаешь ни с каким другим. Он вызывает в воображении юность — оставшийся в начале пути домик, в котором уже не живут и только надпись сообщает, что здесь в такие-то годы «жил и работал» поэт. Уж на что, казалось бы, сухое, непозитичное слово — «мемориальный». Но здесь, в строфе о далеком домике юности, это иностранное музейное слово прозвучало живо, естественно, и грустно, и весело, и ритмически выразительно.

Поэт рассказывает, как он принял «подданство» Поэзии, как начал служить ей, «жить и работать» для нее.

Мы помним стихи Маяковского:

Эта тема ко мне заявила гневная,  
приказала:  
— Подать  
  дней удила!  
Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное  
и грозой раскидала людей и дела.

Светлов говорит как будто о том же, но по-другому, в своей интонации:

Отдался я судьбе на милость,  
Накапливал свои дела,  
Но вот Поэзия явилась,  
Меня за шиворот взяла.

Взяла и выбросила в гущу  
Людей, что вечно мне сродни:  
— Ты объясни, что — день грядущий,  
Что — день прошедший, — объясни!

Ни от кого не обособясь,  
Себя друзьями окружай.  
Садись, мой миленький, в автобус  
И с населением поезжай.

Сказка летала на ковче-самолете, поэзия неслась на Пегасе, на грузинском коне Мерани, плыла в волшебной пироге Гайяваты... У Светлова она трясется в автобусе вместе с населением. Она говорит поэту:

Ты с ним живи и с ним работай,  
И подними в грядущий год  
Людей взаимные заботы  
До поэтических высот.

Здесь все — истинно светловское. И то, что большое, громкое «народ» заменено повседневно-бытовым «населенье»; и что «высоты» рифмуются с простыми «заботами»; и что заботы эти не узколичные, меркантильные, а «взаимные».

И станет все тебе понятно,  
И ты научишься смотреть,  
И, если есть на солнце пятна,  
Ты попытайся их стереть.

Пятна на огнедышащем светиле неожиданно обернулись обыкновенными пятнами, грязью, пылью, которые надо стирать тряпкой и щеткой.

Свое шестидесятилетие Светлов встречает в расцвете романтики: она немолода, но на ее поэтическом лице нет морщин. Она верит в грядущее, но знает, что почем. Сестра «высоких костров», она помнит о простой, обыкновенной спичке, от которой рождается любое пламя.

В одном из недавних стихотворений — «Признание» — Светлов обращается к любимому человеку:

Мне много жить и пережить пришлось,  
Не я тебе заносчиво и молодо,  
Как связку хвороста, мечты свои принес —  
Зажги костер, погрейся, очень холодно...

Это уже не тот Светлов, что пел свою «Гренаду». Тот был более балладным, песенным. Теперешний тяготеет к тихой, доверительной беседе. Но не будем и здесь слишком уверенно делить путь на этапы и отрезки. Что роднит далекую «Гренаду» с сегодняшним «Признанием»? Очевидно, все то же главное, характерное, светловское: линия пересечения мечты и прозы, неба и земли. Там — «мечтатель-хохол», здесь — мечты, которые приносят, как «связку хвороста».

В романтике Светлова ничего бенгальского — у его костра можно согреться и набраться новых сил.

Когда поэт работает, он выхаживает каждую строку, пробуёт слово на слух, ходит, помахивает в такт рукой, как будто дирижируя невидимым оркестром.

Одно из недавних стихотворений Светлова отрывается строфой:

Я за счастьем все время в погоне,  
За дорогой дорога подряд.  
Телевиденья быстрые кони  
Бубенцами в эфире звенят...

Быстрые кони телевиденья... Бубенцы и — эфир. Смело, неожиданно перемешаны старинные, вековые образы и приметы нашего дня. И как все сплывилось: ни малейшего разнобоя, единый, целостный — при всей разноречивости — по-светловски «возвышенно-сниженный» образ.

Поэт говорит о голосах умерших, продолжающих жить во вселенной:

И быть может, на всех небосклонах  
Повторяются снова сейчас  
Несмолкающий голос влюбленных  
И густой Маяковского бас...

...С детства не был силен я в науке.  
Не вступая с учеными в спор,  
Я простер постаревшие руки  
В нестареющий синий простор.

Мне близки эти дальние звезды,  
Как вот этот заснеженный лес...  
Я живу, потому что я создан  
Для людей, для земли, для небес.

Это не «ночные встречи», не печальные видения, а дневные, дышащие жизнью и молодой силой образы. Недаром пройдены сотни поэтических верст. В стихах Михаила Светлова навсегда слились «дальние звезды» и — родная земля.

Хочется пожелать успехов его поэзии — его «державе». Пусть она растет и расширяет свои лирические владения.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**И. Соловьева.** Федосеев и Иван Федосеевич.— **Л. Лазарев.** Глазами солдата.— **И. Виноградов.** Право на Доверие.— **Арсений Тарковский.** Печать современности.— **И. Левидова.** Аттикус Финч и его дети.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Павел Подляшук.** Нами зажжено! — **Е. Примаков,** кандидат экономических наук. Помощь друга.— **Лев Разгон.** Популярное — значит народные... — **Л. Зак,** кандидат исторических наук. Единство и многообразие.

## Литература и искусство

### ФЕДОСЕЕВ И ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ

**Е. Дорош.** Мой друг Федосеев. «Дружба народов», № 1, 1963.

Писатель поместил в январском номере «Дружбы народов» за нынешний год очерк «Мой друг Федосеев», впервые с анкетной точностью назвав имя, отчество, место жительства человека, которого до того сделал героем своего «Деревенского дневника». Можно строить разные предположения, зачем это понадобилось Ефиму Дорошу. Можно думать, что здесь действовали побуждения какой-то нравственной задолженности перед реальным человеком, желание наконец возместить Ивану Александровичу Федосееву, живущему в Белогостицах под Ростовом Великим, то, что было взято от него, с него списано и отдано лицу вымышленному — Ивану Федосеевичу, одному из положительных героев, утвержденных литературой пятидесятых годов.

Естественно предположить и дополнительные мотивы: желание автора поставить фотографию рядом с портретом, сличить подлинность с ее литературным переосмыслением. Сделать ясным характер своих литературных отношений с действительностью.

Иван Федосеевич — одно из интереснейших лиц «Деревенского дневника». Кроме того, Дорош написал о нем еще и рассказ, который так и называется: «Иван Федосеевич». Опубликован он был влогонку «Дневнику», но написан, судя по представленной автором дате, либо раньше, либо одновременно с первыми райгородскими тетрадами. А очерк «Мой друг Федосеев» вышел в начале нынешнего года, когда «Деревенский дневник» близок к завершению. Могут быть еще очень сильные главы, но все-таки близость завершения ясна. Жаль, слово «закругляться» у нас стало употребляться в ироническом смысле, а в начальном своем значении оно бы тут очень подошло. Ведь округлить — значит сомкнуть итог разговора с его отправной точкой. В «Деревенском дневнике» эту крутлоту законченности уже угадываешь.

Стало быть, рассказ «Иван Федосеевич» и очерк «Мой друг Федосеев» стоят как бы у начала и у конца одной из самых значительных литературных работ последних лет.

В своеобразной симметрии появления этих произведений есть кое-что любопытное.

Меньше всего тут следует думать, так сказать, о литературной хозяйственности Ефима Дороша, об использовании им «отходов» основной работы. Не предположишь также, что Ефим Дорош увлекся экспериментальным сравнением возможностей рассказа и очерка, построенных на одном и том же предмете. Такие литературные упражнения не по нем. Но не будем гадать. Положим рядом эти рассказ и очерк, отделенные друг от друга не только жанровой чертой, но и десятью годами жизни писателя.

На подзаголовок «рассказ» к «Ивану Федосеевичу» обращаешь внимание, пожалуй, только сейчас, при повторном и профессиональном чтении. Раньше вещь в нашем сознании как-то ничем не была «отбита» от «Деревенского дневника», была отмечена прежде всего желанием точней фиксировать материал. Так оно, собственно, и обстояло. Только в своем контакте с действительностью писатель еще искал привычных приемов, да и читателям с этими приемами было удобней.

Рассказ начинается с описания чайной в Райгороде, где в базарный день многолюдно и шумновато. Слушаем разговоры.

Говорят о существенном. Реплики слышаны отлично. Но вся вступительная часть (Дорош очень хотел не забывать об этом) интродукционная, служебная. Не главная, но предвещающая главное.

В «Деревенском дневнике» возникнет иная логика соединения, когда малый эпизод вовсе не служит «большому» соседнему, но хранит свою самостоятельную значимость, строится «кругло», чему бы ни был посвящен: описанию пейзажа, поля, шоссе, прогулке с реставратором райгородского кремля или совещанию в райкоме, обсуждению хозяйственной проблематики колхоза в Ужболе или в Вёксе, впечатлению от случайной встречи или итогам многолетнего знакомства. Эти «круглые» дорошевские дневниковые записи соприкасаются с соседними обычно лишь одной какой-то точкой, другой раз вовсе без видимой обязательности соседства именно такого, а не иного. К концу же работы прояснилась обшая композиция книги, если можно так сказать, композиция подшипника, удивительно рациональная для решения авторской зада-

чи — для передачи движения катящейся жизни.

В рассказе «Иван Федосеевич» автор такой манере еще не очень доверяется. Начальный эпизод в буфете он вводит как экспозицию: до появления героя говорят о герое, спорят о нем, сопоставляют с другими.

Старушка словоохотливо рассказывает о председателе-«виножоре». Тот легок на помине: непокорными, пьяными пальцами долго пробует раскрыть картонный переплет меню, ест селянку, с видом знагока допытываясь у официанта, откуда получены маслины. Старушка понижает голос до шепота: «Ревизия ему была.. Как же! Открывает ревизия сгораемый шкаф, а там, не совраť, одни бумажки. И всё фальшь. Селедку, пишет, покупали для борова — десять рублей, пол-литра для хворой коровы — двадцать три...» Собеседница перечисляет, кого только ни сватали в их захудалое хозяйство руководителем: «Сватали нам и агронома... Такое оно молоденькое, такое деликатное... Где уж ему с нами!» Реплики отличные, но их колоритность все же намеренная — автор словно сомневается еще в праве вводить «побочные» рассуждения и оправдывает их ввод, раскрашивая речь и подчеркивая ее в какой-то мере служебное назначение.

Только после всех этих толков, после язвительных пояснений официанта насчет маслин «из Кинешмы», после того, как «виножор» с упрямством тычется в стены, стараясь угадать, где тут была дверь, — только после всего этого упоминается имя героя, со вздохом названное кем-то из беседующих женщин в ответ на упрек, что у них в колхозе не удерживаются председатели: «Был бы у нас Иван Федосев, небось не меняли бы»...

Иван Федосеевич в рассказе был прежде всего фигурой-противопоставлением. Не так еще ясно, каков он сам. Важно, что не такой, как ловший маслину пьянога. биографию которого без труда прикидывает впервые видящий его автор. А как тут не понять, что представляет собою заросший пинсарским жирком, питающий отвращение к физическому труду мужик лет за пятьдесят, с двадцатого года в простоте душевной уверовавший, что рабочие и крестьяне свергли царя, прогнали капиталистов и помещиков как раз для того, чтобы ему, бывшему батраку, можно было жить, не

работая. Так и стал он ко всякой бочке затычкой, охотно соглашаясь на любую должность, лишь бы ничего не делать.

Важно, что Иван Федосеевич не такой, как робкий молоденький «крысолов», которого бог знает зачем тоже прочат в председатели, хотя он всего-навсего специалист по истреблению грызунов.

Важно, что не такой, как еще один встречавшийся автору руководитель совершенно разваленного хозяйства, где, однако ж, неизвестно зачем выстроили электростанцию, по уши залезши в долги. Когда председатель называет цифры, собеседнику кажется, что он ослышался, — так низки надои, а колхозникам на трудодень вовсе ничего не выдано. Впрочем, на вопрос, как же будет дальше, председатель отвечает покорно и бодро, как научен вообще отвечать «представителям»: будем бороться за повышение урожайности всех культур и за высокую продуктивность животноводства...

Как личность, как исторический характер Иван Федосеевич в первом рассказе о нем только обозначен. Писатель ищет индивидуальное больше через яркость, через приметную странность. Например, мы узнаем, что колхозный «миллионщик» и «воротила» не пьет спиртного, но любит сладкое и прячется в задней комнате чайной, чтобы распить там какао, не потешая остальных посетителей. Если предположить, что рассказ был бы инсценирован, — вероятно, в исполнении преобладала бы внешняя характерность. Актер обыгрывал бы и это какао, и рыночную сумку на молнии, в которой Иван Федосеевич носит, однако ж, не печеные яйца и огурцы, а колхозную печать, вырезку заинтересовавшей его статьи, тезисы своего выступления на активе, непременно — книжку, чаще всего «Хаджи-Мурата» или «Фому Гордеева». Чертой «характерности» стала бы и манера председателя цитировать любимых авторов, и обороты речи деревенского книгочника: «Где побывали? Может, поучительное что-нибудь видели?»

Через десять лет без малого Ефим Дорош снова написал о том же человеке. Узнав его поистине глубоко, — это важно. Но и узнав также самого себя как писателя, — это тоже важно.

Начало очерка «Мой друг Федосеев» вводит героя сразу же. «Человек, о котором я хочу рассказать, живет в двухстах с небольшим километрах на северо-восток от

Москвы, неподалеку от Ростова, называвшегося некогда Великим, в селении Белогостицы. Зовут его Иван Александрович Федосеев. В нынешнем году ему минуло шестьдесят лет. Родом он здешний, крестьянин». Дорош не стилизует тут ни эпоса, ни анкеты, движение фразы свободное, ритм покоен, сообщается действительно важное.

Этот спокойный и важный слог составляет силу прозы Ефима Дороша. Он пишет все проще и проще, все прямой и прямой. Его смелость не имеет целью произвести впечатление, в ней тоже есть покой.

В очерке «Мой друг Федосеев» есть одна очень характерная для нынешнего Дороша фраза. Тотчас после того, как он назвал нам человека, о котором хочет рассказать, назвал колхоз, где тот работал председателем до прошлого года и теперь бы работал, если бы не несчастье — автомобильная катастрофа, после которой Иван Александрович, потрудившись еще с год, все же должен был уйти на пенсию, — тотчас же после этого Дорош говорит о земле, где родился и живет Федосеев. Совершенно та естественность, с которой жизнь белогостицкого колхозного председателя сопоставляется с историей и входит в нее. Так же естественно, как сказать об отце героя, погибшем в первую мировую войну, сказать и о тех людях, кто тысячу с лишним лет назад «под ненастным по преимуществу небом, на суглинках, супеси и подзоле, превращая их в плодородную почву, создавал русскую культуру».

Вот это весь Дорош — в естественном и логичном для него ощущении почвы русской культуры в ее конкретности суглинка, супеси, подзола...

В рассказе «Иван Федосеевич» герой был просто очень хорошим председателем колхоза, в противоположность и в пример тут же названным председателям плохим. В очерке «Мой друг Федосеев» герой написан несравненно конкретней, однако притом он тут не просто председатель лучше других, но носитель поступательной, прогрессивной силы русской советской истории, прогрессивности и поступательности которой надо уметь не мешать.

Ефим Дорош обстоятельно, как говорится, с фактами в руках говорит о конкретной работе его друга Федосеева и о росте руководимого им колхозного хозяйства. Сколько было гектаров земли у колхоза,

организованного в деревне Стрелы лет тридцать назад, и сколько из нее было пахотной. Как председатель съездил в Москву и выхлопотал колхозу пустошь, находившуюся во владении города. А еще до того по тем же хлопотам Федосеева колхозу прирезали без малого тысячу гектаров болот — земли какого-то ликвидированного хозяйства. Это записано сухо. Но слово «хроника», которое Дорош сам применяет к своим перечисляющим абзацам, как-то ассоциируется не с газетой, а с летописями, которые тоже ведь назывались хрониками. «Уже по одной этой краткой хронике можно судить, что в деятельности Ивана Александровича многие годы была как бы главенствующая, руководящая идея — собирание земли». Дорош чувствует слово. Сказав о собирании земли (через страницу он скажет: «Собирая землю, мой друг одновременно устраивал ее»), он с точностью определит реальное дело жизни Федосеева, но также и вызовет в памяти знакомое со школьной скамьи «собрание русской земли».

Собрание русской земли по гектарам, из которых столько-то удобных и неудобных; устройство земли.

История для Дороша сомкнута с предельно конкретным трудом земледельца не столько в переносном, метафорическом смысле, сколько деловом. И нельзя уважать логику истории (а кто ж ее заглазно не уважает), не уважая конкретности работы Федосеева, «практической жизни» (ленинское выражение). Дорош говорит об этом, как он говорит обо всем: серьезно, не повышая голоса, очень внятно. «История осушения болот в колхозе имени Кирова, сложившиеся здесь приемы использования осушенной земли интересны прежде всего тем, что на этом примере виден, я бы сказал, уровень технических знаний передового крестьянина нашего времени, соединившего тысячелетний опыт с достижениями современной науки. Знания эти заслуживают уважительного к ним отношения со стороны тех людей, которые, будучи поставленными на должности руководителей сельского хозяйства, видят свое назначение в том, чтобы постоянно вмешиваться в деятельность колхозов — они учат колхозников тому, что тем давно известно, либо, того хуже, по-

нуждают их к предприятиям, прямо-таки разорительным».

Рассказывая о хозяйствовании Ивана Александровича Федосеева, Дорош оговаривается дважды: «Я говорю обо всем этом так подробно вовсе не из наивного и одновременно суетного желания, свойственного дилетантам, научить кого-либо делу, в котором не являюсь специалистом». «Я рассказываю об этом, конечно же, не потому, что считаю вико-овсяную смесь единственно выгодной силосной культурой, — не хватает еще, чтобы и литератор совался к крестьянину со своими хозяйственными советами. Мне хочется только сказать, что мой друг Федосеев в своей деятельности всегда исходил из того простого соображения, что в ином месте, в одних условиях выгодны ананасы, тогда как в другом — картофель».

Очерк «Мой друг Федосеев» обилён фактами, точен, материален. Но, вчитываясь в него с той внимательностью, какой он просит, видишь, что первое наше предположение — будто автор пожелал под конец своей работы поставить фотографию рядом с художественным портретом — не оправдывается. Это не документ. Это художественная проза. Построенная по своим законам образности. Образность здесь имеет источником своей внутренней энергии мгновенное и естественное сближение крупномасштабного с мелкомасштабным: собирания русской земли — с собиранием земли колхоза, почвы русской культуры — и подзолистых либо суглинистых почв Залесья, страниц Ключевского — и страниц брошюры, написанной Федосеевым об истории его колхоза. Это сближение почти никогда не продлевается при помощи сопоставления событий — ему служит преимущественно, если не единственно, речевой склад, словесный «мазок» — скажем, все то же слово «собрание»...

И герой, и мысли автора о герое возникают здесь непретворенными. Эстетическая же энергия рождается, так сказать, от перемещения конкретности в силовом поле истории — как возникает электроэнергия в проводнике, перемещаемом в магнитном поле. Вот так названный по имени-отчеству, взятый в литературу во всей его жизненности человек, представ в очерке самим собой, стал и высоким образом литературы. Победой писателя.

И. СОЛОВЬЕВА.

## ГЛАЗАМИ СОЛДАТА

**Василь Быков. Журавлиный крик. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. «Советский писатель». М. 1961. 230 стр.**

**Василь Быков. Третья ракета. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. «Молодая гвардия». М. 1963. 240 стр.**

Есть какая-то закономерность в том, что молодые люди, начинавшие войну в восемнадцать — двадцать лет, вчерашние школьники или недоучившиеся студенты, становясь писателями (я имею в виду прозаиков, у поэтов было по-иному), рассказывают о пережитом на фронте лишь много лет спустя, когда им уже за тридцать. С годами, казалось бы, тускнеют воспоминания, расплываются даже близкие и дорогие лица, стираются, забываются многие детали. Больше того, некоторые из этих писателей, словно бы опасаясь до срока потревожить заветное, то, что было самым серьезным испытанием в их жизни, начинали свой путь в литературе книгами о более близкой, послевоенной поре. Сначала они писали о событиях, которые воспринимали скорее как наблюдатели с внутренней установкой — «это пригодится для рассказа», чем как непосредственные участники, не помышляющие ни о чем другом, кроме своего непосредственного дела, своих обязанностей, — такими они были на фронте. В ту пору они не собирали материал, а только воевали.

И, видно, для того, чтобы правдиво рассказать о кровавом водовороте боя, о том, как верность долгу подавляет страх смерти, о том, что происходит перед внутренним взором человека, видящего лишь надвигающийся на него танк или прижатого к земле пулеметным огнем, — чтобы рассказать об этом, мало ясной и цепкой памяти, необходима еще приходящая с годами зрелость миропонимания. Без нее не разобраться в напряженности чувств солдата, живущего постоянно рядом со смертью. Без нее не избавиться от тех наслоений условного восприятия войны, которые всегда стоят на пути к правде.

Василь Быков — писатель такой судьбы. Ему не было восемнадцати лет, когда он ушел добровольцем на фронт, а кончил войну в Австрии. И только через десять лет после этого появились его первые рассказы...

Я не стану особо останавливаться на тех рассказах В. Быкова, где он выступает не как военный писатель. Во-первых, их немного, они составляют незначительную часть

написанного В. Быковым. Да и свои творческие планы писатель связывает с темами минувшей войны, в которой, как он писал, отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы», ему «видятся очень многие начала, входящие в наши дни и выходящие в будущее». Во-вторых, эти рассказы, откровенно назидательные, с самого начала нацеленные на какую-нибудь общезвестную сентенцию, явно слабее военных — за исключением, пожалуй, «Фрузы». Но и этот сильный рассказ о судьбе одинокой сорокалетней женщины — незаметной вахтерши какого-то учреждения — внутренне связан с войной, хотя об этом не говорится ни слова. Ведь это война обделила сердечную, не боящуюся труда и невзгод женщину простым человеческим счастьем — нет у нее семьи: слишком много ее ровесников не вернулось с войны...

Все это вовсе не значит, что зрелость духовного опыта автора, так сказать, «автоматически» обеспечила военным рассказам В. Быкова художественную силу. Нет, первые рассказы не лишены серьезных слабостей. «Есть литература литературы — когда предмет литературы есть не сама жизнь, а литература жизни...» — писал Лев Толстой. Так вот, в первых рассказах В. Быкова еще соседствуют, а то и тесно переплетаются эти два вида литературы — «литература жизни» и «литература литературы». «Литература литературы» дает о себе знать то мелодраматической концовкой, то заранее угадываемым сюжетным ходом, то стилизованной народностью.

В военную зиму 41 года, страшная тяжесть которой описана В. Быковым просто и сурово — и холод, и недоедание, и несчастья в каждой семье, — умирает старый Ларрион Потапов («В лихую годину»). Война убила его: пришла похоронная на старшего сына, не пережила этого горя жена, ушел на фронт средний сын — и нет от него вестей, со дня на день призовут последнего, младшего... Но как «картинна» и как знакома нам — словно раскожая цитата — эта сцена: «Гришка открыл тяжелый, расписанный цветами старинный материн сундук, сразу нашел под одеждой хорошо известный

с детства коробок и подал отцу. Тот непослушными пальцами открыл его, вынул из него три крестика на полосатых; черно-оранжевых ленточках и по одному начал прикреплять на свою слабую старческую грудь... Прикрепив награды, Ларион откинулся на подушку и поглядел на присутствующих. В его затененных косматыми бровями глазах была спокойная уверенность все изведавшего в жизни человека». Автор не нашел для самой драматической, ключевой сцены своего, оригинального решения, а там, где «замешкалось» искусство, всегда его место занимает литературный штамп, уводящий от правды.

В основе другого рассказа — «Когда хочется жить...» — ситуация, неоднократно использовавшаяся в литературе: тяжело раненный, поняв, что вдвоем не добраться до своих, просит товарища оставить его или добить. Однако с такой достоверностью, с такими впервые увиденными подробностями описано автором внутреннее состояние героя, оказавшегося в безвыходном положении — очень хочется жить, а вместе не выбраться, бросить же товарища, подлостью купить жизнь он не может, — что у читателя и не возникает ощущения, что с подобного рода случаями он уже сталкивался в литературе. Но автору, по-видимому, показалось, что сам по себе рассказ о пережитом героем недостаточно впечатляет, и возникает концовка, после которой и приходит в голову мысль: а это я где-то уже читал.

Вот эта концовка: «Потом, окоченев от холода, я встал на камень. Оторвав рукав гимнастерки, промыл свое простреленное пулей плечо и, взглядевшись в зеркальную гладь воды, от неожиданности охнул. Моя восемнадцатилетняя нестриженная голова, будто запорошенная снегом, светилась вместе с облаками странной, неестественной белизной...» В этом и некоторых других случаях В. Быков ясную, но сложную — потому что она неотделима от образного строя вещи — мысль выводит на поверхность, и она становится плоской; мысль же плоская, избегая из сферы искусства тотчас же переносит нас в сферу беллетристики...

Но, как бы ни были разрушительны эти слабости, уже в первых рассказах В. Быкова проступают те черты дарования автора, которые после «Третьей ракеты» заставили заговорить о нем как об интересном военном писателе. «Третья ракета» — лучшая вещь В. Быкова, но не случайная и

не единственная удача. И если я не буду специально о ней говорить, то, во-первых, потому, что о ней уже много писали — в частности, на страницах «Нового мира» в статье «Человек на войне» (№ 6, 1962). Во-вторых, безусловно, заслуживают внимания и некоторые другие произведения В. Быкова, а он пока что для русской критики оставался автором одной повести. Наконец интересен и сам путь писателя к успеху. В. Быков с самого начала верно выбрал направление и упрямо ему следовал. И это не была извне заданная целеустремленность, ее подсказывал жизненный опыт писателя.

Не так часто в критике сопрягаются слова «талант» и «жизненный опыт», а между тем направление таланта, его развитие зависят прежде всего от жизненного опыта. С первых же рассказов В. Быков стремился описывать войну такой, какой видел ее обыкновенный солдат — пожилой ездовой («Обозник»), или сельский паренек — почти подросток («Утрата»), или сержант из кадровых («Эстафета»). Конечно же, такой выбор героев не случаен — впрочем, это подтверждает и сам В. Быков. В статье «Живые — памяти павших» («Дружба народов», № 12, 1962) он пишет о том, как велик подвиг этих «негероических с виду» людей, «в значительной (и большей) мере их руками, их большой кровью и обильным потом» добыта победа: «...это он, рядовой великой битвы, ничем не выдающийся бывший колхозник или рабочий, сибиряк или рязанец, долгие месяцы мерз под Демянском, перекопал сотни километров земли под Курском, и не только разлил огнем немцев, но и крутил баранку на разбитых фронтовых дорогах, прокладывал и держал связь, строил дороги, наводил переправы. Он многое пережил. Этот боец, голодал, изнывал от жары, побаивался смерти, но добросовестно делал свое незаметное солдатское дело... Не беда, что он — этот рядовой — принес с войны только каких-нибудь две-три медали, что он терялся при жестокой бомбежке, что где-то он оглядывался назад, стучал зубами и заикался во время танковой немецкой атаки, что его тело, повинувшись инстинкту, стремилось назад, в тыл, к безопасности, а он с усилием, но все-таки сдержал себя в тесном окопчике, сжимая в руках тяжеленную «РПГ» Мы не должны пренебрегать правдой человеческого поведения перед лицом смерти. В такой жесто-

кой войне, какую пережили мы, терпимость, верность своему солдатскому (подчас очень скромному) долгу были не менее важны, чем головокружительная отвага храбровцев».

Для того чтобы правдиво передать все, что вынес, что передумал и почувствовал этот «рядовой великой битвы», надо приблизить его к читателю, дать читателю возможность внимательно и не торопясь разглядеть, как жил на войне и как, если выпадала такая доля, умирал этот простой солдат. Поэтому для В. Быкова в высшей степени важны подробности, быт, поминутная запись событий боя. Время действия в его повестях и рассказах, как правило, ограничено одним днем, а то и несколькими — но такими долгими — часами боя. Ограничен и круг действующих лиц — это соседи по окопу, товарищи по оружейному расчету.

Не особенно выискивает автор и место действия: «Это был самый обыкновенный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным магистралям земли. Здесь оканчивалась насыпь, проложенная через заросшее осокой болото, и наезженные рельсы однопутки бежали дальше по щебню почти на уровне земли», — так начинается повесть «Журавлиный крик», и это «самый обыкновенный» весьма характерно для образного строя В. Быкова. Но на этом маленьком жизненном «пятячке», мало чем отличающемся от сотен и тысяч других, на которых люди сражались и умирали, все важно для автора, ничего не ускользает от его взора.

И то, как тяжело приходится солдату не только в бою, но и на марше и когда надо окапываться: «Пусть бы лучше какой-нибудь суглинок, его кое-как можно надолбить киркой и постепенно выбросить лопатой. А на этой проклятой лесной земле, густо перевитой толстыми, как плети, и твердыми, как проволока, еловыми корнями, мало проку было от кирки, лома или обычной лопаты. Солдат... часто выпрямлялся в яме, ставил лопату в угол, брался за топорище и поблескивающим затупленным лезвием рубил в твердой земле смолистые корни. Потом опять брал лопату и бросал через плечо землю с этими обрубками. Яма медленно углублялась. Комья покрупнее падали неподалеку от ольхового куста, а пыль, подхваченная ветром, оседа-

ла на спину, пилотку, сыпалась за шею. Солдат вскоре устал».

И то, как же место в жизни солдата занимает непритязательный харч: «К вечеру мы все так голодны, что не помогают ни курево, ни увесистые головы подсолнуха с мягкими, еще не созревшими семечками, которыми мы запасаемся с ночи. Хочется есть. В это время жидкая мамалыга — каша, которую, поев, мы все дружно охаиваем, — кажется нам необыкновенно желанным блюдом. Таким же вкусным представляется нам и хлеб — черствый, колючий, пополам с кукурузной мукой».

И чудовишно обыденная смерть пехотинца в бою — был человек и нет его: «Борис не думал, что его могут застрелить куда раньше, чем он успеет выстрелить. Даже не скрываясь в окопе, он все вел, вел стволом за передней машиной, пока она не поравнялась с берегами. Тогда Фишер выстрелил. Немец, сидевший в коляске, пошатнулся на сидении, схватился руками за грудь и со всего размаха ударился лбом о железо коляски».

Каким-то обострившимся, сверхъестественным слухом Фишер различил в грохоте моторов этот звук, и тотчас же очередь из автомата разmozжила ему голову.

Солдат выпустил винтовку и, обрушивая руками мокрую землю, сполз на дно окопа».

И всевозможные житейские заботы и огорчения — такие мелкие рядом с кровью и смертью, — а ведь не оставляют человека пока жив: «С самого утра этого сыкатного дня обрушились на рядового Турка мелкие и большие неудачи. Началось с того, что на старой огневой позиции, откуда они на рассвете снялись, он забыл свой вещевой мешок с кое-каким солдатским скарбом. Правда, ценного там ничего не было, разве только новые байковые портянки, которые он берег для особого случая. Турок погоревал немного, да, может, и забыл бы о той неудаче, если бы через какой-нибудь час его не постигла другая. Собираясь завтракать и уже доставая из-за обмотки свою погнутую ложку, он нечаянно опрокинул котелок и вылил в траву весь суп. Пока бойцы смеялись над ним, Турок всухомятку сжевал свою пайку хлеба, невесело поглядывая в ту сторону, где батарейный повар мыл в ручье пустые термосы».

Как много здесь, казалось бы, «негероических» деталей, а все вместе они склады-

ваются в картину повседневного солдатского героизма, массового подвижничества, любви народной. Но именно потому, что быт войны не «отцежен» В. Быковым, осязаемо конкретной становится мера того, что выражается словами «солдатский долг».

Герои В. Быкова — вовсе не чудо-богатыри, не знающие страха и усталости. И не обязательно праведники, никогда не оступившиеся в жизни. И не так уж пэнаторевшие по части грамоты, а тем более других премудростей. Но в минуты главного испытания, перед лицом смертельной опасности они ведут себя как настоящие люди. Уже в первой повести В. Быкова «Журавлиный крик» проходят перед нами «тихий, боязливый паренек» Глечик, который никак не мог унять дрожь в первом бою и которому суждено было стать единственным защитником переезда: бесшабашный Свист, успевший за дело отведать тюремной похлебки, — это он пополз с гранатой навстречу вражескому танку; суровый, не знающий сомнений старшина Карпенко, все «университеты» которого — срочная да сверхсрочная служба в армии. Интерес к такого рода людям — незаметным, не укладывающимся в трафаретные представления о героическом и негероическом — в сущности, это интерес к народному характеру в его самом массовом проявлении.

Впрочем, пристальный взгляд писателя не упускает и другую категорию людей, пусть они тоже не всегда выделяются среди других, а иногда в обычных обстоятельствах вполне соответствуют ходячим представлениям о лихих ребятах, — это те, что не выдержали главного испытания. Нет, их — и Овсеева из «Журавлиного крика», и Лешку Задорожного из «Третьей ракеты» — не страх сам по себе сделал подлецами. Многие испытывали на войне больший страх, а вели себя достойно и мужественно. Убежденные в своем превосходстве над окружающими, в особой ценности именно их особы, — станут они подставлять голову под пули, они-то не дураки, «как все», — вот та философия шкурничества, которую они исповедуют. Они не сомневаются, что честность — либо притворство, либо глупость, самоотверженность — корысть или наивность. И, может быть, самое опасное в них то, что они хотят заставить всех так думать, так жить. Это то, с чем приходилось бороться не только вчера.

Вряд ли бы вообще повести и рассказы В. Быкова привлекли такое внимание читателей, если бы не открывали в военном прошлом то, что поучительно и важно сейчас. Об этом справедливо писали уже в связи с повестью «Третья ракета» — об активной непримиримости автора к общественному злу.

Я бы хотел сказать и о зрелом современном истолковании гуманизма, которое отличает произведения В. Быкова. Пожалуй, наиболее остро и интересно эта проблема поставлена в одном из последних и лучших рассказов — «Проклятье». В неразберихе уличного боя взрывом завалило в подвале нашего солдата и немца, схватившихся врукопашную. «Всего несколько минут назад, не видя и никогда не зная один другого, они насмерть дрались в этом подвале, полные злобы и дикой ненависти, а сейчас, будто ничего между ними и не произошло, дружно расшатывали кусок бетона, чтобы выбраться из общей беды». Нет, не может Иван убить безоружного — он даже отдает немцу свой индивидуальный пакет, чтобы тот перевязал разодранную ногу. А потом, кое-как объяснившись, они установили, что у них одна профессия — оба они столяры. И когда на Ивана обрушилась бетонная плита, уже Фриц выхаживал его. Но одна мысль не давала им покоя, пока они разбирали завал: кто наверху, в чьих руках улица? Наверху по-прежнему шел бой, и, когда Фриц, подчиняясь команде, бросился к своим, Иван, «уже не думая о себе, а только не желая отдать врагам этого человека, дал в него очередь». А потом, «преисполненный горя и душевной сумятицы, он медленно брел по середине исковерканного войной переулка и, сжимая в отчаянии большие дрожавшие кулаки, твердил:

— Гады! Душегубы! Сволочи! Будьте вы навек прокляты, варвары!!!»

Почему мне кажется столь современной постановка проблемы в этом рассказе? Прежде всего потому, что лишена той умозрительной предвзятости, которой мы немало грешили. Тем, что человечность эта конкретна и ответственна: она не проходит равнодушно мимо отдельного человека (мол, счет идет только на миллионы), даже если этот человек — солдат той армии, уничтожение которой для каждого из нас было и революционным, и патристическим, и гуманистическим долгом. Как не прошел мимо него русский солдат Иван Волока, которому решить непростую задачу помогло безошибоч-

ное нравственное чувство, всегда живущее в народе. В замордованном, забитом обстоятельствами жизни и запуганном нацистами солдате он увидел, поверив в его ненависть к Гитлеру и затеянной фашистами войне, человека труда. Но у него не дрогнула рука, когда человек этот, привычно подчинясь чужой и злой воле, вновь стал послушным солдатом, готовым сражаться за подлое, бесчеловечное дело. Не так просто здесь провести границу, отыскать водораздел. В. Быкову это удалось благодаря зрелому пониманию социальной, классовой природы гуманизма.

У В. Быкова свое место в военной литературе. Это, конечно, не значит, что это особое или обособленное место. Есть у него и близкие «соседи». Он сам их называет в уже цитировавшейся статье из «Дружбы народов»: В. Некрасов, Ю. Бондарев,

Г. Бакланов, М. Пархонов, В. Богомолов, В. Росляков. В общем, фамилий здесь предостаточно для того, чтобы какой-нибудь любитель поспешных обобщений «сколотил» некое стилистическое направление. Ничуть не бывало, среди названных нет и двух человек, у которых бы стиль совпадал. Другое объединяет всех их — сапера Некрасова, артиллеристов Бакланова, Бондарева, Быкова, пехотинца Пархонова, разведчика Богомолова, партизана Рослякова (список наверняка можно расширить) — они пришли в литературу с военным прошлым солдат и офицеров, в котором было так много общего. А направление таланту — хочу я повторить то, что уже говорил, — всегда дает жизненный опыт, глубина понимания действительности.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

## ПРАВО НА ДОВЕРИЕ

Леонид Жуховицкий. Я сын твой. Москва. Повесть. «Молодая гвардия», № 1, 1963.

Перед нами молодой журналист Виктор Кожин — главный герой повести Л. Жуховицкого «Я сын твой, Москва». Герой, достаточно типичный для так называемых «молодежных» повестей. Познакомимся с ним.

Нет, как бы говорит Л. Жуховицкий, он вовсе не идеальная личность. И ничто человеческое ему не чуждо. Он еще молод, не очень опытен в работе, допускает иной раз и ошибки. Не сразу понимает даже и то, что газетная текучка — главный враг журналиста. А посмотрите, как ведет он себя, узнав об измене любимой и решив навсегда вычеркнуть ее из своей жизни: он идет к девушке, которую не любит, и, хотя писатель вводит даже специальную главу «Разговор автора и героя», где настойчиво убеждает Виктора не делать ложного шага, все-таки остается у нее ночевать... Да и другие трудности он тоже не всегда умеет еще преодолевать по-настоящему — вот, скажем, выступил с критикой против редактора-бюрократа, получили отпор, начались на него гонения — и помрачнел, растерялся, не знает, как ему поступить...

Но, с другой стороны, по всему видно, что автор и не замыслил ставить своего героя на котурны, лишая его обычных, естественных слабостей и недостатков не очень зака-

ленного еще в жизненных бурях человека. Зачем? И без того ведь ясно, что не слабости эти — главное в нем. Главное в нем то, что он всей душой предан идее служения общественному долгу, честен, прям, бескорыстен, смел, трудолюбив, прост с товарищами, принципиален. Не в пример иным — прочим он, коренной москвич, не стремится отстать после окончания университета в Москве, а по собственному желанию едет в дальний Дубровск и начинает работать в комсомольской газете на правах самого обычного сотрудника. Он самозабвенно любит свое дело, и о нем, если воспользоваться его же словами о его друге, с таким же основанием можно сказать, что он является собой «живой пример вдохновенного отношения к труду». Он настолько бескорыстен, настолько увлечен своим делом, что за десять месяцев работы так и не удосуживается найти себе какое-нибудь жилье, спит то на диванчике в редакции, то на вокзале, то еще где-нибудь. Он активен, деятелен, в нем есть то, что называется «огоньком», — попав, скажем, на вечеринку и убедившись, как там скучно и однообразно, он не будет откладывать дела в долгий ящик, он тут же побежит в горьком комсомола, поднимет всех на ноги, заразит всех своим нетерпеливым желанием немедленно сделать что-то для организации

интересного, культурного досуга молодежи. Да, он не сразу распознаёт, что редактор газеты озабочен прежде всего своей карьерой, а не интересами дела. Но, поняв это, он не побойлся прямо и резко высказать ему в глаза все, что он о нем думает, и вступить с ним, что называется, в конфликт. А что до растерянности, угнетенности, то и это он в конце концов преодолевать умеет — он, в общем-то, энергичен, полон романтического задора и шагает по жизни уверенно и бодро...

Действительно, Виктор таков. Правда, в законном самоощущении своего превосходства над какими-нибудь там мешанами, променявшими жизнь, где «люди к звездам рвутся», на теплую уборную московской квартиры, — в самоощущении этом он выглядит порой так, словно ему орден за это дали. К тому же и в увлеченности его иной раз как будто бы слишком уж много риторического пафоса. «Бей в лицо, тугой ветер дороги! Крупись, Земля!» «А я буду далеко. Но ведь это неважно, Москва. Важно, что ты можешь мне верить. Конечно, в жизни все бывает, а люди есть люди, и одни гнутся, другие сразу ломаются. Но я не согнусь и не сломаюсь, потому что я сын твой, Москва. Я прав твоею правдой. Я силен твоею силой. Твоя рука у меня на плече...» Стилистики такого рода действительно некоторый переизбыток в раздумьях и речах Виктора. Но —

простим горячке юных лет  
и юный жар и юный бред...

Итак, к герою своему, как это видно из повести, Л. Жуховицкий относится с явной симпатией, с любовью. По всему видно и то, что если он и не считает Виктора уже сейчас способным занять место среди лучших, достойнейших людей нашего времени, то во всяком случае совершенно убежден, что герой его на верной дороге к этому.

Что ж, выход на литературную арену любого героя всегда связан с утверждением определенной программы жизненного поведения, представляющейся автору достойной признания. Это право автора. Но ведь и мы, читатели, вправе посмотреть, насколько состоятельна эта программа.

Так вот, если мне и показалось небезынтересным обратиться к молодому герою повести Л. Жуховицкого и поближе познакомиться с ним, то именно с этой точки зрения прежде всего. Именно потому, что в ли-

це Виктора Кожина мы имеем одну из тех попыток утверждения определенных жизненных критериев оценки современного человека, которые действительно заслуживают достаточно пристального внимания.

Конечно, можно и не судить уж слишком строго молодого автора за то, что повесть его явно растянута, что немало в ней лишних, необязательных эпизодов, что автор чаще рассказывает, чем показывает, а когда показывает, то слишком выставляет наружу смысловой замысел эпизода или сцены. Можно согласиться с тем, что встречающаяся нередко замена необходимых психологических мотивировок любовными характеристиками или приблизительной информацией (отчего герои повести, при всей живости отдельных проявлений, не встают все же в нашем воображении как живые люди), или излишняя игривость авторского повествования, пристрастие Л. Жуховицкого к манере этакое дешево-афористическое лаконизма (при общей сглаженности языка описаний и изображений) — все это просчеты неопытности, своего рода «болезнь роста» молодого писателя. Л. Жуховицкий — способный литератор, он наделен даром наблюдательности, умеет подметить и жест и интонацию и услышать живую речь — в повести его немало живых сцен, зарисовок, деталей, подтверждающих это. Пройдет какое-то время, и он, надо надеяться, постигнет секреты писательского ремесла, научится владеть пером вполне профессионально.

Да, в повести Л. Жуховицкого что-то и подмечено, что-то и угадано, а в главном герое ее действительно есть и привлекательные черты. Но вот может ли удовлетворить повесть самой своей жизненной направленностью, самим характером выраженного в ней авторского отношения к жизни? Способен ли вызвать доверие ее герой, если попробовать оценить прежде всего именно человеческое его содержание, смысл заложенной в его образе программы жизненного поведения? Достоин ли он в действительности того, чтобы разделить любовное отношение к нему со стороны автора? При всем том, что он и честен, и прям, и готов всей душой служить добру, делать полезное дело?..

Конечно, это славные человеческие качества. И они являются известным мериллом человеческого достоинства. Но ведь сами по себе они не определяют еще места человека в жизни.

Чтобы найти именно тот путь, который действительно есть служение избранному идеалу, нужно не только хорошо представлять себе сам идеал, но и совершенно отчетливо и верно видеть то, в каких именно отношениях с идеалом состоит окружающая тебя реальная жизнь, какие именно тенденции ее развития действительно способствуют достижению идеала, а какие пренегают или даже ведут совсем в другую сторону. Иными словами, нужно иметь правильное представление о мире, в котором ты сегодня живешь.

Именно реализм мышления, именно верность и полнота постижения жизни, ее действительных проблем, запросов, тенденций развития, ее общей природы — один из центральных, в сущности, критериев, когда мы хотим определить, действительно ли на передовых позициях нашего общественного развития стоит мужественный, честный, принципиальный человек, даже если он и считает, что стоит на этих позициях.

Но чем же может нас порадовать в этом отношении молодой журналист Виктор Кожин?

Вот выступает он в поход против редактора газеты Петухова. Выступает потому, что видит: газета делается для «показухи». Скажем, статья о молодых животноводах — вовсе не для животноводов, а для отчета: газета своевременно выступила на нужную тему. Статья на моральную тему — опять для отчета. Захотели моральную тему — вот, пожалуйста. Приключение с приглашением — для тиража; кроссвод с приглашением присылать ответы — чтобы можно было изобразить в отчете, что количество писем в газету возросло на столько-то процентов, ибо редакция укрепляет связи с читателями. И так далее. Словом, карьеристский расчет редактора не вызывает у Виктора никаких сомнений, он видит его, он не собирается мириться с этим очковитирательством, он резко и прямо выступает за то, чтобы газета служила интересам дела.

Ну, а спросим: что же это означает, по его мнению, «интересы дела»? Мы слышали от него немало заверений в том, что он давно знает, как надо делать газету и что в ней главное. Мы слышали от него и то, что газета — это «работяга в серой спецовке», «тысячерукий волшебник»... Так вот, если конкретно, что же это означает? Нет, предположим, никакого такого карьериста-редактора, никто не сбивает Виктора с толку, не за-

ставляет его за два часа писать скороспелые «проблемные» очерки, не мешает ему заботиться об интересах дела. О чем же именно будет он заботиться? Что понимает он в жизни? Как представляет себе ее реальные проблемы, ее действительное содержание? Вопросы эти тем правомернее, что Виктор пробыл в газете вот уже десять месяцев, поездил, как свидетельствует автор, по области, побывал, что называется, в самой «гуще жизни». Что увидел он там? Какие проблемы его взволновали, что заставило его задуматься, искать ответа, сравнивать, сопоставлять, добираться до истины? Ведь сколько, казалось бы, нового, неожиданного, даже непонятного поначалу должно было открыться глазам столичного паренька, знакомого со всей той полнотой жизни, что течет на огромных пространствах его страны, по большей части лишь из вторых рук или вообще понаслышке! Сколько, казалось бы, новых и сложных проблем должна была поставить перед ним эта жизнь, какую жажду познания пробудить!

Увы, ничего подобного. И намек даже никакого нет. Вы открываете повесть, и вам подробно расказывают о прощальной вечеринке, о последней прогулке Виктора и Лены по Москве, о проводах и напутствиях. Потом — Дубровск, знакомство с редакцией. Разговоры с товарищами по работе о редакционных делах. Прогулки по городу. Поиски квартиры. Ожидание писем от Лены. Переживания. Новые знакомства. Вечеринки. Приезд московского друга, споры о призвании журналиста. Редакционные будни. Потом вдруг прозрение, что газета делается не «в интересах дела». Выступление на комсомольском активе против редактора. Ответные гонения. И наконец поездка в Москву за помощью и поддержкой...

Правда, из писем героя и от самого автора мы узнаем, что Виктор все время ездит в командировки, бывает «на местах». Об одной из этих командировок — для статьи о лекционной пропаганде — автор даже рассказывает. В следующем стиле: «Три дня он мотался по району — собирал материал. Это было трудно, чертовски трудно. Колхозные комсорги охотно отвечали на все вопросы, добросовестно рылись в столах, выискивая разграфленные листки отчетов. Они ничего не скрывали. А Виктор ничего не понимал. Бывали хорошие лекции. Бывали плохие... Ну, бывали. А дальше? Что он может об этом написать?»

Словом, творческий кризис. Но все разрешается благополучно. Оказалось, что достаточно было только поговорить с секретарем райкома комсомола. Он все разъяснил, все встало на свои места. Всего и забот-то только!..

Да, где бы ни был наш герой, о чем бы ни думал, как-то очень уж легко и просто удовлетворяется он самыми первыми, поверхностными впечатлениями. Более того, он, кажется, и не подозревает даже, что есть о чем в этой жизни задуматься серьезно и ответственно, что есть в этой жизни и невыдуманные трудности, сложные процессы, глубокие изменения, непростые противоречия даже в самых обыкновенных, житейских ее проявлениях, не говоря уже о более широких и общих проблемах нашего сегодняшнего общественного бытия. Всего этого для него словно бы и не существует, все это проходит словно бы мимо него. Да и что удивительного, если он так торопится еще убедить мир в том, что человек не должен «ломаться и гнуться», что он должен подставлять «лицо ветру», «дышать глубже», бороться за «небо в алмазах» и т. д.!

Впрочем, это не совсем так. Некоторые конкретные задачи он тоже перед собой видит. Вот, например, бороться против редактора. Или поставить вопрос об организации молодежного кафе, где молодые люди могли бы весело и культурно отдохнуть после трудового дня. Или, скажем, газета: вот, например, начальник большой степной стройки, которому требуются рабочие, прислал в редакцию письмо — просит напечатать объявление о приеме на работу. Что ж, разве Виктор не понимает, в чем именно состоит здесь его конкретная задача? Начальник ведь не газетчик, ему простиительно, что он написал такое скучное воззвание, он не понимает, почему не идут к нему люди, хотя и расклеил он объявления. Ведь что вы написали, товарищ начальник? «Требуются каменщики, плотники, штукатуры, разнорабочие... — список на страницу. — Зарплата такая-то...»

Что ж, зарплата хорошая. Но вы не написали главного. А газета скажет молодежи: «Срочно нужны романтики. Трудности гарантируются».

Закупайте палатки, товарищ начальник. У вас в отделе кадров будет конкурс — три человека на место...»

Словом, не совсем уж в эмпиреях парит

наш герой. Конкретные задачи он тоже перед собой, как видим, ставит. Вот только надо ли было ему, чтобы дойти до понимания этих задач, ехать в Дубровск, знакомиться с жизнью, путешествовать по области?..

Достаточно ли серьезная и твердая жизненная основа под сокрушительной готовностью Виктора Кожина «не согнуться и не сломаться»? Вот ведь в чем весь вопрос...

И как же быть, если в результате получается, что своим бережно-любственным отношением к герою Л. Жуховицкий одобряет и даже утверждает как известную норму именно тот тип человеческого поведения, тот тип отношения человека к жизни, которому умиляться вовсе как будто бы и не пристало? Ведь хочешь не хочешь, а получается, что по человеческому облику своему Виктор Кожин оказывается близок именно к типу некоего безмятежного мальчишки, ничего-то, в общем, не понимающего в жизни, не умеющего и не желающего думать о ней серьезно, исполненного лишь пафосом трескучей барабанной риторики...

Но неужели невнимательность человека к реальным проблемам жизни, незанятость его действительно серьезным, реалистическим ее познанием — это именно то, что должно вызывать в нас умиление? И неужели, лишь иронизируя над какой-нибудь осмеиваемой «критически мыслящей личностью», следует вспоминать о самостоятельности мысли, о необходимости для человека уметь думать, думать и думать? Но ведь подлинно социалистический человек возможен лишь там, где «своей ответственностью за судьбу родины, революции, социализма» он, как это хорошо сказано одним из героев В. Овечкина, «равен любому, самому высокопоставленному... авторитету». Достигнуть этого — самая святая обязанность, долг и потребность каждого настоящего человека нашего времени.

Я совсем не хочу сказать всем этим, что Л. Жуховицкому как писателю недоступны действительный реализм, действительная глубина и правдивость изображения жизни. Он способный литератор, это несомненно, и судить о перспективах его дальнейшего творческого развития по одному опыту было бы, конечно, неправильно.

Но ведь не об этом и речь. Объективное-то содержание жизненных позиций героя дей-

ствительно не вызывает ведь сочувствия. Речь идет именно об этом. О содержании тех реальных жизненных критериев, которыми и определяется, выражает ли и насколько выражает человек — в своем отно-

шении к жизни, в своих общественных позициях, в направленности своих деятельных устремлений — передовые тенденции. А это дело достаточно серьезное.

И. ВИНОГРАДОВ.



## ПЕЧАТЬ СОВРЕМЕННОСТИ

**Расул Рза. Весна во мне. Азербайджанское государственное издательство. Баку. 1962. 176 стр.**

Долгие годы прошли с тех пор, как читатель узнал и полюбил поэму Расула Рза «Ленин».

Казалось бы, создавая большое лиро-эпическое произведение, тема которого — всенародная любовь к Владимиру Ильичу, трудно избежать влияния Маяковского, заимствования его приемов, подчинения его тональности и методу поэтического мышления. Однако азербайджанский поэт, учившийся не только у классиков своего народа, но и у русских поэтов, нашел свои собственные, нехоженые пути, работая над мощной в ее эпической широте и столь убедительной в ее лирической искренности поэмой.

Драгоценные качества дарования Расула Рза — широта охвата темы, неподдельная страстность и яркая выразительность — вызвали к жизни новые, своеобразные творческие приемы. Расул Рза расширил привычную лексику, которой ранее пользовалась азербайджанская поэзия, перешагнув через устарелые каноны с их стеснительной строфикой, «графической» рифмой, традиционной метафорой — непременно спутниками «высокого» стиля. Поэзия Расула Рза приобрела несомненные черты народности, стала новаторской в лучшем смысле слова: новое содержание нашло новую форму.

Таков Расул Рза — автор большой лиро-эпической поэмы. Таков он и в небольших лирических стихотворениях, в основном составляющих сборник «Весна во мне», недавно выпущенный в свет Азербайджанским государственным издательством в русских переводах.

Круг тем Расула Рза широк и, постоянно расширяясь все более, как горизонт, продвигается вперед вместе с мыслью и душой

поэта. От Баку до Роттердама, от Москвы до Багдада, от мусульманского прошлого азербайджанского народа до светлого будущего всего человечества, от личного до общечеловеческого, становящегося целью устремлений личности, — ведет читателя поэт, убежденный пропагандист будущего. Пером его движет непререкаемая вера в то, что не за горами времена, когда для всех без исключения всенародное дело станет самоважнейшим личным делом. Расул Рза многое видит и многое помнит, но взор его устремлен вперед, только вперед, на что бы он ни глядел и о чем бы ни говорил.

Конечно, его поэзия обладает познавательной ценностью, достаточной для того, чтобы не быть скучной. Читатель, несомненно, найдет в книге «Весна во мне» немало того, что обогатит его знание мира или подскажет новое, острое понимание уже известного.

Но дело не только в том, что Расул Рза наблюдателен, умеет увидеть то, чего до него никто не замечал, что любовь его к жизни и ее многокрасочности так заразительна. В идеале стихотворение — неповторимый образ мира или его частности. Первое условие поэтической одаренности — способность к выбору единственно необходимой частицы познанного для построения этого образа. Способность эта — залог своеобразия творчества. Расул Рза производит выбор, о котором сейчас шла речь, по-своему. Почти всегда Расул Рза начинает стихотворение частным, малым, едва приметным; понемногу малое становится значительным, находит поддержку в новых деталях, пока наконец здание стихотворения не окажется вполне пригодным для заселения тем основным, ради чего оно создано. Еще деталь, поворачивающая тему по-новому, и

заключительные строки приводят читателя к логически ясному, чаще всего афористическому выводу. Рассудок не режет, чем чувство,—двигатель поэзии Расула Рза, но мысль его всегда накалена чувством, а чувство окрылено мыслью.

Стихотворения Расула Рза отмечены четкой печатью современности — преимуществом подлинной поэтичности — не только потому, что поэт говорит о том, что всех нас волнует сейчас, но и потому, что за стихами читатель ясно различает близкий и понятный ему образ поэта, живущего общими с ним интересами, пристрастного к добру, размышляющего над тем же, над чем размышляет и он.

Вот маленькое стихотворение Расула Рза, написанное в Джакарте:

### ДОЖДЬ

Уж сколько дней, как дождь идет,  
с утра, как из ведра, идет,  
все дни,  
все вечера идет,  
все ночи

до утра идет.

Пустыни за горой горят,  
а здесь он просто зря идет.

(Перевела М. Павлова)

В стихотворении этом мы не найдем ни подчеркнуто важной мысли, ни страстного чувства, и все же это не просто набросок, зарисовка, этюд, оделанный мимоходом. Стихотворение проникнуто особым, с переменным нам чувством по отношению к природе — чувством хозяина, досадующего, что не умеет; мол, еще управляться со стихиями! Само собой разумеется, читатель не придаст стихотворению такого слишком уж утилитарного значения, но сохранит в памяти острое впечатление современности, которым характерны эти восемь строчек.

Мы нарочито выбрали для цитаты самое скромное, самое непритязательное стихотворение в книге, чтобы показать, кроме особого свойства поэзии Расула Рза, ее современность, умение поэта создать второй план, порой, как в нашем примере, более существенный, чем первый. Поэзия Расула Рза объемна, стихотворение его обладает не только широтой, но наделено и перспективой, уходит в глубину. Время и жизненный опыт усовершенствовали юношески дерзостную поначалу творческую манеру поэта. Его мысль, постепенно окреп-

шая, приобрела особую весомость, которую поэту может придать только зрелость:

...пока есть время,  
пусть тепло твоей руки  
согреет дружескую руку.  
О, сколько предстоит нам совершить  
и высказать!  
Пока есть время,  
тоненькую ветку  
привей к большому дереву...  
Пока есть время,  
живи,  
трудись,  
но так, чтобы, когда уйдешь,  
увидели бы все, что там,  
где ты стоял,  
зныет пустота...

(Перевела М. Павлова)

Стихотворения Расула Рза часто философичны, но поэт всегда в гуще жизни, и связь его с человеком никогда не обрывается:

Мы только три часа тому назад  
из Сингапура поднялись,  
а я как будто уж сто лет  
не видел человека.  
Тоскую по нему.  
Тоскую по земле...

(Перевела М. Павлова)

Поэт живет единой, слитной жизнью с бакинскими нефтяниками, с семьей рабочего, только что переехавшего на новую квартиру, он сердцем с иракской старухой, оплакивающей свое горе; он полемизирует с богатым иностранцем, недружелюбными глазами смотрящим на то, что совершается на нашей земле; он всегда с человеком, народом, человечеством.

Он часто говорит о себе:

Я у открытого окна...  
Я видал не однажды цветы...  
Я с болью датирую свое стихотворение...  
Я думал...  
Я читал...  
Я слышал...

Эти «я» не раздражают читателя, не кажутся нескромными и навязчивыми: в лирическом герое стихотворений мы ощущаем обобщенные черты нашего современника, человека труда. Чужая радость ему дороже своей и чужое горе больнее своего. Он хорошо знает, что для того, «чтобы изваять... страдание одной души—не хватит бронзы в мире».

Таково миропонимание и мироощущение человека новой эры. Такова суть новаторского творчества Расула Рза. «Новые вре-

мена — новые птицы, новые птицы — новые песни». К сожалению, для русского читателя остается тайной та форма, с которой едино слилось содержание его поэзии. Переводить на русский язык стихотворения Расула Рза — дело сложное хотя бы и потому, что он перенес в пределы родной поэзии завоевания поэзии русской, — это сыграло немалую роль в его борьбе за новую поэзию. Но как отразить это новшество в переводе?

Восемь русских поэтов работали над переводами, вошедшими в эту небольшую по объему книгу. Плоды их труда далеко не равноценны ни по верности духу и форме подлинника, ни по качеству. «Почерк», которым они написаны, не всегда имеет общее с «почерком» Расула Рза. Часто трудно узнать, как автор подлинника боролся за новую стихотворную форму, какова его лексика, как он рифмует... В переводах встречаются ошибки и в реалиях (так, в стихотворении «Белый слон» у изображаемого животного оказались черные... копыта), и против норм языка («куропатка горная, хною она украсила съ...»); переводы эти порой представляют собой то нейтральную по стилю скорпись, то вялый «бесструктурный» пересказ. Читатель будет огорчен тем, что

книга лишена стилистического единства и составлялась, по-видимому, наспех. Работая над переводом одного или двух небольших стихотворений, нелегко передать не только его содержание, но и стилистические особенности подлинника. В подлинник нужно успеть вжиться подобно тому, как Станиславский учил вживаться в сценический образ. Нужно найти аналогию каждой черте, в которой проявилась художественная индивидуальность автора. Без этого перевод не может стать произведением искусства.

И все же, разглядывая подлинник сквозь такую не всегда прозрачную преграду, русский читатель, думаю, полюбит новую книгу Расула Рза. Творчество азербайджанского поэта адресовано каждому, чье сердце и разум открыты подлинно поэтическому слову, кого волнуют судьбы родины, мира, человечества. Гажих у нас много, неисчислимо много. А сборник «Весна во мне» выпущен микроскопическим по нашим масштабам тиражом в пять тысяч экземпляров. Эту ошибку легко исправить, переиздав книгу. Вероятно, при этом известную часть ее придется перевести на русский язык заново.

Арсений ТАРКОВСКИЙ.

★

## АТТИКУС ФИНЧ И ЕГО ДЕТИ

Харпер Ли. Убить пересмешника... Роман. Перевод с английского Н. Галь и Р. Облонской. «Иностранная литература», № 3, 4, 1963.

Роман Харпер Ли — первое произведение молодой американской писательницы — еще раз подтверждает, что в литературе нет банальных тем и сюжетов, есть только банальные приемы.

Маленький знойный городок на Юге США, в Алабаме, такой маленький, что жители знают друг друга по голосам. Воспоминания о далеком детстве, полном радостей, открытий и необычайных происшествий. Таинственный затворник, в финале спасающий двух ребят от ножа убийцы — самого гнусного типа во всей округе. И школа, в которую не очень-то хочется идти. И чопорная тетя, безуспешно пытающаяся привить детям правила хорошего тона. И суровая, но преданная черная няня, которая заменяет детям мать. И бесконечные игры, не одобряемые взрослыми, и ночные эскапады, и побеги, и комические приключе-

ния... Все это в тех или иных вариантах словно бы столько раз было в американской литературе, начиная с классики, с «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Не менее знакома и основная драматическая ситуация книги: судебный процесс над негром, ложно обвиненным в насилии; испытания, выпавшие на долю честного и смелого, но беспомощного перед натиском вековых расистских предрассудков адвоката, взявшегося защищать обвиняемого...

Весь этот немало уже «поработавший» жизненный и литературный материал помог Харпер Ли написать радующую свежестью и самостоятельностью книгу. Своеобразна сама повествовательная манера автора: рассказ ведется от лица героини — восьмилетней Джин-Луизы, и все происходящее дано через восприятие ребенка — занятого, наблюдательного, независимого в сужде-

ниях, но в общем обыкновенного, наивного ребенка. Время от времени, незаметно перебивая девочку, в рассказ вступает уже взрослая Джин-Луиза — умная, ироничная и, очевидно, не потерявшая былой независимости суждений женщина. Этот «подвижный» угол зрения позволяет писательнице, не прибегая к затертому уже в западном современном романе приему «разных рассказчиков», выходить за рамки детского восприятия и в то же время говорить о самых серьезных и самых забавных вещах, сохраняя все обаяние непосредственности.

В рассказанной Джин-Луизой истории активнейшим образом действуют трое ребят: она сама, ее двенадцатилетний брат Джим и приятель их, семилетний Дилл. Но книгой для взрослых и о взрослых делает этот роман отец Джин-Луизы и Джима — Аттикус Финч, адвокат, главный герой повествования, герой в самом точном и полном смысле этого слова. Впрочем, по внешнему облику и повадкам он абсолютно «антигероичен», этот тихий полнеющий вдовец лет под пятьдесят, всегда немного усталый, по вечерам сидящий в кресле, уткнувшись в газету или книгу, «никого не умеющий» по сравнению с другими отцами, как горестно заметила его дочь. Однако с присущей Финчам объективностью (и нелюбовью к сентиментам) Джин-Луиза, представляя отца читателям, говорит о нем коротко и ясно: «Мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой: он с нами играл, читал нам вслух и всегда был вежливый и справедливый».

Джин-Луиза не обманывает, ее можно утешить лишь в чрезмерной сдержанности. Еще до того, как ее отец, восстановив против себя чуть не весь город, берется защищать обреченного негра Робинсона, убеждаешься, что Аттикус Финч — человек того самого сорта, который, очевидно из-за обилия суррогатов, принято называть «настоящим».

Он действительно наделен самыми высокими качествами разума и сердца, и при этом — вот где проверка артистичности Харпер Ли, ее чувства художественной меры — читателя это несколько не гнетет. Мы быстро проникаемся симпатией к Аттикусу и весело сочувствуем его полной превратностей и сюрпризов (большой частью неприятных) доле счастливого отца двух милейших отпрысков, несколько перенасыщенных энергией и изобретательностью.

Лишь один раз в жизни Аттикусу пришлось взять в руки ружье — по улице бежал бешеный пес, и тогда выяснилось, что, несмотря на плохое зрение, Финч в юности был лучшим стрелком города. Лишь один раз за всю свою профессиональную жизнь Аттикус Финч согласился вести почти безнадежное дело, которое, как он знал, принесет много тяжелых переживаний не только ему, но и его детям. Он не искал этого испытания, но не уклонился от него.

За всю свою жизнь Аттикусу не произнес ни одной пышной или демагогической фразы. Внушая что-либо своим ребятам или отвечая на их весьма рискованные подчас вопросы, он обычно прибегал к несколько пародийному, сухо юридическому стилю. И когда в суде, полностью разбив построенную обвинителями Тома Робинсона версию, он произносит свою речь, в ней тоже нет громких слов, нет стремления разжалобить, нет нагнетания эмоций. Он излагает и сопоставляет факты, апеллирует к здравому смыслу присяжных, напоминает им о равенстве всех перед законом, просит исполнить свой долг по совести. Присяжные, в большинстве своем окрестные фермеры, угрюмые, ожесточенные депрессией (действие происходит в середине тридцатых годов), не представляющие себе, как можно поверить «черномазому» и не поверить белому, каков бы он ни был, признают Тома Робинсона виновным. Позже он погибает в тюрьме при попытке убежать, не дождавшись результата апелляции, поданной Финчем, не поверив в возможность благополучного исхода своего дела. И все же выступление Финча, его спокойное, немногословное мужество не оказалось совсем безрезультатным. Выясняется, что присяжные не были единодушны, они много часов спорили — беспрецедентный факт на такого рода процессах, происходящих в южном штате. Память о совершенной несправедливости осталась жить в душах многих граждан Мейкомба. Иные из них когда-нибудь сделают из этого свои выводы.

Аттикус Финч всего лишь не уклонился от выполнения гражданского, человеческого, профессионального долга. Но выполнил он этот долг в полной мере, без внутренних компромиссов, потому что всю жизнь чувствовал (и детям передал это чувство) глубокое презрение к «подонкам», которые не видят в негре человека, всегда готовы обмануть и обидеть его. Финч не искал случая

похвастаться своей смелостью. Однако, когда в ночь перед судом ему сообщили, что Робинсону, запертому в маленькой мейкомбской тюрьме, грозит линчевание, Аттикус взял лампочку на длинном шнуре, книгу, стул из своей конторы, пристроил лампочку над дверью тюрьмы и уселся читать. Старые, разбитые «фордрики» с линчевателями действительно подъехали. Разговор, завязавшийся между мрачными, хлебнувшими для храбрости фермерами и Аттикусом, не предвещал ничего доброго, и, если бы не драматическое появление ребят, разрядившее атмосферу, дело могло окончиться печально... «Что бы там ни было, а всякая толпа состоит из людей», — философствует по этому поводу Аттикус на другое утро за завтраком. И еще одну сентенцию произносит он уже на последней странице книги, укладывая спать дочку, в ту самую трагическую ночь, когда Боб Юэл — обвинитель Тома Робинсона, не простивший Аттикусу своего позора на суде, — едва не убил обоих ребят, а Джима покалечил на всю жизнь: «Почти все люди хорошие, Глазастик, когда их в конце концов поймешь».

Процент хороших людей здесь явно завышен, хотя прекраснодушный идеализм вовсе не характерен для Аттикуса Финча, человека, много передумавшего и не боящегося правды. Автор сам делает необходимые поправки к декларации своего героя. Вернее, поправки неизбежно возникают из самого содержания романа.

Аттикус Финч — не бунтарь, не чужак в своем городке, в своем округе, где живет уже пять поколений Финчей, некогда — богатых землевладельцев, ныне — существующих на весьма ограниченные заработки юристов, врачей, фермеров.

То, что Аттикус Финч, мирный, уживчивый, внимательный сосед, воплощение деликатности и терпимости, оказался в какой-то мере изгоем, говорит о подспудных силах диких предрассудков и бессознательной жестокости, еще существующих во внешне ленивой, идиллической атмосфере патриархального городка. Мрачные традиции живут потаенно и зловеще, как несчастное семейство Рэдли в своем «проклятом» доме за наглухо закрытыми ставнями. Сильнее добрососедских уз, сильнее личной порядочности, сильнее разума оказывается вековая формула: «Черномазы надо держать на месте». Очень сдержанно, не в публицистическом комментарии, а с помощью фактов —

важных и мелких, увиденных широко открытыми, беспощадными в своей непредубежденности глазами ребенка, — Харпер Ли затрагивает главное в тугом узле проблем, связанных с так называемым «негритянским вопросом» на Юге США. Она показывает, как самые обыкновенные, по-своему неплохие, а подчас и чем-то импонирующие люди по косности, невежеству или просто душевному малодушию оказываются соучастниками преступления против человечности — расовой дискриминации.

Об этом писательница говорит без экзотиков, прямо и резко. Однако в отличие от многих своих коллег-южан она не стремится сделать тему жестокости и нравственного смятения доминирующей. Повествование ведет удивительно славная, здоровая духом и телом Джин-Луиза, по прозвищу Глазастик, и это, разумеется, определяет его общий мажорный вопреки трагическим эпизодам тон. Именно с Джин-Луизой, Джимом и Аттикусом связано все, что представляется самым удачным, самым сильным и привлекательным в этой первой книге американской романистки. Сама история с обвинением Тома Робинсона все же несет на себе отпечаток литературного стереотипа, быть может, потому, что несколько стереотипен «хороший негр» (то есть послушный, знающий свое место «потомок дяди Тома») Том Робинсон. Семейство браконьера и пьяницы Боба Юэла, «принципиально» живущего за счет благотворительности, в состоянии, близком к скотскому, изображено весьма выразительно, в той лаконичной и острой манере, которая присуща писательнице. Но «стопроцентное злодейство» Юэла приобретает несколько мелодраматический оттенок, когда, не довольствуясь мелкими гадостями и публичными угрозами, он пытается в отместку Финчу убить его ребят. Это попросту малоправдоподобно и, похоже, понадобилось автору главным образом затем, чтобы довести до кульминации и как-то разрешить сюжетную линию, связанную с таинственной фигурой Страшилы Рэдли.

Но если отдельные эпизоды и некоторые повороты фабулы воспринимаются «с холодком», то безусловное доверие и прочную симпатию вызывает роман Харпер Ли как роман воспитания в широком понимании термина — воспитания жизнью. Само заглавие книги — «Убить пересмешника...» — выражает главное в авторском замысле.

Пересмешник — птица забавная и безобидная, она не портит посевов, убить ее считается в Алабаме грехом. Когда дядя дарит Джин-Луизе и Джиму духовые ружья, отец, не слишком довольный таким подарком, предупреждает еще раз об этой охотничьей заповеди. В этом есть и символический смысл: не убить пересмешника — значит не совершать бессмысленно жестоких поступков. Однако нравственный кодекс, который неприметно и непрерывно и в повседневном житейском опыте, и в минуты кризисов вырабатывается в семье Финчей, разумеется, куда богаче. В основе его лежит один принцип: правда. В этой семье на все вопросы отвечают с разной степенью детализации, но всегда правду. Уважение к детям, вовсе не исключающее дисциплины и требовательности, пронизывает отношения Аттикуса с сыном и дочерью, отношения, на обязательский взгляд несколько причудливые, но по существу очень близкие и нежные.

Младшие Финчи знают, быть может, несколько больше, чем положено им по возрасту. Но это не мешает им в полной мере сохранить чистоту и подлинную детскость жизнеспособности. Глазастик и Джим бегают в местную школу, где рядом с ними сидят за партами, играют и дерутся на школьном дворе босоногие, а подчас и голодные дети безработных и фермеров. Первые школьные впечатления Джин-Луизы иногда забавны (очень смешно рассказано в книге о том, как молодая, беспомощная учительница, энтузиастка «системы Дьюи», читает сказочки скептическим и житейски более умудренным, чем она, первоклассникам), иногда — тревожны и огорчительны. Но отец хорошо понимает всю резкость разрыва между миром дома и школы и дает дочери первые уроки того, как надо «жить с людьми» — то есть уметь «влезть в чужую шкуру и походить в ней». Чуткость, ум, лукавый и добрый юмор отца, не смягчая неразрешимых противоречий реальности, помогают ребятам ориентироваться в ней, самостоятельно решать свои собственные нравственные проблемы. Дидактикой в доме Финчей не пахнет; здесь живут непринужденно, ссорятся и мирятся, но добрые чувства, ясную голову и твердую руку — эти качества Джин-Луиза и Джим приобретают «с младых ногтей». И все это раскрывается с удивительной, пленяющей свободой и лиризмом, начисто лишенным

какой бы то ни было чувствительности. От нее спасает автора неизменное и очень острое чувство комического, по-твеновски «спокойное» отношение к реалистическим житейским деталям и та ироничность — тоже спокойная, мягкая ироничность, о которой уже говорилось.

«Мейкомб — город старый, — вспоминает взрослая Джин-Луиза, — когда я его узнала, он уже устал от долгой жизни. В дождь улицы раскисали и под ногами хлюпала рыжая глина; тротуары заросли травой, здание суда на площади осело и покосилось. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь: черным собакам приходилось плохо; на площади тень виргинских дубов не спасала от зноя, и костлявые мулы, впряженные в тележки, яростно отмахивались хвостами от мух. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к девяти утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в три часа и все равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью из пудры и пота».

Переводить книгу Харпер Ли далеко не так просто, как может показаться, когда читаешь эту прозу — ясную, четкую, легкую. Очень трудны переходы от Джин-Луизы маленькой к Джин-Луизе взрослой: меняется лексика и ритм речи — и все же надо сохранить индивидуальность героини. Переводчикам удалось достичь этого. В переводе есть множество отличных находок. Когда Джин-Луиза, например, замечает о брате, что, вспоминая умершую мать, он «иногда по-реди игры вдруг длинно вздыхал, уходил за гараж и играл там один» — это «длинно» говорит нам что-то и о рассказчице, и о Джиме. Это надо было почувствовать, потому что в английском языке «длинно» и «долго» выражаются одним словом. Хорошо найдено и слово «чернолюб» — *pigger lover* — по русскому звучанию и выразительности. Впрочем, в оригинале это выражение звучит резче, оскорбительнее, потому что *pigger* — это не просто «черный». Может быть, «любитель черномазых» было бы здесь больше на месте. Об этом стоило бы подумать при отдельном издании книги. А издать ее отдельно следует.

В современном американском романе есть немало интересных явлений, и обычно то, что наиболее интересно, отмечено очень мрачным, подчас болезненным взглядом на жизнь. «Убить пересмешника...» — довольно редкое исключение из этого правила.

Дешевого оптимизма и слащавой гуманности на страницах книг популярных американских авторов сколько угодно — для этого есть свой «рынок», как и для всего прочего. Но здесь не раскрашенная картинка, здесь жизнь во всех ее контрастах, отнюдь не приводимых к благополучному «общему

знаменателю». И то, что в гуще ее мы видим доброго, смелого, вдумчивого человека, которого хочется иметь своим соседом и с детьми которого хочется познакомиться наших детей, вызывает чувство признательности к автору этой книги.

И. ЛЕВИДОВА.

★

### Политика и наука

#### НАМИ ЗАЖЖЕНО!

**У истоков партии. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. Составитель Л. Давыдов. Госполитиздат. М. 1963. 576 стр.**

Слова, которые поставлены в заглавие этой рецензии, — «Нами зажжено!» — принадлежат Александру Васильевичу Шотману, питерскому рабочему-металлисту, профессиональному революционеру, одному из славных представителей ленинской большевистской гвардии. Писатель Геннадий Фиш привел эту фразу Шотмана в своем очерке, помещенном в сборнике «У истоков партии».

Писатель и его герой — старый большевик — беседовали об успехах социализма. Вот тогда-то (дело было четверть века назад) и вырвались у Александра Васильевича эти горделивые слова. Их, конечно, с полным правом мог бы также произнести каждый из героев, жизнеописания которых собраны в книге. И сегодня, разумеется, с еще большим основанием и с еще большей гордостью, чем тогда. Но, увы, все меньше остается в наших рядах тех, кто стоял у истоков Коммунистической партии, кто вместе с Лениным, под его руководством закладывал ее фундамент.

Елена Дмитриевна Стасова принадлежит к славной когорте соратников Ленина. Ее краткое вступительное слово вводит читателя в атмосферу книги. «Мы оглядываем пройденный путь, — пишет Стасова, — чтобы еще быстрее и успешнее идти вперед. При этом мы ясно понимаем, что коммунисты России зажгли путеводную звезду для всего мира».

В книге нет специального очерка о Владимире Ильиче. «Зато те, что опубликованы, рисуют коллективный портрет вождя, показывают, как боролся Ленин за чистоту рядов партии, за верность ее коммунистическим идеям. Вместе с Лениным, во главе с ним партия прошла громадный и непро-

торенный путь. В будущее ведут не уготованные и гладкие дороги, а пробиваемые и прокладываемые наново». И старейшая большевичка заключает: «Как бы порадовался Владимир Ильич, если бы он увидел грандиозные успехи, достигнутые нашим народом под руководством партии...»

В книге сорок героев, сорок большевиков-ленинцев, пламенных революционеров. Давно уже хрестоматийными стали ленинские слова о тесной кучке борцов, идущих по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки, соединившихся по свободно принятому решению и шагающих вперед под огнем врага. В книге, которая лежит передо мной, слова Владимира Ильича становятся зримой явью. Вот она, тесная кучка, из которой выросла могучая партия преобразователей мира! Бабушкин и Красин, Бауман и Калинин, Крупская и Кржижановский, Ногин и Цюрупа, Людмила Сталь и Миха Цхакая, Литвинов и Шелгунов...

Многие из тех, чья жизнь нашла отражение в сборнике, долгие годы оставались незаслуженно забытыми. Иных искусственно отодвигали на задний план, других попросту объявили врагами народа... В сборнике восстановлена правда о многих выдающихся деятелях Коммунистической партии.

Не требует доказательств истина: в биографическом повествовании удача определяется в первую очередь знанием материала, привлечением интересных документов и свидетельств, проникновением в неповторимые детали жизни, быта, характера, присущие именно данному человеку. И, конечно же, для того, чтобы хорошо написать о герое-революционере, надо полюбить его.

Разделять его радости и горевать вместе с ним...

Лучшие очерки в книге, о которой идет речь, доносят до читателя эту авторскую любовь. Мне приятно отметить, в частности, работу Анны Караваевой о Надежде Константиновне Крупской. О жене, соратнике и друге Ильича написано много: очерки, воспоминания, объемистые книги. А Караваева сумела на малой площади (семнадцать книжных страниц) дать свое, заповидающееся изображение секретаря «Искры», показать революционный подвиг Крупской, найти яркие детали для ее портрета. Умело вмонтированы в очерк письма Н. К. Крупской.

Очень четко, ясно и, я бы сказал, чисто написан Марией Прилежаевой очерк о путиловском слесаре Михаиле Калинине. И Николай Вирта, написавший о Максиме Максимовиче Литвинове, и Сергей Львов в очерке об Иосифе Дубровинском, и Марк Колосов в очерке о Людмиле Сталь, и Павел Арский — автор очерка о Степане Шаумяне, да и другие писатели любовно и тщательно подошли к решению поставленной перед ними задачи.

Разумеется, далеко не каждому из авторов рецензируемой книги посчастливилось лично знать своего героя. Но, работая над материалом о Р. С. Землячке, Рафаил Хигеров записывает рассказ о ней старого большевика Крамольникова, а Лев Давыдов — автор очерка о В. К. Курнатовском — делает читателя как бы соучастником своих поисков и раздумий. Вот одно такое место: «Я перечитывал воспоминания старых марксистов, подпольщиков, вникал в каждую строку, в каждое слово, стараясь раскрыть суть апрельской ночной беседы в селе Ермаковском. При этом невольно ловил себя на мысли, что не меньше, чем содержание самой беседы... меня волнует самый факт разговора Ленина с друзьями в течение всей ночи».

В некоторых очерках авторы стараются связать историю с современностью, как бы перебросить мостик от прошлого к нашим дням. Так, говоря о предательском расстреле двадцати шести бакинских комиссаров, П. Арский вспоминает о подлом убийстве Лумумбы. И это вполне закономерно.

Писатели по-разному подходят к решению своей задачи: в очерках нет единообразия, что делает книгу увлекательней, интересней. Чаще всего берется крупным

планом какой-либо эпизод из жизни героя; хорошо, если автор ограничивается этим, не задаваясь целью рассказать «побольше», обязательно проследить весь жизненный путь революционера. Тогда возникает скороговорка, анкетно-справочные «довески» к рассказу. К счастью, таких работ в сборнике немного.

Говоря о поисках формы, надо прежде всего отметить хороший очерк Георгия Маркова «Иван Иванович Радченко и Ванюша Касьянов». Писатель начинает так: «Вам, возможно, покажется странным, что этот рассказ, посвященный революционеру Ивану Ивановичу Радченко, я начинаю с воспоминания о собственной юности. Но не спешите удивляться или осуждать меня...» И дальше, ломая стандарт, Г. Марков задушевно рассказывает о том, как томские студенты тридцатых годов изучали историю партии, как сибирский батрак Ванюша Касьянов выбрал себе героем подпольщика И. И. Радченко, как завязалась между ними дружба. Биография большевика-ленинца переплелась с рассказом о короткой жизни юноши, героически погибшего на Ленинградском фронте. Рассказ глубоко волнует, и вместе с автором приходишь к выводу: «Нетленна память о борцах партии, и вечно живет и крепнет боевая преемственность ее поколений».

Необычна композиция очерка Владимира Красильщикова о В. В. Воровском. «Последний шаг большевика» — так озаглавлена эта работа; читатель проводит с революционером бессонную ночь, оказавшуюся для него последней. Воровский пишет письмо в Москву, Воровский думает о пройденном пути...

Мне никогда не приходилось читать биографии Виргилия Леоновича Шанцера (Марата), и я искренне благодарен Борису Костюковскому за его очерк «Русский Марат», рельефно представивший этого своеобразного, порой нескладного, не всегда действовавшего правильно, но глубоко преданного партии и милого человека. Об «Искровце твердой линии» — Петре Ананьевиче Красикове — хорошо и просто написал Александр Волков. Целомудренная простота, которая куда дороже иных блестящих красноречия, отличает очерк Елизаветы Драбкиной о Сергее Ивановиче Гусеве...

Здесь нет возможности, да это и не требуется, дать оценку каждой из работ, включенных в книгу. Прежде чем назвать

несколько неудачных, на мой взгляд, произведений, сделаю два общих замечания.

Некоторые авторы уделяют чрезмерное внимание приключениям героя. Дерзкие погони, остроумные уловки конспираторов, уходы от преследователей — все это было. И все это достойно описания. Но досадно, когда в работе некоторых литераторов эта яркая, романтическая сторона революционной работы заслоняет внутренний мир героя. Так случилось, в частности, в очерке о Землячке.

Чрезвычайно важно, кроме того, подчеркнуть в очерках о бойцах ленинской гвардии их великий труд — незаметный порой, изнуряющий, однообразный: труд печатника, переписчика, транспортировщика литературы, труд связного, сигнальщика, корректора... В этом смысле характерно высказывание Иосифа Пятницкого, одного из самых крупных труженников революционного подполья и мастеров конспирации (оно приведено в очерке Александра Мельникова). «После II съезда,— писал Пятницкий в 1921 году,— я остался один для всех дел, которые были в Берлине. Сравнивая работу, которую я делал тогда, с аналогичной работой в наших условиях, я прихожу к выводу, что теперь для такой работы понадобились бы, наверно, заведующий, заместитель заведующего, шифротдел, конторщики, машинистки, секретари и т. д. Тогда же никому и в голову не приходило привлекать для этой работы еще постоянных работников». Поучительное высказывание, не правда ли?

Я уже отмечал выше очерк С. Львова о Дубровинском. Позвольте привести одну небольшую выдержку: «Есть в его жизни дни и месяцы, о которых не осталось никаких данных: он думал не о том, что когда-нибудь в будущем будут изучать его биографию, а о том, что нужно соблюсти все правила конспирации: не вел дневников и записных книжек, а мемуары написать не успел».

Речь идет о Дубровинском. Но ведь с таким же правом это можно сказать о многих и многих выдающихся деятелях революции. Как же поступить писателю, если в биографии избранного им героя не все прослежено до конца, если встречаются «белые пятна»? Исследовать, искать, открывать. Это очень увлекательное дело. Ну, а если не нашел? Так и скажи.

Есть, конечно, у художника и право на

домысел. Но дорисовывать недорисованный портрет можно лишь тонким пером, проникнув сознанием ответственности за свое дело. Что греха таить — наша биографическая литература не полностью еще освободилась от такой дурной беллетризации: вымышленных диалогов, придуманных авторами размышлений героя, навязанных ему слов и дел, всякого сорта вводных «картинок» и тому подобного. Не избежала их, к сожалению, и рецензируемая книга.

Ну зачем, спрашивается, понадобилось Александру Тверскому в очерке о Баумане столь подробно и «красочно» описывать по-молвку революционера или приводить «вставной эпизод» с директором Строгановского училища неким камергером Глобой? Яркая жизнь Николая Баумана отнюдь не нуждается в подобной «расцветке».

Цветисто-выспренный стиль и манерничание присущи очерку Александра Голембы о Богдане Мирзаджановиче Кнунянце. Всякого рода «уютные берега детства», «течет река его жизни», «завистливая даль веков» и «стальная пружина логики, свернутая до поры», — вся эта трескучая фразеология находится в явном противоречии с цитируемыми в очерке документами и — что самое печальное — заслоняет образ героя.

Еще в нескольких очерках книги имеются — в большей или меньшей степени — недостатки такого рода. Есть и просто неудачные работы. К таким приходится отнести очерк Бориса Могилевского о Л. Б. Красине. Досадно мало, скороговоркой рассказано об этом баятельном революционере, которого Луначарский назвал одним из маршалов Ильича.

В очерке Владимира Беляева и Алексея Снегова, вдвоем написавших о Николае Алексеевиче Скрыпнике, поражают бедность языка, обилие канцеляризмов и порой все та же маловразумительная скороговорка...

К счастью, удач в книге куда больше, нежели пробелов. Чувствуется, что редакция проведена большая. Кое в чем даже слишком... Я говорю об эпиграфах, преимущественно стихотворных, которые предваряют каждый из очерков. Не так-то просто было подыскать сорок подходящих отрывков, да таких, чтобы они органически впились в текст. Не всегда это удается. И, по правде говоря, не всегда оправдано. По-видимому, предполагалось, что эпиграфы как

бы свяжут единым замыслом все сорок разностильных произведений. Наивно... А вот рисованные портреты героев — каждый над заглавием соответствующего очерка — имеют не только самостоятельный интерес, но и придают книге единую структуру.

Удивляет отсутствие в книге справочного аппарата — списков литературы, даже обычных ссылок к цитатам. Почему редакция не идет навстречу читателю, который, заинтересовавшись материалом, захочет узнать, откуда он взят?

В своем кратком предисловии Е. Д. Стасова похвалила московских писателей, которые впервые создали сборник о тех, кто был у истоков партии. Но, продолжает она, «литераторы не должны посчитать свою

задачу завершенной. Мне кажется, сборник будет расти, пополняться от одного издания к другому и станет своеобразной антологией о старой гвардии коммунистов-ленинцев нашей отчизны».

К этим словам хочется от души присоединиться. Рецензируемый сборник следует рассматривать лишь как начало большой и серьезной творческой работы. К ней надо привлечь писателей союзных республик и областей, историков, музейных и архивных работников. И соединенными усилиями создать художественные биографии многих и многих большевиков-ленинцев. Тех, кто, глядя на сегодняшние огни, мог бы по праву сказать: нами зажжено!

Павел ПОДЛЯШУК.

★

## ПОМОЩЬ ДРУГА

В. В. Рымалов. СССР и экономически слаборазвитые страны. Соцэнгиз. М. 1963. 191 стр.

Читая эту книгу, я вспомнил недавнее заседание правления Общества советско-арабской дружбы. Выступал профессор Комзин — бывший главный эксперт по строительству Асуанской плотины. С юношеским задором говорил он о грандиозной стройке на Ниле. «Наших специалистов можно по праву назвать чрезвычайными и полномочными представителями Советского Союза в Объединенной Арабской Республике, — сказал Иван Васильевич. — Дело не только в том, что они с честью представляют нашу страну за рубежом, — видели бы вы, с каким почтением относятся арабы к экскаваторщикам Клементьеву, Слепухе или Дузику, которые в пятидесятиградусную жару, в тяжелейших условиях пустыни показывают, как умеют по-социалистически работать наши люди. Но, повторяю, дело не только в этом. Наши специалисты являются проводниками внешней политики Советского Союза. Своим трудом они претворяют в жизнь советские принципы помощи национально-освободительной борьбе народов».

Без всякого приумаления роли советской дипломатии можно согласиться со словами профессора Комзина. Сегодня вместе с дипломатическими сотрудниками с честью представляют СССР за рубежом рабочие, инженеры, ученые.

Нет ничего случайного в том, что государство, которое впервые в истории ликвидировало эксплуатацию человека человеком, протянуло руку братской помощи народам, ведущим борьбу за окончательное освобождение от иностранного гнета, за национальную независимость. В. Рымалов цитирует обращение К. Маркса к пролетариям с призывом «добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами». Развивая идеи Маркса, В. И. Ленин пришел к выводу, что помощь народам, которые борются за независимость и прогресс, является международной задачей советского социалистического государства.

В книге «СССР и экономически слаборазвитые страны» показано, как с каждым этапом развития мирового социализма создавались условия, все более благоприятствующие борьбе народов за национальное освобождение.

Начало процессу развала позорной колониальной системы империализма положил Великий Октябрь. Сам факт уничтожения капиталистического и национального гнета на одной шестой части земного шара оказал сильнейшее революционизирующее воз-

действие на все народы. «Разве вы можете отгородить Индию от новых венений колючей проволокой...— говорил в индийском парламенте в 1929 году Мотилал Неру, отец нынешнего премьер-министра Индии, обращаясь к представителям английской колониальной администрации.— Прошли те времена, когда вы могли это сделать. Коммунисты — это люди, достойные всяческого уважения...»

Качественно новую обстановку в мире создало превращение социализма в мировую систему. Крах колониальной системы империализма стал очевидным фактом. Национально-освободительная борьба вырвала десятки стран из тисков иностранного политического господства. И что весьма характерно — мировой империализм фактически утратил способность восстановить свои позиции в освободившихся странах.

Социалистический щит оградил молодые государства от лобовых вооруженных атак колонизаторов. Опыт послевоенных лет свидетельствует, что империализм ныне не может предпринять не только крупной военной, но и экономической акции против молодых государств без того, чтобы не встретить самого решительного противодействия объединенных сил национально-освободительного движения и социализма. В. Рымалов показывает, привлекая большой фактический материал, как расширение внешней торговли и экономического сотрудничества слаборазвитых и социалистических государств ликвидирует монополию империалистических держав на закупку сырья, поставку промышленного оборудования, предоставление кредитов слаборазвитым странам. Монопольное положение империалистических держав всегда использовалось как орудие сохранения и закрепления иностранного господства над экономически менее развитыми странами. Теперь с этим покончено.

Империалистам не удалось задушить в тисках экономической блокады ни Кубу, ни Египет. Закончились крахом их попытки добиться империалистических целей путем экономического давления на Гвинею, Гану, Бирму и некоторые другие страны.

Помощь Советского Союза и других социалистических государств слаборазвитым странам меняет международный климат. Империалистическим хищникам становится день ото дня все труднее осуществлять свои планы, направленные на сохранение

иностранного влияния на территориях, еще недавно бывших заповедниками колониализма.

Можно встретить обывателей, которые говорят: «Неужели у нас всего в избытке, что мы еще и другим помогаем?» Нет, не потому мы оказываем помощь молодым государствам, что в СССР есть избыточные средства, которые не могли бы быть использованы в нашем народном хозяйстве. «Советское государство,— говорится в книге,— считает возможным и необходимым выделять значительные материальные и финансовые средства для оказания помощи экономически слаборазвитым странам. Тем самым оно вносит свой посильный вклад в дело освобождения народов этих стран от нищеты, экономической отсталости, колониальной эксплуатации и насилия со стороны империалистических держав и иностранного монополистического капитала... Оказывая материальную поддержку слаборазвитым странам, Советский Союз, как и другие социалистические государства, исходит из того, что быстрый экономический прогресс в слаборазвитых странах на основе ликвидации всех форм и пережитков колониализма отвечает интересам всего человечества, интересам борьбы против империализма».

Советский Союз оказывает техническое содействие в строительстве четырехсот восьмидесяти различных народнохозяйственных, культурных и других объектов в Индии, Индонезии, Цейлоне, Непале, Бирме, Камбодже, Афганистане, Ираке, ОАР, Йемене, Гане, Гвинее, Мали и других странах. Империализм остановил развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Мировой социализм помогает им преодолеть вековую отсталость. Разве это не является еще одним свидетельством того, что будущее принадлежит социализму?

Предприятия, которые построены или будут построены с помощью Советского Союза, являются значительным вкладом в дело индустриализации экономически слаборазвитых стран. Достаточно сказать, что они обеспечат ежегодное производство около трех миллионов тонн чугуна, трех миллионов тонн стали, более двух с половиной миллионов тонн угля. А мощность электростанций, которые будут построены в молодых государствах Азии и Африки с помощью СССР в соответствии с имеющимися

обязательствами, составит более четырех миллионов киловатт.

Но, несмотря на всю важность количественных показателей, все-таки не они одни определяют значение советской помощи слаборазвитым в экономическом отношении странам. Подготовка национальных кадров, которые смогут эксплуатировать строящиеся предприятия и сооружать новые, является обязательным элементом экономического сотрудничества развивающихся стран с Советским Союзом. В книге В. Рымалова приводятся яркие слова директора Бхилайского комбината Шривастава: «В Бхилай был подготовлен могучий отряд строителей — индийских инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих. Советские специалисты с радостью передают свои технические знания индийским коллегам. Можно надеяться, что очень скоро индийцы будут способны взять на себя всю ответственность за управление различными объектами завода. Кадры индийских специалистов, обученные... здесь, в Бхилай, не только выполняют стоящие перед ними задачи на этом заводе, но и будут приносить пользу всюду, где могут потребоваться их знания и опыт. Не только сталь, но также бхилайцев — людей, выросших вместе с заводом, — вот что дала Индии стройка в Бхилай». Таков же результат советской экономической и технической помощи, оказываемой и другим странам.

Автор выпукло показывает империалистический характер экономических отношений развитых капиталистических государств со слаборазвитыми. На этом фоне еще контрастнее выглядят бескорыстие, интернационализм, величайшая ответственность за судьбы мира — то есть все то, что характеризует нашу помощь молодым развивающимся государствам.

Уже после того, как книга В. Рымалова была сдана в набор, в Соединенных Штатах разгорелась дискуссия по вопросам «помощи» иностранным государствам. вскрывающая подоплеку американской «щедрости».

В конце 1962 года президент Кеннеди направил в конгресс послание по вопросам помощи иностранным государствам на следующий финансовый год — конгресс сократил на один миллиард испрашиваемую сумму. Тогда Кеннеди создал «беспристрастную» комиссию во главе со своим доверен-

ным лицом генералом Клеем и, выслушав ее рекомендации, снова обратился к конгрессу. Тут уж Кеннеди постарался показать, что говорится, «товар лицом». В послании президента, в «рекомендациях» комиссии Клея, в выступлениях многих официальных и полуофициальных лиц сквозила подчас даже циничная откровенность о том, какое огромное значение имеет «помощь» в деле осуществления имперской политики США. В докладе комиссии Клея говорится, например, что основную часть «помощи» США сейчас получают страны, граничащие с социалистическими государствами. Эти страны «предоставляют более двух миллионов вооруженных людей, готовых в значительной части ко всем неожиданностям». Платой за «пушечное мясо» называет прогрессивная печать американскую «помощь» этим странам.

А вот другое свидетельство. Оно принадлежит первому руководителю программы помощи США иностранным государствам Гофману. Он давал показания в подкомиссии американского конгресса. Гофмана спросили, считает ли он, что «без американской помощи некоторые страны, недавно ставшие независимыми, и более старые слаборазвитые страны восприняли бы коммунизм». Он ответил: «Я не могу комментировать вопрос о том, является ли политический подкуп правильным средством. Мое дело — предлагать политическую взятку якобы в целях экономического развития».

Чего же добиваются США, предлагая «политическую взятку»? Бывший заместитель руководителя управления международного сотрудничества доктор Фидджеральд в интервью журналу «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» говорил, что помощь идет на то, «чтобы получить право на базы, добиться поддержки в международных организациях, сохранить дружественные правительства у власти и т. д.». О другой цели американской «помощи» говорится в докладе комиссии Клея: «Мы полагаем, что США не должны помогать иностранным правительствам, создающим государственные и коммерческие предприятия, которые конкурируют с существующими частными предприятиями». Это ли не использование помощи как средства давления на молодые государства, как способ сохранить их эксплуатацию иностранным монополистическим капиталом?

Наконец сам президент Кеннеди со всей ясностью подчеркнул, что «помощь» — не что иное, как орудие экономической экспансии США в страны Азии, Африки и Латинской Америки. По словам президента, американским представителям за границей дана инструкция обуславливать предоставленные «помощи» улучшением условий для частных американских капиталовложений.

Совершенно естественно, что в такой обстановке народы слаборазвитых в экономическом отношении стран все с большим одобрением относятся к политике США и со все большей признательностью смотрят в сторону Советского Союза.

**Е. ПРИМАКОВ,**

*кандидат экономических наук.*

★

## ПОПУЛЯРНЫЕ — ЗНАЧИТ НАРОДНЫЕ...

**Книжная летопись. Указатель серийных изданий 1961. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1962. 321 стр.**

**В** этой книжке более трехсот страниц, напечатанных мелким, убористым шрифтом. И указывает она далеко не всю нашу научно-популярную литературу, а только книги и брошюры, составившие серии и вышедшие в одном только году... Можно ли более убедительно продемонстрировать размах осуществления одной из главных задач книгоиздательского дела в нашей стране?!

Среди тысяч названий, перечисленных в «Указателе», есть множество интересных; большинство изданных книг написано компетентными авторами. И вместе с тем «Указатель» со всей беспристрастностью справочника свидетельствует об отсутствии продуманной системы в важнейшем деле издания научно-популярных книг для самого широкого читателя.

Первое, что потрясает, — это количество изданий. Одних лишь серий — не книг, а серий! — названия которых начинаются со слов «Библиотека» или «Библиотечка», в 1961 году насчитывалось 425!.. (в это число включены также названия, перечисленные в дополнительном выпуске указателя серийных изданий). Однако не следует думать, что наши читатели действительно получили за год более четырех сотен систематизированных библиотек. На поверку оказывается, что то или иное издательство, начав выпуск какой-нибудь «Библиотеки» общего или специального характера и выпустив одну или несколько книжечек, нередко забывает о своих обещаниях и начинает готовить выпуск новой «Библиотеки».

Каких только «Библиотек» не задумывали выпускать! Есть «Библиотечка атеиста», и есть «Научно-популярная библиотека по атеизму». И, кроме того, имеются еще «Библиотечка пропагандиста атеизма» и «В по-

мощь лектору-атеисту». «Библиотечки атеиста» издаются в Горьком, Минске, Донецке, Ленинграде — в каждом городе самостоятельная «Библиотечка», и в каждой такой «Библиотечке» — по две брошюры. В Перми стали выпускать библиотечку «В помощь лектору-атеисту». Выпустили всего одну брошюру.

Кроме «Библиотечки животновода», выпускаемой в разных областях страны, имеются еще и «Библиотечка молодого животновода», и «Библиотечка «За крутой подъем производства мяса», и «Библиотечка передовиков животноводства». Наряду с «Библиотечкой доярки» издается еще и «Библиотека молодой доярки». Музгиз выпускает и «Библиотечку любителя музыки», и «Библиотечку слушателя концертов». В этой многосерийности нет не только системы — нет ни логики, ни смысла. А самое главное — нет никаких ни «Библиотек», ни «Библиотечек». Такое большое и солидное издательство, как «Московский рабочий», в серии «Библиотечка животновода» выпустило в 1961 году всего лишь две книжечки. А в серии «Библиотечка птицевода» в Туле выпущена лишь 1 (одна!) книжечка.

Примеров злоупотребления серийностью и словом «библиотека», к сожалению, немало. В 1961 году Крымиздат начал выпускать «Библиотечку депутата». Нет надобности объяснять, насколько это важно и интересно — обменяться опытом государственной и общественной деятельности. Но издательство, выпустив одну брошюру самого общего содержания под названием «Депутат — слуга народа», выпуск «Библиотечки депутата» на этом прекратило. Такое авторитетное издательство, как Лениздат, начало в 1961 году выпуск «Библиотечки современ-

ной прозы». К концу года выяснилось, что к современной прозе издательство пока лишь отнесло рассказ В. Дягилева «Майский жук». То же издательство, начав в 1961 году выпускать «Библиотечку по эстетике», ограничилось изданием одной книги — В. Устинова «Об эстетическом воспитании».

Подобная же картина наблюдается в обширной семье серий, названия которых начинаются со слов «В помощь...». Таких серий — опять же не книг, а серий! — в 1961 году издавалось 443. И так же, как и в сериях «Библиотек», в определении тематики, количества книг каждой серии не ощущается продуманной системы.

В ряде серий научно-популярных книг, выпускаемых разными издательствами, есть немало — скорее много! — книг интереснейших по своим темам, по содержанию. То, что они научны, не вызывает никаких сомнений. А вот популярны ли?

Этот вопрос вызывается прежде всего одним и очень важным обстоятельством — тиражами. Держишь в руках десятки книг — больших и маленьких, с рисунками и без них, в ярких обложках и в скромных. На титулах мы читаем фамилии с прибавлением слов: «кандидат наук», «доктор наук», «член-корреспондент Академии наук». В книгах рассказывается о вещах и явлениях, которые представляют несомненный интерес для миллионов советских людей. А в выходных данных этих книг обозначено: тираж 8—10—15 (много 20 тысяч) экземпляров... Но ведь такие крошечные тиражи сами по себе противоречат идее популяризации.

Книга Д. Э. Гродзенского «Радиобиология» современна и не может не затронуть читателей. Но Госатомиздат выпустил ее тиражом лишь в 13 тысяч. Из-за недостатка бумаги? Но ведь нашло же это издательство бумагу, чтобы выпустить тиражом 150 тысяч перевод книги Р. Кларка «Рождение бомбы».

Просто здесь действует тот закон научно-популярной литературы, о котором великий ученый и великий популяризатор К. А. Тимирязев еще в 1878 году сказал: «Если оно (научно-популярное сочинение.— Л. Р.) просто не нравится читателю, оно уже не достигает своей цели и, следовательно, осуждено». И, чтобы подчеркнуть свою мысль, повторил: «Первой и последней безапелляционной инстанцией является читатель». Не будем обманывать ни себя, ни других: при-

чина малой «живучести» ряда книг в том, что они не популярны.

Не вызывает сомнений интерес освещаемых в них вопросов. Проблемы освоения термоядерной энергии, влияние на человечество ионизирующих излучений, поиски не существующих на земле элементов, сложнейшие биологические и технические загадки — все это по-настоящему интересно для массового читателя. А то, что эти книги предназначены именно для массового читателя, следует не только из факта их появления в научно-популярных сериях, но и из предисловий к ним издательств и авторов.

Д. Франк-Каменецкий, например, в предисловии к своей книге «Плазма — четвертое состояние вещества» (тираж 12 тысяч) пишет: «Задача книги — способствовать ознакомлению начинающего читателя с наукой о плазме». Д. Франк-Каменецкий доказывает своей книгой, что ему свойствен не только талант ученого, но и талант популяризатора — умение просто, доходчиво и образно рассказывать о самых сложных вещах. Первые две главы его книги написаны увлекательно и общедоступно. А дальше начинаются страницы формул и мало объясненных или же совсем не объясненных терминов современной физики: «квазинейтральность», «лэнгмюровские колебания», «автоэлектронная эмиссия»... Мы узнаем, что ученым удобно пользоваться «шестимерным фазовым пространством». Часто встречаем в книге выражение «постоянная Больцмана». Автор в скобках «объясняет», что это «универсальная газовая постоянная, деленная на число Авогадро»...

Конечно, необходимые формулы, упоминание таких терминов, как «камера Вильсона», «парамагнитный резонанс», «высокая энергия», «поглощающая энергия» и т. д., не затрудняют чтения книги врачам, инженерам, студентам. Но что же делать другим читателям? А ведь и они имеют право на то, чтобы из книг, рекомендуемых как «популярные», узнать о том, что для них важно и интересно!

Да, современная наука по своей сложности, по трудности изложения ее предмета несобственным языком наук несравнима с темами старых научно-популярных книг, объяснявших, что такое атмосферное электричество или круговорот воды.

Но означает ли это, что характер современной науки исключает возможность ее популяризации? Сказать так — значит пере-

черкнуть богатейший мировой опыт научно-популярной литературы. Вспомним, что в прошлом столетии наиболее излюбленной темой научно-популярных книг была астрономия. Та самая наука, которая целиком построена на сложнейшей математике. Фламарион был не только популяризатором — он был крупнейшим ученым-исследователем. Но в своих знаменитых книгах он не ставил своей задачей приведение всей суммы доказательств. Ему нужно было показать ход мысли исследователя, выводы, к которым он пришел.

Наш соотечественник и современник Б. А. Воронцов-Вельяминов — крупнейший специалист по исследованию новых звезд и газовых туманностей. Но в своей большой и талантливой практике популяризатора ему никогда не приходило в голову приводить математические доказательства своих открытий.

Ибо задача научно-популярной книги — не только образовывать, но и воспитывать! Увлекать своего читателя неограниченными возможностями человеческого ума, открывать перед ним новые горизонты творчества, демонстрировать глубокое вторжение человека в тайны природы. Мастер нашей научной популяризации Я. И. Перельман, оставивший после себя целую библиотеку «занимательных» книг, доказал, что и современная наука может быть предметом популяризации. Только для этого нужны не средства математики, а средства литературы.

Именно литературное качество книги, а не сложность самого предмета науки часто снижает доходчивость многих интересных и важных по теме книг. Мы это видим на примере тех, которые написаны о явлениях, очень далеких от математики и каких бы то ни было формул. Сплошь и рядом мы читаем страницы, исписанные тем тяжелым, псевдоученым языком, которым пользуются многие авторы диссертаций и монографий в странном предположении, что языку науки противопоставлены богатство и образная сила живого русского языка.

Перед нами книга Н. Тарасова «Живые звуки моря» — книга, по теме своей интересная для всех, наполненная живыми наблюдениями. Но мы в ней почти непрерывно читаем вот такие фразы:

«Своеобразным практическим подтверждением высказанного соображения служит применяемый индонезийцами способ сзыва-

ния одной из тамошних рыб ловцом, погруженным по грудь в воду и выпускающим специфические крики».

«Бутылконос оказался наиболее одаренным как в отношении испускания, так и восприятия звуков».

«Велика роль морских петухов в гидроакустике, поскольку они выпускают звуки не только круглосуточно, но и в течение всего года или большей его части».

В книге, которая должна быть наполнена поэзией природы, тайн ее загадок, мы постоянно сталкиваемся с казенно-обкатанными словами, осуждаемыми даже в канцелярских бумагах: «Есть указания и на рев дюгоней...», «Есть данные, что ревушие звуки издают...», «Число известных звукопроизводящих видов все время увеличивается», «В соответствии со сказанным выше, крики, испускаемые...»

Композиция, стиль, язык — элементы чисто литературные — имеют для научно-популярной книги значение не меньшее, пожалуй, нежели тема книги. Совсем не лишне в этой связи вспомнить знаменитое высказывание В. И. Ленина о требованиях к автору научно-популярной книги. Он писал: «Популярный писатель подводит читателя к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых простых и общеизвестных данных, указывая при помощи несложных рассуждений или удачно выбранных примеров главные выводы из этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие и дальнейшие вопросы». Владимир Ильич решительно выступал против такого популяризатора, который предполагает читателя не думающего и «...в уродливо-упрощенном, посоленном шуточками и прибаутками виде, преподносит ему «готовыми» все выводы известного учения, так что читателю даже и жевать не приходится, а только проглотить эту кашу».

К сожалению, у нас еще немало авторов, которые отказываются от «несложных рассуждений» и «общеизвестных данных» и в то же время для «оживления» прибегают к тем самым «шуточкам и прибауточкам», которые приводят, как писал Владимир Ильич, к «дурного тона популярничанью». Это тем более досадно, что и те и другие грехи встречаются в книгах не халтурных, а вполне серьезных и интересных. Вот только что вышедшая в издательстве «Знание» небольшая книжечка кандидата биологических наук В. Ф. Гавриленко «Работа корня». Для не-

подготовленного читателя эта книжка будет трудна, ибо автор обильно пользуется понятиями и терминами специального характера. В. Гавриленко полемизирует с австралийскими учеными Хоупом и Стевенсом, которые считают, что «часть объема корней открыта для свободной диффузии ионов». Но при этом совершенно не объясняет, что же такое «ионы» в физиологии растения.

В этой книжке наряду с огромным обилием терминов и понятий: флоэма, ксилема, анионы, катионы, макроэргические связи, меристемы — им нет числа! — автор для «оживления» прибегает к «классике». Он пишет:

«В поэтической басне «Листы и корни» И. А. Крылов сравнивает корни растения с темным рабочим людом, с теми:

*Чьи работают грубые руки,  
Предоставив почтительно нам  
Погружаться в искусства, науки,  
Предаваться страстям и мечтам».*

При этом В. Ф. Гавриленко ничуть не смущает, что приведенная ею строфа принадлежит не Крылову, а Некрасову. Но суть не только в этой небрежности. Дело в том, что автор, видимо, считает недостаточно живым и интересным самый предмет, о котором пишет. И отсюда — стремление вводить в научно-популярную книгу стихи, анекдоты и прочий реквизит «художественности».

Скромные, небольшие книжечки, выпускаемые издательством «Знание», привлекают, как правило, — темы их оригинальны и написаны эти книжки крупными специалистами. Можно предположить, что читатели черпают в них самые новые и важные знания «из первоисточника». Но — увы! — это далеко не так. Стоит прочитать некоторые из этих книг — и окажется, что они тоже меньше всего рассчитаны на массового читателя-неспециалиста. Для него они практически недоступны. Вот перед нами брошюра, написанная профессором Ф. Куперман «Биологический контроль на службу урожая». Тема актуальная, рассчитанная, казалось бы, на миллионы! Но автор не сделал ничего, чтобы перевести привычный ему «язык науки» на язык, понятный каждому, в том числе и специалисту. Автор другой брошюры К. Кондратьев в работе «На грани живого» пишет о фагах. И точно так же, как большинство других авторов этого издательства, не дает себе

труда подумать о читателе. Он пишет: «Индукторами называют все, что стимулирует освобождение фага лизогенной культуры...» Понятно?

Впрочем, многое становится понятным, когда мы смотрим на тиражи этих книжек. 20—23—25 тысяч экземпляров... Значит, и они предназначены не для массового читателя, получающего знания «из первых рук», а для «посредников» — для лекторов. Но если издательство «Знание» так и планирует выпуск своих брошюр-лекций — только для лекторов, — то этим нельзя отговариваться, когда речь идет о другом издании — о «Народном университете культуры». Ведь такое издание должно быть рассчитано действительно на самого широкого и неподготовленного читателя. И, если знакомиться с этим «университетом» только по обложкам книг, может показаться, что так действительно и делается. «Университет» разделен на ряд «факультетов», во главе издания стоят авторитетные деятели науки. Только в 1961 году в серии «Естественнонаучного факультета» вышло двадцать пять названий.

Но стоит лишь выйти за пределы обложки и хотя бы бегло просмотреть эти книжки, как становится очевидным, что мы имеем дело с изданием, находящимся в резком противоречии со своим названием и назначением. Начать с того, что тиражи книг «Народного университета» колеблются в пределах 10—15 тысяч экземпляров... Какой уж тут «народный»! Впрочем, содержание серии объясняет столь странное явление. Вот перед нами 23-й выпуск «Народного университета культуры», его «Естественнонаучного факультета». Это книжка профессора С. М. Фейнберга «Атом и атомное ядро». Из издательской аннотации к книжке мы узнаем, что брошюра «представляет собой теоретическую часть работы о строении атома» и что «в брошюре популярно рассказывается о строении атома и атомного ядра». Если первая часть аннотации достоверна вполне, то второе утверждение ничего общего с действительностью не имеет. На страницах брошюры непонятные для специалиста формулы, изложение сложнейших проблем ядерной физики перебиваются общезвестными по газетам и журналам фактами. Специалисту такая брошюра малоинтересна. Неспециалисту она недоступна. Тираж ее — 16 тысяч.

Огромный интерес к совершенно новой науке — квантовой радиофизике, открываю-

шей перед человечеством фантастически захватывающие возможности! Как не порадоваться тому, что «Народный университет» откликнулся на любознательность читателя изданием брошюры А. Баженова «Новая наука — квантовая радиофизика!» Но что же может дать этому читателю брошюра в тридцать восемь страниц, в которой сухо, скороговоркой, малопонятно говорится о сложнейших явлениях? И надо ли удивляться, что эта брошюра «Народного университета» издана смехотворно малым тиражом — в 6100 экземпляров?!

Из «Указателя серийных изданий» совершенно очевидно, что в большинстве наших «серий» научно-популярных книг отсутствует главное, чем они должны отличаться, — ступенчатость, энциклопедичность, при которой систематизированно, логично, доступно, из выпуска в выпуск излагалась бы современная наука. Почти во всех сериях темы книг возникали лишь потому, что нашелся автор, следовало «отразить» новое, выдающееся достижение науки или юбилейную дату. Но ведь весь смысл серийности заключен в их комплектности. В том, что читатель имеет перед собой библиотечку последовательных, развивающихся знаний. И что эта библиотечка служит не для удовлетворения только сегодняшней любознательности, а для того, чтобы ею могли пользоваться разные люди, разные поколения. Чтобы они были ступенями и развития науки, и развития читателя.

Нам стоит почаше вспоминать об опыте русских дореволюционных популяризаторов, несмотря на несопоставимость объема научно-популярных книг прежде и теперь. Такой выдающийся теоретик и практик по-

пуляризации, как Н. Рубакин, одну из главнейших своих задач усматривал в том, чтобы помочь читателю свободно ориентироваться в книжном мире, чтобы он без особых усилий мог найти нужную ему книгу. В своих замечательных работах «Среди книг» и «Практика самообразования» он исходил не только из того, что существуют разные книги, но и разные читатели, что в выборе нужной книги имеет значение не только утилитарный интерес к теме, но и особенности автора, особенности читателя. В любопытнейшей таблице, составленной Н. Рубакиным, он делит книги не только по областям знания, но и по их характеру.

Можно, конечно, улыбнуться несколько наивному стремлению втиснуть все огромное разнообразие книг в стройную и универсальную таблицу. Но нельзя не проникнуться уважением к вниманию этого человека к читателю, к его особенностям, характеру, личным запросам.

Необходимо, чтобы в издании научно-популярной литературы была руководящая идея, чтобы сотни издателей и тысячи редакторов отчетливо представляли себе назначение и точный адрес каждой из научно-популярных книг. И снова хочется вспомнить Н. Рубакина, который требовал от научной популяризации, «во-первых, научных знаний, во-вторых, умения мыслить, в-третьих, бодрого увлекательного настроения, столь необходимого для творческой работы во всякой области жизни...»

Прибавим к этому: особенно в такой жизни, когда создается великое коммунистическое общество!

Лев РАЗГОН.



## ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ

Развитие социалистической культуры в союзных республиках. Сборник статей. Под редакцией Г. Г. Карпова. Госполитиздат. М. 1962. 612 стр.

«Красный Октябрь,— говорил В. И. Ленин в беседе с Кларой Цеткин,— открыл широкий путь для культурной революции величайшего масштаба, которая осуществляется на основе начавшейся экономической революции, в постоянном взаимодействии с ней. Представьте себе миллионы мужчин и женщин, принадлежащих к различным национальностям и расам и стоящих на различных ступенях культуры,— все

они теперь устремились вперед, к новой жизни. Грандиозна задача, стоящая перед Советской властью. Она должна за годы и десятилетия загладить культурный долг многих столетий».

И действительно, в течение жизни одного поколения бывшие окраины России догнали с отсталостью, невежеством, нищетой и поднялись до уровня передовых стран мира. На эту вершину их поднял социа-

лизм, единственный строй, который, по яркому выражению Анри Барбюса, рождает культуру одновременно с материальной мощью так же, как электричество дает одновременно энергию и свет.

На большом конкретном материале авторы статей рецензируемого сборника стремятся показать процесс культурного развития союзных республик. Правда, не всем это удается в равной мере: некоторые из очерков носят весьма обзорный характер, особенно разделы, относящиеся к литературе и искусству. Однако все же книга в целом дает читателю много свежих, ярких фактов, цифр, документов, примеров.

В книге показана руководящая роль Коммунистической партии в осуществлении культурной революции в республиках. Ленинские революционные преобразования имели решающее значение в развитии культуры социалистических наций. В статьях анализируются решения партии и Советского правительства на всех этапах культурного строительства, приводятся интересные и яркие документы. Среди них — малоизвестная речь М. И. Калинина о раскрепощении женщин Туркмении, блестящее выступление С. М. Кирова на III съезде Советов Азербайджана и другие.

Одной из самых значительных побед культурной революции явилось формирование народной социалистической интеллигенции. В книге рассказывается, как с помощью партии и Советского государства готовились национальные кадры специалистов во всех республиках, какую неоценимую помощь оказывал им русский народ.

Культура общества во многом определяется положением женщины. Вот почему так важно показать положение женщины сейчас, особенно в среднеазиатских республиках. Автор очерка по истории культуры Туркмении, одна из ведущих ученых республики Б. Пальванова приводит факты былого бесправия женщин-туркменок, узаконенного шариатом, обычаями веков, экономической отсталостью республики. С тем большим интересом читаем мы страницы, на которых рассказывается о создании при партийных комитетах отделов по работе среди женщин, о декретах советской власти, отменяющих позорный калым, о создании женских школ-интернатов.

Полной драматизма была борьба за раскрепощение женщины. Сквозь толщу

предрассудков, сквозь препоны лжи, насилия, эксплуатации пробивались прекрасные ростки новой жизни, нового быта. Ведь даже через десять лет после Октябрьской революции — в 1928 году — один из представителей мусульманского духовенства заживо закопал свою жену, посмевавшую снять паранджу. В 1928—1929 годах около четырехсот передовых дочерей узбекского народа было убито классовым врагом за стремление к свету, к знаниям. А сегодня только в Узбекистане свыше восьмидесяти тысяч женщин имеют высшее и среднее специальное образование. Они работают инженерами, врачами, агрономами, руководят органами народного образования. Перед нами проходит галерея женщин — депутатов Верховного Совета.

На глубоко народной основе создается новая советская культура социалистических наций; достижения одних народов обогащают другие. И смехотворно звучат «обвинения» одного из американских «деятелей» культуры Рене Маккола, усмотревшего наличие «советского колониализма» в том, что на сцене узбекского театра идет опера Чайковского «Евгений Онегин»!

В книге приводятся факты, свидетельствующие о том, как царское правительство глушило народное творчество, подавляло традиции национального искусства и литературы. Так, например, в Белоруссии в 1913 году на белорусском языке была издана только одна (!) книга, а на Украине самодеятельному хору под руководством Н. Лысенко было запрещено петь на родном языке даже невинную украинскую песню «Дощик, дощик», и хор исполнял ее... по-французски. В свете этого с особой силой воспринимаешь цифры об издании и переиздании украинской литературы в наше, советское время. Произведения Т. Г. Шевченко издавались у нас 250 раз, И. Франко — 447 раз, М. Коцюбинского — 372 раза... .

Однако хотелось бы видеть в книге более глубокий анализ того, как замечательное наследие прошлой культуры становится достоянием социалистических наций. Этот важнейший вопрос в истории советской культуры не разработан по-настоящему. Не сказано в книге и о том, что в течение четверти века вопросы культурного наследия зачастую решались вульгаризаторски, а случайные реплики Сталина становились основополагающими «теоретическими» по-

строениями. Только в наше время киргизский, узбекский, бурятский и другие народы вновь обрели свой эпос, объявленный в годы культа личности антинародным хламом.

Недостаточно глубоко показано в очерках, что фронт культурного строительства был ареной жестокой и непримиримой борьбы с классовым врагом. Советская культура формировалась и крепла в острой идеологической борьбе. Авторы как бы торопятся поведать читателю больше фактов обо всех сторонах культурного творчества своих республик. И, видимо, поэтому в статьях мало раздумий, выводов, обобщений.

«...В сборнике перед нами проходят культуры различных наций Советского Союза, — пишет во вступительной статье Г. Карпов. — Что обращает на себя внимание, когда пытаешься проникнуть в их суть, понять через них душу народов, их создавших? Это прежде всего общность идейных устремлений, целей, интересов, иными словами — общность духовного облика, единство мироощущения и миропонимания. Это сказывается во всем: в системе литературно-художественных образов, в содержании песен, в проблематике научных исследований, в образе жизни». Верные мысли! Хотелось бы только видеть в книге раскрытие этого процесса исторического становления новой, социалистической культуры.

Авторы статей также слабо раскрывают процесс взаимного обогащения, взаимного влияния национальных культур. Думается, следовало обстоятельно показать, что национальные формы, как это указывается в Программе КПСС, не окостеневают, а видоизменяются, совершенствуются и сближаются между собой, что развивается общая для всех советских наций интернациональная культура коммунистического общества.

В статьях встречаются поучительные данные об участии ученых наших республик во всемирных научных конгрессах Европы, Азии, США. Однако этот материал дан слишком скупое. А ведь за ним кроется явление исторического значения, которое представляет сегодня черту нашей эпохи.

Всемирное значение культурной революции, осуществленной советскими народами, невозможно переоценить. За короткий срок достигнут такой качественный скачок, такой революционный переворот в культуре,

который начисто опровергает обветшалые теории и догмы буржуазных идеологов.

Тщетны попытки историков и социологов империализма делить народы мира на исторические и неисторические, утверждать европоцентризм, устанавливать перегородки, национально-ограничительные рамки для развития культуры. В условиях социализма разбиты в прах буржуазные легенды о том, что лишь избранные народы идут по столбовой дорожке культурного развития. Это показывает убедительно и наглядно вся история культуры социалистических наций.

Культура социализма не только вышла в один ряд с признанными научными достижениями века, но опережает их. Она олицетворяет все светлое, прогрессивное, гуманное. Культура свободных советских народов — передовая сила растущего и крепнущего лагеря социализма, надежда угнетенных народов в борьбе за освобождение, за прогресс.

Ведь в наши дни, в середине XX века, половина человечества еще не умеет ни читать, ни писать, а двести пятьдесят миллионов детей лишены возможности учиться в школе!

К сожалению, международное значение культуры социалистических республик и ее действенная и активная борьба за мир нашли чрезвычайно бледное отражение на страницах рецензируемой книги.

После XX съезда КПСС вместе со всей исторической наукой сделала большой шаг вперед и история советской культуры. Во всех республиках изданы книги по истории строительства социализма. Немалое место отводится в них истории советской культуры. Вышли в свет интересные монографии по истории национальных литератур, изобразительного и театрального искусства отдельных республик. Большая армия историков работает над проблемами культурной революции в нашей стране.

Недавно Институтом истории искусств, Институтом мировой литературы имени А. М. Горького изданы новые двух- и трехтомные издания по отдельным отраслям культуры, а Академией педагогических наук — труды по истории народного образования. Но, как указывал академик Б. Н. Пономарев в своем докладе на Всесоюзном совещании историков: «Нам нужны труды по истории культуры, в которых раз-

витие всех ее составных частей рассматривалось бы в совокупности и взаимосвязи, как неотъемлемая часть общен исторического процесса». У нас же огромная творческая работа по созданию истории советской культуры идет разобщенно. Требуется совместное выяснение многих спорных вопросов, обмен мнениями, творческие дискуссии с участием всех тех, кто посвятил себя делу изучения истории советской культуры.

Назрела наконец необходимость создать полную и яркую историю советской культуры. К ее подготовке следует привлечь писателей, историков, искусствоведов, педагогов, ученых. Это издание представляется как прекрасно иллюстрированное, снабженное фотографиями, репродукциями, портре-

тами, хорошим научно-справочным аппаратом. Такая книга очень нужна молодому поколению. Ее возьмут на вооружение и наши зарубежные друзья, ибо расцвет культуры — это яркий показатель всех наших успехов.

«В культурном подъеме народа,—говорил Н. С. Хрущев,—партия видит залог победоносного коммунистического строительства. Наша страна находится на завершающем этапе культурной революции, основным содержанием которого является создание всех необходимых идеологических и культурных предпосылок коммунизма».

**Л. ЗАК,**

*кандидат исторических наук.*



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ — ЛЕНИНСКИЙ КУРС ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.** Предисловие и общая редакция А. А. Громыко. Издательство ИМО. М. 1962. 304 стр. Цена 1 р.

Это очень нужная, полезная книга, и появилась она вполне своевременно.

Принцип мирного сосуществования государств с разными социально-экономическими системами подвергается сейчас усиленному обстрелу. Его атакуют историки и политики капиталистического лагеря, которые, фальсифицируя недавнее прошлое, стремятся доказать, будто бы Ленин был противником сосуществования и будто бы сугубо подчеркивание коммунистами этого принципа в настоящее время является чисто конъюнктурным маневром с целью усыпить бдительность так называемого «свободного мира», чтобы исподтишка напасть на него и уничтожить.

Но принцип сосуществования атакуют также догматики, которые стараются доказать, будто бы последовательное проведение данного принципа представляет собой отступление от истинного смысла ленинизма.

Книга, о которой идет речь, ставит все на свое место. Она охватывает все важнейшие аспекты проблемы сосуществования. В ней убедительно доказывается, что принцип мирного сосуществования отнюдь не является конъюнктурным маневром, а составляет одну из основных идей ленинизма, развитых Владимиром Ильичем еще до Октябрьской революции (в статьях «О лозунге Соединенных Штатов Европы» в 1915 году и «Военная программа пролетарской революции» в 1916 году). В книге показано также, что эта основная идея нашла свое наглядное выражение в практике внешней политики СССР на всем протяжении его существования.

Если Советское правительство особенно настойчиво подчеркивает важность принципа мирного сосуществования после XX съезда КПСС, то это объясняется изменениями, происшедшими в мире после войны 1939—1945 годов: с одной стороны, общее соотношение сил между социализмом и капитализмом сейчас совсем не то, что было в предвоенные годы; с другой стороны, с наступлением атомного века разрушительная сила оружия колоссально возросла, и потому

третья мировая война обошлась бы человечеству неизмеримо дороже, чем вторая. В сложившейся обстановке война перестала быть неизбежностью. При надлежащей активности и вместе с тем гибкости сил мира, в первую очередь сил социалистического лагеря, третьей мировой войны можно не допустить. Вот почему вполне естественно и законно, что КПСС сейчас, в новых условиях, поставила в центре своего внимания проблему мирного сосуществования.

Все это хорошо и убедительно рассказано в рассматриваемой книге. Предисловие А. А. Громыко удачно обобщает ее содержание и является интересным введением к тем поучительным положениям, фактам и цифрам, которые читатель находит на последующих страницах.

Очень желательно, чтобы эта книга была издана на иностранных языках.

Академик И. Майский.

★

**ОГНИ ПАРТИЗАНСКОЙ ДРУЖБЫ.** Госиздат БССР. Минск. 1962. 420 стр. Цена 57 к.

Этот сборник подготовлен к печати издательством «Освета» (г. Братислава) и Институтом истории Академии наук БССР. Он появился в результате литературного сотрудничества советских и чехословацких патриотов, братьев по оружию — активных участников партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. В книге помещены воспоминания тридцати чешских и словацких и двадцати белорусских и русских партизан.

Заслуга авторов воспоминаний в том, что они рассказали в своей книге о массовом переходе чехов и словаков на сторону партизан. В сборнике много увлекательно написанных эпизодов о совместной борьбе чехословацких и белорусских народных мстителей против гитлеровцев, о том, как в этой борьбе крепла братская дружба народов. Особенно подробно говорится о боевых действиях первого чехословацкого партизанского отряда, которым командовал капитан Ян Налепка — бывший начальник штаба 101-го полка словацкой дивизии.

В книге нет нагромождения фактов. События интересуют авторов в той мере, в ка-

кой они раскрывают основную идею повествования и характеры людей. Отрадно отметить отсутствие общих рассуждений, штампованных описаний боевых операций, уже набивших оскомину читателю. Авторы пишут только о лично пережитом и увиденном.

Бор. Виноградов.

★

**КЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.** Встаньте, подсудимый! Записки народного заседателя. Пермское книжное издательство. 1962. 96 стр. Цена 11 к.

Народный суд... Приговор... За этими словами — судьба человека, сидящего на скамье подсудимых. Суровые слова приговора волнуют всех, кто находится в зале суда. Это и понятно: ведь каждое судебное дело имеет воспитательное значение.

О сложной и многообразной деятельности одного из народных судов Перми рассказывает в своей книжке писательница, народный заседатель Кл. Рождественская.

Ее короткие яркие очерки не носят характера простого судебного репортажа. В связи с конкретными делами автор вскрывает причины совершенных преступлений. Особенно интересны в этом отношении очерки «Дело о мелком хищении» и «Почему?», в которых показано, что привело молодых рабочих Лямзина, Гнутских, Терешина и других на скамью подсудимых.

Советский суд сурово наказывает лиц, совершивших опасные, тяжкие преступления. Но, учитывая обстоятельства дела и личность виновного, может ограничиться условным наказанием. Именно так и поступил народный суд, разбирая дело несовершеннолетнего рабочего железобетонного завода Малышева, которого взрослые приятели втянули в пьянку и по существу толкнули на совершение преступления. Весь ход судебного процесса заставил Малышева совершенно по-иному оценить свое поведение и многое понять.

Серьезные выводы напрашиваются из очерков о гражданских делах, связанных с разделом жилплощади, разводами («Сорная история», «Молодые», «Нарост на сердце»). За безликими фигурами истца и ответчика встают живые люди с их повседневными житейскими делами, в которые должен глубоко и всесторонне вникнуть суд, чтобы вынести правильное решение.

Народные заседатели — активные участники борьбы за устранение причин преступности. Они интересуются производственной деятельностью и поведением в быту условно осужденных. Новой хорошей формой работы народных заседателей стали организованные при судах советы народных заседателей. Автору следовало бы рассказать и о них.

И. Яхнина.

★

**АЛЕКСАНДР КУШНЕР.** Первое впечатление. Стихи. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 96 стр. Цена 10 к.

Что делать с первым впечатленьем?  
Оно смущает и томит.  
Оно граничит с удивленьем  
И ни о чем не говорит,—

читаем мы в этой книжке. Стихи молодого ленинградского поэта Александра Кушнера глубже того первого впечатления, которое производят. В них стоит вчитываться не только потому, что это интересно, но и потому, что «второе» впечатление многое меняет в их восприятии.

Стихи Кушнера во видимости очень просты. Но не так прост мир поэта, из которого они пришли, и поэтому надо сначала войти в этот мир, а только потом соотносить свои впечатления с объективным читательским опытом.

Иначе вы заметите только то, что вот это тире («Ну а тебе не надоело в своей — душе? В своей — судьбе?») вполне цветаевское, а, скажем, стихотворение «Прозанк прозу долго пишет» («Он, свой роман в уме построив, летит домой, не чуя ног, и там судьбой своих героев распоряжается как бог. То судит их, то выручает, им зонтик вовремя вручает, сначала их в гостях сведет...» и т. д.) указывает на вкус автора к иной поэтике, и что в то же время сильной стороной автора является ощущение «плотности», «вещности» нашего материального мира (таковы его «Арбузы»), и что в целом его поэзия питается его житейской впечатлительностью.

По первому впечатлению талант Кушнера кажется легким, изящным и воплощенным. Но остается ощущение невысказанного, «оно смущает и томит». И когда эти стихи перечитываешь, становится ясно, что поэт прячет за своей литературно-стилистической образованностью свою тоску по каким-то другим словам, по истинному воплощению себя — человека, а не себя — литератора. В подтексте стихов Кушнера — требовательность к себе, неудовлетворенность сделанным.

Это чувство, прорываясь в стихах Кушнера то как ирония, то как признание, то как пауза и умолчание, связывает нас с жизнью поэта, а его стихи — с нашей жизнью.

Лучше поэтому было бы назвать первый сборник стихов Кушнера «Вводные слова», по стихотворению, в котором говорится:

Они, начав издаലെка,  
Давали повод не спеша  
Собираться с мыслями, пока  
Не знаю где была душа.

Мы знакомимся с молодым поэтом в тот момент, когда он «собирается с мыслями». Хочется, чтобы знакомство это продолжилось.

А. Асаркан.

★

**А. ЕРЕМИН. Недопетая песня.** Горьковское книжное издательство. 1962. 235 стр. Цена 41 к.

Д. Веневитинов — один из самых трогательных образов в русской литературе двадцатых годов XIX века. Природа наградила его разнообразными дарами. Он был талантливым музыкантом и художником, но главным образом поэтом и философом. Чернышевский считал, что Веневитинов умом и талантом опередил свой век и свой юношеский возраст. Его ранняя смерть потрясла всех. Пушкин взволнованно упрекал его друзей: «Как вы допустили его умереть?». «Душа разрывается. Я плачу, как ребенок», — признавался В. Одоевский. Скорбные стихи посвятили ему Дельвиг, молодой Кольцов, впоследствии Лермонтов, а в семидесятых годах — Некрасов.

Естественно, что этот образ, привлекая некогда поэтов и критиков, мог вдохновить и современного нам романиста. Разгадка его печальной судьбы была намечена еще в проникновенных словах Герцена: «Едва успев промолвить несколько благородных слов, он увял, словно южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики. Веневитинов не был жизнеспособен в новой русской атмосфере» — атмосфере последекабрьской поры, времени казней, ссылок, заточений.

Автор романа знаком с небольшой и, к сожалению, не очень яркой мемуарной литературой, посвященной поэту, у него есть достаточный литературный опыт, чтобы связно, без грубых ошибок рассказать о нескольких годах жизни своего героя.

В книге встречаются удачные, запоминающиеся портретные зарисовки, есть отдельные яркие сцены, например, сцена ареста Веневитинова и в особенности его смерти. Но, к сожалению, автору не удалось достаточно глубоко раскрыть ни образ поэта, ни окружающую его действительность. Он не сумел выдвинуть на первый план то, что более всего характеризует Веневитинова и его время. Роман начинается сценой заседания кружка «любомудров», которое ведет Одоевский. Но фактически в романе «председательствует» сам автор и дает слово героям лишь для кратких реплик. А между тем интересно было бы услышать речи юных мудрецов, тем более что Веневитинов, говорят, был лучшим оратором кружка.

От современников поэта мы знаем, что Веневитинов, посещавший университетские лекции, вступил в спор с популярным в ту пору профессором Мерзляковым. Из статьи самого философа-поэта нам известна и тема спора: юный «любомудр» не соглашался с суждением своего наставника, будто роль правительства в развитии искусств является благотворительной. Как же не дать подобной сцены, не показать реакции молодежи на битву студента с прославленным лектором! Но романист предпочел ограничиться простым упоминанием об этой «боевой» статье. В романе лишь мельком проходят эпизоды, которые могли бы быть превращены в колоритные сцены. Даже воспетая Некрасовым страдальческая страсть Веневитинова к

Зинаиде Волконской как-то мало занимает романиста.

В особенности жаль, что автор не воссоздал «леденящего дыхания Балтики». Он не увидел на улицах последекабрьской Москвы закрытых карет с участниками событий 14 декабря, отправляемыми на каторгу. Нет в романе и того «холода» светских гостиных, той «многолюдной пустыни», о которой поэт не раз говорил, спасаясь в тишине своих комнат.

Роман называется «Недопетая песня», но самая песня недостаточно ощутима. Веневитинов очень мало виден как поэт. Нет даже попытки показать процесс его творчества. Автору романа следовало бы глубже проникнуть в душевный мир этого замечательного художника.

*Профессор Б. Нейман.*

★

**ЗИГМУНД ХИРЕН.** Репортаж с четырех войн. Военное издательство Министерства обороны СССР. М. 1962. 208 стр. Цена 27 к.

В романе американского писателя Уильяма Сарояна «Приключения Весли Джексона» нарисована злая карикатура на тех военных писателей, которые с завидной легкостью расправляются на бумаге с противником. Отрыванные от фронта, находящиеся в полной безопасности, эти «мастера пера» убеждены, что «их произведения больше значат для истребления врага, чем действия целой дивизии».

Не такими были советские военные журналисты. Вместе с армией делили они горечь поражения и радость побед. Вместе с армией были они и в трудные дни 1941 года, и в дни битвы на Волге, и в дни водружения флага над рейхстагом. Они были такими же солдатами, как те бойцы и офицеры, о которых рассказывали их корреспонденты, хотя в руках вместо винтовки и автомата держали блокнот и перо. Это благодаря им страна ежедневно узнавала о том, что происходит на фронте.

Одним из таких журналистов был Зигмунд Хирен — корреспондент «Красной звезды».

Военная биография З. Хирена началась задолго до 22 июня 1941 года. Он был на озере Хасан, когда первые выстрелы грянули на советско-японской границе. Он был на реке Халхин-Гол в августе 1939 года. Он участвовал в войне с белофиннами. Но большая часть его корреспонденций, объединенных в книге «Репортаж с четырех войн», связана с событиями Великой Отечественной войны.

З. Хирен писал о боях под Ленинградом осенью 1941 года, когда немецкие фашисты сомкнули кольцо блокады, и о битве под Москвой, когда врагу впервые пришлось узнать отступление, и о битве за Кавказ, и о боях в Западной Украине. Он рассказывал о танкистах и минометчиках, о летчиках и десантниках, о медсестрах и связистах.

Тогда, когда они впервые появились, эти очерки помогали нашим людям работать и воевать. А сегодня, через восемнадцать лет после окончания войны, они позволяют заново ощутить атмосферу дорогого нам времени, которое принадлежит уже истории.

Л. Левицкий.

★

**Д. НИКОЛАЕВ.** Смех — оружие сатиры. «Искусство». М. 1962. 224 стр. Цена 48 к.

Книга Д. Николаева не претендует на исчерпывающее решение вопросов теории сатиры.

Она сознательно лишена внешних признаков «солидного» академического исследования, а обращение автора к теоретическим спорам последних лет носит отчетливо выраженный полемический характер.

Тем приятнее обнаружить, что книга написана на серьезном научном уровне.

Генезис сатиры, характер и приемы сатирической типизации, роль положительного героя, своеобразие сатирического конфликта, место условности в сатире — таков круг вопросов, затронутых в книге. Обобщения, к которым приходит автор, основаны на изучении произведений не только художественной литературы, но и смежных видов искусства, прежде всего кино и живописи.

Д. Николаеву удается ввести в круг достаточно сложных литературоведческих проблем читателя, не обладающего специальной филологической подготовкой. Этому помогает тщательно продуманный отбор произведений сатиры, привлеченных для размышлений и анализа (исследователь обращается к широко известным произведениям Гоголя, Щедрина, Свифта, Маяковского, Гашека, Ильфа и Петрова, к фильмам Чаплина и Протазанова, к рисункам Кукрыникова, Бидструла, Эффеля и др.).

Когда-то на заре возникновения советской сатиры В. Маяковский писал: «Надо вооружаться сатирическим знанием. Я убежден — в будущих школах сатиру будут преподавать наряду с арифметикой и с не меньшим успехом».

В книге Д. Николаева — научном и одновременно популярном исследовании вопросов теории сатиры — задача вооружения читателя «сатирическим знанием» решается успешно.

А. Старков.

★

**СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ДРАМА.** Издательство АН СССР. М. 1962. 383 стр. Цена 2 р.

Институт истории искусств выпустил сборник статей «Современная зарубежная драма». В сборник включены пять монографических статей, посвященных творчеству Артура Миллера (автор Н. Эйшикина), Шона О'Кейси (Е. Корнилова), Жан-Поля Сартра (Т. Бачелис), Жана Ануяля (Л. Зонина), Василиса Ротаса (Д. Спатис) и оригинальная по жанру статья «Пьесы

и спектакли» (автор А. Образцова), в которой рассматривается драматургическое творчество Грэма Грина, Франсуазы Саган, Лилиан Хеллман. Безусловное достоинство книги заключается в том, что статьи авторов сборника — это и серьезные, тщательно выполненные научные исследования, это и популярные очерки, читать которые интересно.

Самая интересная в обычном читательском смысле статья сборника — «Интеллектуальные драмы Сартра» — она же и самая содержательная, самая сложная. Вывод, стало быть, таков (это, впрочем, давно известно): путь к истинной, а не вульгарной популяризации связан в литературоведении с дополнительными духовными нагрузками, с выходами в смежные области науки — в философию, в историю, в социологию. Татьяне Бачелис, написавшей о Сартре, такие экскурсы удаются вполне. Но без них, в той или иной степени, не обходится никто из авторов сборника. Это и естественно: вне широкой идейной и конкретной социально-политической перспективы трудно понять что-либо в современной зарубежной драматургии.

Лучшие пьесы, появившиеся во Франции, Англии, США за последние два-три десятилетия, за небольшим исключением, очень просты по своей форме. Чисто провинциальная боязнь выглядеть «не по-современному» менее всего беспокоила большого художника Брехта, как она не беспокоит Миллера, О'Кейси или Ануяля. Беспокоит их многое другое и, среди прочего, — отсутствие мировоззрения у рядового человека буржуазного мира.

Статьи сборника — пример того, как следует решать вопрос о мировоззрении писателя: с пониманием сути дела и непримиримым отношением к любым уступкам буржуазной идеологии. Строго академические по манере и по характеру издания, статьи полемичны по существу, по своему духу. Авторы полемизируют с буржуазными литературоведами и с самими исследуемыми драматургами — там, где возникает необходимость. И это хорошо. Полемизируют они и друг с другом — и это тоже хорошо, но не всегда.

Не беда, что одна и та же пьеса Ануяля названа по-разному в предисловии («Ярмарка захватчиков», стр. 5) и в статье («Обираловка», стр. 271), да к тому же совершенно по-разному оценена — пьеса эта в творческой биографии Ануяля большой роли не играет. Хуже, когда взаимно исключающие оценки получает такой бесспорный шедевр Ануяля, как «Антигона», а между тем трактовки пьесы в статьях Т. Бачелис и Л. Зониной никак не совпадают.

Подобному сборнику, думается, необходимо деятельный редактор-составитель. Это надо учесть при выходе следующих сборников этого типа.

В. Гаевский.

★

**А. ЛЕБЕДЕВ. Герои Чернышевского (О романах «Что делать?» и «Пролог»). «Советский писатель». М. 1962. 308 стр. Цена 79 к.**

Наше представление о Чернышевском-художнике, становясь в последние десятилетия все более научным, вместе с тем — что греха таить! — успело обрести немалым грузом традиционных понятий. Известны попытки канонизировать художественный метод Чернышевского, объявить его неким «революционно-демократическим реализмом» и потому высшей формой досоциалистической литературы; с другой стороны, еще до сих пор бытует точка зрения, что романы Чернышевского интересны для нас не как искусство, а лишь как воплощение определенного идейного содержания.

А. Лебедев, решительно споря с механическим отождествлением Чернышевского-писателя с Чернышевским — политиком и философом, выявляет подлинное своеобразие художественного наследия великого революционера-демократа. Суждения о своеобразии творчества Чернышевского питаются при этом исследованием своеобразия его эпохи; конкретно-исторический принцип изучения становится методологической основой книги.

«Время больших ожиданий», в глубине которого неминуемо вызревала «эпоха утраченных иллюзий», — таков данный в работе А. Лебедева емкий и точный образ периода первой революционной ситуации в России. Анализируя общественно-исторический смысл понятий «ожидания», «надежды», А. Лебедев открывает новые аспекты, казалось бы, досконально изученной проблемы. «Надежда романтична, но ее романтика таит трагедию. Романтичность надежды — продукт того исторического момента, за которым общество ждет начала новой эры, но который может оборваться и в безвременье».

Эта «романтичность надежды» передовых деятелей шестидесятых годов, далеких от мысли о трагической обреченности своих замыслов, и явилась пафосом романа «Что делать?» и особенно образа Рахметова. В ней же заключалось зерно дальнейшей эволюции взглядов и художественного метода Чернышевского.

На смену революционной романтике «Что делать?» пришла «горьковатая ясность» иронии «Пролога». Талантливо раскрывая художественную многозначность этой иронии, А. Лебедев подчеркивает в то же время ее главную функцию — выражение трагического раздумья Чернышевского над уроками освободительного движения шестидесятых годов. «Интеллектуальный героизм» Чернышевского и состоял в том, что он «не утратил способности к идейному творчеству» и, осознав историческую трагедию революционной демократии, устремился «к поискам новой теории и новых сил общественного обновления страны».

При этом обнаружилось неизбежное, по мысли А. Лебедева, противоречие творческого метода Чернышевского, стремившегося «создать мост между реализмом людей своей группы и их революционным идеалом» (Луначарский). Решить эту задачу методом традиционного реализма было нельзя, даже обладая самым передовым для того времени мировоззрением. Так творчество Чернышевского предвосхитило некоторые из тех проблем, которые могло разрешить только искусство социалистическое.

Теоретически обоснованная, антидогматическая по своей направленности книга А. Лебедева предлагает интересную, многостороннюю, в лучшем смысле спорную трактовку Чернышевского-писателя и некоторых особенностей того течения в русском реализме, к которому он принадлежал.

**М. Бойко.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О международном значении опыта КПСС. Сборник. 707 стр. Цена 1 р.

**Пятый (Лондонский) съезд РСДРП.** Апрель—май 1907 года. Протоколы. 947 стр. Цена 1 р. 84 к.

**Родней Арисменди.** Некоторые вопросы идеологической борьбы. Перевод с испанского. 107 стр. Цена 15 к.

**Л. Бородин.** Сила великих традиций. 143 стр. Цена 16 к.

**Вышли мы все из народа...** Сборник. 488 стр. Цена 80 к.

**Б. Могилевский, Никитич (Леонид Борисович Красин),** 111 стр. Цена 14 к.

**О Владимире Ильиче Ленине.** Воспоминания. 1900—1922 годы. 662 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Партия — вдохновитель и организатор развернутого строительства коммунистического общества (1959—1961 годы).** Документы и материалы. 599 стр. Цена 1 р.

**Р. Пересветов.** Поиски бесценного наследия (О судьбе некоторых рукописей В. И. Ленина). 319 стр. Цена 55 к.

**Н. Хохлов.** Близ лунных гор (Королевство Бурунди и Республика Руанда). 71 стр. Цена 10 к.

**И. Чоаре.** Сахара — не только песок. 64 стр. Цена 7 к.

**К. Шохин.** Классика сегодня. 72 стр. Цена 6 к.

### СОЦЭКИЗ

**Л. Афанасьев.** Аграрное перенаселение. 298 стр. Цена 74 к.

**З. Богатырь.** В тылу врага. 334 стр. Цена 59 к.

**К. Гусев.** Крах партии левых эсеров. 260 стр. Цена 82 к.

**В. И. Докукин, В. П. Тrepелков.** Общий кризис капитализма. 307 стр. Цена 55 к.

**А. Смирнов.** Экономическое содержание налога с оборота. 323 стр. Цена 90 к.

**В. Д. Сокольский.** «Новороссийская республика». 136 стр. Цена 20 к.

**В. Т. Фомин.** Агрессия фашистской Германии в Европе. 1933—1939 гг. 640 стр. Цена 1 р. 50 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Беляев.** Добрый вечер. Повесть и рассказы. 216 стр. Цена 30 к.

**С. Борзенко.** Какой простор! Роман. Кн. II. 520 стр. Цена 86 к.

**Ф. Гарин.** Василий Влюхер. Роман. 344 стр. Цена 65 к.

**С. Гехт.** Долги сердца. Рассказы. 300 стр. Цена 40 к.

**М. Горький.** Стихотворения. 336 стр. Цена 37 к.

**И. Дворецкий.** Пьесы. 300 стр. Цена 61 к.

**М. Джавахишвили.** Женская ноша. Роман. Перевод с грузинского. 404 стр. Цена 71 к.

**В. Драгунский.** Он упал на траву... Повесть. 156 стр. Цена 23 к.

**Р. Зернова.** Свет и тень. Рассказы. 184 стр. Цена 27 к.

**А. Левада.** Фауст и смерть. Трагедия в стихах. Перевод с украинского. 132 стр. Цена 20 к.

**Б. Миллявский.** Сатирик и время. О мастерстве Маяковского-драматурга. 304 стр. Цена 73 к.

**Народные баллады.** Сборник. 448 стр. Цена 91 к.

**С. Подельков.** Горящие деревья. Стихотворения. 216 стр. Цена 29 к.

**Ф. Светов.** Ушла ли романтика? Критические размышления. 224 стр. Цена 57 к.

**А. Степанян.** На пороге лета. Роман. Перевод с армянского. 520 стр. Цена 91 к.

**В. Титов.** Дороги. Очерки. 344 стр. Цена 58 к.

**Р. Фиш.** Писатели Турции — книги и судьбы. 268 стр. Цена 68 к.

**Б. Харчук.** Волянь. Роман. Книга II. Перевод с украинского. 448 стр. Цена 76 к.

**А. Эйнер.** Сестра моя Болгария! Очерки. 216 стр. Цена 44 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**П. Балашов.** Джеймс Олдридж. Критико-биографический очерк. 248 стр. Цена 57 к.

**Демьян Бедный.** Избранные произведения. 464 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Л. Воробьев.** Любен Каравелов. Мирозрение и творчество. 280 стр. Цена 85 к.

**Г. Ершов.** Михаил Пришвин. Очерк жизни и творчества. 192 стр. Цена 44 к.

**Иоаннес Иоаннисян.** Лирика. Перевод с армянского. 208 стр. Цена 29 к.

**Хосе Марти.** Североамериканские сцены. Перевод с испанского. 364 стр. Цена 43 к.

**Л. Мартович.** Суевские. Рассказы и повесть. Перевод с украинского. 503 стр. Цена 78 к.

**Э. Межелайтис.** Человек. Стихи. Перевод с литовского. 120 стр. Цена 60 к.

**П. Мезенцев.** Виссарийон Белинский. 128 стр. Цена 18 к.

**М. Светлов.** Стихотворения. 280 стр. Цена 57 к.

**У Ла.** Властитель Золотой страны. Роман. Перевод с бирманского. 336 стр. Цена 64 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**И. Бирюков.** На Гринвиче новые времена. Очерки. 144 стр. Цена 21 к.

**М. Герман.** Домье. 270 стр. Цена 60 к.

**Г. Голубев.** По следам ветра. 160 стр. Цена 23 к.

**В. Дружинин.** Завтра будет поздно. Повесть. 224 стр. Цена 48 к.

**А. Иванский.** Страница великой жизни. Документальный очерк о В. И. Ленине. 79 стр. Цена 11 к.

**И. Котенко.** Восемь неизвестных. Повести. 129 стр. Цена 20 к.

**Э. Манов.** День рождается. Роман. Перевод с болгарского. 446 стр. Цена 1 р. 23 к.

**Ф. Мунтяну.** Терра ди Сиена. Роман. Перевод с румынского. 160 стр. Цена 30 к.

**М. Сабо.** Бал-маскарад. Повесть. Перевод с венгерского. 224 стр. Цена 42 к.

**Л. Соловьев.** Из «Книги юности». 224 стр. Цена 49 к.

**Б. Тартаковский.** Смерть и жизнь рядом. Документальная повесть. 240 стр. Цена 51 к.

**М. Тихомиров.** Генерал Лукач. Роман. 383 стр. Цена 71 к.

**Наби Хазри.** Сумгайтские страницы. Поэма. Перевод с азербайджанского. 100 стр. Цена 33 к.

**П. Хижняк.** Особый коммунистический. Документальная повесть. Перевод с украинского. 175 стр. Цена 40 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Н. Ю. Алексеенко.** Взаимодействие одновремениных условных реакций у человека. 152 стр. Цена 57 к.

**Археографический ежегодник за 1962 год** (к 70-летию акад. М. Н. Тихомирова). 500 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. В. Арциховский и В. И. Борковский.** Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1956—1957 гг.). 328 стр. Цена 1 р. 76 к.

**И. П. Бардин.** Избранные труды. Том I. 578 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Бразилия** (экономика, политика, культура). 527 стр. Цена 2 р. 13 к.

**И. В. Верещинский, А. К. Пикаев.** Введение в радиационную химию. 408 стр. Цена 1 р. 93 к.

**А. А. Гершкович.** Современный венгерский театр. 236 стр. Цена 1 р. 47 к.

**Испанский народ против фашизма** (1936—1939 гг.). Сборник статей. 492 стр. Цена 2 р. 14 к.

**А. Б. Марголин.** Проблемы народного хозяйства Дальнего Востока. 255 стр. Цена 83 к.

**А. Л. Монгайт.** Археология и современность. 112 стр. Цена 16 к.

**Очерки по истории химии.** 428 стр. Цена 2 р. 13 к.

**Проблемы магмы и генезиса изверженных горных пород.** Сборник статей, посвященный столетию со дня рождения Франца Юльевича Левинсона-Лессинга. 272 стр. Цена 1 р. 85 к.

**Революция 1905—1907 гг. в России.** Документы и материалы. Второй период революции. 1906—1907 годы. Часть вторая. Май—сентябрь 1906 года. Книга третья. 772 стр. Цена 1 р. 85 к.

**Русская литература в борьбе с религией.** Сборник 366 стр. Цена 1 р. 16 к.

**С. С. Савина.** Гидрометеорологический показатель засухи и его распределение на территории Европейской части СССР. 104 стр. Цена 36 к.

**Д. Н. Трифонов.** Если бы не было урана и тория... 88 стр. Цена 14 к.

**Г. Н. Чернов, Н. П. Кренке и его теория старения и омоложения.** 118 стр. Цена 41 к.

#### «ИСКУССТВО»

**В. Ф. Асмус.** Немецкая эстетика XVII века. 260 стр. Цена 96 к.

**И. Лисаевич, И. Бехтер-Остренко.** Скульптуры Ленинграда. 208 стр. Цена 1 р.

**Н. Мальцева.** Клуз. 90 стр. Цена 31 к.

**Польский юмор.** Сборник. 208 стр. Цена 28 к.

**В. Утилов.** Вивьен Ли. 160 стр. Цена 41 к.  
**Эстетическое воспитание в семье.** Сборник статей. 160 стр. Цена 50 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Роберт Бернс.** Песни и стихи. Перевод с английского. 232 стр. Цена 29 к.

**Т. Ефимцев.** Ливень. Стихи. 64 стр. Цена 8 к.

**В. Кожевников.** День летящий. Повести и рассказы. 296 стр. Цена 37 к.

**М. Лобанов.** Сердце писателя. Слово о литературе. 240 стр. Цена 33 к.

**Л. Лубан.** Чудеса входят в жизнь. 196 стр. Цена 61 к.

**Г. Николаева.** В человеке не без чуда. Рассказы и повесть. 216 стр. Цена 50 к.

**Приметы времени.** Сборник. 296 стр. Цена 69 к.

**Н. А. Филимонов.** Встречи в пути. Свидетельство современника. 200 стр. Цена 43 к.

#### АЗЕРНЕСР (БАКУ)

**А. В. Кикнадзе.** Человек и кристалл. Очерки. 105 стр. Цена 13 к.

**Мамед Саид Ордубади.** Тавриз туманный. Роман. Перевод с азербайджанского. Часть I. 447 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Сулейман Рагимов.** Сачлы. Роман. Перевод с азербайджанского. Книга I. 319 стр. Цена 70 к.

#### АМУРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (БЛАГОВЕЩЕНСК)

**В. Жанова.** Очерки. Повести. Рассказы. 208 стр. Цена 43 к.

**А. Головин.** Тыл — фронт. Роман. 831 стр. Цена 1 р. 58 к.

#### «РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК» (КИЕВ)

**В. Александров.** Крылатые пехотинцы. Повесть и рассказы. 331 стр. Цена 65 к.

**С. Гордеев.** Встреча с юностью. Книга лирики. 127 стр. Цена 24 к.

**Н. Строковский.** Мечты на дорогах. Лирические повести и рассказы. Из путевых дневников. 322 стр. Цена 65 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский.**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин.**

Редакция: Москва Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 26 IV 1963 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 26 VI 1963 г.

А 01998 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 113.800  
Зак. 848.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636